

14 ЛЕВ ТОЛСТОЙ



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»

Л.Н. ТОЛСТОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ДВАДЦАТИ ТОМАХ

Под общей редакцией

*Н. Н. АКОПОВОЙ, Н. К. ГУДЗИЯ,
Н. Н. ГУСЕВА, М. Б. ХРАПЧЕНКО*

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

МОСКВА 1964

Л.Н. ТОЛСТОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ

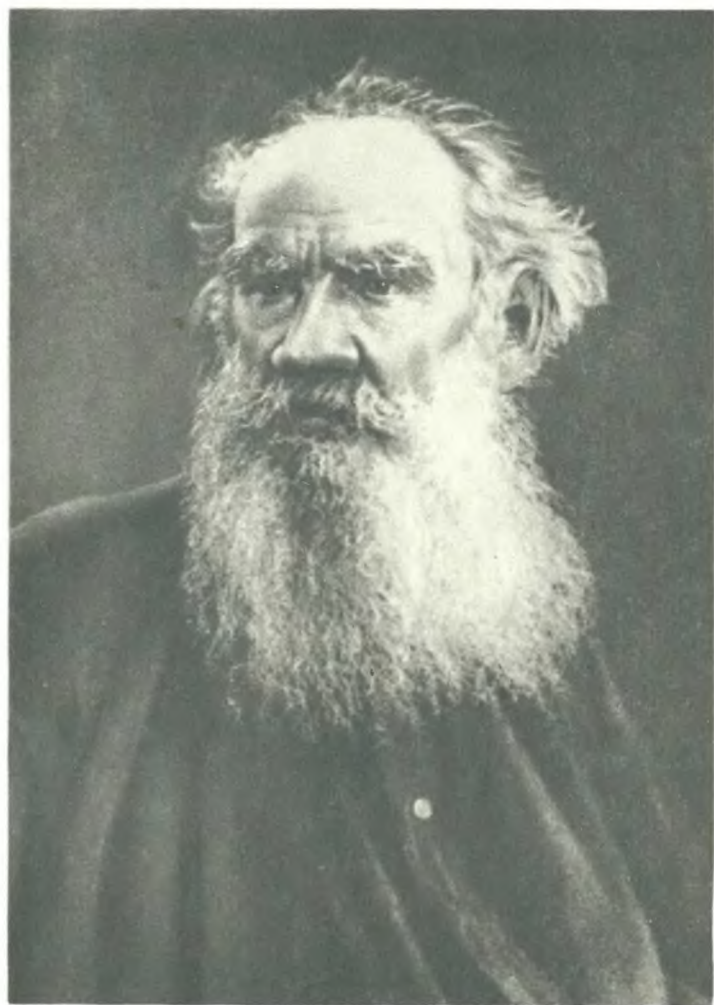
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

1903 — 1910 гг.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1964

Р1
Т-53

Примечания
Л. Н. КУЗИНОП



ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

ПОСЛЕ БАЛА

Рассказ

— Вот вы говорите, что человек не может сам по себе понять, что хорошо, что дурно, что все дело в среде, что среда заедает. А я думаю, что все дело в случае. Я вот про себя скажу.

Так заговорил всеми уважаемый Иван Васильевич после разговора, шедшего между нами, о том, что для личного совершенствования необходимо прежде изменить условия, среди которых живут люди. Никто, собственно, не говорил, что нельзя самому понять, что хорошо, что дурно, но у Ивана Васильевича была такая манера отвечать на свои собственные, возникающие вследствие разговора мысли и по случаю этих мыслей рассказывать эпизоды из своей жизни. Часто он совершенно забывал повод, по которому он рассказывал, увлекаясь рассказом, тем более что рассказывал он очень искренно и правдиво.

Так он сделал и теперь.

— Я про себя скажу. Вся моя жизнь сложилась так, а не иначе, не от среды, а совсем от другого.

— От чего же? — спросили мы.

— Да это длинная история. Чтобы понять, надо много рассказывать.

— Вот вы и расскажите.

Иван Васильевич задумался, покачал головой.

— Да, — сказал он. — Вся жизнь переменялась от одной ночи, или скорее утра.

— Да что же было?

— А было то, что был я сильно влюблен. Влюблялся я много раз, но это была самая моя сильная любовь. Дело прошлое; у нее уже дочери замужем. Это была Б..., да, Варенька Б..., — Иван Васильевич назвал фамилию. — Она и в пятьдесят лет была замечательная красавица. Но в молодости, восемнадцати лет, была прелестна: высокая, стройная, грациозная и величественная, именно величественная. Держалась она всегда необыкновенно прямо, как будто не могла иначе, откинув немного назад голову, и это давало ей, с ее красотой и высоким ростом, несмотря на ее худобу, даже костлявость, какой-то царственный вид, который отпугивал бы от нее, если бы не ласковая, всегда веселая улыбка и рта, и прелестных блестящих глаз, и всего ее милого, молодого существа.

— Каково Иван Васильевич расписывает.

— Да как ни расписывай, расписать нельзя так, чтобы вы поняли, какая она была. Но не в том дело: то, что я хочу рассказать, было в сороковых годах. Был я в то время студентом в провинциальном университете. Не знаю, хорошо ли это, или дурно, но не было у нас в то время в нашем университете никаких кружков, никаких теорий, а были мы просто молоды и жили, как свойственно молодости: учились и веселились. Был я очень веселый и бойкий малый, да еще и богатый. Был у меня иноходец лихой, катался с гор с барышнями (коньки еще не были в моде), кутил с товарищами (в то время мы ничего, кроме шампанского, не пили; не было денег — ничего не пили, но не пили, как теперь, водку). Главное же мое удовольствие составляли вечера и балы. Танцевал я хорошо и был не безобразен.

— Ну, нечего скромничать, — перебила его одна из собеседниц. — Мы ведь знаем ваш еще дагерротипный портрет. Не то, что не безобразен, а вы были красавец.

— Красавец так красавец, да не в том дело. А дело в том, что во время этой моей самой сильной любви к

ней был я в последний день масленицы на бале у губернского предводителя, добродушного старичка, богача-хлебосола и камергера. Принимала такая же добродушная, как и он, жена его в бархатном пюсовом платье, в брильянтовой фероньерке на голове и с открытыми старыми, пухлыми, белыми плечами и грудью, как портреты Елизаветы Петровны. Бал был чудесный: зала прекрасная, с хорами, музыканты — знаменитые в то время крепостные помещика-любителя, буфет великолепный и разлитое море шампанского. Хоть я и охотник был до шампанского, но не пил, потому что без вина был пьян любовью, но зато танцевал до упаду, танцевал и кадрили, и вальсы, и польки, разумеется, насколько возможно было, всё с Варенькой. Она была в белом платье с розовым поясом и в белых лайковых перчатках, немного не доходивших до худых, острых локтей, и в белых атласных башмачках. Мазурку отбили у меня: препротивный инженер Анисимов — я до сих пор не могу простить это ему — пригласил ее, только что она вошла, а я заезжал к парикмахеру и за перчатками и опоздал. Так что мазурку я танцевал не с ней, а с одной немочкой, за которой я немножко ухаживал прежде. Но, боюсь, в этот вечер был очень неучтив с ней, не говорил с ней, не смотрел на нее, а видел только высокую, стройную фигуру в белом платье с розовым поясом, ее сияющее, зарумянившееся с ямочками лицо и ласковые, милые глаза. Не я один, все смотрели на нее и любовались ею, любовались и мужчины и женщины, несмотря на то, что она затмила их всех. Нельзя было не любоваться.

По закону, так сказать, мазурку я танцевал не с нею, но в действительности танцевал я почти все время с ней. Она, не смущаясь, через всю залу шла прямо ко мне, и я вскакивал, не дожидаясь приглашения, и она улыбкой благодарила меня за мою догадливость. Когда нас подводили к ней и она не угадывала моего качества, она, подавая руку не мне, пожимала худыми плечами и, в знак сожаления и утешения, улыбалась мне. Когда делали фигуры мазурки вальсом, я подолгу вальсировал с нею, и она, часто дыша, улыбалась и говорила мне:

«Епсого»¹. И я вальсировал еще и еще и не чувствовал своего тела.

— Ну, как же не чувствовали, я думаю, очень чувствовали, когда обнимали ее за талию, не только свое, но и ее тело, — сказал один из гостей.

Иван Васильевич вдруг покраснел и сердито закричал почти:

— Да, вот это вы, нынешняя молодежь. Вы, кроме тела, ничего не видите. В наше время было не так. Чем сильнее я был влюблен, тем бестелеснее становилась для меня она. Вы теперь видите ноги, щиколки и еще что-то, вы раздеваете женщин, в которых влюблены, для меня же, как говорил Alphonse Karr², — хороший был писатель, — на предмете моей любви были всегда бронзовые одежды. Мы не то что раздевали, а старались прикрыть наготу, как добрый сын Ноя. Ну, да вы не поймете...

— Не слушайте его. Дальше что? — сказал один из нас.

— Да. Так вот танцевал я больше с нею и не видал, как прошло время. Музыканты уж с каким-то отчаянием усталости, знаете, как бывает в конце бала, подхватывали всё тот же мотив мазурки, из гостиных поднялись уже от карточных столов папаши и мамыши, ожидая ужина, лакеи чаще забегали, пронося что-то. Был третий час. Надо было пользоваться последними минутами. Я еще раз выбрал ее, и мы в сотый раз прошли вдоль залы.

— Так после ужина кадрили моя? — сказала я ей, отводя ее к ее месту.

— Разумеется, если меня не увезут, — сказала она, улыбаясь.

— Я не дам, — сказал я.

— Дайте же веер, — сказала она.

— Жалко отдавать, — сказал я, подавая ей белый дешевенький веер.

— Так вот вам, чтоб вы не жалели, — сказала она, оторвала перышко от веера и дала мне.

¹ Еще (франц.).

² Альфонс Карр (франц.).

Я взял перышко и только взглядом мог выразить весь свой восторг и благодарность. Я был не только весел и доволен, я был счастлив, блажен, я был добр, я был не я, а какое-то неземное существо, не знающее зла и способное на одно добро. Я спрятал перышко в перчатку и стоял, не в силах отойти от нее.

— Смотрите, папá просят танцевать, — сказала она мне, указывая на высокую статную фигуру ее отца, полковника с серебряными эполетами, стоявшего в дверях с хозяйкой и другими дамами.

— Варенька, подите сюда, — услышали мы громкий голос хозяйки в брильянтовой фероньерке и с елисаветинскими плечами.

Варенька подошла к двери, и я за ней.

— Уговорите, та chère¹, отца пройтись с вами. Ну, пожалуйста, Петр Владиславич, — обратилась хозяйка к полковнику.

Отец Вареньки был очень красивый, статный, высокий и свежий старик. Лицо у него было очень румяное, с белыми à la Nicolas I² подвитыми усами, белыми же, подведенными к усам бакенбардами и с зачесанными вперед височками, и та же ласковая, радостная улыбка, как и у дочери, была в его блестящих глазах и губах. Сложен он был прекрасно, с широкой, небогато украшенной орденами, выпячивающейся по-военному грудью, с сильными плечами и длинными, стройными ногами. Он был воинский начальник типа старого служаки николаевской выправки.

Когда мы подошли к дверям, полковник отказывался, говоря, что он разучился танцевать, но все-таки, улыбаясь, закинув на левую сторону руку, вынул шпагу из портупеи, отдал ее услужливому молодому человеку и, натянув замшевую перчатку на правую руку, — «надо всё по закону», — улыбаясь, сказал он, взял руку дочери и стал в четверть оборота, выжидая такт.

Дождавшись начала мазурочного мотива, он бойко топнул одной ногой, выкинул другую, и высокая, грузная фигура его то тихо и плавно, то шумно и бурно, с

¹ дорогая (франц.).

² как у Николая I (франц.).

топотом подошв и ноги об ногу, задвигалась вокруг залы. Грациозная фигура Вареньки плыла около него, незаметно, вовремя укорачивая или удлиняя шаги своих маленьких белых атласных ножек. Вся зала следила за каждым движением пары. Я же не только любовался, но с восторженным умилением смотрел на них. Особенно умилили меня его сапоги, обтянутые штрипками, — хорошие опойковые сапоги, но не модные, с острыми, а старинные, с четверугольными носками и без каблучков. Очевидно, сапоги были построены батальонным сапожником. «Чтобы вывозить и одевать любимую дочь, он не покупает модных сапог, а носит домодельные». — думал я, и эти четверугольные носки сапог особенно умиляли меня. Видно было, что он когда-то танцевал прекрасно, но теперь был грузен, и ноги уже не были достаточно упруги для всех тех красивых и быстрых па, которые он старался выделять. Но он все-таки ловко прошел два круга. Когда же он, быстро расставив ноги, опять соединил их и, хотя и несколько тяжело, упал на одно колено, а она, улыбаясь и поправляя юбку, которую он зацепил, плавно прошла вокруг него, все громко зааплодировали. С некоторым усилием приподнявшись, он нежно, мило обхватил дочь руками за уши и, поцеловав в лоб, подвел ее ко мне, думая, что я танцую с ней. Я сказал, что не я ее кавалер.

— Ну, все равно, пройдитеесь теперь вы с ней, — сказал он, ласково улыбаясь и вдевая шпагу в портупею.

Как бывает, что вслед за одной вылившейся из бутылки капель содержимое ее выливается большими струями, так и в моей душе любовь к Вареньке освободила всю скрытую в моей душе способность любви. Я обнимал в то время весь мир своей любовью. Я любил и хозяйку в фероньерке, с ее елисаветинским бюстом, и ее мужа, и ее гостей, и ее лакеев, и даже дувшегося на меня инженера Анисимова. К отцу же ее, с его домашними сапогами и ласковой, похожей на нее, улыбкой, я испытывал в то время какое-то восторженно-нежное чувство.

Мазурка кончилась, хозяева просили гостей к ужину, но полковник Б. отказался, сказав, что ему надо завтра

рано вставать, и простился с хозяевами. Я было испугался, что и ее увезут, но она осталась с матерью.

После ужина я танцевал с нею обещанную кадрили, и, несмотря на то, что был, казалось, бесконечно счастлив, счастье мое все росло и росло. Мы ничего не говорили о любви. Я не спрашивал ни ее, ни себя даже о том, любит ли она меня. Мне достаточно было того, что я любил ее. И я боялся только одного, чтобы что-нибудь не испортило моего счастья.

Когда я приехал домой, разделся и подумал о сне, я увидал, что это совершенно невозможно. У меня в руке было перышко от ее веера и целая ее перчатка, которую она дала мне, уезжая, когда садилась в карету и я подсаживал ее мать и потом ее. Я смотрел на эти вещи и, не закрывая глаз, видел ее перед собой то в ту минуту, когда она, выбирая из двух кавалеров, угадывает мое качество, и слышу ее милый голос, когда она говорит: «Гордость? да?» — и радостно подает мне руку, или когда за ужином пригубливает бокал шампанского и исподлобья смотрит на меня ласкающими глазами. Но больше всего я вижу ее в паре с отцом, когда она плавно двигается около него и с гордостью и радостью и за себя и за него взглядывает на любующихся зрителей. И я невольно соединяю его и ее в одном нежном, умиленном чувстве.

Жили мы тогда одни с покойным братом. Брат и вообще не любил света и не ездил на балы, теперь же готовился к кандидатскому экзамену и вел самую правильную жизнь. Он спал. Я посмотрел на его уткнутую в подушку и закрытую до половины фланелевым одеялом голову, и мне стало любовно жалко его, жалко за то, что он не знал и не разделял того счастья, которое я испытывал. Крепостной наш лакей Петруша встретил меня со свечой и хотел помочь мне раздеваться, но я отпустил его. Вид его заспанного лица с спутанными волосами показался мне умилительно трогательным. Стараясь не шуметь, я на дыпочках прошел в свою комнату и сел на постель. Нет, я был слишком счастлив, я не мог спать. Притом мне жарко было в натопленных комнатах, и я, не снимая мундира, потихоньку вышел в

переднюю, надел шинель, отворил наружную дверь и вышел на улицу.

С бала я уехал в пятом часу, пока доехал домой, посидел дома, прошло еще часа два, так что, когда я вышел, уже было светло. Была самая масленичная погода, был туман, насыщенный водою снег таял на дорогах, и со всех крыш капало. Жили Б. тогда на конце города, подле большого поля, на одном конце которого было гулянье, а на другом — девический институт. Я прошел наш пустынный переулок и вышел на большую улицу, где стали встречаться и пешеходы и ломовые с дровами на санях, достававших полозьями до мостовой. И лошади, равномерно покачивающие под глянцевитыми дугами мокрыми головами, и покрытые рогожками извозчики, шлепавшие в огромных сапогах подле возов, и дома улицы, казавшиеся в тумане очень высокими, все было мне особенно мило и значительно.

Когда я вышел на поле, где был их дом, я увидел в конце его, по направлению гулянья, что-то большое, черное и услышал доносившиеся оттуда звуки флейты и барабана. В душе у меня все время пело и изредка слышался мотив мазурки. Но это была какая-то другая, жесткая, нехорошая музыка.

«Что это такое?» — подумал я и по проезженной посередине поля, скользкой дороге пошел по направлению звуков. Пройдя шагов сто, я из-за тумана стал различать много черных людей. Очевидно, солдаты. «Верно, ученье», — подумал я и вместе с кузнецом в засаленном полушубке и фартуке, несшим что-то и шедшим передо мной, подошел ближе. Солдаты в черных мундирах стояли двумя рядами друг против друга, держа ружья к ноге, и не двигались. Позади их стояли барабанщик и флейтщик и не переставая повторяли всё ту же неприятную, визгливую мелодию.

— Что это они делают? — спросил я у кузнеца, остановившегося рядом со мною.

— Татарина гоняют за побег, — сердито сказал кузнец, взглядывая в дальний конец рядов.

Я стал смотреть туда же и увидел посреди рядов что-то страшное, приближающееся ко мне. Приближающееся ко мне был оголенный по пояс человек, привя-

занный к ружьям двух солдат, которые вели его. Рядом с ним шел высокий военный в шинели и фуражке, фигура которого показалась мне знакомой. Дергаясь всем телом, шлепая ногами по талому снегу, наказываемый, под сыпавшимися с обеих сторон на него ударами, по двигался ко мне, то опрокидываясь назад — и тогда унтер-офицеры, ведшие его за ружья, толкали его вперед, то падая наперед — и тогда унтер-офицеры, удерживая его от падения, тянули его назад. И не отставая от него, шел твердой, подрагивающей походкой высокий военный. Это был ее отец, с своим румяным лицом и белыми усами и бакенбардами.

При каждом ударе наказываемый, как бы удивляясь, поворачивал сморщенное от страдания лицо в ту сторону, с которой падал удар, и, оскаливая белые зубы, повторял какие-то одни и те же слова. Только когда он был совсем близко, я слышал эти слова. Он не говорил, а всхлипывал: «Братцы, помилосердуйте. Братцы, помилосердуйте». Но братцы не милосердовали, и, когда шествие совсем поравнялось со мною, я видел, как стоявший против меня солдат решительно выступил шаг вперед и, со свистом взмахнув палкой, сильно шлепнул ею по спине татарина. Татарин дернулся вперед, но унтер-офицеры удержали его, и такой же удар упал на него с другой стороны, и опять с этой, и опять с той. Полковник шел подле и, поглядывая то себе под ноги, то на наказываемого, втягивал в себя воздух, раздувая щеки, и медленно выпускал его через оттопыренную губу. Когда шествие миновало то место, где я стоял, я мельком увидел между рядов спину наказываемого. Это было что-то такое пестрое, мокрое, красное, неестественное, что я не поверил, чтобы это было тело человека.

— О господи, — проговорил подле меня кузнец.

Шествие стало удаляться, все так же падали с двух сторон удары на спотыкающегося, корчившегося человека, и все так же били барабаны и свистела флейта, и все так же твердым шагом двигалась высокая, статная фигура полковника рядом с наказываемым. Вдруг полковник остановился и быстро приблизился к одному из солдат.

— Я тебе помажу, — услышал я его гневный голос. — Будешь мазать? Будешь?

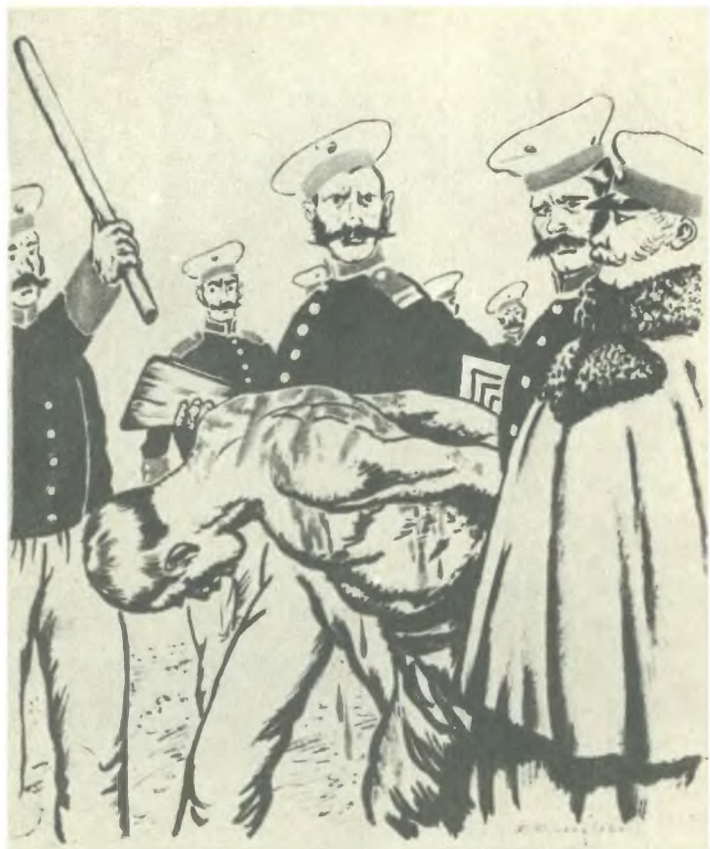
И я видел, как он своей сильной рукой в замшевой перчатке бил по лицу испуганного малорослого, слабо-сильного солдата за то, что он недостаточно сильно опустил свою палку на красную спину татарина.

— Подать свежих шпигрутенгов! — крикнул он, оглядываясь, и увидал меня. Делая вид, что он не знает меня, он, грозно и злобно нахмурившись, поспешно отвернулся. Мне было до такой степени стыдно, что, не зная, куда смотреть, как будто я был уличен в самом постыдном поступке, я опустил глаза и поторопился уйти домой. Всю дорогу в ушах у меня то была барабанная дробь и свистела флейта, то слышались слова: «Братцы, помилосердуйте», то я слышал самоуверенный, гневный голос полковника, кричащего: «Будешь мазать? Будешь?» А между тем на сердце была почти физическая, доходившая до тошноты, тоска, такая, что я несколько раз останавливался, и мне казалось, что вот-вот меня вырвет всем тем ужасом, который вошел в меня от этого зрелища. Не помню, как я добрался домой и лег. Но только стал засыпать, услышал и увидал опять все и вскочил.

«Очевидно, он что-то знает такое, чего я не знаю, — думал я про полковника. — Если бы я знал то, что он знает, я бы понимал и то, что я видел, и это не мучило бы меня». Но сколько я ни думал, я не мог понять того, что знает полковник, и заснул только к вечеру, и то после того, как пошел к приятелю и напился с ним совсем пьян.

Что ж, вы думаете, что я тогда решил, что то, что я видел, было — дурное дело? Ничуть. «Если это делалось с такой уверенностью и признавалось всеми необходимым, то, стало быть, они знали что-то такое, чего я не знал», — думал я и старался узнать это. Но сколько ни старался — и потом не мог узнать этого. А не узнав, не мог поступить в военную службу, как хотел прежде, и не только не служил в военной, но нигде не служил и никуда, как видите, не годился.

— Ну, это мы знаем, как вы никуда не годились, —



сказал один из нас. — Скажите лучше: сколько бы людей никуда не годились, кабы вас не было.

— Ну, это уж совсем глупости, — с искренней досадой сказал Иван Васильевич.

— Ну, а любовь что? — спросили мы.

— Любовь? Любовь с этого дня пошла на убыль. Когда она, как это часто бывало с ней, с улыбкой на лице, задумывалась, я сейчас же вспоминал полковника на площади, и мне становилось как-то неловко и неприятно, и я стал реже видаться с ней. И любовь так и сошла на нет. Так вот какие бывают дела и от чего переменяется и направляется вся жизнь человека. А вы говорите... — закончил он.

Ясная Поляна, 20 августа 1903 г.

АССИРИЙСКИЙ ЦАРЬ АСАРХАДОН

Ассирийский царь Асархадон завоевал царство царя Лаилиэ, разорил и сжег все города, жителей всех перегнал в свою землю, воинов перебил, самого же царя Лаилиэ посадил в клетку.

Лежа ночью на своей постели, царь Асархадон думал о том, как казнить Лаилиэ, когда вдруг услышал подле себя шорох и, открыв глаза, увидел старца с длинной седой бородой и кроткими глазами.

— Ты хочешь казнить Лаилиэ? — спросил старец.

— Да, — отвечал царь. — Я только не придумал, какой казнью казнить его.

— Да ведь Лаилиэ это ты, — сказал старец.

— Это неправда, — сказал царь, — я — я, а Лаилиэ — Лаилиэ.

— Ты и Лаилиэ — одно, — сказал старец. — Тебе только кажется, что ты не Лаилиэ и Лаилиэ не ты.

— Как кажется? — сказал царь. — Я вот лежу на мягком ложе, вокруг меня покорные мне рабы и рабыни, и завтра я буду так же, как сегодня, пировать с моими друзьями, а Лаилиэ, как птица, сидит в клетке и завтра будет с высунутым языком сидеть на колу и корчиться до тех пор, пока издохнет и тело его не будет разорвано псами.

— Ты не можешь уничтожить его жизнь, — сказал старец.

— А как же те четырнадцать тысяч воинов, которых я убил и из тел которых я сложил курган? — сказал

царь. — Я жив, а их нет; стало быть, я могу уничтожить жизнь.

— Почему ты знаешь, что их нет?

— Потому что я не вижу их. Главное же то, что они мучались, а я нет, им было дурно, а мне хорошо.

— И это тебе кажется. Ты мучал сам себя, а не их.

— Не понимаю, — сказал царь.

— Хочешь понять?

— Хочу.

— Подойди сюда, — сказал старец, указывая царю на купель, полную водой.

Царь встал и подошел к купели.

— Разденься и войди в купель.

Асархадон сделал то, что велел ему старец.

— Теперь, как только я начну лить на тебя эту воду, — сказал старец, зачерпнув воды в кружку, — окунься с головой.

Старец нагнул кружку над головой царя, и царь окунулся.

И только что царь Асархадон окунулся, он почувствовал себя уже не Асархадонем, а другим человеком. И вот, чувствуя себя этим другим человеком, он видит себя лежащим на богатой постели рядом с красавицей женщиной. Он никогда не видал этой женщины, но он знает, что это жена его. Женщина эта приподнимается и говорит ему: «Дорогой мой супруг Лаилиэ, ты устал от трудов вчерашнего дня и потому спал дольше обыкновенного, но я берегла твой покой и не будила тебя. Теперь же князья ожидают тебя в большой палате. Одевайся и выходи к ним».

И Асархадон, понимая из этих слов, что он — Лаилиэ, и не только не удивляясь этому, но удивляясь тому, что он до сих пор не знал этого, встает, одевается и идет в большую палату, где князья ожидают его.

Князья земным поклоном встречают своего царя Лаилиэ, потом встают и по его приказу садятся перед ним, и старший из князей начинает говорить о том, что нельзя долее терпеть всех оскорблений злого царя Асархадона и надо идти войной против него. Но Лаилиэ не соглашается с ним, а велит послать послов к Асархадону, чтобы усостыжить его, и отпускает князей.

После этого он назначает почтенных людей послами и внушает им подробно то, что они должны передать царю Асархадону.

Окончив эти дела, Асархадон, чувствуя себя Лаилиэм, выезжает в горы на охоту за дикими ослами. Охота удачна. Он сам убивает двух ослов и, возвратившись домой, пирует с своими друзьями, глядя на пляску невольниц.

На другой день, по обыкновению, он выходит на двор, где ожидают его просители, подсудимые и тяжущиеся, и решает представляемые ему дела. Окончив эти дела, он едет опять на любимую свою забаву — охоту. И в этот день ему удается самому убить старую львицу и захватить ее двух львенков. После охоты он опять пирует с своими друзьями, забавляясь музыкой и пляской, а ночь проводит с любимой женой своей.

Так живет он дни и недели, ожидая возвращения послов, отправленных к тому царю Асархадону, которым он был прежде. Послы возвращаются только через месяц и возвращаются с отрезанными носами и ушами.

Царь Асархадон велит сказать Лаилиэ, что то, что сделано с его послами, будет сделано и с ним, если он сейчас же не пришлет назначенную дань серебра, золота и кипарисового дерева и не приедет сам на поклон к нему.

Лаилиэ, бывший прежде Асархадон, опять собирает князей и советуется с ними о том, что надо делать. Все в один голос говорят, что надо, не дожидаясь нападения Асархадона, идти на него войною. Царь соглашается и, становясь во главе войска, идет в поход. Поход продолжается 7 дней. Каждый день царь объезжает войска и возбуждает мужество своих воинов. На 8-й день его войска сходятся с войсками Асархадона в широкой долине на берегу реки. Войска Лаилиэ храбро дерутся, но Лаилиэ, бывший прежде Асархадон, видит, что враги, как муравьи, сбегаются с гор, затопляют долину и одолевают его войска, и бросается на своей колеснице в середину битвы, колет и рубит врагов. Но воинов Лаилиэ сотни, а Асархадона тысячи, и Лаилиэ чувствует, что он ранен и что его берут в плен.

Девять дней он с другими пленниками идет связан-

ный среди воинов Асархадона. На 10-й день его приводят в Ниневию и сажают в клетку.

Лаилиэ страдает не столько от голода и раны, сколько от стыда и бессильной злобы. Он чувствует себя бессильным отплатить врагу за все зло, которое он терпит. Одно, что он может, это то, чтобы не доставить своим врагам радости видеть его страдания, и он твердо решил мужественно, без ропота, переносить все то, что с ним будет.

20 дней сидит он в клетке, ожидая казни. Он видит, как проводят на казнь его родных и друзей, слышит стоны казнимых, которым одним отрубают руки и ноги, с других с живых сдирают кожу, и не выказывают ни беспокойства, ни жалости, ни страха. Видит, как евнухи ведут связанную любимую жену его. Он знает, что ее ведут в рабыни к Асархадону. И он переносит и это без жалобы.

Но вот два палача отпирают клетку и, затянув ему ремнем руки за спиной, подводят его к залитому кровью месту казней. Лаилиэ видит острый окровавленный кол, с которого только что сорвали тело умершего на нем друга Лаилиэ, и догадывается, что кол этот освободили для его казни.

С него снимают одежду. Лаилиэ ужасается на худобу своего когда-то сильного красивого тела. Два палача подхватывают это тело за худые ляжки, поднимают и хотят опустить на кол.

— Сейчас смерть, уничтожение, — думает Лаилиэ и, забывая свое решение выдержать мужественно спокойствие до конца, рыдая, молит о пощаде. Но никто не слушает его.

— Да это не может быть, — думает он, — я, верно, сплю. Это сон. — И он делает усилие, чтобы проснуться. — Ведь я не Лаилиэ, я Асархадон, — думает он.

— Ты и Лаилиэ, ты и Асархадон, — слышит он какой-то голос и чувствует, что казнь начинается. Он вскрикивает и в то же мгновение высовывает голову из купели. Старец стоит над ним, выливая ему на голову последнюю воду из кружки.

— О, как ужасно мучался я! И как долго! — говорит Асархадон.

— Как долго? — говорит старец. — Ты только что окунул голову и тотчас опять высунул ее; видишь, вода из кружки еще не вся вылилась. Понял ли ты теперь?

Асархадон ничего не отвечает и только с ужасом глядит на старца.

— Понял ли ты теперь, — продолжает старец, — что Лаилиэ — это ты, и те воины, которых ты предал смерти — ты же. И не только воины, но и те звери, которых ты убивал на охоте и пожирал на своих пирах, были ты же. Ты думал, что жизнь только в тебе, но я сдернул с тебя покрывало обмана, и ты увидал, что, делая зло другим, ты делал его себе. Жизнь одна во всем, и ты проявляешь в себе только часть этой одной жизни. И только в этой одной части жизни, в себе, ты можешь улучшить или ухудшить, увеличить или уменьшить жизнь. Улучшить жизнь в себе ты можешь только тем, что будешь разрушать пределы, отделяющие твою жизнь от других существ, будешь считать другие существа собою — любить их. Уничтожить же жизнь в других существах не в твоей власти. Жизнь убитых тобою существ исчезла из твоих глаз, но не уничтожилась. Ты думал удлинить свою жизнь и укоротить жизнь других, но ты не можешь этого сделать. Для жизни нет ни времени, ни места. Жизнь мгновения и жизнь тысячи лет, и жизнь твоя и жизни всех видимых и невидимых существ мира равны. Жизнь уничтожить и изменить нельзя, потому что она одна только и есть. Все остальное нам только кажется.

Сказав это, старец исчез.

На другое утро царь Асархадон велел отпустить Лаилиэ и всех пленных и прекратил казни.

На третий день он призвал сына своего Ашурбанипала и передал ему царство, а сам сначала удалился в пустыню, обдумывая то, что узнал. А потом он стал ходить в виде странника по городам и селам, проповедуя людям, что жизнь одна и что люди делают зло только себе, когда хотят делать зло другим существам.

ХАДЖИ-МУРАТ

Я возвращался домой полями. Была самая середина лета. Луга убрали и только что собирались косить рожь.

Есть прелестный подбор цветов этого времени года: красные, белые, розовые, душистые, пушистые кашки; наглые маргаритки; молочно-белые с ярко-желтой серединой «любишь-не-любишь» с своей прелой пряной вонью; желтая сурепка с своим медовым запахом; высоко стоящие лиловые и белые тюльпановидные колокольчики; ползучие горошки; желтые, красные, розовые, лиловые, аккуратные скабиозы; с чуть розовым пухом и чуть слышным приятным запахом подорожник; васильки, ярко-синие на солнце и в молодости и голубые и краснеющие вечером и под старость; и нежные, с миндальным запахом, тотчас же вянущие, цветы повилики.

Я набрал большой букет разных цветов и шел домой, когда заметил в канаве чудный малиновый, в полном цвету, репей того сорта, который у нас называется «татаринном» и который старательно окашивают, а когда он нечаянно скошен, выкидывают из сена покосники, чтобы не колоть на него рук. Мне вздумалось сорвать этот репей и положить его в середину букета. Я слез в канаву и, согнав впившегося в середину цветка и сладко и вяло заснувшего там мохнатого шмеля, принялся срывать цветок. Но это было очень трудно: мало того что стебель колелся со всех сторон, даже через платок, которым я завернул руку, — он был так страшно крепок, что

я бился с ним минут пять, по одному разрывая волокна. Когда я, наконец, оторвал цветок, стебель уже был весь в лохмотьях, да и цветок уже не казался так свеж и красив. Кроме того, он по своей грубости и аляповатости не подходил к нежным цветам букета. Я пожалел, что напрасно погубил цветок, который был хорош в своем месте, и бросил его. «Какая, однако, энергия и сила жизни, — подумал я, вспоминая те усилия, с которыми я отрывал цветок. — Как он усиленно защищал и дорого продал свою жизнь».

Дорога к дому шла паровым, только что вспаханным черноземным полем. Я шел наизволок по пыльной черноземной дороге. Вспаханное поле было помещичье, очень большое, так что с обеих сторон дороги и вперед в гору ничего не было видно, кроме черного, ровно взборожденного, еще не скороженного пара. Пахота была хорошая, и нигде по полю не виднелось ни одного растения, ни одной травки, — все было черно. «Экое разрушительное, жестокое существо человек, сколько уничтожил разнообразных живых существ, растений для поддержания своей жизни», — думал я, невольно отыскивая чего-нибудь живого среди этого мертвого черного поля. Впереди меня, вправо от дороги, виднелся какой-то кустик. Когда я подошел ближе, я узнал в кустике такого же «татарина», которого цветок я напрасно сорвал и бросил.

Куст «татарина» состоял из трех отростков. Один был оторван, и, как отрубленная рука, торчал остаток ветки. На других двух было на каждом по цветку. Цветки эти когда-то были красные, теперь же были черные. Один стебель был сломан, и половина его, с грязным цветком на конце, висела книзу; другой, хотя и вымазанный черноземной грязью, все еще торчал кверху. Видно было, что весь кустик был переехан колесом и уже после поднялся и потому стоял боком, но все-таки стоял. Точно вырвали у него кусок тела, вывернули внутренности, оторвали руку, выкололи глаз. Но он все стоит и не сдается человеку, уничтожившему всех его братьев кругом его.

«Экая энергия! — подумал я. — Все победил человек, миллионы трав уничтожил, а этот все не сдается».

И мне вспомнилась одна давнишняя кавказская история, часть которой я видел, часть слышал от очевидцев, а часть вообразил себе. История эта, так, как она сложилась в моем воспоминании и воображении, вот такая.

I

Это было в конце 1851-го года.

В холодный ноябрьский вечер Хаджи-Мурат въезжал в курившийся душистым кизячным дымом чеченский мирной аул Махкет.

Только что затихло напряженное пение муэдзина, и в чистом горном воздухе, пропитанном запахом кизячного дыма, отчетливо слышны были из-за мычания коров и блеяния овец, разбиравшихся по тесно, как соты, слепленным друг с другом саклям аула, гортанные звуки спорящих мужских голосов и женские и детские голоса снизу от фонтана.

Хаджи-Мурат этот был знаменитый своими подвигами наиб Шамиля, не выезжавший иначе, как с своим значком в сопровождении десятков мюридов, джигитовавших вокруг него. Теперь, закутанный в башлык и бурку, из-под которой торчала винтовка, он ехал с одним мюридом, стараясь быть как можно меньше замеченным, осторожно вглядываясь своими быстрыми черными глазами в лица попадавшихся ему по дороге жителей.

Въехав в середину аула, Хаджи-Мурат поехал не по улице, ведшей к площади, а повернул влево, в узенький проулочек. Подъехав ко второй в проулочке, врытой в полугоре сакле, он остановился, оглядываясь. Под навесом перед саклей никого не было, на крыше же за свежесмазанной глиняной трубой лежал человек, укрытый тулупом. Хаджи-Мурат тронул лежавшего на крыше человека слегка рукояткой плетки и цокнул языком. Из-под тулупа поднялся старик в ночной шапке и лоснящемся, рваном бешмете. Глаза старика, без ресниц, были красны и влажны, и он, чтобы разлепить их, мигал ими. Хаджи-Мурат проговорил обычное: «Селям алейкум», — и открыл лицо.

— Алейкум селям, — улыбаясь беззубым ртом, проговорил старик, узнав Хаджи-Мурата, и, поднявшись на свои худые ноги, стал попадать ими в стоявшие подле трубы туфли с деревянными каблуками. Обувшись, он не торопясь надел в рукава нагольный сморщенный тулуп и полез задом вниз по лестнице, приставленной к крыше. И одеваясь и слезая, старик покачивал головой на тонкой сморщенной, загорелой шее и не переставая шамкал беззубым ртом. Сойдя на землю, он гостеприимно взялся за повод лошади Хаджи-Мурата и правое стремя. Но быстро слезший с своей лошади ловкий, сильный мюрид Хаджи-Мурата, отстранив старика, заменил его.

Хаджи-Мурат слез с лошади и, слегка прихрамывая, вошел под навес. Навстречу ему из двери быстро вышел лет пятнадцати мальчик и удивленно уставился черными, как спелая смородина, блестящими глазами на приехавших.

— Беги в мечеть, зови отца, — приказал ему старик и, опередив Хаджи-Мурата, отворил ему легкую скрипнувшую дверь в саклю. В то время как Хаджи-Мурат входил, из внутренней двери вышла немолодая, тонкая, худая женщина, в красном бешмете на желтой рубахе и синих шароварах, неся подушки.

— Приход твой к счастью, — сказала она и, перегнувшись вдвое, стала раскладывать подушки у передней стены для сидения гостя.

— Сыновья твои да чтобы живы были, — ответил Хаджи-Мурат, сняв с себя бурку, винтовку и шашку, и отдал их старику.

Старик осторожно повесил на гвозди винтовку и шашку подле висевшего оружия хозяина, между двумя большими тазами, блестящими на гладко вымазанной и чисто выбеленной стене.

Хаджи-Мурат, оправив на себе пистолет за спиною, подошел к разложенным женщиной подушкам и, захватив черкеску, сел на них. Старик сел против него на свои голые пятки и, закрыв глаза, поднял руки ладонями кверху. Хаджи-Мурат сделал то же. Потом они оба, прочтя молитву, огладили себе руками лица, соединив их в конце бороды.

— Не хабар? — спросил Хаджи-Мурат старика, то есть: «что нового?»

— Хабар иок — «нет нового», — отвечал старик, глядя не в лицо, а на грудь Хаджи-Мурата своими красными безжизненными глазами. — Я на пчельнике живу, нынче только пришел сына проведать. Он знает.

Хаджи-Мурат понял, что старик не хочет говорить того, что знает и что нужно было знать Хаджи-Мурату, и, слегка кивнув головой, не стал больше спрашивать.

— Хорошего нового ничего нет, — заговорил старик. — Только и нового, что все зайцы совещаются, как им орлов прогнать. А орлы всё рвут то одного, то другого. На прошлой неделе русские собаки у мичицких сено сожгли, раздерись их лицо, — злобно прохрипел старик.

Вошел мюрид Хаджи-Мурата и, мягко ступая большими шагами своих сильных ног по земляному полу, так же как Хаджи-Мурат, снял бурку, винтовку и шашку и, оставив на себе только кинжал и пистолет, сам повесил их на те же гвозди, на которых висело оружие Хаджи-Мурата.

— Он кто? — спросил старик у Хаджи-Мурата, указывая на вошедшего.

— Мюрид мой. Элдар имя ему, — сказал Хаджи-Мурат.

— Хорошо, — сказал старик и указал Элдару место на войлоке, подле Хаджи-Мурата.

Элдар сел, скрестив ноги, и молча уставился своими красивыми бараньими глазами на лицо разговарившего старика. Старик рассказывал, как ихние молодцы на прошлой неделе поймали двух солдат: одного убили, а другого послали в Ведено к Шамилю. Хаджи-Мурат рассеянно слушал, поглядывая на дверь и прислушиваясь к наружным звукам. Под навесом перед саклей слышались шаги, дверь скрипнула, и вошел хозяин.

Хозяин сакли, Садо, был человек лет сорока, с маленькой бородкой, длинным носом и такими же черными, хотя и не столь блестящими глазами, как у пятнадцатилетнего мальчика, его сына, который бегал за ним и вместе с отцом вошел в саклю и сел у двери. Сняв у двери деревянные башмаки, хозяин сдвинул на

затылок давно не бритой, зарастающей черным волосом головы старую, истертую папаху и тотчас же сел против Хаджи-Мурата на корточки.

Так же как и старик, он, закрыв глаза, поднял руки ладонями кверху, прочел молитву, отер руками лицо и только тогда начал говорить. Он сказал, что от Шамиля был приказ задержать Хаджи-Мурата, живого или мертвого, что вчера только уехали посланные Шамиля, и что народ боится послушаться Шамиля, и что поэтому надо быть осторожным.

— У меня в доме, — сказал Садо, — моему кунаку, пока я жив, никто ничего не сделает. А вот в поле как? Думать надо.

Хаджи-Мурат внимательно слушал и одобрительно кивал головой. Когда Садо кончил, он сказал:

— Хорошо. Теперь надо послать к русским человека с письмом. Мой мюрид пойдет, только проводника надо.

— Брата Бату пошлю, — сказал Садо. — Позови Бату, — обратился он к сыну.

Мальчик, как на пружинах, вскочил на резвые ноги и быстро, махая руками, вышел из сакли. Минут через десять он вернулся с черно-загорелым, жилистым, коротконогим чеченцем в разлезавшейся желтой черкеске с оборванными бахромой рукавами и спущенных черных ноговицах. Хаджи-Мурат поздоровался с вновь пришедшим и тотчас же, также не теряя лишних слов, коротко сказал:

— Можешь свести моего мюрида к русским?

— Можно, — быстро, весело заговорил Бата. — Все можно. Против меня ни один чеченец не сумеет пройти. А то другой пойдет, все пообещает, да ничего не делает. А я могу.

— Ладно, — сказал Хаджи-Мурат. — За труды получишь три, — сказал он, выставляя три пальца.

Бата кивнул головой в знак того, что он понял, но прибавил, что ему дороги не деньги, а он из чести готов служить Хаджи-Мурату. Все в горах знают Хаджи-Мурата, как он русских свиней бил...

— Хорошо, — сказал Хаджи-Мурат. — Веревка хороша длинная, а речь короткая.

— Ну, молчать буду, — сказал Бата.

— Где Аргун заворачивает, против кручи, поляна в лесу, два стога стоят. Знаешь?

— Знаю.

— Там мои три конные меня ждут, — сказал Хаджи-Мурат.

— Айя! — кивая головой, говорил Бата.

— Спросишь Хан-Магому. Хан-Магома знает, что делать и что говорить. Его свести к русскому начальнику, к Воронцову, князю. Можешь?

— Сведу.

— Свести и назад привести. Можешь?

— Можно.

— Сведешь, вернешься в лес. И я там буду.

— Все сделаю, — сказал Бата, поднялся и, приложив руки к груди, вышел.

— Еще человека в Гехи послать надо, — сказал Хаджи-Мурат хозяину, когда Бата вышел. — В Гехах надо вот что, — начал было он, взявшись за один из хозырей черкески, но тотчас же опустил руку и замолчал, увидав входивших в саклю двух женщин.

Одна была жена Садо, та самая немолодая, худая женщина, которая укладывала подушки. Другая была совсем молодая девочка в красных шароварах и зеленом бешмете, с закрывавшей всю грудь занавеской из серебряных монет. На конце ее не длинной, но толстой, жесткой черной косы, лежавшей между плеч худой спины, был привешен серебряный рубль; такие же черные, смородинные глаза, как у отца и брата, весело блестя в молодом, старавшемся быть строгим лице. Она не смотрела на гостей, но видно было, что чувствовала их присутствие.

Жена Садо несла низкий круглый столик, на котором были чай, пильгиши, блины в масле, сыр, чурёк — тонко раскатанный хлеб — и мед. Девочка несла таз, кумган и полотенце.

Садо и Хаджи-Мурат — оба молчали во все время, пока женщины, тихо двигаясь в своих красных бесподовенных чувяках, устанавливали принесенное перед гостями. Элдар же, устремив свои бараньи глаза на скрещенные ноги, был неподвижен, как статуя, во все то время, пока женщины были в сакле. Только когда жен-

щины вышли и совершенно затихли за дверью их мягкие шаги, Элдар облегченно вздохнул, а Хаджи-Мурат достал один из хозырей черкески, вынул из него пулю, затыкающую его, и из-под пули свернутую трубочкой записку.

— Сыну отдать, — сказал он, показывая записку.

— Куда ответ? — спросил Садо.

— Тебе, а ты мне доставишь.

— Будет сделано, — сказал Садо и переложил записку в хозырь своей черкески. Потом, взяв в руки кумган, он придвинул к Хаджи-Мурату таз. Хаджи-Мурат засучил рукава бешмета на мускулистых, белых выше кистей руках и подставил их под струю холодной прозрачной воды, которую лил из кумгана Садо. Вытерев руки чистым суровым полотенцем, Хаджи-Мурат подвинулся к еде. То же сделал и Элдар. Пока гости ели, Садо сидел против них и несколько раз благодарил за посещение. Сидевший у двери мальчик, не спуская своих блестящих черных глаз с Хаджи-Мурата, улыбался, как бы подтверждая своей улыбкой слова отца.

Несмотря на то, что Хаджи-Мурат более суток ничего не ел, он съел только немного хлеба, сыра и, достав из-под кинжала ножичек, набрал меду и намазал его на хлеб.

— Наш мед хороший. Нынешний год из всех годов мед: и много и хорош, — сказал старик, видимо довольный тем, что Хаджи-Мурат ел его мед.

— Спасибо, — сказал Хаджи-Мурат и отстранился от еды.

Элдару хотелось еще есть, но он так же, как его мюршид, отодвинулся от стола и подал Хаджи-Мурату таз и кумган.

Садо знал, что, принимая Хаджи-Мурата, он рисковал жизнью, так как после ссоры Шамиля с Хаджи-Муратом было объявлено всем жителям Чечни, под угрозой казни, не принимать Хаджи-Мурата. Он знал, что жители аула всякую минуту могли узнать про присутствие Хаджи-Мурата в его доме и могли потребовать его выдачи. Но это не только не смущало, но радовало Садо. Садо считал своим долгом защищать гостя — кунака, хотя бы это стоило ему жизни, и он радовался на себя, гордился собой за то, что поступает так, как должно.

— Пока ты в моем доме и голова моя на плечах, никто тебе ничего не сделает, — повторил он Хаджи-Мурату.

Хаджи-Мурат внимательно посмотрел в его блестящие глаза и, поняв, что это была правда, несколько торжественно сказал:

— Да получишь ты радость и жизнь.

Садо молча прижал руку к груди в знак благодарности за доброе слово.

Закрыв ставни сакли и затопив сучья в камине, Садо в особенно веселом и возбужденном состоянии вышел из кунацкой и вошел в то отделение сакли, где жило все его семейство. Женщины еще не спали и говорили об опасных гостях, которые ночевали у них в кунацкой.

II

В эту самую ночь из передовой крепости Воздвиженской, в пятнадцати верстах от аула, в котором ночевал Хаджи-Мурат, вышли из укрепления за Чахгиринские ворота три солдата с унтер-офицером. Солдаты были в полушубках и папахах, с скатанными шинелями через плечо и больших сапогах выше колена, как тогда ходили кавказские солдаты. Солдаты с ружьями на плечах шли сначала по дороге, потом, пройдя шагов пятьсот, свернули с нее и, шурша сапогами по сухим листьям, прошли шагов двадцать вправо и остановились у сломанной чинары, черный ствол которой виднелся и в темноте. К этой чинаре высылался обыкновенно секрет.

Яркие звезды, которые как бы бежали по макушкам дерев, пока солдаты шли лесом, теперь остановились, ярко блестя между оголенных ветвей дерев.

— Спасибо — сухо, — сказал унтер-офицер Панов, снимая с плеча длинное с штыком ружье, и, брякнув им, прислонил его к стволу дерева. Три солдата сделали то же.

— А ведь и есть — потерял, — сердито проворчал Панов, — либо забыл, либо выскочила дорогой.

— Чего ищешь-то? — спросил один из солдат бодрым, веселым голосом.

- Трубку, черт ее знает куда запропала!
- Чубук-то цел? — спросил бодрый голос.
- Чубук — вот он.
- А в землю прямо?
- Ну, где там.
- Это мы наладим живо.

Курить в секрете запрещалось, но секрет этот был почти не секрет, а скорее передовой караул, который высылался затем, чтобы горцы не могли незаметно подвезти, как они это делали прежде, орудие и стрелять по укреплению, и Панов не считал нужным лишать себя курения и потому согласился на предложение веселого солдата. Веселый солдат достал из кармана ножик и стал копать землю. Выкопав ямку, он обгладил ее, приладил к ней чубучок, потом наложил табаку в ямку, прижал его, и трубка была готова. Серничок загорелся, осветив на мгновение скуластое лицо лежавшего на брюхе солдата. В чубуке засвистело, и Панов почувал приятный запах загоревшейся махорки.

— Наладил? — сказал он, поднимаясь на ноги.

— А то как же.

— Эка молодчина Авдеев! Прокурат малый. Ну-ка?

Авдеев отвалился набок, давая место Панову и выпуская дым изо рта.

Накурившись, между солдатами завязался разговор.

— А сказывали, ротный-то опять в ящик залез. Проигрался, вишь, — сказал один из солдат ленивым голосом.

— Отдаст, — сказал Панов.

— Известно, офицер хороший, — подтвердил Авдеев.

— Хороший, хороший, — мрачно продолжал начавший разговор, — а по моему совету, надо роте поговорить с ним: коли взял, так скажи, сколько, когда отдашь.

— Как рота рассудит, — сказал Панов, отрываясь от трубки.

— Известное дело, мир — большой человек, — подтвердил Авдеев.

— Надо, вишь, овса купить да сапоги к весне справиться, денежки нужны, а как он их забрал... — настаивал недовольный.



— Говорю, как рота хочет, — повторил Панов. — Не в первый раз: возьмет и отдаст.

В те времена на Кавказе каждая рота заведовала сама через своих выборных всем хозяйством. Она получала деньги от казны по шесть рублей пятьдесят копеек на человека и сама себя продовольствовала: сажала капусту, косила сено, держала свои повозки, щеголяла сытыми ротными лошадьми. Деньги же ротные находились в ящике, ключи от которого были у ротного командира, и случалось часто, что ротный командир брал взаймы из ротного ящика. Так было и теперь, и про это-то и говорили солдаты. Мрачный солдат Никитин хотел потребовать отчет от ротного, а Панов и Авдеев считали, что этого не нужно было.

После Панова покурил и Никитин и, подстелив под себя шинель, сел, прислонясь к дереву. Солдаты затихли. Только слышно было, как ветер шевелил высоко над головами макушки дерев. Вдруг из-за этого непрерывающегося тихого шелеста послышался вой, визг, плач, хохот шакалов.

— Вишь, проклятые, как заливаются, — сказал Авдеев.

— Это они с тебя смеются, что у тебя рожа набок, — сказал тонкий хохлацкий голос четвертого солдата.

Опять все затихло, только ветер шевелил сучья дерев, то открывая, то закрывая звезды.

— А что, Антоныч, — вдруг спросил веселый Авдеев Панова, — бывает тебе когда скучно?

— Какая же скука? — неохотно отвечал Панов.

— А мне другой раз так-то скучно, так скучно, что, кажись, и сам не знаю, что бы над собою сделал.

— Вишь ты! — сказал Панов.

— Я тогда деньги-то пропил, ведь это все от скуки. Накатило, накатило на меня. Думаю: дай пьян нарежусь.

— А бывает, с вина еще хуже.

— И это было. Да куда денешься?

— Да с чего ж скучаешь-то?

— Я-то? Да по дому скучаю.

— Что ж — богато жили?

— Не то что богачи, а жили справно. Хорошо жили.

И Авдеев стал рассказывать то, что он уже много раз рассказывал тому же Панову.

— Ведь я охотой за брата пошел, — рассказывал Авдеев. — У него ребята сам-пят! А меня только женили. Матушка просить стала. Думаю: что мне! Авось попомнят мое добро. Сходил к барину. Барин у нас хороший, говорит: «Молодец! ступай». Так и пошел за брата.

— Что ж, это хорошо, — сказал Панов.

— А вот веришь ли, Антоныч, теперь скучаю. И больше с того и скучаю, что зачем, мол, за брата пошел. Он, мол, теперь царствует, а ты вот мучаешься. И что больше думаю, то хуже. Такой грех, видно.

Авдеев помолчал.

— Аль покурим опять? — спросил Авдеев.

— Ну что ж, налаживай!

Но курить солдатам не пришлось. Только что Авдеев встал и хотел налаживать опять трубку, как из-за шелеста ветра послышались шаги по дороге. Панов взял ружье и толкнул ногой Никитина. Никитин встал на ноги и поднял шинель. Поднялся и третий — Бондаренко.

— А я, братцы, какой сон видел...

Авдеев шикнул на Бондаренку, и солдаты замерли, прислушиваясь. Мягкие шаги людей, обутых не в сапоги, приближались. Все явственнее и явственнее слышалось в темноте хрустение листьев и сухих веток. Потом послышался говор на том особенном, гортанном языке, которым говорят чеченцы. Солдаты теперь не только слышали, но и увидели две тени, проходившие в просвете между деревьями. Одна тень была пониже, другая — повыше. Когда тени поравнялись с солдатами, Панов, с ружьем на руку, вместе с своими двумя товарищами выступил на дорогу.

— Кто идет? — крикнул он.

— Чечен мирная, — заговорил тот, который был пониже. Это был Бата. — Ружье иок, шашка иок, — говорил он, показывая на себя, — Кинезь надо.

Тот, который был повыше, молча стоял подле своего товарища. На нем тоже не было оружия.

— Лазутчик. Значит — к полковому, — сказал Панов, объясняя своим товарищам.

— Кинезь Воронцов крепко надо, большой дело надо, — говорил Бата.

— Ладно, ладно, сведем, — сказал Панов. — Что ж, веди, что ли, ты с Бондаренкой, — обратился он к Авдееву, — а сдашь дежурному, приходи опять. Смотри, — сказал Панов, — осторожней, впереди себя вели идти. А то ведь эти гололобые — ловкачи.

— А что это? — сказал Авдеев, сделав движение ружьем с штыком, как будто он закалывает. — Пырну разок — и пар вон.

— Куда ж он годится, коли заколешь, — сказал Бондаренко. — Ну, марш!

Когда затихли шаги двух солдат с лазутчиками, Панов и Никитин вернулись на свое место.

— И черт их носит по ночам! — сказал Никитин.

— Стало быть, нужно, — сказал Панов. — А свежо стало, — прибавил он и, раскатав шинель, надел и сел к дереву.

Часа через два вернулся и Авдеев с Бондаренкой.

— Что же, сдали? — спросил Панов.

— Сдали. А у полкового еще не спят. Прямо к нему свели. А какие эти, братец ты мой, гололобые ребята хорошие, — продолжал Авдеев. — Ей-богу! Я с ними как разговорился.

— Ты, известно, разговорисься, — недовольно сказал Никитин.

— Право, совсем как российские. Один женатый. Марушка, говорю, бар? — Бар, говорит. — Баранчук, говорю, бар? — Бар. — Много? — Парочка, говорит. — Так разговорились хорошо. Хорошие ребята.

— Как же, хорошие, — сказал Никитин, — попадись ему только один на один, он тебе требуху выпустит.

— Должно, скоро светать будет, — сказал Панов.

— Да, уж звездочки потухать стали, — сказал Авдеев, усаживаясь.

И солдаты опять затихли.

III

В окнах казарм и солдатских домиков давно уже было темно, но в одном из лучших домов крепости светились еще все окна. Дом этот занимал полковой командир Куринского полка, сын главнокомандующего, флигель-адъютант князь Семен Михайлович Воронцов. Воронцов жил с женой, Марьей Васильевной, знаменитой петербургской красавицей, и жил в маленькой кавказской крепости роскошно, как никто никогда не жил здесь. Воронцову, и в особенности его жене, казалось, что они живут здесь не только скромной, но исполненной лишений жизнью; здешних же жителей жизнь эта удивляла своей необыкновенной роскошью.

Теперь, в двенадцать часов ночи, в большой гостиной, с ковром во всю комнату, с опущенными тяжелыми портьерами, за ломберным столом, освещенным четырьмя свечами, сидели хозяева с гостями и играли в карты. Один из играющих был сам хозяин, длиннолицый белокурый полковник с флигель-адъютантскими вензелями и аксельбантами, Воронцов; партнером его был кандидат Петербургского университета, недавно выписанный княгиней Воронцовой учитель для ее маленького сына от первого мужа, лохматый юноша угрюмого вида. Против них играли два офицера: один — широколицый, румяный, перешедший из гвардии, ротный командир Полторацкий, и, очень прямо сидевший, с холодным выражением красивого лица, полковой адъютант. Сама княгиня Марья Васильевна, крупная, большеглазая, чернобровая красавица, сидела подле Полторацкого, касаясь его ног своим кринолином и заглядывая ему в карты. И в ее словах, и в ее взглядах, и в улыбке, и во всех движениях ее тела, и в духах, которыми от нее пахло, было то, что доводило Полторацкого до забвения всего, кроме сознания ее близости, и он делал ошибку за ошибкой, все более и более раздражая своего партнера.

— Нет, это невозможно! Опять просолил туза! — весь покраснев, проговорил адъютант, когда Полторацкий скинул туза.

Полторацкий, точно проснувшись, не понимая глядел своими добрыми, широко расставленными черными глазами на недовольного адъютанта.

— Ну простите его! — улыбаясь, сказала Марья Васильевна. — Видите, я вам говорила, — обратилась она к Полторацкому.

— Да вы совсем не то говорили, — улыбаясь, сказал Полторацкий.

— Разве не то? — сказала она и также улыбнулась. И эта ответная улыбка так страшно взволновала и обрадовала Полторацкого, что он багрово покраснел и, схватив карты, стал мешать их.

— Не тебе мешать, — строго сказал адъютант и стал своей белой, с перстнем, рукой сдавать карты, так, как будто он только хотел поскорее избавиться от них.

В гостиную вошел камердинер князя и доложил, что князя требует дежурный.

— Извините, господа, — сказал Воронцов, с английским акцентом говоря по-русски. — Ты за меня, Marie, сядешь.

— Согласны? — спросила княгиня, быстро и легко вставая во весь свой высокий рост, шурша шелком и улыбаясь своей сияющей улыбкой счастливой женщины.

— Я всегда на все согласен, — сказал адъютант, очень довольный тем, что против него играет теперь совершенно не умеющая играть княгиня. Полторацкий же только развел руками, улыбаясь.

Роббер кончался, когда князь вернулся в гостиную. Он пришел особенно веселый и возбужденный.

— Знаете, что я вам предложу?

— Ну?

— Выпьете шампанского.

— На это я всегда готов, — сказал Полторацкий.

— Что же, это очень приятно, — сказал адъютант.

— Василий! подайте, — сказал князь.

— Зачем тебя звали? — спросила Марья Васильевна.

— Был дежурный и еще один человек.

— Кто? Что? — поспешно спросила Марья Васильевна.

— Не могу сказать, — пожав плечами, сказал Воронцов.

— Не можешь сказать, — повторила Марья Васильевна. — Это мы увидим.

Принесли шампанского. Гости выпили по стакану и, окончив игру и разочтясь, стали прощаться.

— Ваша рота завтра назначена в лес? — спросил князь Полторацкого.

— Моя. А что?

— Так мы увидимся завтра с вами, — сказал князь, слегка улыбаясь.

— Очень рад, — сказал Полторацкий, хорошенько не понимая того, что ему говорил Воронцов, и озабоченный только тем, как он сейчас пожмет большую белую руку Марьи Васильевны.

Марья Васильевна, как всегда, не только крепко пожала, но и сильно потрянула руку Полторацкого. И еще раз напомнив ему его ошибку, когда он пошел с бубен, она улыбнулась ему, как показалось Полторацкому, прелестной, ласковой и значительной улыбкой.

Полторацкий шел домой в том восторженном настроении, которое могут понимать только люди, как он, выросшие и воспитанные в свете, когда они, после месяцев уединенной военной жизни, вновь встречаются женщину из своего прежнего круга. Да еще такую женщину, как княгиня Воронцова.

Подойдя к домику, в котором он жил с товарищем, он толкнул входную дверь, но дверь была заперта. Он стукнул. Дверь не отпиралась. Ему стало досадно, и он стал барабанить в запертую дверь ногой и шашкой. За дверью послышались шаги, и Вавило, крепостной дворовый человек Полторацкого, откинул крючок.

— С чего вздумал запирать?! Болван!

— Да разве можно, Алексей Владимир...

— Опять пьян! Вот я тебе покажу, как можно...

Полторацкий хотел ударить Вавилу, но раздумал.

— Ну, черт с тобой. Свечу зажги.

— Сею минутую.

Вавило был действительно выпивши, а выпил он потому, что был на именинах у каптенармуса. Вернувшись домой, он задумался о своей жизни в сравнении с жизнью Ивана Макеича, каптенармуса. Иван Макеич имел доходы, был женат и надеялся через год выйти в чистую. Вавило же был мальчиком взят в верх, то есть в услужение господам, и вот уже ему было сорок с лишком лет, а он не женился и жил походной жизнью при своем безалаберном барине. Барин был хороший, дрался мало, но какая же это была жизнь! «Обещал дать вольную, когда вернется с Кавказа. Да куда же мне идти с вольной. Собачья жизнь!» — думал Вавило. И ему так захотелось спать, что он, боясь, чтобы кто-нибудь не вошел и не унес что-нибудь, закинул крючок и заснул.

Полторацкий вошел в комнату, где он спал вместе с товарищем Тихоновым.

— Ну что, проигрался? — сказал проснувшийся Тихонов.

— Аи нет, семнадцать рублей выиграл, и клико бутылочку распили.

— И на Марью Васильевну смотрел?

— И на Марью Васильевну смотрел, — повторил Полторацкий.

— Скоро уж вставать, — сказал Тихонов, — и в шесть надо уж выступать.

— Вавило, — крикнул Полторацкий. — Смотри, хорошенько буди меня завтра в пять.

— Как же вас будить, когда вы деретесь.

— Я говорю, чтоб разбудить. Слышал?

— Слушаю.

Вавило ушел, унося сапоги и платье.

А Полторацкий лег в постель и, улыбаясь, закурил папироску и потушил свечу. Он в темноте видел перед собою улыбающееся лицо Марьи Васильевны.

У Воронцовых тоже не сейчас заснули. Когда гости ушли, Марья Васильевна подошла к мужу и, остановившись перед ним, строго сказала:

— Eh bien, vous aller me dire ce que c'est?

— Mais, ma chère...

— Pas de «ma chère»! C'est un émissaire, n'est-ce pas?

— Quand même je ne puis pas vous le dire.

— Vous ne pouvez pas? Alors c'est moi qui vais vous le dire!

— Vous? ¹

— Хаджи-Мурат? да? — сказала княгиня, слышавшая уже несколько дней о переговорах с Хаджи-Муратом и предполагавшая, что у ее мужа был сам Хаджи-Мурат.

Воронцов не мог отрицать, но разочаровал жену в том, что был не сам Хаджи-Мурат, а только лазутчик, объявивший, что Хаджи-Мурат завтра выедет к нему в то место, где назначена рубка леса.

Среди однообразия жизни в крепости молодые Воронцовы — и муж и жена — были очень рады этому событию. Поговорив о том, как приятно будет это известие его отцу, муж с женой в третьем часу легли спать.

IV

После тех трех бессонных ночей, которые он провел, уходя от высланных против него мюридов Шамиля, Хаджи-Мурат заснул тотчас же, как только Садо вышел из сакли, пожелав ему спокойной ночи. Он спал не раздеваясь, облокотившись на руку, утонувшую локтем в подложенные ему хозяином пуховые красные подушки. Недалеко от него, у стены, спал Элдар. Элдар лежал на спине, раскинув широко свои сильные, молодые члены, так что высокая грудь его с черными хозырями на белой черкеске была выше откинувшейся свежebritой, синей головы, свалившейся с подушки. Оттопыренная, как у детей, с чуть покрывавшим ее пушком верхняя

¹ — Ну, ты скажешь мне, в чем дело?

— Но, дорогая...

— При чем тут «дорогая»? Это, конечно, лазутчик?

— Тем не менее я не могу тебе сказать.

— Не можешь? Ну, так я тебе скажу!

— Ты? (франц.)

губа его точно прихлебывала, сжимаясь и распускаясь. Он спал так же, как и Хаджи-Мурат: одетый, с пистолетом за поясом и кинжалом. В камине сакли догорали сучья, и в печурке чуть светился ночник.

В середине ночи скрипнула дверь в кунацкой, и Хаджи-Мурат тотчас же поднялся и взялся за пистолет. В комнату, мягко ступая по земляному полу, вошел Садо.

— Что надо? — спросил Хаджи-Мурат бодро, как будто никогда не спал.

— Думать надо, — сказал Садо, усаживаясь на корточки перед Хаджи-Муратом. — Женщина с крыши видела, как ты ехал, — сказал он, — и рассказала мужу, а теперь весь аул знает. Сейчас прибежала к жене соседка, сказывала, что старики собрались у мечети и хотят остановить тебя.

— Ехать надо, — сказал Хаджи-Мурат.

— Кони готовы, — сказал Садо и быстро вышел из сакли.

— Элдар, — прошептал Хаджи-Мурат, и Элдар, услышав свое имя и, главное, голос своего мюршида, вскочил на сильные ноги, оправляя папаху. Хаджи-Мурат надел оружие и бурку. Элдар сделал то же. И оба молча вышли из сакли под навес. Черноглазый мальчик подвел лошадей. На стук копыт по убитой дороге улицы чья-то голова высунулась из двери соседней сакли, и, стуча деревянными башмаками, пробежал какой-то человек в гору к мечети.

Месяца не было, но звезды ярко светили в черном небе, и в темноте видны были очертания крыш саклей и больше других здание мечети с минаретом в верхней части аула. От мечети доносился гул голосов.

Хаджи-Мурат, быстро прихватив ружье, вложил ногу в узкое стремя и, беззвучно, незаметно перекинув тело, неслышно сел на высокую подушку седла.

— Бог да воздаст вам! — сказал он, обращаясь к хозяину, отыскивая привычным движением правой ноги другое стремя, и чуть-чуть тронул мальчика, державшего лошадь, плетью, в знак того, чтобы он посторонился. Мальчик посторонился, и лошадь, как будто сама зная, что ей надо делать, бодрым шагом тронулась из

проулка на главную дорогу. Эддар ехал сзади; Садо, в шубе, быстро размахивая руками, почти бежал за ними, перебегая то на одну, то на другую сторону узкой улицы. У выезда, через дорогу, показалась движущаяся тень, потом — другая.

— Стой! Кто едет? Остановись! — крикнул голос, и несколько людей загородили дорогу.

Вместо того чтобы остановиться, Хаджи-Мурат выхватил пистолет из-за пояса и, прибавляя хода, направил лошадь прямо на заграждавших дорогу людей. Стоявшие на дороге люди разошлись, и Хаджи-Мурат, не оглядываясь, большой иноходью пустился вниз по дороге. Эддар большой рысью ехал за ним. Позади их щелкнули два выстрела, просвистели две пули, не задевшие ни его, ни Элдара. Хаджи-Мурат продолжал ехать тем же ходом. Отъехав шагов триста, он остановил слегка запыхавшуюся лошадь и стал прислушиваться. Впереди, внизу, шумела быстрая вода. Сзади слышны были перекликающиеся петухи в ауле. Из-за этих звуков послышался приближающийся лошадиный топот и говор позади Хаджи-Мурата. Хаджи-Мурат тронул лошадь и поехал тем же ровным прѐездом.

Ехавшие сзади скакали и скоро догнали Хаджи-Мурата. Их было человек двадцать верховых. Это были жители аула, решившие задержать Хаджи-Мурата или по крайней мере, для очистки себя перед Шамилем, сделать вид, что они хотят задержать его. Когда они приблизились настолько, что стали видны в темноте, Хаджи-Мурат остановился, бросив поводья, и, привычным движением левой руки отстегнув чехол винтовки, правой рукой вынул ее. Эддар сделал то же.

— Чего надо? — крикнул Хаджи-Мурат. — Взять хотите? Ну, бери! — И он поднял винтовку. Жители аула остановились.

Хаджи-Мурат, держа винтовку в руке, стал спускаться в лощину. Конные, не приближаясь, ехали за ним. Когда Хаджи-Мурат переехал на другую сторону лощины, ехавшие за ним верховые закричали ему, чтобы он выслушал то, что они хотят сказать. В ответ на это Хаджи-Мурат выстрелил из винтовки и пустил свою лошадь вскачь. Когда он остановил ее, погони за ним

уже не слышно было; не слышно было и петухов, а только яснее слышалось в лесу журчание воды и изредка плач филина. Черная стена леса была совсем близко. Это был тот самый лес, в котором дожидались его его мюриды. Подъехав к лесу, Хаджи-Мурат остановился и, забрав много воздуха в легкие, засвистал и потом затих, прислушиваясь. Через минуту такой же свист послышался из леса. Хаджи-Мурат свернул с дороги и поехал в лес. Проехав шагов сто, Хаджи-Мурат увидел сквозь стволы деревьев костер, тени людей, сидевших у огня, и до половины освещенную огнем стреноженную лошадь в седле.

Один из сидевших у костра людей быстро встал и подошел к Хаджи-Мурату, взявшись за повод и за стремя. Это был аварец Ханефи, названный брат Хаджи-Мурата, заведующий его хозяйством.

— Огонь потушить, — сказал Хаджи-Мурат, слезая с лошади. Люди стали раскидывать костер и топтать горевшие сучья.

— Был здесь Бата? — спросил Хаджи-Мурат, подходя к расстеленной бурке.

— Был, давно ушли с Хан-Магомой.

— По какой дороге пошли?

— По этой, — отвечал Ханефи, указывая на противоположную сторону той, по которой приехал Хаджи-Мурат.

— Ладно, — сказал Хаджи-Мурат и, сняв винтовку, стал заряжать ее. — Поберечься надо, гнались за мной, — сказал он, обращаясь к человеку, тушившему огонь.

Это был чеченец Гамзало. Гамзало подошел к бурке, взял лежавшую на ней в чехле винтовку и молча пошел на край поляны, к тому месту, из которого подъехал Хаджи-Мурат. Элдар, слезши с лошади, взял лошадь Хаджи-Мурата и, высоко подтянув обеим головы, привязал их к деревьям, потом, так же как Гамзало, с винтовкой за плечами стал на другой край поляны. Костер был потушен, и лес не казался уже таким черным, как прежде, и на небе, хотя и слабо, но светились звезды.

Поглядев на звезды, на Стожары, поднявшиеся уже на половину неба, Хаджи-Мурат рассчитал, что было

далеко за полночь и что давно уже была пора ночной молитвы. Он спросил у Ханефи кумган, всегда возимый с собой в сумках, и, надев бурку, пошел к воде.

Разувшись и совершив омовение, Хаджи-Мурат стал босыми ногами на бурку, потом сел на икры и, сначала заткнув пальцами уши и закрыв глаза, произнес, обращаясь на восток, обычные молитвы.

Окончив молитву, он вернулся на свое место, где были переметные сумы, и, сев на бурку, облокотил руки на колена и, опустив голову, задумался.

Хаджи-Мурат всегда верил в свое счастье. Затевая что-нибудь, он был вперед твердо уверен в удаче, — и все удавалось ему. Так это было, за редкими исключениями, во все продолжение его бурной военной жизни. Так, он надеялся, что будет и теперь. Он представлял себе, как он с войском, которое даст ему Воронцов, пойдет на Шамиля и захватит его в плен, и отомстит ему, и как русский царь наградит его, и он опять будет управлять не только Аварией, но и всей Чечней, которая покорится ему. С этими мыслями он не заметил, как заснул.

Он видел во сне, как он с своими молодцами, с песнью и криком «Хаджи-Мурат идет», летит на Шамиля и захватывает его с его женами, и слышит, как плачут и рыдают его жены. Он проснулся. Песня «Ля илляха», и крики: «Хаджи-Мурат идет», и плач жен Шамиля — это были вой, плач и хохот шакалов, который разбудил его. Хаджи-Мурат поднял голову, взглянул на светлевшее уже сквозь стволы деревьев небо на востоке и спросил у сидевшего поодаль от него мюрида о Хан-Магоме. Узнав, что Хан-Магома еще не возвращался, Хаджи-Мурат опустил голову и тотчас же опять задремал.

Разбудил его веселый голос Хана-Магомы, возвращавшегося с Батою из своего посольства. Хан-Магома тотчас же подсел к Хаджи-Мурату и стал рассказывать, как солдаты встретили их и проводили к самому князю, как он говорил с самим князем, как князь радовался и обещал утром встретить их там, где русские будут рубить лес, за Мичиком, на Шалинской поляне. Бата перебивал речь своего сотоварища, вставляя свои подробности.

Хаджи-Мурат расспросил подробно о том, какими именно словами отвечал Воронцов на предложение Хаджи-Мурата выйти к русским. И Хан-Магома и Бата в один голос говорили, что князь обещал принять Хаджи-Мурата как гостя и сделать так, чтобы ему хорошо было. Хаджи-Мурат расспросил еще про дорогу, и когда Хан-Магома заверил его, что он хорошо знает дорогу и прямо приведет туда, Хаджи-Мурат достал деньги и отдал Бате обещанные три рубля; своим же велел достать из переметных сум свое с золотой насечкой оружие и папаху с чалмою, самим же мюридам почиститься, чтобы приехать к русским в хорошем виде. Пока чистили оружие, седла, сбрую и коней, звезды померкли, стало совсем светло, и потянул пред-рассветный ветерок.

V

Рано утром, еще в темноте, две роты с топорами, под командой Полторацкого, вышли за десять верст за Чахгиринские ворота и, рассыпав цепь стрелков, как только стало светать, принялись за рубку леса. К восьми часам туман, сливавшийся с душистым дымом шипящих и трещащих на кострах сырых сучьев, начал подниматься кверху, и рубившие лес, прежде за пять шагов не выдавшие, а только слышавшие друг друга, стали видеть и костры, и заваленную деревьями дорогу, шедшую через лес; солнце то показывалось светлым пятном в тумане, то опять скрывалось. На полянке, поодаль от дороги, сидели на барабанах: Полторацкий с своим субалтерн-офицером Тихоновым, два офицера 3-й роты и бывший кавалергард, разжалованный за дуэль, товарищ Полторацкого по Пажескому корпусу, барон Фрезе. Вокруг барабанов валялись бумажки от закусок, окурки и пустые бутылки. Офицеры выпили водки, закусили и пили портер. Барабанщик откупоривал восьмую бутылку. Полторацкий, несмотря на то, что не выспался, был в том особенном настроении подъема душевных сил и доброго, беззаботного веселья, в котором он чувствовал себя всегда среди своих солдат и товарищей там, где могла быть опасность.

Между офицерами шел оживленный разговор о последней новости, смерти генерала Слепцова. В этой смерти никто не видел того важнейшего в этой жизни момента — окончания ее и возвращения к тому источнику, из которого она вышла, а виделось только молодечество лихого офицера, бросившегося с шашкой на горцев и отчаянно рубившего их.

Хотя все, в особенности побывавшие в делах офицеры, знали и могли знать, что на войне тогда на Кавказе, да и никогда нигде не бывает той рубки врукопашную шашками, которая всегда предполагается и описывается (а если и бывает такая рукопашная шашками и штыками, то рубят и колют всегда только бегущих), эта фикция рукопашной признавалась офицерами и придавала им ту спокойную гордость и веселость, с которой они, одни в молодецких, другие, напротив, в самых скромных позах, сидели на барабанах, курили, пили и шутили, не заботясь о смерти, которая, так же как и Слепцова, могла всякую минуту постигнуть каждого из них. И действительно, как бы в подтверждение их ожидания в середине их разговора влево от дороги послышался бодрящий, красивый звук винтовочного, резко щелкнувшего выстрела, и пулька, весело посвистывая, пролетела где-то в туманном воздухе и щелкнулась в дерево. Несколько грузно-громких выстрелов солдатских ружей ответили на неприятельский выстрел.

— Эге! — крикнул веселым голосом Полторацкий, — ведь это в цепи! Ну, брат Костя, — обратился он к Фрезе, — твое счастье. Иди к роте. Мы сейчас такое устроим сражение, что прелесть! И представление сделаем.

Разжалованный барон вскочил на ноги и быстрым шагом пошел в область дыма, где была его рота. Полторацкому подали его маленького каракового кабардинца, он сел на него и, выстроив роту, повел ее к цепи по направлению выстрелов. Цепь стояла на опушке леса перед спускающейся голой балкой. Ветер тянул на лес, и не только спуск балки, но и та сторона ее были ясно видны.

Когда Полторацкий подъехал к цепи, солнце выглянуло из-за тумана, и на противоположной стороне балки,

у другого начинавшегося там мелкого леса, сажен за сто, виднелось несколько всадников. Чеченцы эти были те, которые преследовали Хаджи-Мурата и хотели видеть его приезд к русским. Один из них выстрелил по цепи. Несколько солдат из цепи ответили ему. Чеченцы отъехали назад, и стрельба прекратилась. Но когда Полторацкий подошел с ротой, он велел стрелять, и только что была передана команда, по всей линии цепи послышался непрерывный веселый, бодрящий треск ружей, сопровождаемый красиво расходившимися дымками. Солдаты, радуясь развлечению, торопились заряжать и выпускали заряд за зарядом. Чеченцы, очевидно, почувствовали задор и, выскакивая вперед, один за другим выпустили несколько выстрелов по солдатам. Один из их выстрелов ранил солдата. Солдат этот был тот самый Авдеев, который был в секрете. Когда товарищи подошли к нему, он лежал кверху спиной, держа обеими руками рану в животе, и равномерно покачивался.

— Только стал ружье заряжать, слышу — чикнуло, — говорил солдат, бывший с ним в паре. — Смотрю, а он ружье выпустил.

Авдеев был из роты Полторацкого. Увидев собравшуюся кучку солдат, Полторацкий подъехал к ним.

— Что, брат, попало? — сказал он. — Куда?

Авдеев не отвечал.

— Только стал заряжать, ваше благородие, — заговорил солдат, бывший в паре с Авдеевым, — слышу — чикнуло, смотрю — он ружье выпустил.

— Те-те, — пощелкал языком Полторацкий. — Что же, больно, Авдеев?

— Не больно, а идти не дает. Винца бы, ваше благородие.

Водка, то есть спирт, который пили солдаты на Кавказе, нашелся, и Панов, строго нахмурившись, поднес Авдееву крышку спирта. Авдеев начал пить, но тотчас же отстранил крышку рукой.

— Не примает душа, — сказал он. — Пей сам.

Панов допил спирт. Авдеев опять попытался подняться и опять сел. Расстелили шинель и положили на нее Авдеева.

— Ваше благородие, полковник едет, — сказал фельдфебель Полторацкому.

— Ну ладно, распорядись ты, — сказал Полторацкий и, взмахнув плетью, поехал большой рысью навстречу Воронцову.

Воронцов ехал на своем английском, кровном рыжем жеребце, сопровождаемый адъютантом полка, казаком и чеченцем-переводчиком.

— Что это у вас? — спросил он Полторацкого.

— Да вот выехала партия, напала на цепь, — отвечал ему Полторацкий.

— Ну-ну, и всё вы затеяли.

— Да не я, князь, — улыбаясь, сказал Полторацкий, — сами лезли.

— Я слышал, солдата ранили?

— Да, очень жаль. Солдат хороший.

— Тяжело?

— Кажется, тяжело, — в живот.

— А я, вы знаете, куда еду? — спросил Воронцов.

— Не знаю.

— Неужели не догадываетесь?

— Нет.

— Хаджи-Мурат вышел и сейчас встретит нас.

— Не может быть!

— Вчера лазутчик от него был, — сказал Воронцов, с трудом сдерживая улыбку радости. — Сейчас должен ждать меня на Шалинской поляне; так вы рассыпьте стрелков до поляны и потом приезжайте ко мне.

— Слушаю, — сказал Полторацкий, приложив руку к папахе, и поехал к своей роте. Сам он свел цепь на правую сторону, с левой же стороны велел это сделать фельдфебелю. Раненого между тем четыре солдата унесли в крепость.

Полторацкий уже возвращался к Воронцову, когда увидел сзади себя догоняющих его верховых. Полторацкий остановился и подождал их.

Впереди всех ехал на белогривом коне, в белой черкеске, в чалме на папахе и в отделанном золотом оружии человек внушительного вида. Человек этот был Хаджи-Мурат. Он подъехал к Полторацкому и сказал

ему что-то по-татарски. Полторацкий, подняв брови, развел руками в знак того, что не понимает, и улыбнулся. Хаджи-Мурат ответил улыбкой на улыбку, и улыбка эта поразила Полторацкого своим детским добродушием. Полторацкий никак не ожидал видеть таким этого страшного горца. Он ожидал мрачного, сухого, чуждого человека, а перед ним был самый простой человек, улыбавшийся такой доброй улыбкой, что он казался не чужим, а давно знакомым приятелем. Только одно было в нем особенное: это были его широко расставленные глаза, которые внимательно, пронизательно и спокойно смотрели в глаза другим людям.

Свита Хаджи-Мурата состояла из четырех человек. Был в этой свите тот Хан-Магома, который нынче ночью ходил к Воронцову. Это был румяный, с черными, без век, яркими глазами, круглолицый человек, сияющий жизнерадостным выражением. Был еще коренастый волосатый человек с сросшимися бровями. Этот был тавлинец Ханефи, заведующий всем имуществом Хаджи-Мурата. Он вел с собой заводную лошадь с туго наполненными переметными сумами. Особенно же выделялись из свиты два человека: один — молодой, тонкий, как женщина, в поясе и широкий в плечах, с чуть пробивающейся русой бородкой, красавец с бараными глазами, — это был Элдар, и другой, кривой на один глаз, без бровей и без ресниц, с рыжей подстриженной бородой и шрамом через нос и лицо, — чеченец Гамзало.

Полторацкий указал Хаджи-Мурату на показавшегося по дороге Воронцова. Хаджи-Мурат направился к нему и, подъехав вплоть, приложил правую руку к груди и сказал что-то по-татарски и остановился. Чеченец-переводчик перевел:

— Отдаюсь, говорит, на волю русского царя, хочу, говорит, послужить ему. Давно хотел, говорит. Шамиль не пускал.

Выслушав переводчика, Воронцов протянул руку в замшевой перчатке Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат взглянул на эту руку, секунду помедлил, но потом крепко сжал ее и еще сказал что-то, глядя то на переводчика, то на Воронцова.

— Он, говорит, ни к кому не хотел выходить, а только к тебе, потому ты сын сардаря. Тебя уважал крепко.

Воронцов кивнул головой в знак того, что благодарит. Хаджи-Мурат еще сказал что-то, указывая на свою свиту.

— Он говорит, что люди эти, его мюриды, будут так же, как и он, служить русским.

Воронцов оглянулся на них, кивнул и им головой.

Веселый, черноглазый, без век, Хан-Магома, также кивая головой, что-то, должно быть, смешное проговорил Воронцову, потому что волосатый аварец оскалил улыбкой ярко-белые зубы. Рыжий же Гамзало только блеснул на мгновение одним своим красным глазом на Воронцова и опять уставился на уши своей лошади.

Когда Воронцов и Хаджи-Мурат, сопровождаемые свитой, проезжали назад к крепости, солдаты, снятые с цепи и собравшиеся кучкой, делали свои замечания:

— Сколько душ загубил, проклятый, теперь, поди, как его ублагодворять будут, — сказал один.

— А то как же. Первый камандер у Шмеля был. Теперь, небось...

— А молодчина, что говорить, джигит.

— А рыжий-то, рыжий, — как зверь, косится.

— Ух, собака, должно быть.

Все особенно заметили рыжего.

Там, где шла рубка, солдаты, бывшие ближе к дороге, выбегали смотреть. Офицер крикнул на них, но Воронцов остановил его.

— Пускай посмотрят своего старого знакомого. Ты знаешь, кто это? — спросил Воронцов у ближе стоявшего солдата, медленно выговаривая слова с своим аглицким акцентом.

— Никак нет, ваше сиятельство.

— Хаджи-Мурат, — слышал?

— Как не слышать, ваше сиятельство, били его много раз.

— Ну, да и от него доставалось.

— Так точно, ваше сиятельство, — отвечал солдат, довольный тем, что удалось поговорить с начальником.

Хаджи-Мурат понимал, что говорят про него, и веселая улыбка светилась в его глазах. Воронцов в самом веселом расположении духа вернулся в крепость.

VI

Воронцов был очень доволен тем, что ему, именно ему, удалось выманить и принять главного, могущественнейшего, второго после Шамиля, врага России. Одно было неприятно: командующий войсками в Воздвиженской был генерал Меллер-Закомельский, и, по-настоящему, надо было через него вести все дело. Воронцов же сделал все сам, не донося ему, так что могла выйти неприятность. И эта мысль отравляла немного удовольствие Воронцова.

Подъехав к своему дому, Воронцов поручил полковому адъютанту мюридов Хаджи-Мурата, а сам ввел его к себе в дом.

Княгиня Марья Васильевна, нарядная, улыбающаяся, вместе с сыном, шестилетним красавцем, кудрявым мальчиком, встретила Хаджи-Мурата в гостиной, и Хаджи-Мурат, приложив свои руки к груди, несколько торжественно сказал через переводчика, который вошел с ним, что он считает себя кунаком князя, так как он принял его к себе, а что вся семья кунака так же священна для кунака, как и он сам. И наружность и манеры Хаджи-Мурата понравились Марье Васильевне. То же, что он вспыхнул, покраснел, когда она подала ему свою большую белую руку, еще более расположило ее в его пользу. Она предложила ему сесть и, спросив его, пьет ли он кофей, велела подать. Хаджи-Мурат, однако, отказался от кофея, когда ему подали его. Он немного понимал по-русски, но не мог говорить, и когда не понимал, улыбался, и улыбка его понравилась Марье Васильевне так же, как и Полторацкому. Кудрявый же, востроглазый сынок Марьи Васильевны, которого мать называла Булькой, стоя подле матери, не спускал глаз

с Хаджи-Мурата, про которого он слышал как про необыкновенного воина.

Оставив Хаджи-Мурата у жены, Воронцов пошел в канцелярию, чтобы сделать распоряжение об извещении начальства о выходе Хаджи-Мурата. Написав донесение начальнику левого фланга, генералу Козловскому, в Грозную, и письмо отцу, Воронцов поспешил домой, боясь недовольства жены за то, что навязал ей чужого, страшного человека, с которым надо было обходиться так, чтобы и не обидеть и не слишком приласкать. Но страх его был напрасен. Хаджи-Мурат сидел на кресле, держа на колене Бульку, пасынка Воронцова, и, склонив голову, внимательно слушал то, что ему говорил переводчик, передавая слова смеющейся Марьи Васильевны. Марья Васильевна говорила ему, что если он будет отдавать всякому кунаку ту свою вещь, которую кунак этот похвалит, то ему скоро придется ходить, как Адаму...

Хаджи-Мурат при входе князя снял с колена удивленного и обиженного этим Бульку и встал, тотчас же переменяя игривое выражение лица на строгое и серьезное. Он сел только тогда, когда сел Воронцов. Продолжая разговор, он ответил на слова Марьи Васильевны тем, что такой их закон, что все, что понравилось кунаку, то надо отдать кунаку.

— Твой сын — кунак, — сказал он по-русски, глядя по курчавым волосам Бульку, влезшего ему опять на колени.

— Он прелестен, твой разбойник, — по-французски сказала Марья Васильевна мужу. — Булька стал любить его кинжалом — он подарил его ему.

Булька показал кинжал отчиму.

— C'est un objet de prix¹, — сказала Марья Васильевна.

— Il faudra trouver l'occasion de lui faire cadeau², — сказал Воронцов.

Хаджи-Мурат сидел, опустив глаза, и, глядя мальчика по курчавой голове, приговаривал:

— Джигит, джигит.

¹ Это ценная вещь (франц.).

² Надо будет найти случай отдарить его (франц.).

— Прекрасный кинжал, прекрасный, — сказал Воронцов, вынув до половины отточенный булатный кинжал с дорожкой посередине. — Благодарствуй.

— Спроси его, чем я могу услужить ему, — сказал Воронцов переводчику.

Переводчик передал, и Хаджи-Мурат тотчас же отвечал, что ему ничего не нужно, но что он просит, чтобы его теперь отвели в место, где бы он мог помолиться. Воронцов позвал камердинера и велел ему исполнить желание Хаджи-Мурата.

Как только Хаджи-Мурат остался один в отведенной ему комнате, лицо его изменилось: исчезло выражение удовольствия и то ласковости, то торжественности, и выступило выражение озабоченности.

Прием, сделанный ему Воронцовым, был гораздо лучше того, что он ожидал. Но чем лучше был этот прием, тем меньше доверял Хаджи-Мурат Воронцову и его офицерам. Он боялся всего: и того, что его схватят, закуют и сошлют в Сибирь или просто убьют, и потому был настороже.

Он спросил у пришедшего Элдара, где поместили мюридов, где лошади и не отобрали ли у них оружие.

Элдар донес, что лошади в княжеской конюшне, людей поместили в сарае, оружие оставили при них и переводчик угащивает их едою и чаем.

Хаджи-Мурат, недоумевая, покачал головой и, раздевшись, стал на молитву. Окончив ее, он велел принести себе серебряный кинжал и, одевшись и подпоясавшись, сел с ногами на тахту, дожидаясь того, что будет.

В пятом часу его позвали обедать к князю.

За обедом Хаджи-Мурат ничего не ел, кроме плова, которого он взял себе на тарелку из того самого места, из которого взяла себе Марья Васильевна.

— Он боится, чтобы мы не отравили его, — сказала Марья Васильевна мужу. — Он взял, где я взяла. — И тотчас обратилась к Хаджи-Мурату через переводчика, спрашивая, когда он теперь опять будет молиться. Хаджи-Мурат поднял пять пальцев и показал на солнце.

— Стало быть, скоро.

Воронцов вынул брегет и прижал пружинку, — часы пробили четыре и одну четверть. Хаджи-Мурата, оче-

видно, удивил этот звон, и он попросил позвонить еще и посмотреть часы.

— *Voilà l'occasion. Donnez-lui la montre*¹, — сказала Марья Васильевна мужу.

Воронцов тотчас предложил часы Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат приложил руку к груди и взял часы. Несколько раз он нажимал пружинку, слушал и одобрительно покачивал головой.

После обеда князю доложили об адъютанте Меллера-Закомельского.

Адъютант передал князю, что генерал, узнав об выходе Хаджи-Мурата, очень недоволен тем, что ему не было доложено об этом, и что он требует, чтобы Хаджи-Мурат сейчас же был доставлен к нему. Воронцов сказал, что приказание генерала будет исполнено, и, через переводчика передав Хаджи-Мурату требование генерала, попросил его идти вместе с ним к Меллеру.

Марья Васильевна, узнав о том, зачем приходил адъютант, тотчас же поняла, что между ее мужем и генералом может произойти неприятность, и, несмотря на все отговоры мужа, собралась вместе с ним и Хаджи-Муратом к генералу.

— *Vous feriez beaucoup mieux de rester; c'est mon affaire, mais pas la vôtre.*

— *Vous ne pouvez pas m'empêcher d'aller voir madame la générale*².

— Можно бы в другое время.

— А я хочу теперь.

Делать было нечего. Воронцов согласился, и они пошли все трое.

Когда они вошли, Меллер с мрачной учтивостью проводил Марью Васильевну к жене, адъютанту же велел проводить Хаджи-Мурата в приемную и не выпускать никуда до его приказания.

— *Прошу,* — сказал он Воронцову, отворяя дверь в кабинет и пропуская в нее князя вперед себя.

¹ Вот случай. Подари ему часы (*франц.*).

² — Ты сделала бы гораздо лучше, если бы осталась; это мое дело, а не твое.

— Ты не можешь препятствовать мне навестить генеральшу (*франц.*).

Войдя в кабинет, он остановился перед князем и, не прося его сесть, сказал:

— Я здесь воинский начальник, и потому все переговоры с неприятелем должны быть ведены через меня. Почему вы не донесли мне о выходе Хаджи-Мурата?

— Ко мне пришел лазутчик и объявил желание Хаджи-Мурата отдаться мне, — отвечал Воронцов, бледнея от волнения, ожидая грубой выходки разгневанного генерала и вместе с тем заражаясь его гневом.

— Я спрашиваю, почему не донесли мне?

— Я намеревался сделать это, барон, но...

— Я вам не барон, а ваше превосходительство.

И тут вдруг прорвалось долго сдерживаемое раздражение барона. Он высказал все, что давно накопело у него в душе.

— Я не затем двадцать семь лет служу своему государю, чтобы люди, со вчерашнего дня начавшие служить, пользуясь своими родственными связями, у меня под носом распоряжались тем, что их не касается.

— Ваше превосходительство! Я прошу вас не говорить того, что несправедливо, — перебил его Воронцов.

— Я говорю правду и не позволю... — еще раздражительнее заговорил генерал.

В это время, шурша юбками, вошла Марья Васильевна и за ней невысокая скромная дама, жена Меллера-Закомельского.

— Ну, полноте, барон, Simon не хотел вам сделать неприятности, — заговорила Марья Васильевна.

— Я, княгиня, не про то говорю...

— Ну, знаете, лучше оставим это. Знаете: худой спор лучше доброй ссоры. Что я говорю... — Она засмеялась.

И сердитый генерал покорился обворожительной улыбке красавицы. Под усами его мелькнула улыбка.

— Я признаю, что я был неправ, — сказал Воронцов, — но...

— Ну, и я погорячился, — сказал Меллер и подал руку князю.

Мир был установлен, и решено было на время оставить Хаджи-Мурата у Меллера, а потом отослать к начальнику левого фланга.

Хаджи-Мурат сидел рядом в комнате и, хотя не понимал того, что говорили, понял то, что ему нужно было понять: что они спорили о нем, и что его выход от Шамиля есть дело огромной важности для русских, и что поэтому, если только его не сошлют и не убьют, ему много можно будет требовать от них. Кроме того, понял он и то, что Меллер-Закомельский, хотя и начальник, не имеет того значения, которое имеет Воронцов, его подчиненный, и что важен Воронцов, а не важен Меллер-Закомельский; и поэтому, когда Меллер-Закомельский позвал к себе Хаджи-Мурата и стал расспрашивать его, Хаджи-Мурат держал себя гордо и торжественно, говоря, что вышел из гор, чтобы служить белому царю, и что он обо всем даст отчет только его сардару, то есть главнокомандующему, князю Воронцову, в Тифлисе.

VII

Раненого Авдеева снесли в госпиталь, помещавшийся в небольшом крытом тесом доме на выезде из крепости, и положили в общую палату на одну из пустых коек. В палате было четверо больных: один — метавшийся в жару тифозный, другой — бледный, с синевой под глазами, лихорадочный, дожидавшийся пароксизма и непрерывно зевавший, и еще два раненных в набеge три недели тому назад — один в кисть руки (этот был на ногах), другой в плечо (этот сидел на койке). Все, кроме тифозного, окружили принесенного и расспрашивали принесших.

— Другой раз палят, как горохом осыпают, и — ничего, а тут всего раз пяток выстрелили, — рассказывал один из принесших.

— Кому что назначено!

— Ох, — громко крякнул, сдерживая боль, Авдеев, когда его стали класть на койку. Когда же его положили, он нахмурился и не стонал больше, но только не переставая шевелил ступнями. Он держал рану руками и неподвижно смотрел перед собой.

Пришел доктор и велел перевернуть раненого, чтобы посмотреть, не вышла ли пуля сзади.

— Это что ж? — спросил доктор, указывая на перекрещивающиеся белые рубцы на спине и заду.

— Это старок, ваше высокоблагородие, — кряхтя, проговорил Авдеев.

Это были следы его наказания за пропитые деньги.

Авдеева опять перевернули, и доктор долго ковырял зондом в животе и нащупал пулю, но не мог достать ее. Перевязав рану и заклеив ее липким пластырем, доктор ушел. Во все время ковыряния раны и перевязывания ее Авдеев лежал с стиснутыми зубами и закрытыми глазами. Когда же доктор ушел, он открыл глаза и удивленно оглянулся вокруг себя. Глаза его были направлены на больных и фельдшера, но он как будто не видел их, а видел что-то другое, очень удивлявшее его.

Пришли товарищи Авдеева — Панов и Серёгин. Авдеев все так же лежал, удивленно глядя перед собою. Он долго не мог узнать товарищей, несмотря на то, что глаза его смотрели прямо на них.

— Ты, Пётра, чего домой приказать не хочешь ли? — сказал Панов.

Авдеев не отвечал, хотя и смотрел в лицо Панову.

— Я говорю, домой приказать не хочешь ли чего? — опять спросил Панов, трогая его за холодную ширококостую руку.

Авдеев как будто очнулся.

— А, Антоныч пришел!

— Да вот пришел. Не прикажешь ли чего домой? Серёгин напишет.

— Серёгин, — сказал Авдеев, с трудом переводя глаза на Серёгина, — напишешь?.. Так вот отпиши: «Сын, мол, ваш Петруха долго жить приказал». Завистовал брату. Я тебе нонче сказывал. А теперь, значит, сам рад. Не замай живет. Дай бог ему, я рад. Так и пропиши.

Сказав это, он долго молчал, уставившись глазами на Панова.

— Ну, а трубку нашел? — вдруг спросил он.

Панов покачал головой и не отвечал.

— Трубку, трубку, говорю, нашел? — повторил Авдеев.

— В сумке была.

— То-то. Ну, а теперь свечку мне дайте, я сейчас помирать буду, — сказал Авдеев.

В это время пришел Полторацкий проведать своего солдата.

— Что, брат, плохо? — сказал он.

Авдеев закрыл глаза и отрицательно покачал головой. Скуластое лицо его было бледно и строго. Он ничего не ответил и только опять повторил, обращаясь к Панову:

— Свечку дай. Помирать буду.

Ему дали свечу в руку, но пальцы не сгибались, и ее вложили между пальцев и придерживали. Полторацкий ушел, и пять минут после его ухода фельдшер приложил ухо к сердцу Авдеева и сказал, что он кончился.

Смерть Авдеева в реляции, которая была послана в Тифлис, описывалась следующим образом: «23 ноября две роты Куринского полка выступили из крепости для рубки леса. В середине дня значительное скопище горцев внезапно атаковало рубщиков. Цепь начала отступать, и в это время вторая рота ударила в штыки и опрокинула горцев. В деле легко ранены два рядовых и убит один. Горцы же потеряли около ста человек убитыми и ранеными».

VIII

В тот самый день, когда Петруха Авдеев кончался в Воздвиженском госпитале, его старик отец, жена брата, за которого он пошел в солдаты, и дочь старшего брата, девка-невеста, молотили овес на морозном току. Накануне выпал глубокий снег, и к утру сильно заморозило. Старик проснулся еще с третьими петухами и, увидав в замерзшем окне яркий свет месяца, слез с печи, обулся, надел шубу, шапку и пошел на гумно. Проработав там часа два, старик вернулся в избу и разбудил сына и баб. Когда бабы и девка пришли на гумно, ток был расчищен, деревянная лопата стояла воткнутой в белый сыпучий снег и рядом с нею метла прутьями вверх, и овсяные снопы были разостланы в два ряда, волоть с волотью, длинной веревкой по чистому току. Разобрали цепи и стали молотить, равномерно ладя

тремя ударами. Старик крепко бил тяжелым цепом, разбивая солому, девка ровным ударом била сверху, сноха отворачивала.

Месяц зашел, и начинало светать; и уже кончали веревку, когда старший сын, Аким, в полушубке и шапке вышел к работающим.

— Ты чего лодырничаетшь? — крикнул на него отец, останавливаясь молотить и опираясь на цеп.

— Лошадей убрать надо же.

— Лошадей убрать, — передразнил отец. — Старуха уберет. Бери цеп. Больно жирен стал. Пьяница!

— Ты, что ли, меня поил? — пробурчал сын.

— Чаго? — нахмурившись и пропуская удар, грозно спросил старик.

Сын молча взял цеп, и работа пошла в четыре цеха: трап, та-па-тап, трап, та-па-тап... Трап! — ударял после трех раз тяжелый цеп старика.

— Загривок-то, глянь, как у барина доброго. Вот у меня так портки не держатся, — проговорил старик, пропуская свой удар и только, чтобы не потерять такту, переворачивая в воздухе цепинкой.

Веревку кончили, и бабы граблями стали снимать солому.

— Дурак Петруха, что за тебя пошел. Из тебя бы в солдатах дурь-то повыбили бы, а он-то дома пятерых таких, как ты, стоил.

— Ну, будет, батюшка, — сказала сноха, откидывая разбитые связла.

— Да, корми вас сам-шест, а работы и от одного нету. Петруха, бывало, за двоих один работает, не то что...

По протоптанной из двора тропинке, скрипя по снегу новыми лаптями на туго обвязанных шерстяных онучах, подошла старуха. Мужики сгребали невняное зерно в ворох, бабы и девка заматали.

— Выборный заходил. На барщину всем кирпич возить, — сказала старуха. — Я завтракать собрала. Идите, что ль.

— Ладно. Чалого запряги и ступай, — сказал старик Акиму. — Да смотри, чтоб не так, как намедни, отвечать за тебя. Попомнишь Петруху.

— Как он был дома, его ругал, — огрызнулся теперь Аким на отца, — а нет его, меня глодаешь.

— Значит, стóишь, — так же сердито сказала мать. — Не с Петрухой тебя сменять.

— Ну, ладно! — сказал сын.

— То-то ладно. Муку пропил, а теперь говоришь: ладно.

— Про старые дрожжи поминать двожды, — сказала сноха, и все, положив цепи, пошли к дому.

Нелады между отцом и сыном начались уже давно, почти со времени отдачи Петра в солдаты. Уже тогда старик почувствовал, что он променял кукушку на ястреба. Правда, что по закону, как разумел его старик, надо было бездетному идти за семейного. У Акима было четверо детей, у Петра никого, но работник Петр был такой же, как и отец: ловкий, сметливый, сильный, выносливый и, главное, трудолюбивый. Он всегда работал. Если он проходил мимо работающих, так же как и делывал старик, он тотчас же брался помогать — или пройдет ряда два с косой, или навьет воз, или срубит дерево, или порубит дров. Старик жалел его, но делать было нечего. Солдатство было как смерть. Солдат был отрезанный ломоть, и поминать о нем — душу берeditь — незачем было. Только изредка, чтобы уколоть старшего сына, старик, как нынче, вспоминал его. Мать же часто поминала меньшего сына и уже давно, второй год, просила старика, чтобы он послал Петрухе деньжонок. Но старик отмалчивался.

Двор Авдеевых был богатый, и у старика были припрятаны деньжонки, но он ни за что не решился бы тронуть отложенного. Теперь, когда старуха услышала, что он поминает меньшего сына, она решила опять просить его, чтобы при продаже овса послать сыну хоть рублик. Так она и сделала. Оставшись вдвоем с стариком, после того как молодые ушли на барщину, она уговорила мужа из овсяных денег послать рубль Петрухе. Так что, когда из провеянных ворохов двенадцать четвертей овса были насыпаны на веретья в трое саней и веретья аккуратно зашпилены деревянными шпильками, она дала старику написанное под ее слова дьяч-

ком письмо, и старик обещал в городе приложить к письму рубль и послать по адресу.

Старик, одетый в новую шубу и кафтан и в чистых белых шерстяных онучах, взял письмо, уложил его в кошель и, помолившись богу, сел на передние сани и поехал в город. На задних санях ехал внук. В городе старик велел дворнику прочесть себе письмо и внимательно и одобрительно слушал его.

В письме Петрухиной матери было писано, во-первых, благословение, во-вторых, поклоны всех, известие о смерти крестного и под конец известие о том, что Аксинья (жена Петра) «не захотела с нами жить и пошла в люди. Слышно, что живет хорошо и честно». Упоминалось о гостинце, рубле, и прибавлялось то, что уже прямо от себя, и слово в слово, пригорюнившаяся старуха, со слезами на глазах, велела написать дьяку:

«А еще, милое мое дитяtko, голубок ты мой Петрушенька, выплакала я свои глазунки, о тебе сокрушаюсь. Солнушко мое ненаглядное, на кого ты меня оставил...» На этом месте старуха завывала, заплакала и сказала:

— Так и будет.

Так и осталось в письме, но Петрухе не суждено было получить ни это известие о том, что жена его ушла из дома, ни рубля, ни последних слов матери. Письмо это и деньги вернулись назад с известием, что Петруха убит на войне, «защищая царя, отечество и веру православную». Так написал военный писарь.

Старуха, получив это известие, повыла, покуда было время, а потом взялась за работу. В первое же воскресенье она пошла в церковь и раздала кусочки просвинок «добрым людям для поминания раба божия Петра».

Солдатка Аксинья тоже повыла, узнав о смерти «любимого мужа, с которым» она «пожила только один годочек». Она жалела и мужа и всю свою погубленную жизнь. И в своем вытье поминала «и русые кудри Петра Михайловича, и его любовь, и свое горькое житье с сиротой Ванькой», и горько упрекала «Петрушу за то, что он пожалел брата, а не пожалел ее горькую, по чужим людям скитальщицу».

В глубине же души Акси́нья была рада смерти Петра. Она была вновь брюхата от приказчика, у которого она жила, и теперь никто уже не мог ругать ее, и приказчик мог взять ее замуж, как он и говорил ей, когда склонял ее к любви.

IX

Воронцов, Михаил Семенович, воспитанный в Англии, сын русского посла, был среди русских высших чиновников человек редкого в то время европейского образования, честолюбивый, мягкий и ласковый в обращении с низшими и тонкий придворный в отношениях с высшими. Он не понимал жизни без власти и без покорности. Он имел все высшие чины и ордена и считался искусным военным, даже победителем Наполеона под Краоном. Ему в 51-м году было за семьдесят лет, но он еще был совсем свеж, бодро двигался и, главное, вполне обладал всей ловкостью тонкого и приятного ума, направленного на поддержание своей власти и утверждение и распространение своей популярности. Он владел большим богатством — и своим и своей жены, графини Браницкой, — и огромным получаемым содержанием в качестве наместника и тратил большую часть своих средств на устройство дворца и сада на южном берегу Крыма.

Вечером 7 декабря 1851 года к дворцу его в Тифлисе подъехала курьерская тройка. Усталый, весь черненький от пыли офицер, привезший от генерала Козловского известие о выходе к русским Хаджи-Мурата, разминая ноги, вошел мимо часовых в широкое крыльцо наместнического дворца. Было шесть часов вечера, и Воронцов шел к обеду, когда ему доложили о приезде курьера. Воронцов принял курьера не откладывая и потому на несколько минут опоздал к обеду. Когда он вошел в гостиную, приглашенные к столу, человек тридцать, сидевшие около княгини Елизаветы Ксаверьевны и стоявшие группами у окон, встали, повернулись лицом к вошедшему. Воронцов был в своем обычном черном военном сюртуке без эполет, с полупогончиками и

белым крестом на шее. Лисье бритое лицо его приятно улыбалось, и глаза щурились, оглядывая всех собравшихся.

Войдя мягкими, поспешными шагами в гостиную, он извинился перед дамами за то, что опоздал, поздоровался с мужчинами и подошел к грузинской княгине Манане Орбельяни, сорокапятилетней, восточного склада, полной, высокой красавице, и подал ей руку, чтобы вести ее к столу. Княгиня Елизавета Ксаверьевна сама подала руку приезжему рыжеватому генералу с щетинистыми усами. Грузинский князь подал руку графине Шуазэль, приятельнице княгини. Доктор Андреевский, адъютанты и другие, кто с дамами, кто без дам, пошли вслед за тремя парами. Лакеи в кафтанах, чулках и башмаках отодвигали и придвигали стулья садыщимся; метрдотель торжественно разливал дымящийся суп из серебряной миски.

Воронцов сел в середине длинного стола. Напротив его села княгиня, его жена, с генералом. Направо от него была его дама, красавица Орбельяни, налево — стройная, черная, румяная, в блестящих украшениях, княжна-грузинка, не переставая улыбающаяся.

— *Excellentes, chère amie,* — отвечал Воронцов на вопрос княгини о том, какие он получил известия с курьером. — *Simon a eu de la chance*¹.

И он стал рассказывать так, чтобы могли слышать все сидящие за столом, поразительную новость, — для него одного это не было вполне новостью, потому что переговоры велись уже давно, — о том, что знаменитый, храбрейший помощник Шамиля Хаджи-Мурат передался русским и нынче-завтра будет привезен в Тифлис.

Все обедавшие, даже молодежь, адъютанты и чиновники, сидевшие на дальних концах стола и перед этим о чем-то тихо смеявшиеся, все затихли и слушали.

— А вы, генерал, встречали этого Хаджи-Мурата? — спросила княгиня у своего соседа, рыжего генерала с щетинистыми усами, когда князь перестал говорить.

¹ Превосходные, милый друг, Семену повезло (франц.).

— И не раз, княгиня.

И генерал рассказал про то, как Хаджи-Мурат в 43-м году, после взятия горцами Гергебиля, наткнулся на отряд генерала Пассека и как он, на их глазах почти, убил полковника Золотухина.

Воронцов слушал генерала с приятной улыбкой, очевидно довольный тем, что генерал разговорился. Но вдруг лицо Воронцова приняло рассеянное и унылое выражение.

Разговорившийся генерал стал рассказывать про то, где он в другой раз столкнулся с Хаджи-Муратом.

— Ведь это он, — говорил генерал, — вы изволите помнить, ваше сиятельство, устроил в сухарную экспедицию засаду на выручке.

— Где? — переспросил Воронцов, щуя глаза.

Дело было в том, что храбрый генерал называл «выручкой» то дело в несчастном Даргинском походе, в котором действительно погиб бы весь отряд с князем Воронцовым, командовавшим им, если бы его не выручили вновь подошедшие войска. Всем было известно, что весь Даргинский поход, под начальством Воронцова, в котором русские потеряли много убитых и раненых и несколько пушек, был постыдным событием, и потому если кто и говорил про этот поход при Воронцове, то говорил только в том смысле, в котором Воронцов написал донесение царю, то есть, что это был блестящий подвиг русских войск. Словом же «выручка» прямо указывалось на то, что это был не блестящий подвиг, а ошибка, погубившая много людей. Все поняли это, и одни делали вид, что не замечают значения слов генерала, другие испуганно ожидали, что будет дальше; некоторые, улыбаясь, переглянулись.

Один только рыжий генерал с щетинистыми усами ничего не замечал и, увлеченный своим рассказом, спокойно ответил:

— На выручке, ваше сиятельство.

И раз заведенный на любимую тему, генерал подробно рассказал, как «этот Хаджи-Мурат так ловко разрезал отряд пополам, что, не приди нам на выручку, — он как будто с особенной любовью повторял слово «выручка», — тут бы все и остались, потому...»



Генерал не успел досказать все, потому что Манана Орбельяни, поняв, в чем дело, перебила речь генерала, расспрашивая его об удобствах его помещения в Тифлисе. Генерал удивился, оглянувшись на всех и на своего адъютанта в конце стола, упорным и значительным взглядом смотревшего на него, — и вдруг понял. Не отвечая княгине, он нахмурился, замолчал и стал поспешно есть, не жуя, лежавшее у него на тарелке утонченное кушанье непонятного для него вида и даже вкуса.

Всем стало неловко, но неловкость положения исправил грузинский князь, очень глупый, но необыкновенно тонкий и искусный льстец и придворный, сидевший по другую сторону княгини Воронцовой. Он, как будто ничего не замечая, громким голосом стал рассказывать про похищение Хаджи-Муратом вдовы Ахмет-хана Мехтулинского:

— Ночью вошел в селенье, схватил, что ему нужно было, и ускакал со всей партией.

— Зачем же ему нужна была именно женщина эта? — спросила княгиня.

— А он был враг с мужем, преследовал его, но нигде до самой смерти хана не мог встретить, так вот он отомстил на вдове.

Княгиня перевела это по-французски своей старой приятельнице, графине Шуазель, сидевшей подле грузинского князя.

— Quelle horreur! ¹ — сказала графиня, закрывая глаза и покачивая головой.

— О нет, — сказал Воронцов улыбаясь, — мне говорили, что он с рыцарским уважением обращался с пленницей и потом отпустил ее.

— Да, за выкуп.

— Ну разумеется, но все-таки он благородно поступил.

Эти слова князя дали тон дальнейшим рассказам про Хаджи-Мурата. Придворные поняли, что чем больше приписывать значения Хаджи-Мурату, тем приятнее будет князю Воронцову.

¹ Какой ужас! (франц.)

— Удивительная смелость у этого человека. Замечательный человек.

— Как же, в сорок девятом году он среди бела дня ворвался в Темир-Хан-Шуру и разграбил лавки.

Сидевший на конце стола армянин, бывший в то время в Темир-Хан-Шуре, рассказал про подробности этого подвига Хаджи-Мурата.

Вообще весь обед прошел в рассказах о Хаджи-Мурате. Все наперерыв хвалили его храбрость, ум, великодушие. Кто-то рассказал про то, как он велел убить двадцать шесть пленных; но и на это было обычное возражение:

— Что делать! *A la guerre comme à la guerre*¹.

— Это большой человек.

— Если бы он родился в Европе, это, может быть, был бы новый Наполеон, — сказал глупый грузинский князь, имеющий дар лести.

Он знал, что всякое упоминание о Наполеоне, за победу над которым Воронцов носил белый крест на шее, было приятно князю.

— Ну, хоть не Наполеон, но лихой кавалерийский генерал — да, — сказал Воронцов.

— Если не Наполеон, то Мюрат.

— И имя его — Хаджи-Мурат.

— Хаджи-Мурат вышел, теперь конец и Шамилю, — сказал кто-то.

— Они чувствуют, что им теперь (это теперь значило: при Воронцове) не выдержать, — сказал другой.

— *Tout cela est grâces à vous*², — сказала Манана Орбельяни.

Князь Воронцов старался умерить волны лести, которые начинали уже заливать его. Но ему было приятно, и он повел от стола свою даму в гостиную в самом хорошем расположении духа.

После обеда, когда в гостиной обносили кофе, князь особенно ласков был со всеми и, подойдя к генералу с рыжими щетинистыми усами, старался показать ему, что он не заметил его неловкости.

¹ На войне как на войне (франц.).

² Все это благодаря вам (франц.).

Обойдя всех гостей, князь сел за карты. Он играл только в старинную игру — ломбер. Партнерами князя были: грузинский князь, потом армянский генерал, выучившийся у камердинера князя играть в ломбер, и четвертый, — знаменитый по своей власти, — доктор Андреевский.

Поставив подле себя золотую табакерку с портретом Александра I, Воронцов разодрал атласные карты и хотел разостлать их, когда вошел камердинер, итальянец Джовани, с письмом на серебряном подносе.

— Еще курьер, ваше сиятельство.

Воронцов положил карты и, извинившись, распечатал и стал читать.

Письмо было от сына. Он описывал выход Хаджи-Мурата и столкновение с Меллер-Закомельским.

Княгиня подошла и спросила, что пишет сын.

— Все о том же. Il a eu quelques désagréments avec le commandant de la place. Simon a eu tort¹. But all is well what ends well², — сказал он, передавая жене письмо, и, обращаясь к почтительно дожидавшимся партнерам, попросил брать карты.

Когда сдали первую сдачу, Воронцов открыл табакерку и сделал то, что он делывал, когда был в особенно хорошем расположении духа: достал старчески сморщенными белыми руками щепотку французского табаку и поднес ее к носу и высыпал.

Х

Когда на другой день Хаджи-Мурат явился к Воронцову, приемная князя была полна народа. Тут был и вчерашний генерал с щетинистыми усами, в полной форме и орденах, приехавший откланяться; тут был и полковой командир, которому угрожали судом за злоупотребления по продовольствованию полка; тут был армянин-богач, покровительствуемый доктором Андреевским,

¹ У него были кое-какие неприятности с комендантом крепости. Семен был неправ (*франц.*).

² Но все хорошо, что хорошо кончается (*англ.*).

который держал на откупе водку и теперь хлопотал о возобновлении контракта; тут была, вся в черном, вдова убитого офицера, приехавшая просить о пенсии или о помещении детей на казенный счет; тут был разорившийся грузинский князь в великолепном грузинском костюме, выхлопатывавший себе упраздненное церковное поместье; тут был пристав с большим свертком, в котором был проект о новом способе покорения Кавказа; тут был один хан, явившийся только затем, чтобы рассказать дома, что он был у князя.

Все дожидались очереди и один за другим были вводимы красивым белокурым юношей-адъютантом в кабинет князя.

Когда в приемную вошел бодрым шагом, прихрамывая, Хаджи-Мурат, все глаза обратились на него, и он слышал в разных концах шепотом произносимое его имя.

Хаджи-Мурат был одет в длинную белую черкеску на коричневом, с тонким серебряным галуном на воротнике, бешмете. На ногах его были черные ноговицы и такие же чевяки, как перчатка обтягивающие ступни, на бритой голове — папаха с чалмой, — той самой чалмой, за которую он, по доносу Ахмет-Хана, был арестован генералом Клюгенау и которая была причиной его перехода к Шамилю. Хаджи-Мурат шел, быстро ступая по паркету приемной, покачиваясь всем тонким станом от легкой хромоты на одну, более короткую, чем другая, ногу. Широко расставленные глаза его спокойно глядели вперед и, казалось, никого не видели.

Красивый адъютант, поздоровавшись, попросил Хаджи-Мурата сесть, пока он доложит князю. Но Хаджи-Мурат отказался сесть и, заложив руку за кинжал и отставив ногу, продолжал стоять, презрительно оглядывая присутствующих.

Переводчик, князь Тарханов, подошел к Хаджи-Мурату и заговорил с ним. Хаджи-Мурат неохотно, отрывисто отвечал. Из кабинета вышел кумыцкий князь, жаловавшийся на пристава, и вслед за ним адъютант позвал Хаджи-Мурата, подвел его к двери кабинета и пропустил в нее.

Воронцов принял Хаджи-Мурата, стоя у края стола. Старое белое лицо главнокомандующего было не такое

улыбающееся, как вчера, а скорее строгое и торжественное.

Войдя в большую комнату с огромным столом и большими окнами с зелеными жалюзи, Хаджи-Мурат приложил свои небольшие, загорелые руки к тому месту груди, где перекрещивалась белая черкеска, и неторопливо, внятно и почтительно, на кумыцком наречии, на котором он хорошо говорил, опустив глаза, сказал:

— Отдаюсь под высокое покровительство великого царя и ваше. Обещаюсь верно, до последней капли крови служить белому царю и надеюсь быть полезным в войне с Шамилем, врагом моим и вашим.

Выслушав переводчика, Воронцов взглянул на Хаджи-Мурата, и Хаджи-Мурат взглянул в лицо Воронцова.

Глаза этих двух людей, встретившись, говорили друг другу многое, невыразимое словами, и уж совсем не то, что говорил переводчик. Они прямо, без слов, высказывали друг о друге всю истину: глаза Воронцова говорили, что он не верит ни одному слову из всего того, что говорил Хаджи-Мурат, что он знает, что он — враг всему русскому, всегда останется таким и теперь покоряется только потому, что принужден к этому. И Хаджи-Мурат понимал это и все-таки уверял в своей преданности. Глаза же Хаджи-Мурата говорили, что старику этому надо бы думать о смерти, а не о войне, но что он хоть и стар, но хитер, и надо быть осторожным с ним. И Воронцов понимал это и все-таки говорил Хаджи-Мурату то, что считал нужным для успеха войны.

— Скажи ему, — сказал Воронцов переводчику (он говорил «ты» молодым офицерам), — что наш государь так же милостив, как и могуществен, и, вероятно, по моей просьбе простит его и примет в свою службу. Передал? — спросил он, глядя на Хаджи-Мурата. — До тех же пор, пока получу милостивое решение моего повелителя, скажи ему, что я беру на себя принять его и сделать ему пребывание у нас приятным.

Хаджи-Мурат еще раз прижал руки к середине груди и что-то оживленно заговорил.

Он говорил, как передал переводчик, что и прежде, когда он управлял Аварией, в 39-м году, он верно служил русским и никогда не изменил бы им, если бы не враг его, Ахмет-Хан, который хотел погубить его и оклеветал перед генералом Клюгенау.

— Знаю, знаю, — сказал Воронцов (хотя он если и знал, то давно забыл все это). — Знаю, — сказал он, садясь и указывая Хаджи-Мурату на тахту, стоявшую у стены. Но Хаджи-Мурат не сел, пожав сильными плечами в знак того, что он не решается сидеть в присутствии такого важного человека.

— И Ахмет-Хан и Шамиль, оба — враги мои, — продолжал он, обращаясь к переводчику. — Скажи князю: Ахмет-Хан умер, я не мог отомстить ему, но Шамиль еще жив, и я не умру, не отплатив ему, — сказал он, нахмурив брови и крепко сжав челюсти.

— Да, да, — спокойно проговорил Воронцов. — Как же он хочет отплатить Шамилю? — сказал он переводчику. — Да скажи ему, что он может сесть.

Хаджи-Мурат опять отказался сесть и на переданный ему вопрос отвечал, что он затем и вышел к русским, чтобы помочь им уничтожить Шамиля.

— Хорошо, хорошо, — сказал Воронцов. — Что же именно он хочет делать? Садись, садись...

Хаджи-Мурат сел и сказал, что если только его пошлют на лезгинскую линию и дадут ему войско, то он ручается, что поднимет весь Дагестан, и Шамилю нельзя будет держаться.

— Это хорошо. Это можно, — сказал Воронцов. — Я подумаю.

Переводчик передал Хаджи-Мурату слова Воронцова. Хаджи-Мурат задумался.

— Скажи сардарю, — сказал он еще, — что моя семья в руках моего врага; и до тех пор, пока семья моя в горах, я связан и не могу служить. Он убьет мою жену, убьет мать, убьет детей, если я прямо пойду против него. Пусть только князь выручит мою семью, выменяет ее на пленных, и тогда я или умру, или уничтожу Шамиля.

— Хорошо, хорошо, — сказал Воронцов. — Подумаем об этом. Теперь же пусть он идет к начальнику.

штаба и подробно изложит ему свое положение, свои намерения и желания.

Тем кончилось первое свидание Хаджи-Мурата с Воронцовым.

В тот же день, вечером, в новом, в восточном вкусе отделанном театре шла итальянская опера. Воронцов был в своей ложе, и в партере появилась заметная фигура хромого Хаджи-Мурата в чалме. Он вошел с приставленным к нему адъютантом Воронцова Лорис-Меликовым и поместился в первом ряду. С восточным, мусульманским достоинством, не только без выражения удивления, но с видом равнодушия, просидев первый акт, Хаджи-Мурат встал и, спокойно оглядывая зрителей, вышел, обращая на себя внимание всех зрителей.

На другой день был понедельник, обычный вечер у Воронцовых. В большой, ярко освещенной зале играла скрытая в зимнем саду музыка. Молодые и не совсем молодые женщины, в одеждах, обнажавших и шею, и руки, и почти груди, кружились в объятиях мужчин в ярких мундирах. У горы буфета лакеи в красных фраках, чулках и башмаках разливали шампанское и обносили конфеты дамам. Жена «сардаря» тоже, несмотря на свои немолодые годы, так же полуобнаженная, ходила между гостями, приветливо улыбаясь, и сказала через переводчика несколько ласковых слов Хаджи-Мурату, с тем же равнодушием, как и вчера в театре, оглядывавшему гостей. За хозяйкой подходили к Хаджи-Мурату и другие обнаженные женщины, и все, не стыдясь, стояли перед ним и, улыбаясь, спрашивали все одно и то же: как ему нравится то, что он видит. Сам Воронцов, в золотых эполетах и аксельбантах, с белым крестом на шее и лентой, подошел к нему и спросил то же самое, очевидно уверенный, как и все спрашивающие, что Хаджи-Мурату не могло не нравиться все то, что он видел. И Хаджи-Мурат отвечал и Воронцову то, что отвечал всем: что у них этого нет, — не высказывая того, что хорошо или дурно то, что этого нет у них.

Хаджи-Мурат попытался было заговорить и здесь, на бале, с Воронцовым о своем деле выкупа семьи, но Воронцов, сделав вид, что не слышал его слов, отошел

от него. Лорис-Меликов же сказал потом Хаджи-Мурату, что здесь не место говорить о делах.

Когда пробило одиннадцать часов и Хаджи-Мурат поверил время на своих, подаренных ему Марьей Васильевной, часах, он спросил Лорис-Меликова, можно ли уехать. Лорис-Меликов сказал, что можно, но что было бы лучше остаться. Несмотря на это, Хаджи-Мурат не остался и уехал на данном в его распоряжение фаэтоне в отведенную ему квартиру.

XI

На пятый день пребывания Хаджи-Мурата в Тифлисе Лорис-Меликов, адъютант наместника, приехал к нему по поручению главнокомандующего.

— И голова и руки рады служить сардарю, — сказал Хаджи-Мурат с обычным своим дипломатическим выражением, наклонив голову и прикладывая руки к груди. — Прикажи, — сказал он, ласково глядя в глаза Лорис-Меликову.

Лорис-Меликов сел на кресло, стоявшее у стола. Хаджи-Мурат опустился против него на низкой тахте и, опершись руками на колени, наклонил голову и внимательно стал слушать то, что Лорис-Меликов говорил ему. Лорис-Меликов, свободно говоривший по-татарски, сказал, что князь, хотя и знает прошедшее Хаджи-Мурата, желает от него самого узнать всю его историю.

— Ты расскажи мне, — сказал Лорис-Меликов, — а я запишу, переведу потом по-русски, и князь pošлет государю.

Хаджи-Мурат помолчал (он не только никогда не перебивал речи, но всегда выжидал, не скажет ли собеседник еще чего), потом поднял голову, стряхнув папаху назад, улыбнулся той особенной, детской улыбкой, которой он пленил еще Марью Васильевну.

— Это можно, — сказал он, очевидно польщенный мыслью о том, что его история будет прочтена государем.

— Расскажи мне (по-татарски нет обращения на вы) все с начала, не торопясь, — сказал Лорис-Меликов, доставая из кармана записную книжку.

— Это можно, только много, очень много есть чего рассказывать. Много дела было, — сказал Хаджи-Мурат.

— Не успеешь в один день, в другой день доскажешь, — сказал Лорис-Меликов.

— С начала начинать?

— Да, с самого начала: где родился, где жил.

Хаджи-Мурат опустил голову и долго просидел так; потом взял палочку, лежавшую у тахты, достал из-под кинжала с слоновой ручкой, оправленной золотом, острый, как бритва, булатный ножик и начал им резать палочку и в одно и то же время рассказывать:

— Пиши: родился в Цельмесе, аул небольшой, с ослиную голову, как у нас говорят в горах, — начал он. — Недалеко от нас, выстрела за два, Хунзах, где ханы жили. И наше семейство с ними близко было. Моя мать кормила старшего хана, Абунунцал-Хана, от этого я и стал близок к ханам. Ханов было трое: Абунунцал-Хан, молочный брат моего брата Османа, Умма-Хан, мой брат названный, и Булач-Хан, меньшей, тот, которого Шамиль бросил с кручи. Да это после. Мне было лет пятнадцать, когда по аулам стали ходить мюриды. Они били по камням деревянными шашками и кричали: «Мусульмане, хазават!» Чеченцы все перешли к мюридам, и аварцы стали переходить к ним. Я жил тогда в дворце. Я был как брат ханам: что хотел, то делал, и стал богат. Были у меня и лошади, и оружие, и деньги были. Жил в свое удовольствие и ни о чем не думал. И жил так до того времени, когда Кази-Муллу убили и Гамзат стал на его место. Гамзат прислал ханам слов сказать, что, если они не примут хазават, он разорит Хунзах. Тут надо было подумать. Ханы боялись русских, боялись принять хазават, и ханша послала меня с сыном, с вторым, с Умма-Ханом, в Тифлис просить у главного русского начальника помощи от Гамзата. Главным начальником был Розен, барон. Он не принял ни меня, ни Умма-Хана. Велел сказать, что поможет, и ничего не сделал. Только его офицеры стали ездить к нам и играть в карты с Умма-Ханом. Они поили его вином и в дурные места возили его, и он проиграл им в карты все, что у него было. Он был телом сильный, как бык, и храбрый, как лев, а душой

слабый, как вода. Он проиграл бы последних коней и оружие, если бы я не увез его. После Тифлиса мысли мои переменялись, и я стал уговаривать ханшу и молодых ханов принять хазават.

— Отчего ж переменялись мысли? — спросил Лорис-Меликов, — не понравились русские?

Хаджи-Мурат помолчал.

— Нет, не понравились, — решительно сказал он и закрыл глаза. — И еще было дело такое, что я захотел принять хазават.

— Какое же дело?

— А под Цельмесом мы с ханом столкнулись с тремя мюридами: два ушли, а третьего я убил из пистолета. Когда я подошел к нему, чтоб снять оружие, он был жив еще. Он поглядел на меня. «Ты, говорит, убил меня. Мне хорошо. А ты мусульманин, и молод и силен, прими хазават. Бог велит».

— Что ж, и ты принял?

— Не принял, а стал думать, — сказал Хаджи-Мурат и продолжал свой рассказ. — Когда Гамзат подступил к Хунзаху, мы послали к нему стариков и велели сказать, что согласны принять хазават, только бы он прислал ученого человека растолковать, как надо держать его. Гамзат велел старикам обрить усы, проткнуть ноздри, привесить к их носам лепешки и отослать их назад. Старики сказали, что Гамзат готов прислать шейха, чтобы научить нас хазавату, но только с тем, чтобы ханша прислала к нему аманатом своего меньшого сына. Ханша поверила и послала Булач-Хана к Гамзату. Гамзат принял хорошо Булач-Хана и прислал к нам звать к себе и старших братьев. Он велел сказать, что хочет служить ханам так же, как его отец служил их отцу. Ханша была женщина слабая, глупая и дерзкая, как и все женщины, когда они живут по своей воле. Она побоялась послать обоих сыновей и послала одного Умма-Хана. Я поехал с ним. Нас за версту встретили мюриды и пели, и стреляли, и джигитовали вокруг нас. А когда мы подъехали, Гамзат вышел из палатки, подошел к стремени Умма-Хана и принял его, как хана. Он сказал: «Я не сделал вашему дому никакого зла и не хочу делать. Вы только меня не убейте и

не мешайте мне приводить людей к хазавату. А я буду служить вам со всем моим войском, как отец мой служил вашему отцу. Пустите меня жить в вашем доме. Я буду помогать вам моими советами, а вы делайте, что хотите». Умма-Хан был туп на речи. Он не знал, что сказать, и молчал. Тогда я сказал, что если так, то пускай Гамзат едет в Хунзах. Ханша и хан с почетом примут его. Но мне не дали досказать, и тут в первый раз я столкнулся с Шамилем. Он был тут же, подле имама. «Не тебя спрашивают, а хана», — сказал он мне. Я замолчал, а Гамзат проводил Умма-Хана в палатку. Потом Гамзат позвал меня и велел с своими послами ехать в Хунзах. Я поехал. Послы стали уговаривать ханшу отпустить к Гамзату и старшего хана. Я видел измену и сказал ханше, чтобы она не посылала сына. Но у женщины ума в голове — сколько на яйце волос. Ханша поверила и велела сыну ехать. Абунунцал не хотел. Тогда она сказала: «Видно, ты боишься». Она, как пчела, знала, в какое место больнее ужалить его. Абунунцал загорелся, не стал больше говорить с ней и велел седлать. Я поехал с ним. Гамзат встретил нас еще лучше, чем Умма-Хана. Он сам выехал навстречу за два выстрела под гору. За ним ехали конные с значками, пели «Ля илляха иль алла», стреляли, джигитовали. Когда мы подъехали к лагерю, Гамзат ввел хана в палатку. А я остался с лошадьми. Я был под горой, когда в палатке Гамзата стали стрелять. Я подбежал к палатке. Умма-Хан лежал ничком в луже крови, а Абунунцал бился с мюридами. Половина лица у него была отрублена и висела. Он захватил ее одной рукой, а другой рубил кинжалом всех, кто подходил к нему. При мне он срубил брата Гамзата и намернулся уже на другого, но тут мюриды стали стрелять в него, и он упал.

Хаджи-Мурат остановился, загорелое лицо его буро покраснело, и глаза налились кровью.

— На меня нашел страх, и я убежал.

— Вот как? — сказал Лорис-Меликов. — Я думал, что ты никогда ничего не боялся.

— Потом никогда; с тех пор я всегда вспоминал этот стыд, и когда вспоминал, то уже ничего не боялся.

— А теперь довольно. Молиться надо, — сказал Хаджи-Мурат, достал из внутреннего, грудного кармана черкески брегет Воронцова, бережно прижал пружинку и, склонив набок голову, удерживая детскую улыбку, слушал. Часы прозвонили двенадцать ударов и четверть.

— Кунак Воронцов пешкеш, — сказал он, улыбаясь. — Хороший человек.

— Да, хороший, — сказал Лорис-Меликов. — И часы хорошие. Так ты молись, а я подожду.

— Якши, хорошо, — сказал Хаджи-Мурат и ушел в спальню.

Оставшись один, Лорис-Меликов записал в своей книжечке самое главное из того, что рассказывал ему Хаджи-Мурат, потом закурил папиросу и стал ходить взад и вперед по комнате. Подойдя к двери, противоположной спальне, Лорис-Меликов услышал оживленные голоса по-татарски быстро говоривших о чем-то людей. Он догадался, что это были мюриды Хаджи-Мурата, и, отворив дверь, вошел к ним.

В комнате стоял тот особенный, кислый, кожаный запах, который бывает у горцев. На полу на бурке, у окна, сидел кривой рыжий Гамзало, в оборванном, засаленном бешмете, и вязал уздечку. Он что-то горячо говорил своим хриплым голосом, но при входе Лорис-Меликова тотчас же замолчал и, не обращая на него внимания, продолжал свое дело. Против него стоял веселый Хан-Магома и, скаля белые зубы и блестя черными, без ресниц, глазами, повторял все одно и то же. Красавец Элдар, засучив рукава на своих сильных руках, оттирал подпруги подвешенного на гвозде седла. Ханефи, главного работника и заведующего хозяйством, не было в комнате. Он на кухне варил обед.

— О чем это вы спорили? — спросил Лорис-Меликов у Хан-Магомы, поздоровавшись с ним.

— А он все Шамиля хвалит, — сказал Хан-Магома, подавая руку Лорису. — Говорит, Шамиль — большой человек. И ученый, и святой, и джигит.

— Как же он от него ушел, а все хвалит?

— Ушел, а хвалит, — скаля зубы и блестя глазами, проговорил Хан-Магома.

— Что же, и считаешь его святым? — спросил Лорис-Меликов.

— Кабы не был святой, народ бы не слушал его, — быстро проговорил Гамзало.

— Святой был не Шамиль, а Мансур, — сказал Хан-Магома. — Это был настоящий святой. Когда он был имамом, весь народ был другой. Он ездил по аулам, и народ выходил к нему, целовал полы его черкески и каялся в грехах, и клялся не делать дурного. Старики говорили: тогда все люди жили, как святые, — не курили, не пили, не пропускали молитвы, обиды прощали друг другу, даже кровь прощали. Тогда деньги и вещи, как находили, привязывали на шесты и ставили на дорогах. Тогда и бог давал успеха народу во всем, а не так, как теперь, — говорил Хан-Магома.

— И теперь в горах не пьют и не курят, — сказал Гамзало.

— Ламорой твой Шамиль, — сказал Хан-Магома, подмигивая Лорис-Меликову.

«Ламорой» было презрительное название горцев.

— Ламорой — горец. В горах-то и живут орлы, — отвечал Гамзало.

— А молодчина! Ловко срезал, — оскаливая зубы, заговорил Хан-Магома, радуясь на ловкий ответ своего противника.

Увидав серебряную папиросочницу в руке Лорис-Меликова, он попросил себе покурить. И когда Лорис-Меликов сказал, что им ведь запрещено курить, он подмигнул одним глазом, мотнув головой на спальню Хаджи-Мурата, и сказал, что можно, пока не видят. И тотчас же стал курить, не затягиваясь и неловко складывая свои красные губы, когда выпускал дым.

— Нехорошо это, — строго сказал Гамзало и вышел из комнаты. Хан-Магома подмигнул и на него и, покуривая, стал расспрашивать Лорис-Меликова, где лучше купить шелковый бешмет и папаху белую.

— Что же, у тебя разве так денег много?

— Есть, достанет, — подмигивая, отвечал Хан-Магома.

— Ты спроси у него, откуда у него деньги, — сказал Элдар, поворачивая свою красивую улыбающуюся голову к Лорису.

— А выиграл, — быстро заговорил Хан-Магома, он рассказал, как он вчера, гуляя по Тифлису, набрел на кучку людей, русских денщиков и армян, игравших в орлянку. Кон был большой: три золотых и серебра много. Хан-Магома тотчас же понял, в чем игра, и, позванивая медными, которые были у него в кармане, вошел в круг и сказал, что держит на все.

— Как же на все? Разве у тебя было? — спросил Лорис-Меликов.

— У меня всего было двенадцать копеек, — оскаливая зубы, сказал Хан-Магома.

— Ну, а если бы проиграл?

— А вот.

И Хан-Магома указал на пистолет.

— Что же, отдал бы?

— Зачем отдавать? Убежал бы, а кто бы задержал, убил бы. И готово.

— Что же, и выиграл?

— Айя, собрал все и ушел.

Хан-Магому и Элдара Лорис-Меликов вполне понимал. Хан-Магома был весельчак, кутила, не знавший, куда деть избыток жизни, всегда веселый, легкомысленный, играющий своею и чужими жизнями, из-за этой игры жизнью вышедший теперь к русским и точно так же завтра из-за этой игры могущий перейти опять назад к Шамилю. Элдар был тоже вполне понятен: это был человек, вполне преданный своему мюршиду, спокойный, сильный и твердый. Непонятен был для Лорис-Меликова только рыжий Гамзало. Лорис-Меликов видел, что человек этот не только был предан Шамилю, но испытывал непреодолимое отвращение, презрение, гадливость и ненависть ко всем русским; и потому Лорис-Меликов не мог понять, зачем он вышел к русским. Лорис-Меликову приходила мысль, разделяемая и некоторыми начальствующими лицами, что выход Хаджи-

Мурата и его рассказы о вражде с Шамилем был обман, что он вышел только, чтобы высмотреть слабые места русских и, убежав опять в горы, направить силы туда, где русские были слабы. И Гамзало всем своим существом подтверждал это предположение. «Те и сам Хаджи-Мурат, — думал Лорис-Меликов, — умеют скрывать свои намерения, но этот выдает себя своей нескрываемой ненавистью».

Лорис-Меликов попытался говорить с ним. Он спросил, скучно ли ему здесь. Но он, не оставляя своего занятия, косясь своим одним глазом на Лорис-Меликова, хрипло и отрывисто прорычал:

— Нет, не скучно.

И так же отвечал на все другие вопросы.

Пока Лорис-Меликов был в комнате нукеров, вошел и четвертый мюрид Хаджи-Мурата, аварец Ханефи, с волосатым лицом и шеей и мохнатой, точно мехом обросшей, выпуклой грудью. Это был нерассуждающий, здоровенный работник, всегда поглощенный своим делом, без рассуждения, как и Элдар, повинующийся своему хозяину.

Когда он вошел в комнату нукеров за рисом, Лорис-Меликов остановил его и расспросил, откуда он и давно ли у Хаджи-Мурата.

— Пять лет, — отвечал Ханефи на вопрос Лорис-Меликова. — Я из одного аула с ним. Мой отец убил его дядю, и они хотели убить меня, — сказал он, спокойно из-под сросшихся бровей глядя в лицо Лорис-Меликова. — Тогда я попросил принять меня братом.

— Что значит: принять братом?

— Я не брил два месяца головы, ногтей не стриг и пришел к ним. Они пустили меня к Патимат, к его матери. Патимат дала мне грудь, и я стал его братом.

В соседней комнате послышался голос Хаджи-Мурата. Элдар тотчас же узнал призыв хозяина и, отерев руки, широко шагая, поспешно пошел в гостиную.

— Зовет к себе, — сказал он, возвращаясь.

И, дав еще папироску веселому Хан-Магоме, Лорис-Меликов пошел в гостиную.

Когда Лорис-Меликов вошел в гостиную, Хаджи-Мурат с веселым лицом встретил его.

— Что же, продолжать? — сказал он, усаживаясь на тахту.

— Да, непременно, — сказал Лорис-Меликов. — А я заходил к твоим нукерам, поговорил с ними. Один — веселый малый, — прибавил Лорис-Меликов.

— Да, Хан-Магома — легкий человек, — сказал Хаджи-Мурат.

— А понравился мне молодой, красивый.

— А, Элдар. Этот молод, а тверд, железный.

Они помолчали.

— Так говорить дальше?

— Да, да.

— Я сказал, как ханов убили. Ну, убили их, и Гамзат въехал в Хунзах и сел в ханском дворце, — начал Хаджи-Мурат. — Оставалась мать-ханша. Гамзат призывал ее к себе. Она стала выговаривать ему. Он мигнул своему мюриду Асельдеру, и тот сзади ударил, убил ее.

— Зачем же он убил ее-то? — спросил Лорис-Меликов.

— А как же быть: перелез передними ногами, перелезай и задними. Надо было всю породу покончить. Так и сделали. Шамиль меньшого убил, сбросил с кручи. Вся Авария покорила Гамзату, только мы с братом не хотели покориться. Нам надо было кровь его за ханов. Мы делали вид, что покорились, а думали только, как взять с него кровь. Мы посоветовались с дедом и решили выждать время, когда он выедет из дворца, и из засады убить его. Кто-то подслушал нас, сказал Гамзату, и он призвал к себе деда и сказал: «Смотри, если правда, что твои внуки задумывают худое против меня, висеть тебе с ними на одной перекладине. Я делаю дело божье, и мне помешать нельзя. Иди и помни, что я сказал». Дед пришел домой и сказал нам. Тогда мы решили не ждать, сделать дело в первый день праздника в мечети. Товарищи отказа-

лись, — остались мы с братом. Мы взяли по два пистолета, надели бурки и пошли в мечеть. Гамзат вошел с тридцатью мюридами. Все они держали шашки наголо. Рядом с Гамзатом шел Асельдер, его любимый мюрид, — тот самый, который отрубил голову ханше. Увидав нас, он крикнул, чтобы мы сняли бурки, и подошел ко мне. Кинжал у меня был в руке, и я убил его и бросился к Гамзату. Но брат Осман уже выстрелил в него. Гамзат еще был жив и с кинжалом бросился на брата, но я добил его в голову. Мюридов было тридцать человек, нас — двое. Они убили брата Османа, а я отбил, выскочил в окно и ушел. Когда узнали, что Гамзат убит, весь народ поднялся, и мюриды бежали, а тех, какие не бежали, всех перебили.

Хаджи-Мурат остановился и тяжело перевел дух.

— Это все было хорошо, — продолжал он, — потом все испортилось. Шамиль стал на место Гамзата. Он прислал ко мне послов сказать, чтобы я шел с ним против русских; если же я откажусь, то он грозил, что разорит Хунзах и убьет меня. Я сказал, что не пойду к нему и не пушу его к себе.

— Отчего же ты не пошел к нему? — спросил Лорис-Меликов.

Хаджи-Мурат нахмурился и не сейчас ответил.

— Нельзя было. На Шамиле была кровь и брата Османа и Абунунцал-Хана. Я не пошел к нему. Розен-генерал прислал мне чин офицера и велел быть начальником Аварии. Все бы было хорошо, но Розен назначил над Аварией сначала хана казикумьхского, Магомет-Мирзу, а потом Ахмет-Хана. Этот возненавидел меня. Он сватал за сына дочь ханши, Салтанет. Ее не отдали ему, и он думал, что я виноват в этом. Он возненавидел меня и подсылал своих нукеров убить меня, но я ушел от них. Тогда он наговорил на меня генералу Ключенау, сказал, что я не велю аварцам давать дров солдатам. Он сказал ему еще, что я надел чалму, вот эту, — сказал Хаджи-Мурат, указывая на чалму на папаче, — и что это значит, что я передался Шамилю. Генерал не поверил и не велел трогать меня. Но когда генерал уехал в Тифлис, Ахмет-Хан сделал по-своему:

с ротой солдат схватил меня, заковал в цепи и привязал к пушке. Шесть суток держали меня так. На седьмые сутки отвязали и повели в Темир-Хан-Шуру. Вели сотрок солдат с заряженными ружьями. Руки были связаны, и велено было убить меня, если я захочу бежать. Я знал это. Когда мы стали подходить, подле Моксоха тропка была узкая, направо кручь сажен в пятьдесят, я перешел от солдата направо, на край кручи. Солдат хотел остановить меня, но я прыгнул под кручь и потащил за собой солдата. Солдат убился насмерть, а я вот жив остался. Ребры, голову, руки, ногу — все поломал. Пополз было — и не мог. Закружилась голова, и заснул. Проснулся мокрый, в крови. Пастух увидал. Позвал народ, снесли меня в аул. Ребры, голова зажили, зажила и нога, только стала короткая.

И Хаджи-Мурат вытянул кривую ногу.

— Служит, и то хорошо, — сказал он. — Народ узнал, стал ездить ко мне. Я выздоровел, переехал в Цельмес. Аварцы опять звали меня управлять ими, — с спокойной, уверенной гордостью сказал Хаджи-Мурат. — И я согласился.

Хаджи-Мурат быстро встал. И, достав в переметных сумках портфель, вынул оттуда два пожелтевшие письма и подал их Лорис-Меликову. Письма были от генерала Ключенау. Лорис-Меликов прочел. В первом письме было:

«Прапорщик Хаджи-Мурат! Ты служил у меня — я был доволен тобою и считал тебя добрым человеком. Недавно генерал-майор Ахмет-Хан уведомил меня, что ты изменник, что ты надел чалму, что ты имеешь сношения с Шамилем, что ты научил народ не слушать русского начальства. Я приказал арестовать тебя и доставить тебя ко мне, ты — бежал; не знаю, к лучшему ли это, или к худшему, потому что не знаю — виноват ли ты, или нет. Теперь слушай меня. Ежели совесть твоя чиста противу великого царя, если ты не виноват ни в чем, явись ко мне. Не бойся никого — я твой защитник. Хан тебе ничего не сделает; он сам у меня под начальством, так и нечего тебе бояться».

Дальше Ключенау писал о том, что он всегда дер-

жал свое слово и был справедлив, и еще увещевал Хаджи-Мурата выйти к нему.

Когда Лорис-Меликов кончил первое письмо, Хаджи-Мурат достал другое письмо, но, не отдавая его еще в руки Лорис-Меликова, рассказал, как он отвечал на это первое письмо.

— Я написал ему, что чалму я носил, но не для Шамиля, а для спасения души, что к Шамилю я перейти не хочу и не могу, потому что через него убиты мои отец, братья и родственники, но что и к русским не могу выйти, потому что меня обесчестили. В Хунзахе, когда я был связан, один негодяй на...л на меня. И я не могу выйти к вам, пока человек этот не будет убит. А главное, боюсь обманщика Ахмет-Хана. Тогда генерал прислал мне это письмо, — сказал Хаджи-Мурат, подавая Лорис-Меликову другую пожелтевшую бумажку.

«Ты мне отвечал на мое письмо, спасибо, — прочитал Лорис-Меликов. — Ты пишешь, что ты не боишься воротиться, но бесчестие, нанесенное тебе одним гяуром, запрещает это; а я тебя уверяю, что русский закон справедлив, и в глазах твоих ты увидишь наказание того, кто смел тебя оскорбить, — я уже приказал это исследовать. Послушай, Хаджи-Мурат. Я имею право быть недовольным на тебя, потому что ты не веришь мне и моей чести, но я прощаю тебе, зная недоверчивость характера вообще горцев. Ежели ты чист совестью, если чалму ты надевал, собственно, только для спасения души, то ты прав и смело можешь глядеть русскому правительству и мне в глаза; а тот, кто тебя обесчестил, уверяю, будет наказан, *имущество твое будет возвращено*, и ты увидишь и узнаешь, что значит русский закон. Тем более что русские иначе смотрят на все; в глазах их ты не уронил себя, что тебя какой-нибудь мерзавец обесчестил. Я сам позволил гимринцам чалму носить и смотрю на их действия как следует; следовательно, повторяю, тебе нечего бояться. Приходи ко мне с человеком, которого я к тебе теперь посылаю; он мне верен, *он не раб твоих врагов*, а друг человека, который пользуется у правительства особенным вниманием».

Дальше Ключенау опять уговаривал Хаджи-Мурата выйти.

— Я не поверил этому, — сказал Хаджи-Мурат, когда Лорис-Меликов кончил письмо, — и не поехал к Ключенау. Мне, главное, надо было отомстить Ахмет-Хану, а этого я не мог сделать через русских. В это же время Ахмет-Хан окружил Цельмес и хотел схватить или убить меня. У меня было слишком мало народа, я не мог отбиться от него. И вот в это-то время ко мне приехал посланный от Шамиля с письмом. Он обещал помочь мне отбиться от Ахмет-Хана и убить его и давал мне в управление всю Аварию. Я долго думал и перешел к Шамилю. И вот с тех пор я не переставая воевал с русскими.

Тут Хаджи-Мурат рассказал все свои военные дела. Их было очень много, и Лорис-Меликов отчасти знал их. Все походы и набеги его были поразительны по необыкновенной быстроте переходов и смелости нападений, всегда увенчивавшихся успехами.

— Дружбы между мной и Шамилем никогда не было, — закончил свой рассказ Хаджи-Мурат, — но он боялся меня, и я был ему нужен. Но тут случилось то, что у меня спросили, кому быть имамом после Шамиля? Я сказал, что имамом будет тот, у кого шашка востра. Это сказали Шамилю, и он захотел избавиться от меня. Он послал меня в Табасарань. Я поехал, отбил тысячу баранов, триста лошадей. Но он сказал, что я не то сделал, и сменил меня с наибства и велел прислать ему все деньги. Я послал тысячу золотых. Он прислал своих мюридов и отобрал у меня все мое имение. Он требовал меня к себе; я знал, что он хочет убить меня, и не поехал. Он прислал взять меня. Я отбилсся и вышел к Воронцову. Только семья я не взял. И мать, и жена, и сын у него. Скажи сардарю: пока семья там, я ничего не могу делать.

— Я скажу, — сказал Лорис-Меликов.

— Хлопчи, старайся. Что мое, то твое, только помощи у князя. Я связан, и конец веревки — у Шамиля в руке.

Этими словами закончил Хаджи-Мурат свой рассказ Лорис-Меликову.

Двадцатого декабря Воронцов писал следующее военному министру Чернышеву. Письмо было по-французски.

«Я не писал вам с последней почтой, любезный князь, желая сперва решить, что мы сделаем с Хаджи-Муратом, и чувствуя себя два-три дня не совсем здоровым. В моем последнем письме я извещал вас о прибытии сюда Хаджи-Мурата: он приехал в Тифлис 8-го; на следующий день я познакомился с ним, и дней восемь или девять я говорил с ним и обдумывал, что он может сделать для нас впоследствии, а особенно, что нам делать с ним теперь, так как он очень сильно заботится о судьбе своего семейства и говорит со всеми знаками полной откровенности, что, пока его семейство в руках Шамиля, он парализован и не в силах услужить нам и доказать свою благодарность за ласковый прием и прощение, которые ему оказали. Неизвестность, в которой он находится насчет дорогих ему особ, вызывает в нем лихорадочное состояние, и лица, назначенные мною, чтобы жить с ним здесь, уверяют меня, что он не спит по ночам, почти что ничего не ест, постоянно молится и только просит позволения покататься верхом с несколькими казаками, — единственно для него возможное развлечение и движение, необходимое вследствие долголетней привычки. Каждый день он приходил ко мне узнавать, имею ли я какие-нибудь известия о его семействе, и просит меня, чтобы я велел собрать на наших различных линиях всех пленных, которые находятся в нашем распоряжении, чтобы предложить их Шамилю для обмена, к чему он прибавит немного денег. Есть люди, которые ему дадут их для этого. Он мне все повторял; спасите мое семейство и потом дайте мне возможность услужить вам (лучше всего на лезгинской линии, по его мнению), и если по истечении месяца я не окажу вам большой услуги, накажите меня, как сочтете нужным.

Я ему ответил, что все это кажется мне весьма справедливым и что у нас найдется даже много лиц, которые

не поверили бы ему, если бы его семейство оставалось в горах, а не у нас в качестве залога; что я сделаю все возможное для сбора на наших границах пленных и что, не имея права, по нашим уставам, дать ему денег для выкупа в прибавку к тем, которые он достанет сам, я, может быть, найду другие средства помочь ему. После этого я ему сказал откровенно мое мнение о том, что Шамиль ни в каком случае не выдаст ему семейства, что он, может быть, прямо объявит ему это, обещает ему полное прощение и прежние должности, погрозит, если он не вернется, погубить его мать, жену и шестерых детей. Я спросил его, может ли он сказать откровенно, что бы он сделал, если бы получил такое объявление Шамиля. Хаджи-Мурат поднял глаза и руки к небу и сказал мне, что всё в руках бога, но что он никогда не отдастся в руки своему врагу, потому что он вполне уверен, что Шамиль его не простит и что он бы тогда недолго остался в живых. Что касается истребления его семейства, то он не думает, что Шамиль поступит так легкомысленно: во-первых, чтобы не сделать его врагом еще отчаяннее и опаснее; а во-вторых, есть в Дагестане множество лиц очень даже влиятельных, которые отговорят его от этого. Наконец он повторил мне несколько раз, что какая бы ни была воля бога для будущего, но что его теперь занимает только мысль о выкупе семейства; что он умоляет меня, во имя бога, помочь ему и позволить ему вернуться в окрестности Чечни, где бы он, через посредство и с дозволения наших начальников, мог иметь сношения с своим семейством, постоянные известия о его настоящем положении и о средствах освободить его; что многие лица и даже некоторые наибы в этой части неприятельской страны более или менее привязаны к нему; что во всем этом населении, уже покоренном русскими или нейтральном, ему легко будет иметь, с нашей помощью, сношения, очень полезные для достижения цели, преследовавшей его днем и ночью, исполнение которой так его успокоит и даст ему возможность действовать для нашей пользы и заслужить наше доверие. Он просит отослать его опять в Грозную, с конвоем из двадцати или тридцати отважных казаков, которые бы служили ему для за-

щиты от врагов, а нам — для ручательства в истине высказанных им намерений.

Вы поймете, любезный князь, что все это очень озадачило меня, так как, что ни сделай, большая ответственность лежит на мне. Было бы в высшей степени неосторожно вполне доверять ему; но если бы мы хотели отнять у него средства для бегства, то мы должны были бы запереть его; а это, по моему мнению, было бы и несправедливо и неполитично. Такая мера, известие о которой скоро распространилось бы по всему Дагестану, очень повредила бы нам там, отнимая охоту у всех тех (а их много), которые готовы идти более или менее открыто против Шамиля и которые так интересуются положением у нас самого храброго и предприимчивого помощника имама, увидевшего себя принужденным отдаться в наши руки. Раз что мы поступили бы с Хаджи-Муратом, как с пленным, весь благоприятный эффект его измены Шамилю пропал бы для нас.

Поэтому я думаю, что не мог поступить иначе, как поступил, чувствуя, однако, что можно будет обвинить меня в большой ошибке, если бы вздумалось Хаджи-Мурату уйти снова. В службе и в таких запутанных делах трудно, чтобы не сказать невозможно, идти по одной прямой дороге, не рискуя ошибиться и не принимая на себя ответственности; но раз что дорога кажется прямою, надо идти по ней, — будь что будет.

Прошу вас, любезный князь, повергнуть это на рассмотрение его величеству государю императору, и я буду счастлив, если августейший наш повелитель соизволит одобрить мой поступок. Все, что я вам писал выше, я также написал генералам Завадовскому и Козловскому, для непосредственных сношений Козловского с Хаджи-Муратом, которого я предупредил о том, что он без одобрения последнего ничего сделать и никуда выехать не может. Я ему объявил, что для нас еще лучше, если он будет выезжать с нашим конвоем, а то Шамиль станет разглашать, что мы держим Хаджи-Мурата взаперти; но при этом я взял с него обещание, что он никогда не поедет в Воздвиженское, так как мой сын, которому он сперва сдался и которого считает своим

кунаком (приятелем), не начальник этого места, и могли бы произойти недоразумения. Впрочем, Воздвиженское слишком близко от многочисленного враждебного нам населения, между тем как для сношений, которые он желает иметь со своими поверенными, Грозная удобна во всех отношениях.

Кроме двадцати избранных казаков, которые, по его же просьбе, ни на шаг не отстанут от него, я послал ротмистра Лорис-Меликова, достойного, отличного и очень умного офицера, говорящего по-татарски, знающего хорошо Хаджи-Мурата, который, кажется, тоже вполне доверяет ему. Десять дней, которые Хаджи-Мурат провел здесь, он, впрочем, жил в одном доме с подполковником князем Тархановым, начальником Шушинского уезда, находящимся здесь по делам службы; это истинно достойный человек, и я ему вполне доверяю. Он также заслужил доверие Хаджи-Мурата, и через него одного, так как он отлично говорит по-татарски, мы рассуждали о самых деликатных и секретных делах.

Я советовался с Тархановым насчет Хаджи-Мурата, и он совершенно согласился со мной в том, что или следовало поступить, как я поступил, или заключить Хаджи-Мурата в тюрьму и сторожить его со всеми возможными строгими мерами, — потому что уже раз обращаться с ним худо, его не легко стеречь, — или же удалить его совсем из страны. Но эти две последние меры не только бы уничтожили всю выгоду, вытекающую для нас из ссоры между Хаджи-Муратом и Шамилем, но приостановили бы неизбежно всякое развитие ропота и возможность возмущения горцев против власти Шамиля. Князь Тарханов мне сказал, что сам уверен в правдивости Хаджи-Мурата и что Хаджи-Мурат не сомневается в том, что Шамиль никогда его не простит и велит казнить, несмотря на обещанное прощение. Единственная вещь, которая могла озаботить Тарханова в его сношениях с Хаджи-Муратом, это — его привязанность к своей религии, и он не скрывает, что Шамилю можно будет действовать на него с этой стороны. Но, как я уже говорил выше, он никогда не убе-

дит Хаджи-Мурата в том, что не лишит его жизни или сейчас, или спустя несколько времени после его возвращения.

Вот все, любезный князь, что я хотел сказать вам насчет этого эпизода здешних дел».

XV

Донесение это было отправлено из Тифлиса 24 декабря. Накануне же нового, 52-го года, фельдъегерь, загнав десяток лошадей и избив в кровь десяток ямщиков, доставил его к князю Чернышеву, тогдашнему военному министру.

И 1 января 1852 года Чернышев повез к императору Николаю в числе других дел и это донесение Воронцова.

Чернышев не любил Воронцова — и за всеобщее уважение, которым пользовался Воронцов, и за его огромное богатство, и за то, что Воронцов был настоящий барин, а Чернышев все-таки *ragueni*¹, главное — за особенное расположение императора к Воронцову. И потому Чернышев пользовался всяким случаем, насколько мог, вредить Воронцову. В прошлом докладе о кавказских делах Чернышеву удалось вызвать неудовольствие Николая на Воронцова за то, что по небрежности начальства был горцами почти весь истреблен небольшой кавказский отряд. Теперь он намеревался представить с невыгодной стороны распоряжение Воронцова о Хаджи-Мурате. Он хотел внушить государю, что Воронцов всегда, особенно в ущерб русским, оказывающий покровительство и даже послабление туземцам, оставив Хаджи-Мурата на Кавказе, поступил неблагоприятно; что, по всей вероятности, Хаджи-Мурат только для того, чтобы высмотреть наши средства обороны, вышел к нам и что поэтому лучше отправить Хаджи-Мурата в центр России и воспользоваться им уже тогда, когда его семья будет выручена из гор и можно будет увериться в его преданности.

¹ выскочка (франц.).

Но план этот не удался Чернышеву только потому, что в это утро 1 января Николай был особенно не в духе и не принял бы какое бы ни было и от кого бы то ни было предложение только из чувства противоречия; тем более он не был склонен принять предложение Чернышева, которого он только терпел, считая его пока незаменимым человеком, но, зная его старания погубить в процессе декабристов Захара Чернышева и попытку завладеть его состоянием, считал большим подлецом. Так что благодаря дурному расположению духа Николая Хаджи-Мурат остался на Кавказе, и судьба его не изменилась так, как она могла бы измениться, если бы Чернышев делал свой доклад в другое время.

Было половина десятого, когда в тумане двадцатиградусного мороза толстый, бородатый кучер Чернышева, в лазоревой бархатной шапке с острыми концами, сидя на козлах маленьких саней, таких же, как те, в которых катался Николай Павлович, подкатил к малому подъезду Зимнего дворца и дружески кивнул своему приятелю, кучеру князя Долгорукого, который, ссадив барина, уже давно стоял у дворцового подъезда, подложив под толстый ваточный зад вожжи и потирая озябшие руки.

Чернышев был в шинели с пушистым седым бобровым воротником и в треугольной шляпе с петушиными перьями, надетой по форме. Откинув медвежью полость, он осторожно выпростал из саней свои озябшие ноги без калош (он гордился тем, что не знал калош) и, бодрясь, позванивая шпорами, прошел по ковру в почтительно отворенную перед ним дверь швейцаром. Скинув в передней на руки подбежавшего старого камер-лакея шинель, Чернышев подошел к зеркалу и осторожно снял шляпу с завитого парика. Поглядев на себя в зеркало, он привычным движеньем старческих рук подвил виски и хохол и поправил крест, аксельбанты и большие с вензелями эполеты и, слабо шагая плохо повинующимися старческими ногами, стал подниматься вверх по ковру отлогой лестницы.

Пройдя мимо стоявших в парадной форме у дверей подобострастно кланявшихся ему камер-лакеев, Чернышев вошел в приемную. Дежурный, вновь назначенный

флигель-адъютант, сияющий новым мундиром, эполетами, аксельбантами и румяным, еще не истасканным лицом с черными усиками и височками, зачесанными к глазам так же, как их зачесывал Николай Павлович, почтительно встретил его. Князь Василий Долгорукий, товарищ военного министра, с скучающим выражением тупого лица, украшенного такими же бакенбардами, усами и висками, какие носил Николай, встал навстречу Чернышеву и поздоровался с ним.

— L'empereur? ¹ — обратился Чернышев к флигель-адъютанту, вопросительно указывая глазами на дверь кабинета.

— Sa Majesté vient de rentrer ², — очевидно с удовольствием слушая звук своего голоса, сказал флигель-адъютант и, мягко ступая, так плавно, что полный стакан воды, поставленный ему на голову, не пролился бы, подошел к беззвучно отворявшейся двери и, всем существом своим выказывая почтение к тому месту, в которое он вступал, исчез за дверью.

Долгорукий между тем раскрыл свой портфель, проверяя находящиеся в нем бумаги.

Чернышев же, нахмурившись, прохаживался, разминая ноги и вспоминая все то, что надо было доложить императору. Чернышев был подле двери кабинета, когда она опять отворилась и из нее вышел еще более, чем прежде, сияющий и почтительный флигель-адъютант и жестом пригласил министра и его товарища к государю.

Зимний дворец после пожара был давно уже отстроен, и Николай жил в нем еще в верхнем этаже. Кабинет, в котором он принимал с докладом министров и высших начальников, была очень высокая комната с четырьмя большими окнами. Большой портрет императора Александра I висел на главной стене. Между окнами стояли два бюро. По стенам стояло несколько стульев, в середине комнаты — огромный письменный стол, перед столом кресло Николая, стулья для принимаемых.

Николай, в черном сюртуке без эполет, с полупогончиками, сидел у стола, откинув свой огромный, туго

¹ Император? (франц.)

² Его величество только что вернулись (франц.).

перетянутый по отросшему животу стан, и неподвижно своим безжизненным взглядом смотрел на входивших. Длинное белое лицо с огромным покатым лбом, выступавшим из-за приглаженных височков, искусно соединенных с париком, закрывавшим лысину, было сегодня особенно холодно и неподвижно. Глаза его, всегда тусклые, смотрели тусклее обыкновенного, сжатые губы из-под загнутых кверху усов, и подпертые высоким воротником ожиревшие свежесвыбритые щеки с оставленными правильными колбасками бакенбард, и прижимаемый к воротнику подбородок придавали его лицу выражение недовольства и даже гнева. Причиной этого настроения была усталость. Причина же усталости было то, что накануне он был в маскараде и, как обыкновенно, прохаживаясь в своей кавалергардской каске с птицей на голове, между теснившейся к нему и робко сторонившейся от его огромной и самоуверенной фигуры публикой, встретил опять ту маску, которая в прошлый маскарад, возбудив в нем своей белизной, прекрасным сложением и нежным голосом старческую чувственность, скрылась от него, обещая встретить его в следующем маскараде. Во вчерашнем маскараде она подошла к нему, и он уже не отпустил ее. Он повел ее в ту специально для этой цели державшуюся в готовности ложу, где он мог наедине остаться с своей дамой. Дойдя молча до двери ложи, Николай оглянулся, отыскивая глазами капельдинера, но его не было. Николай нахмурился и сам толкнул дверь ложи, пропуская вперед себя свою даму.

— П у а quelqu'un¹, — сказала маска, останавливаясь. Ложа действительно была занята. На бархатном диванчике, близко друг к другу, сидели уланский офицер и молоденькая, хорошенькая белокуро-кудрявая женщина в домино, с снятой маской. Увидав выпрямившуюся во весь рост и гневную фигуру Николая, белокурая женщина поспешно закрылась маской, уланский же офицер, остолбенев от ужаса, не вставая с дивана, глядел на Николая остановившимися глазами.

¹ Здесь кто-то есть (франц.).

Как ни привык Николай к возбуждаемому им в людях ужасу, этот ужас был ему всегда приятен, и он любил иногда поразить людей, повергнутых в ужас, контрастом обращенных к ним ласковых слов. Так поступил он и теперь.

— Ну, брат, ты помоложе меня, — сказал он окоченевшему от ужаса офицеру, — можешь уступить мне место.

Офицер вскочил и, бледнее и краснее, согнувшись вышел молча за маской из ложи, и Николай остался один с своей дамой.

Маска оказалась хорошенькой двадцатилетней невинной девушкой, дочерью шведки-гувернантки. Девушка эта рассказала Николаю, как она с детства еще, по портретам, влюбилась в него, боготворила его и решила во что бы то ни стало добиться его внимания. И вот она добилась, и, как она говорила, ей ничего больше не нужно было. Девица эта была свезена в место обычных свиданий Николая с женщинами, и Николай провел с ней более часа.

Когда он в эту ночь вернулся в свою комнату и лег на узкую, жесткую постель, которой он гордился, и укрылся своим плащом, который он считал (и так и говорил) столь же знаменитым, как шляпа Наполеона, он долго не мог заснуть. Он то вспоминал испуганное и восторженное выражение белого лица этой девицы, то могучие, полные плечи своей всегдашней любовницы Нелидовой и делал сравнение между тою и другою. О том, что распутство женатого человека было не хорошо, ему и не приходило в голову, и он очень удивился бы, если бы кто-нибудь осудил его за это. Но, несмотря на то, что он был уверен, что поступал так, как должно, у него оставалась какая-то неприятная отрыжка, и, чтобы заглушить это чувство, он стал думать о том, что всегда успокаивало его: о том, какой он великий человек.

Несмотря на то, что он поздно заснул, он, как всегда, встал в восьмом часу, и, сделав свой обычный туалет, вытерев льдом свое большое, сытое тело и помолвившись богу, он прочел обычные, с детства произносимые молитвы: «Богородицу», «Верую», «Отче наш», не

приписывая произносимым словам никакого значения, — и вышел из малого подъезда на набережную, в шинели и фуражке.

Посредине набережной ему встретился такого же, как он сам, огромного роста ученик училища правоведения, в мундире и шляпе. Увидав мундир училища, которое он не любил за вольнодумство, Николай Павлович нахмурился, но высокий рост, и старательная вытяжка, и отдавание чести с подчеркнуто выпяченным локтем ученика смягчило его неудовольствие.

— Как фамилия? — спросил он.

— Полосатов! ваше императорское величество.

— Молодец!

Ученик все стоял с рукой у шляпы. Николай остановился.

— Хочешь в военную службу?

— Никак нет, ваше императорское величество.

— Болван! — и Николай, отвернувшись, пошел дальше и стал громко произносить первые попавшиеся ему слова. «Копервейн, Копервейн, — повторял он несколько раз имя вчерашней девицы. — Скверно, скверно». Он не думал о том, что говорил, но заглушал свое чувство вниманием к тому, что говорил. «Да, что бы была без меня Россия, — сказал он себе, почувствовав опять приближение недовольного чувства. — Да, что бы была без меня не Россия одна, а Европа». И он вспомнил про шурина, прусского короля, и его слабость и глупость и покачал головой.

Подходя назад к крыльцу, он увидел карету Елены Павловны, которая с красным лакеем подъезжала к Салтыковскому подъезду. Елена Павловна для него была олицетворением тех пустых людей, которые рассуждали не только о науках, поэзии, но и об управлении людей, воображая, что они могут управлять собою лучше, чем он, Николай, управлял ими. Он знал, что, сколько он ни давил этих людей, они опять выплывали и выплывали наружу. И он вспомнил недавно умершего брата Михаила Павловича. И досадное и грустное чувство охватило его. Он мрачно нахмурился и опять стал шептать первые попавшиеся слова. Он перестал шептать, только когда вошел во дворец. Войдя к себе и

пригладив перед зеркалом бакенбарды и волосы на висках и накладку на темени, он, подкрутив усы, прямо пошел в кабинет, где принимались доклады.

Первого он принял Чернышева. Чернышев тотчас же по лицу и, главное, глазам Николая понял, что он нынче был особенно не в духе, и, зная вчерашнее его похождение, понял, отчего это происходило. Холодно поздоровавшись и пригласив сесть Чернышева, Николай устался на него своими безжизненными глазами.

Первым делом в докладе Чернышева было дело об открывшемся воровстве интендантских чиновников; потом было дело о перемещении войск на прусской границе; потом назначение некоторым лицам, пропущенным в первом списке, наград к Новому году; потом было донесение Воронцова о выходе Хаджи-Мурата и, наконец, неприятное дело о студенте медицинской академии, покушавшемся на жизнь профессора.

Николай, молча сжав губы, поглаживал своими большими белыми руками, с одним золотым кольцом на безымянном пальце, листы бумаги и слушал доклад о воровстве, не спуская глаз со лба и хохла Чернышева.

Николай был уверен, что воруют все. Он знал, что надо будет наказать теперь интендантских чиновников, и решил отдать их всех в солдаты, но знал тоже, что это не помешает тем, которые займут место уволенных, делать то же самое. Свойство чиновников состояло в том, чтобы красть, его же обязанность состояла в том, чтобы наказывать их, и, как ни надоело это ему, он добросовестно исполнял эту обязанность.

— Видно, у нас в России один только честный человек, — сказал он.

Чернышев тотчас же понял, что этот единственный честный человек в России был сам Николай, и одобрительно улыбнулся.

— Должно быть, так, ваше величество, — сказал он.

— Оставь, я положу резолюцию, — сказал Николай, взяв бумагу и переложив ее на левую сторону стола.

После этого Чернышев стал докладывать о наградах и о перемещении войск. Николай просмотрел список,

вычеркнул несколько имен и потом кратко и решительно распорядился о передвижении двух дивизий к прусской границе.

Николай никак не мог простить прусскому королю данную им после 48-го года конституцию, и потому, выражая шурина самые дружеские чувства в письмах и на словах, он считал нужным иметь на всякий случай войска на прусской границе. Войска эти могли понадобиться и на то, чтобы в случае возмущения народа в Пруссии (Николай везде видел готовность к возмущению) выдвинуть их в защиту престола шурина, как он выдвинул войско в защиту Австрии против венгров. Нужны были эти войска на границе и на то, чтобы придавать больше весу и значения своим советам прусскому королю.

«Да, что было бы теперь с Россией, если бы не я», — опять подумал он.

— Ну, что еще? — сказал он.

— Фельдъегерь с Кавказа, — сказал Чернышев и стал докладывать то, что писал Воронцов о выходе Хаджи-Мурата.

— Вот как, — сказал Николай. — Хорошее начало.

— Очевидно, план, составленный вашим величеством, начинает приносить свои плоды, — сказал Чернышев.

Эта похвала его стратегическим способностям была особенно приятна Николаю, потому что, хотя он и гордился своими стратегическими способностями, в глубине души он сознавал, что их не было. И теперь он хотел слышать более подробные похвалы себе.

— Ты как же понимаешь? — спросил он.

— Понимаю так, что если бы давно следовали плану вашего величества — постепенно, хотя и медленно, двигаться вперед, вырубая леса, истребляя запасы, то Кавказ давно бы уж был покорен. Выход Хаджи-Мурата я отношу только к этому. Он понял, что держаться им уже нельзя.

— Правда, — сказал Николай.

Несмотря на то, что план медленного движения в область неприятеля посредством вырубки лесов и истребления продовольствия был план Ермолова и Вель-



яминова, совершенно противоположный плану Николая, по которому нужно было разом завладеть резиденцией Шамиля и разорить это гнездо разбойников и по которому была предпринята в 1845 году Даргинская экспедиция, стоившая стольких людских жизней, — не смотря на это, Николай приписывал план медленного движения, последовательной вырубке лесов и истребления продовольствия тоже себе. Казалось, что, для того чтобы верить в то, что план медленного движения, вырубке лесов и истребления продовольствия был его план, надо было скрывать то, что он именно настаивал на совершенно противоположном военном предприятии 45-го года. Но он не скрывал этого и гордился и тем планом своей экспедиции 45-го года и планом медленного движения вперед, несмотря на то, что эти два плана явно противоречили один другому. Постоянная, явная, противная очевидности лезть окружающих его людей довела его до того, что он не видел уже своих противоречий, не сообразовал уже свои поступки и слова с действительностью, с логикой или даже с простым здравым смыслом, а вполне был уверен, что все его распоряжения, как бы они ни были бессмысленны, несправедливы и несогласны между собою, становились и осмысленны, и справедливы, и согласны между собой только потому, что он их делал.

Таково было и его решение о студенте медико-хирургической академии, о котором после кавказского доклада стал докладывать Чернышев.

Дело состояло в том, что молодой человек, два раза не выдержавший экзамен, держал третий раз, и когда экзаменатор опять не пропустил его, болезненно-нервный студент, видя в этом несправедливость, схватил со стола перочинный ножик и в каком-то припадке исступления бросился на профессора и нанес ему несколько ничтожных ран.

— Как фамилия? — спросил Николай.

— Бжезовский.

— Поляк?

— Польского происхождения и католик, — отвечал Чернышев.

Николай нахмурился.

Он сделал много зла полякам. Для объяснения этого зла ему надо было быть уверенным, что все поляки негодяи. И Николай считал их таковыми и ненавидел их в мере того зла, которое он сделал им.

— Подожди немного, — сказал он и, закрыв глаза, опустил голову.

Чернышев знал, слышав это не раз от Николая, что, когда ему нужно решить какой-либо важный вопрос, ему нужно было только сосредоточиться на несколько мгновений, и что тогда на него находило наитие, и решение составлялось само собою самое верное, как бы какой-то внутренний голос говорил ему, что нужно сделать. Он думал теперь о том, как бы полнее удовлетворить тому чувству злобы к полякам, которое в нем расшевелилось историей этого студента, и внутренний голос подсказал ему следующее решение. Он взял доклад и на поле его написал своим крупным почерком: *«Заслуживает смертной казни. Но, слава богу, смертной казни у нас нет. И не мне вводить ее. Провести 12 раз скрозь тысячу человек. Николай»*, — подписал он с своим неестественным, огромным росчерком.

Николай знал, что двенадцать тысяч шпицрутенов была не только верная, мучительная смерть, но излишняя жестокость, так как достаточно было пяти тысяч ударов, чтобы убить самого сильного человека. Но ему приятно было быть неумолимо жестоким и приятно было думать, что у нас нет смертной казни.

Написав свою резолюцию о студенте, он подвинул ее Чернышеву.

— Вот, — сказал он. — Прочти.

Чернышев прочел и, в знак почтительного удивления мудрости решения, наклонил голову.

— Да вывести всех студентов на плац, чтобы они присутствовали при наказании, — прибавил Николай.

«Им полезно будет. Я выведу этот революционный дух, вырву с корнем», — подумал он.

— Слушаю, — сказал Чернышев и, помолчав несколько и оправив свой хохол, возвратился к кавказскому докладу.

— Так как прикажете написать Михаилу Семеновичу?

— Твердо держаться моей системы разорения жилищ, уничтожения продовольствия в Чечне и тревожить их набегами, — сказал Николай.

— О Хаджи-Мурате что прикажете? — спросил Чернышев.

— Да ведь Воронцов пишет, что хочет употребить его на Кавказе.

— Не рискованно ли это? — сказал Чернышев, избегая взгляда Николая. — Михаил Семенович, боюсь, слишком доверчив.

— А ты что думал бы? — резко переспросил Николай, подметив намерение Чернышева выставить в дурном свете распоряжение Воронцова.

— Да я думал бы, безопаснее отправить его в Россию.

— Ты думал, — насмешливо сказал Николай. — А я не думаю и согласен с Воронцовым. Так и напиши ему.

— Слушаю, — сказал Чернышев и, встав, стал откланиваться.

Откланялся и Долгорукий, который во все время доклада сказал только несколько слов о перемещении войск на вопросы Николая.

После Чернышева был принят приехавший откланиваться генерал-губернатор Западного края, Бибиков. Одобрив принятые Бибиковым меры против бунтующих крестьян, не хотевших переходить в православие, он приказал ему судить всех неповинующихся военным судом. Это значило приговаривать к прогнанию сквозь строй. Кроме того, он приказал еще отдать в солдаты редактора газеты, напечатавшего сведения о перечислении нескольких тысяч душ государственных крестьян в удельные.

— Я делаю это потому, что считаю это нужным, — сказал он. — А рассуждать об этом не позволяю.

Бибиков понимал всю жестокость распоряжения об униатах и всю несправедливость перевода государственных, то есть единственных в то время свободных людей, в удельные, то есть в крепостные царской фамилии. Но возражать нельзя было. Не согласиться с распоряжением Николая — значило лишиться всего того блестящего положения, которое он приобретал сорок

лет и которым пользовался. И потому он покорно наклонил свою черную седеющую голову в знак покорности и готовности исполнения жестокой, безумной и нечестной высочайшей воли.

Отпустив Бибикова, Николай с сознанием хорошо исполненного долга потянулся, взглянул на часы и пошел одеваться для выхода. Надев на себя мундир с эполетами, орденами и лентой, он вышел в приемные залы, где более ста человек мужчин в мундирах и женщин в вырезных нарядных платьях, расставленные все по определенным местам, с трепетом ожидали его выхода.

С безжизненным взглядом, с выпяченной грудью и перетянутым и выступающим из-за перетяжки и сверху и снизу животом, он вышел к ожидавшим, и, чувствуя, что все взгляды с трепетным подобострастием обращены на него, он принял еще более торжественный вид. Встречаясь глазами с знакомыми лицами, он, вспоминая кто — кто, останавливался и говорил иногда по-русски, иногда по-французски несколько слов и, пронизывая их холодным, безжизненным взглядом, слушал, что ему говорили.

Приняв поздравления, Николай прошел в церковь.

Бог через своих слуг, так же как и мирские люди, приветствовал и восхвалял Николая, и он как должное, хотя и наскучившее ему, принимал эти приветствия, восхваления. Все это должно было так быть, потому что от него зависело благоденствие и счастье всего мира, и хотя он уставал от этого, он все-таки не отказывал миру в своем содействии. Когда в конце обедни великолепный расчесанный дьякон провозгласил «многая лета» и певчие прекрасными голосами дружно подхватили эти слова, Николай, оглянувшись, заметил стоявшую у окна Нелидову с ее пышными плечами и в ее пользу решил сравнение с вчерашней девицей.

После обедни он пошел к императрице и в семейном кругу провел несколько минут, шутя с детьми и женой. Потом он через Эрмитаж зашел к министру двора Волконскому и, между прочим, поручил ему выдавать из своих особенных сумм ежегодную пенсию матери вче-

рашной девицы. И от него поехал на свою обычную прогулку.

Обед в этот день был в Помпейском зале; кроме меньших сыновей, Николая и Михаила, были приглашены: барон Ливен, граф Ржевусский, Долгорукий, прусский посланник и флигель-адъютант прусского короля.

Дождаясь выхода императрицы и императора, между прусским посланником и бароном Ливен завязался интересный разговор по случаю последних тревожных известий, полученных из Польши.

— *La Pologne et le Caucase, ce sont les deux cautions de la Russie,* — сказал Ливен. — *Il nous faut cent mille hommes á peu près dans chacun de ces deux pays*¹.

Посланник выразил притворное удивление тому, что это так.

— *Vous dites la Pologne.* — сказал он.

— *Oh, oui, c'était un coup de maitre de Maeternich de nous en avoir laissé d'ambarras...*²

В этом месте разговора вошла императрица с своей трясущейся головой и замершей улыбкой, и вслед за ней Николай.

За столом Николай рассказал о выходе Хаджи-Мурата и о том, что война кавказская теперь должна скоро кончиться вследствие его распоряжения о стеснении горцев вырубкой лесов и системой укреплений.

Посланник, перекинувшись беглым взглядом с прусским флигель-адъютантом, с которым он нынче утром еще говорил о несчастной слабости Николая считать себя великим стратегом, очень хвалил этот план, доказывающий еще раз великие стратегические способности Николая.

После обеда Николай ездил в балет, где в трико маршировали сотни обнаженных женщин. Одна особенно приглянулась ему, и, позвав балетмейстера,

¹ Польша и Кавказ — это две болячки России. Нам нужно по крайней мере сто тысяч человек в каждой из этих стран (*франц.*).

² — Вы говорите, Польша.

— О да, это был искусный ход Меттерниха, чтобы причинить нам затруднения... (*франц.*)

Николай благодарил его и велел подарить ему перстень с брильянтами.

На другой день при докладе Чернышева Николай еще раз подтвердил свое распоряжение Воронцову о том, чтобы теперь, когда вышел Хаджи-Мурат, усиленно тревожить Чечню и сжимать ее кордонной линией.

Чернышев написал в этом смысле Воронцову, и другой фельдъегерь, загоня лошадей и разбивая лица ямщиков, поскакал в Тифлис.

XVI

Во исполнение этого предписания Николая Павловича, тотчас же, в январе 1852 года, был предпринят набег в Чечню.

Отряд, назначенный в набег, состоял из четырех батальонов пехоты, двух сотен казаков и восьми орудий. Колонна шла дорогой. По обеим же сторонам колонны непрерывной цепью, спускаясь и поднимаясь по балкам, шли егеря в высоких сапогах, полушубках и папах, с ружьями на плечах и патронами на перевязи. Как всегда, отряд двигался по неприятельской земле, соблюдая возможную тишину. Только изредка на канавках позвякивали встряхнутые орудия, или не понимающая приказа о тишине фыркала или ржала артиллерийская лошадь, или хриплым сдержанным голосом кричал рассерженный начальник на своих подчиненных за то, что цепь или слишком растянулась, или слишком близко или далеко идет от колонны. Один раз только тишина нарушилась тем, что из небольшой куртинки колючки, находившейся между цепью и колонной, выскочила коза с белым брюшком и задом и серой спинкой и такой же козел с небольшими, на спину закинутыми рожками. Красивые испуганные животные большими прыжками, поджимая передние ноги, налетели на колонну так близко, что некоторые солдаты с криками и хохотом побежали за ними, намереваясь штыками заколоть их, но козы повертели назад, проскочили сквозь цепь и, преследуемые несколькими

конными и ротными собаками, как птицы, умчались в горы.

Еще была зима, но солнце начинало ходить выше, и в полдень, когда вышедший рано утром отряд прошел уже верст десять, пригревало так, что становилось жарко, и лучи его были так яркие, что больно было смотреть на сталь штыков и на блески, которые вдруг вспыхивали на меди пушек, как маленькие солнца.

Позади была только что перейденная отрядом быстрая чистая речка, впереди — обработанные поля и луга с неглубокими балками, еще впереди — таинственные черные горы, покрытые лесом, за черными горами — еще выступающие скалы, и на высоком горизонте — вечно прелестные, вечно изменяющиеся, играющие светом, как алмазы, снеговые горы.

Впереди пятой роты шел, в черном сюртуке, в папахе и с шашкой через плечо, недавно перешедший из гвардии высокий красивый офицер Бутлер, испытывая бодрое чувство радости жизни и вместе с тем опасности смерти и желания деятельности и сознания причастности к огромному, управляемому одной волей целому. Бутлер нынче во второй раз выходил в дело, и ему радостно было думать, что вот сейчас начнут стрелять по ним и что он не только не согнет головы под пролетающим ядром или не обратит внимания на свист пуль, но, как это уже и было с ним, выше поднимет голову и с улыбкой в глазах будет оглядывать товарищей и солдат и заговорит самым равнодушным голосом о чем-нибудь постороннем.

Отряд свернул с хорошей дороги и повернул на малоезженную, шедшую среди кукурузного жнивья, и стал подходить к лесу, когда — не видно было, откуда — с зловещим свистом пролетело ядро и ударилось в середине обоза, подле дороги, в кукурузное поле, взрыв на нем землю.

— Начинается, — весело улыбаясь, сказал Бутлер шедшему с ним товарищу.

И действительно, вслед за ядром показалась из-за леса густая толпа конных чеченцев с значками. В середине партии был большой зеленый значок, и старый фельдфебель роты, очень дальнзоркий, сообщил

близорукому Бутлеру, что это должен быть сам Шамиль. Партия спустилась под гору и показалась на вершине ближайшей балки справа и стала спускаться вниз. Маленький генерал в теплом черном сюртуке и папаче с большим белым курпеем подъехал на своем иноходце к роте Бутлера и приказал ему идти вправо против спускавшейся конницы. Бутлер быстро повел по указанному направлению свою роту, но не успел спуститься к балке, как услышал сзади себя один за другим два орудийные выстрела. Он оглянулся: два облака сизого дыма поднялись над двумя орудиями и потянулись вдоль балки. Партия, очевидно не ожидавшая артиллерии, пошла назад. Рота Бутлера стала стрелять вдогонку горцам, и вся лощина закрылась пороховым дымом. Только выше лощины видно было, как горцы поспешно отступали, отстреливаясь от преследующих их казаков. Отряд пошел дальше вслед за горцами, и на склоне второй балки открылся аул.

Бутлер с своей ротой бегом, вслед за казаками, вошел в аул. Жителей никого не было. Солдатам было велено жечь хлеб, сено и самые сакли. По всему аулу стелился едкий дым, и в дыму этом шныряли солдаты, вытаскивая из саклей, что находили, главное же — ловили и стреляли кур, которых не могли увезти горцы. Офицеры сели подальше от дыма и позавтракали и выпили. Фельдфебель принес им на доске несколько сотов меда. Чеченцев не слышно было. Немного после полдня велено было отступать. Роты построились за аулом в колонну, и Бутлеру пришлось быть в арьергарде. Как только тронулись, появились чеченцы и, следуя за отрядом, провожали его выстрелами.

Когда отряд вышел на открытое место, горцы отстали. У Бутлера никого не ранило, и он возвращался в самом веселом и бодром расположении духа.

Когда отряд, перейдя назад вброд перейденную утром речку, растянулся по кукурузным полям и лугам, песенники по ротам выступили вперед, и раздались песни. Ветру не было, воздух был свежий, чистый и такой прозрачный, что снеговые горы, отстоявшие за сотню верст, казались совсем близкими и что, когда песенники замолкали, слышался равномерный топот ног

и побрякивание орудий, как фон, на котором зачиналась и останавливалась песня. Песня, которую пели в пятой роте Бутлера, была сочинена юнкером во славу полка и пелась на плясовой мотив с припевом: «То ли дело, то ли дело, егеря, егеря!»

Бутлер ехал верхом рядом с своим ближайшим начальником, майором Петровым, с которым он и жил вместе, и не мог нарадоваться на свое решение выйти из гвардии и уйти на Кавказ. Главная причина его перехода из гвардии была та, что он проигрался в карты в Петербурге, так что у него ничего не осталось. Он боялся, что не будет в силах удержаться от игры, оставаясь в гвардии, а проигрывать уже нечего было. Теперь все это было кончено. Была другая жизнь, и такая хорошая, молодецкая. Он забыл теперь и про свое разорение и свои неоплатные долги. И Кавказ, война, солдаты, офицеры, пьяный и добродушный храбрец майор Петров — все это казалось ему так хорошо, что он иногда не верил себе, что он не в Петербурге, не в накуренных комнатах загибает углы и понтирует, ненавидя банкмета и чувствуя давящую боль в голове, а здесь, в этом чудном краю, среди молодцов-кавказцев.

«То ли дело, то ли дело, егеря, егеря!» — пели его песенники. Лошадь его веселым шагом шагала под эту музыку. Ротный мохнатый серый Трезорка, точно начальник, закрутив хвост, с озабоченным видом бежал перед ротой Бутлера. На душе было бодро, спокойно и весело. Война представлялась ему только в том, что он подвергал себя опасности, возможности смерти и этим заслуживал и награды, и уважение и здешних товарищей, и своих русских друзей. Другая сторона войны: смерть, раны солдат, офицеров, горцев, как ни странно это сказать, и не представлялась его воображению. Он даже бессознательно, чтобы удержать свое поэтическое представление о войне, никогда не смотрел на убитых и раненых. Так и нынче — у нас было три убитых и двенадцать раненых. Он прошел мимо трупа, лежавшего на спине, и только одним глазом видел какое-то странное положение восковой руки и темно-красное пятно на голове и не стал рассматривать. Горцы представлялись

ему только конными джигитами, от которых надо было защищаться.

— Так вот как-с, батюшка, — говорил майор в промежутке песни. — Не так-с, как у вас в Питере: равенье направо, равенье налево. А вот потрудились — и домой. Машурка нам теперь пирог подаст, щи хорошие. Жизнь! Так ли? Ну-ка, «Как вознялась заря», — скомандовал он свою любимую песню.

Майор жил супружески с дочерью фельдшера, сначала Машкой, а потом Марьей Дмитриевной. Марья Дмитриевна была красивая белокурая, вся в веснушках, тридцатилетняя бездетная женщина. Каково ни было ее прошедшее, теперь она была верной подругой майора, ухаживала за ним, как нянька, а это было нужно майору, часто напивавшемуся до потери сознания.

Когда пришли в крепость, все было, как предвидел майор. Марья Дмитриевна накормила его и Бутлера и еще приглашенных из отряда двух офицеров сытным, вкусным обедом, и майор наелся и напился так, что не мог уже говорить и пошел к себе спать. Бутлер, также усталый, но довольный и немного выпивший лишнего чихиря, пошел в свою комнатку, и едва успел раздеться, как, подложив ладонь под красивую курчавую голову, заснул крепким сном без сновидений и просыпания.

XVII

Аул, разоренный набегом, был тот самый, в котором Хаджи-Мурат провел ночь перед выходом своим к русским.

Садо, у которого останавливался Хаджи-Мурат, уходил с семьей в горы, когда русские подходили к аулу. Вернувшись в свой аул, Садо нашел свою саклю разрушенной: крыша была провалена, и дверь и столбы галерейки сожжены, и внутренность огажена. Сын же его, тот красивый, с блестящими глазами мальчик, который восторженно смотрел на Хаджи-Мурата, был привезен мертвым к мечети на покрытой буркой лошади. Он был проткнут штыком в спину. Благообраз-

ная женщина, служившая, во время его посещения, Хаджи-Мурату, теперь, в разорванной на груди рубашке, открывавшей ее старые, обвисшие груди, с распущенными волосами, стояла над сыном и царапала себе в кровь лицо и не переставая выла. Садо с киркой и лопатой ушел с родными копать могилу сыну. Старик дед сидел у стены разваленной сакли и, строгоя палочку, тупо смотрел перед собой. Он только что вернулся с своего пчельника. Бывшие там два стожка сена были сожжены; были поломаны и обожжены посаженные стариком и выхоженные абрикосовые и вишневые деревья и, главное, сожжены все ульи с пчелами. Вой женщин слышался во всех домах и на площади, куда были привезены еще два тела. Малые дети ревели вместе с матерями. Ревела и голодная скотина, которой нечего было дать. Взрослые дети не играли, а испуганными глазами смотрели на старших.

Фонтан был загажен, очевидно нарочно, так что воды нельзя было брать из него. Так же была загажена и мечеть, и мулла с муталимами очищал ее.

Старики хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения.

Перед жителями стоял выбор: оставаться на местах и восстановить с страшными усилиями все с такими трудами заведенное и так легко и бессмысленно уничтоженное, ожидая всякую минуту повторения того же, или, противно религиозному закону и чувству отвращения и презрения к русским, покориться им.

Старики помолились и единогласно решили послать к Шамилю послов, прося его о помощи, и тотчас же принялись за восстановление нарушенного.

На третий день после набега Бутлер вышел уже не рано утром с заднего крыльца на улицу, намереваясь пройтись и подышать воздухом до утреннего чая, который он пил обыкновенно вместе с Петровым. Солнце уже вышло из-за гор, и больно было смотреть на освещенные им белые мазанки правой стороны улицы, но зато, как всегда, весело и успокоительно было смотреть налево, на удаляющиеся и возвышающиеся, покрытые лесом черные горы и на видневшуюся из-за ущелья матовую цепь снеговых гор, как всегда старавшихся притвориться облаками.

Бутлер смотрел на эти горы, дышал во все легкие и радовался тому, что он живет, и живет именно он, и на этом прекрасном свете. Радовался он немножко и тому, что он так хорошо вчера вел себя в деле и при наступлении и в особенности при отступлении, когда дело было довольно жаркое, радовался и воспоминанию о том, как вчера, по возвращении их из похода, Маша, или Марья Дмитриевна, сожительница Петрова, угощала их и была особенно проста и мила со всеми, но в особенности, как ему казалось, была к нему ласкова. Марья Дмитриевна, с ее толстой косой, широкими плечами, высокой грудью и сияющей улыбкой покрытого веснушками доброго лица, невольно влекла Бутлера, как сильного, молодого холостого человека, и ему казалось даже, что она желает его. Но он считал, что это было бы дурно по отношению доброго, простодушного товарища, и держался с Марьей Дмитриевной самого простого, почтительного обращения, и радовался на себя за это. Сейчас он думал об этом.

Мысли его развлек услышанный им перед собой частый топот многих лошадиных копыт по пыльной дороге, точно скакало несколько человек. Он поднял голову и увидел в конце улицы подъезжавшую шагом кучку всадников. Впереди десятков двух казаков ехали два человека: один — в белой черкеске и высокой папахе с чалмой, другой — офицер русской службы, черный, горбоносый, в синей черкеске, с избытком серебра на одежде и на оружии. Под всадником с чалмой

был рыже-игреневый красавец конь с маленькой головой, прекрасными глазами; под офицером была высокая щеголеватая карабахская лошадь. Бутлер, охотник до лошадей, тотчас же оценил бодрую силу первой лошади и остановился, чтобы узнать, кто были эти люди. Офицер обратился к Бутлеру:

— Это воинский начальник дом? — спросил он, выдавая и несклоняемой речью и выговором свое нерусское происхождение и указывая плетью на дом Ивана Матвеевича.

— Этот самый, — сказал Бутлер.

— А это кто же? — спросил Бутлер, ближе подходя к офицеру и указывая глазами на человека в чалме.

— Хаджи-Мурат это. Сюда ехал, тут гостить будет у воинский начальник, — сказал офицер.

Бутлер знал про Хаджи-Мурата и про выход его к русским, но никак не ожидал увидеть его здесь, в этом маленьком укреплении.

Хаджи-Мурат дружелюбно смотрел на него.

— Здравствуйте, кошкольды, — сказал он выученное им приветствие по-татарски.

— Саубул, — ответил Хаджи-Мурат, кивая головой. Он подъехал к Бутлеру и подал руку, на двух пальцах которой висела плеть.

— Начальник? — сказал он.

— Нет, начальник здесь, пойду позову его, — сказал Бутлер, обращаясь к офицеру и входя на ступеньки и толкая дверь.

Но дверь «парадного крыльца», как его называла Марья Дмитриевна, была заперта. Бутлер постучал, но, не получив ответа, пошел кругом через задний вход. Крикнув своего денщика и не получив ответа и не найдя ни одного из двух денщиков, он зашел в кухню. Марья Дмитриевна, повязанная платком и раскрасневшаяся, с засученными рукавами над белыми полными руками, разрезала скатанное такое же белое тесто, как и ее руки, на маленькие кусочки для пирожков.

— Куда денщики подевались? — сказал Бутлер.

— Пьянствовать ушли, — сказала Марья Дмитриевна. — Да вам что?

— Дверь отпереть; у вас перед домом целая орава горцев. Хаджи-Мурат приехал.

— Еще выдумайте что-нибудь, — сказала Марья Дмитриевна, улыбаясь.

— Я не шучу. Правда. Стоят у крыльца.

— Да неужели вправду? — сказала Марья Дмитриевна.

— Что ж мне вам выдумывать. Подите посмотрите, они у крыльца стоят.

— Вот так оказия, — сказала Марья Дмитриевна, опустив рукава и ощупывая рукой шпильки в своей густой косе. — Так я пойду разбужу Ивана Матвеевича, — сказала она.

— Нет, я сам пойду. А ты, Бондаренко, дверь поди отопри, — сказал Бутлер.

— Ну, и то хорошо, — сказала Марья Дмитриевна и опять взялась за свое дело.

Узнав, что к нему приехал Хаджи-Мурат, Иван Матвеевич, уже слышавший о том, что Хаджи-Мурат в Грозной, несколько не удивился этому, а, приподнявшись, скрутил папироску, закурил и стал одеваться, громко откашливаясь и ворча на начальство, которое прислало к нему «этого черта». Одевшись, он потребовал от денщика «лекарства». И денщик, зная, что лекарством называлась водка, подал ему.

— Нет хуже смеси, — проворчал он, выпивая водку и закусывая черным хлебом. — Вот вчера выпил чихиря, и болит голова. Ну, теперь готов, — закончил он и пошел в гостиную, куда Бутлер уже провел Хаджи-Мурата и сопровождающего его офицера.

Офицер, провожавший Хаджи-Мурата, передал Ивану Матвеевичу приказание начальника левого фланга принять Хаджи-Мурата и, дозволяя ему иметь сообщение с горцами через лазутчиков, отнюдь не выпускать его из крепости иначе как с конвоем казаков.

Прочтя бумагу, Иван Матвеевич поглядел пристально на Хаджи-Мурата и опять стал вникать в бумагу. Несколько раз переведя таким образом глаза с бумаги на гостя, он остановил, наконец, свои глаза на Хаджи-Мурате и сказал:

— Якши, бек-якши. Пускай живет. Так и скажи ему, что мне приказано не выпускать его. А что приказано, то свято. А поместим его — как думаешь, Бутлер? — поместим в канцелярию?

Бутлер не успел ответить, как Марья Дмитриевна, пришедшая из кухни и стоявшая в дверях, обратилась к Ивану Матвеевичу:

— Зачем в канцелярию? Поместите здесь. Кунацкую отдадим да кладовую. По крайней мере на глазах будет, — сказала она и, взглянув на Хаджи-Мурата и встретившись с ним глазами, поспешно отвернулась.

— Что же, я думаю, что Марья Дмитриевна права, — сказал Бутлер.

— Ну, ну, ступай, бабам тут нечего делать, — хмурясь, сказал Иван Матвеевич.

Во все время разговора Хаджи-Мурат сидел, заложив руку за рукоять кинжала, и чуть-чуть презрительно улыбался. Он сказал, что ему все равно, где жить. Одно, что ему нужно и что разрешено ему сардарем, это то, чтобы иметь сношения с горцами, и потому он желает, чтобы их допускали к нему. Иван Матвеевич сказал, что это будет сделано, и попросил Бутлера занять гостей, пока принесут им закусить и приготовят комнаты, сам же он пойдет в канцелярию написать нужные бумаги и сделать нужные распоряжения.

Отношение Хаджи-Мурата к его новым знакомым сейчас же очень ясно определилось. К Ивану Матвеевичу Хаджи-Мурат с первого знакомства с ним почувствовал отвращение и презрение и всегда высокомерно обращался с ним. Марья Дмитриевна, которая готовила и приносила ему пищу, особенно нравилась ему. Ему нравилась и ее простота, и особенная красота чуждой ему народности, и бессознательно передававшееся ему ее влечение к нему. Он старался не смотреть на нее, не говорить с нею, но глаза его невольно обращались к ней и следили за ее движениями.

С Бутлером же он тотчас же, с первого знакомства, дружески сошелся и много и охотно говорил с ним, расспрашивая его про его жизнь и рассказывая ему про свою и сообщая о тех известиях, которые приносили

ему лазутчики о положении его семьи, и даже советуясь с ним о том, что ему делать.

Известия, передаваемые ему лазутчиками, были нехороши. В продолжение четырех дней, которые он провел в крепости, они два раза приходили к нему, и оба раза известия были дурные.

ХІХ

Семья Хаджи-Мурата вскоре после того, как он вышел к русским, была привезена в аул Ведено и содержалась там под стражею, ожидая решения Шамиля. Женщины — старуха Патимат и две жены Хаджи-Мурата — и их пятеро малых детей жили под караулом в сакле сотенного Ибрагима Рашида, сын же Хаджи-Мурата, восемнадцатилетний юноша Юсуф, сидел в темнице, то есть в глубокой, более сажени, яме, вместе с четверью преступниками, ожидавшими, так же как и он, решения своей участи.

Решение не выходило, потому что Шамиль был в отъезде. Он был в походе против русских.

6 января 1852 года Шамиль возвращался домой в Ведено после сражения с русскими, в котором, по мнению русских, был разбит и бежал в Ведено; по его же мнению и мнению всех мюридов, одержал победу и прогнал русских. В сражении этом, что бывало очень редко, он сам выстрелил из винтовки и, выхватя шашку, пустил было свою лошадь прямо на русских, но сопутствующие ему мюриды удержали его. Два из них тут же подле Шамиля были убиты.

Был полдень, когда Шамиль, окруженный партией мюридов, джигитовавших вокруг него, стрелявших из винтовок и пистолетов и не переставая поющих «Ля илляха иль алла», подъехал к своему месту пребывания.

Весь народ большого аула Ведено стоял на улице и на крышах, встречая своего повелителя, и в знак торжества также стрелял из ружей и пистолетов. Шамиль ехал на арабском белом коне, весело попрашивавшем поводья при приближении к дому. Убранство коня было самое простое, без украшений золота и серебра: тонко

выделанная, с дорожкой посередине, красная ременная уздечка, металлические, стаканчиками, стремяна и красный чепрак, видневшийся из-под седла. На имаме была покрытая коричневым сукном шуба с видневшимся около шеи и рукавов черным мехом, стянутая на тонком и длинном стане черным ремнем с кинжалом. На голове была надета высокая с плоским верхом папаха с черной кистью, обвитая белой чалмой, от которой конец спускался за шею. Ступни ног были в зеленых чувяках, и икры обтянуты черными ноговицами, обшитыми простым шнурком.

Вообще на имаме не было ничего блестящего, золотого или серебряного, и высокая, прямая, могучая фигура его, в одежде без украшений, окруженная мюридами с золотыми и серебряными украшениями на одежде и оружии, производила то самое впечатление величия, которое он желал и умел производить в народе. Бледное, окаймленное подстриженной рыжей бородой лицо его с постоянно сощуренными маленькими глазами было, как каменное, совершенно неподвижно. Проезжая по аулу, он чувствовал на себе тысячи устремленных глаз, но его глаза не смотрели ни на кого. Жены Хаджи-Мурата с детьми тоже вместе со всеми обитателями сакли вышли на галерею смотреть въезд имама. Одна старуха Патимат — мать Хаджи-Мурата, не вышла, а осталась сидеть, как она сидела, с растрепанными седеющими волосами, на полу сакли, охватив длинными руками свои худые колени, и, мигая своими жгучими черными глазами, смотрела на догорающие ветки в камине. Она, так же как и сын ее, всегда ненавидела Шамиля, теперь же еще больше, чем прежде, и не хотела видеть его.

Не видал также торжественного въезда Шамиля и сын Хаджи-Мурата. Он только слышал из своей темной вонючей ямы выстрелы и пение и мучался, как только мучаются молодые, полные жизни люди, лишенные свободы. Сидя в вонючей яме и видя все одних и тех же несчастных, грязных, изможденных, с ним вместе заключенных, большей частью ненавидящих друг друга людей, он страстно завидовал теперь тем людям, которые, пользуясь воздухом, светом, свободой, гарцевали

теперь на лихих конях вокруг повелителя, стреляли и дружно пели «Ля илляха иль алла».

Проехав аул, Шамиль въехал в большой двор, примыкавший к внутреннему, в котором находился сераль Шамиля. Два вооруженные лезгина встретили Шамиля у отворенных ворот первого двора. Двор этот был полон народа. Тут были люди, пришедшие из дальних мест по своим делам, были и просители, были и вытребованные самим Шамилем для суда и решения. При въезде Шамиля все находившиеся на дворе встали и почтительно приветствовали имама, прикладывая руки к груди. Некоторые стали на колени и стояли так все время, пока Шамиль проезжал двор от одних, внешних, ворот до других, внутренних. Хотя Шамиль и узнал среди дожидавшихся его много неприятных ему лиц и много скучных просителей, требующих забот о них, он с тем же неизменно каменным лицом проехал мимо них и, въехав во внутренний двор, слез у галереи своего помещения, при въезде в ворота налево.

После напряжения похода, не столько физического, сколько духовного, потому что Шамиль, несмотря на гласное признание своего похода победой, знал, что поход его был неудачен, что много аулов чеченских сожжены и разорены, и переменчивый, легкомысленный народ, чеченцы, колеблются, и некоторые из них, ближайšie к русским, уже готовы перейти к ним, — все это было тяжело, против этого надо было принять меры, но в эту минуту Шамилю ничего не хотелось делать, ни о чем не хотелось думать. Он теперь хотел только одного: отдыха и прелести семейной ласки любимейшей из жен своих, восемнадцатилетней черноглазой, быстроногой кистинки Аминет.

Но не только нельзя было и думать о том, чтобы видеть теперь Аминет, которая была тут же за забором, отделявшим во внутреннем дворе помещение жен от мужского отделения (Шамиль был уверен, что даже теперь, пока он слезал с лошади, Аминет с другими женами смотрела в щель забора), но нельзя было не только пойти к ней, нельзя было просто лечь на пуховики отдохнуть от усталости. Надо было прежде всего совершить полуденный намаз, к которому он не имел

теперь ни малейшего расположения, но неисполнение которого было не только невозможно в его положении религиозного руководителя народа, но и было для него самого так же необходимо, как ежедневная пища. И он совершил омовение и молитву. Окончив молитву, он позвал дожидавшихся его.

Первым вошел к нему его тесть и учитель, высокий седой благообразный старец с белой, как снег, бородой и красно-румяным лицом, Джемал-Эдин, и, помолвившись богу, стал расспрашивать Шамиля о событиях похода и рассказывать о том, что произошло в горах во время его отсутствия.

В числе всякого рода событий — об убийствах по кровомщению, о покражах скота, об обвиненных в несоблюдении предписаний тариката: курении табаку, питии вина, — Джемал-Эдин сообщил о том, что Хаджи-Мурат высылал людей для того, чтобы вывести к русским его семью, но что это было обнаружено, и семья привезена в Ведено, где и находится под стражей, ожидая решения имама. В соседней кунацкой были собраны старики для обсуждения всех этих дел, и Джемал-Эдин советовал Шамилю нынче же отпустить их, так как они уже три дня дожидались его.

Поев у себя обед, который принесла ему остроносая, черная, неприятная лицом и нелюбимая, но старшая жена его Зайдет, Шамиль пошел в кунацкую.

Шесть человек, составляющие совет его, старики с седыми, серыми и рыжими бородами, в чалмах и без чалм, в высоких папахах и новых бешметах и черкесках, подпоясанные ремнями с кинжалами, встали ему навстречу. Шамиль был головой выше всех их. Все они, так же как и он, подняли руки ладонями кверху и, закрыв глаза, прочли молитву, потом отерли лицо руками, спуская их по бородам и соединяя одну с другою. Окончив это, все сели, Шамиль посередине, на более высокой подушке, и началось обсуждение всех предстоящих дел.

Дела обвиняемых в преступлениях лиц решали по шарияту: двух людей приговорили за воровство к отрублению руки, одного к отрублению головы за убийство, троих помиловали. Потом приступили к главному

делу: к обдумыванию мер против перехода чеченцев к русским. Для противодействия этим переходам Джемал-Эдином было составлено следующее провозглашение:

«Желаю вам вечный мир с богом всемогущим. Слышу я, что русские ласкают вас и призывают к покорности. Не верьте им и не покоряйтесь, а терпите. Если не будете вознаграждены за это в этой жизни, то получите награду в будущей. Вспомните, что было прежде, когда у вас отбирали оружие. Если бы не вразумил вас тогда, в 1840 году, бог, вы бы уже были солдатами и ходили вместо кинжалов со штыками, а жены ваши ходили бы без шаровар и были бы поруганы. Судите по прошедшему о будущем. Лучше умереть во вражде с русскими, чем жить с неверными. Потерпите, а я с Кораном и шашкою приду к вам и поведу вас против русских. Теперь же строго повелеваю не иметь не только намерения, но и помышления покоряться русским».

Шамиль одобрил это провозглашение и, подписав его, решил разослать его.

После этих дел было обсуждаемо и дело Хаджи-Мурата. Дело это было очень важное для Шамиля. Хотя он и не хотел признаться в этом, он знал, что, будь с ним Хаджи-Мурат с своей ловкостью, смелостью и храбростью, не случилось бы того, что случилось теперь в Чечне. Помириться с Хаджи-Муратом и опять пользоваться его услугами было хорошо; если же этого нельзя было, все-таки нельзя было допустить того, чтобы он помогал русским. И потому во всяком случае надо было вызвать его и, вызвав, убить его. Средство к этому было или то, чтобы подослать в Тифлис такого человека, который бы убил его там, или вызвать его сюда и здесь покончить с ним. Средство для этого было одно — его семья, и главное — его сын, к которому, Шамиль знал, что Хаджи-Мурат имел страстную любовь. И потому надо было действовать через сына.

Когда советники переговорили об этом, Шамиль закрыл глаза и умолк.

Советники знали, что это значило то, что он слушает теперь говорящий ему голос пророка, указываю-

щий то, что должно быть сделано. После пятиминутного торжественного молчания Шамиль открыл глаза, еще более прищурил их и сказал:

— Приведите ко мне сына Хаджи-Мурата.

— Он здесь, — сказал Джемал-Эдин.

И действительно, Юсуф, сын Хаджи-Мурата, худой, бледный, оборванный и вонючий, но все еще красивый и своим телом и лицом, с такими же жгучими, как у бабки Патимат, черными глазами, уже стоял у ворот внешнего двора, ожидая призыва.

Юсуф не разделял чувств отца к Шамилю. Он не знал всего прошедшего, или знал, но, не пережив его, не понимал, зачем отец его так упорно враждует с Шамилем. Ему, желающему только одного: продолжения той легкой, разгульной жизни, какую он, как сын наиба, вел в Хунзахе, казалось совершенно ненужным враждовать с Шамилем. В отпор и противоречие отцу, он особенно восхищался Шамилем и питал к нему распространенное в горах восторженное поклонение. Он теперь с особенным чувством трепетного благоговения к имаму вошел в кунацкую и, остановившись у двери, встретился с упорным сощуренным взглядом Шамиля. Он постоял несколько времени, потом подошел к Шамилю и поцеловал его большую, с длинными пальцами белую руку.

— Ты сын Хаджи-Мурата?

— Я, имам.

— Ты знаешь, что он сделал?

— Знаю, имам, и жалею об этом.

— Умеешь писать?

— Я готовился быть муллой.

— Так напиши отцу, что, если он выйдет назад ко мне теперь, до байрама, я прошу его и все будет по-старому. Если же нет и он останется у русских, то, — Шамиль грозно нахмурился, — я отдам твою бабку, твою мать по аулам, а тебе отрублю голову.

Ни один мускул не дрогнул на лице Юсуфа, он наклонил голову в знак того, что понял слова Шамиля.

— Напиши так и отдай моему посланному.

Шамиль замолчал и долго смотрел на Юсуфа.

— Напиши, что я пожалел тебя и не убью, а высколю глаза, как я делаю всем изменникам. Иди.

Юсуф казался спокойным в присутствии Шамиля, но когда его вывели из кунацкой, он бросился на того, кто вел его, и, выхватив у него из ножен кинжал, хотел им зарезаться, но его схватили за руки, связали их и отвели опять в яму.

В этот вечер, когда кончилась вечерняя молитва и смеркалось, Шамиль надел белую шубу и вышел за забор в ту часть двора, где помещались его жены, и направился к комнате Аминет. Но Аминет не было там. Она была у старших жен. Тогда Шамиль, стараясь быть незаметным, стал за дверь комнаты, дожидаясь ее. Но Аминет была сердита на Шамиля за то, что он подарил шелковую материю не ей, а Зайдет. Она видела, как он вышел и как входил в ее комнату, отыскивая ее, и нарочно не пошла к себе. Она долго стояла в двери комнаты Зайдет и, тихо смеясь, глядела на белую фигуру, то входившую, то уходившую из ее комнаты. Тщетно прождав ее, Шамиль вернулся к себе уже ко времени полуночной молитвы.

XX

Хаджи-Мурат прожил неделю в укреплении в доме Ивана Матвеевича. Несмотря на то, что Марья Дмитриевна ссорилась с мохнатым Ханефи (Хаджи-Мурат взял с собой только двух: Ханефи и Элдара) и вытолкала его раз из кухни, за что тот чуть не зарезал ее, она, очевидно, питала особенные чувства и уважения и симпатии к Хаджи-Мурату. Она теперь уже не подавала ему обедать, передав эту заботу Элдару, но пользовалась всяким случаем увидеть его и угодить ему. Она принимала также самое живое участие в переговорах об его семье, знала, сколько у него жен, детей, каких лет, и всякий раз после посещения лазутчика допрашивала, кого могла, о последствиях переговоров.

Бутлер же в эту неделю совсем сдружился с Хаджи-Муратом. Иногда Хаджи-Мурат приходил в его комнату, иногда Бутлер приходил к нему. Иногда они беседовали через переводчика, иногда же собственными средствами, знаками и, главное, улыбками. Хаджи-Мурат, очевидно, полюбил Бутлера. Это видно было по отношению к Бутлеру Элдара. Когда Бутлер входил в комнату Хаджи-Мурата, Элар встречал Бутлера, радостно оскаливая свои блестящие зубы, и поспешно подкладывал ему подушки под сиденье и снимал с него шашку, если она была на нем.

Бутлер познакомился и сошелся также и с мохнатым Ханефи, названным братом Хаджи-Мурата. Ханефи знал много горских песен и хорошо пел их. Хаджи-Мурат, в угождение Бутлеру, призывал Ханефи и приказывал ему петь, называя те песни, которые он считал хорошими. Голос у Ханефи был высокий тенор, и пел он необыкновенно отчетливо и выразительно. Одна из песен особенно нравилась Хаджи-Мурату и поразила Бутлера своим торжественно-грустным напевом. Бутлер попросил переводчика пересказать ее содержание и написал ее.

Песня относилась к кровомщению — тому самому, что было между Ханефи и Хаджи-Муратом.

Песня была такая:

«Высохнет земля на могиле моей — и забудешь ты меня, моя родная мать! Порастет кладбище могильной травой — заглушит трава твою горе, мой старый отец. Слезы высохнут на глазах сестры моей, улетит и горе из сердца ее.

Но не забудешь меня ты, мой старший брат, пока не отомстишь моей смерти. Не забудешь ты меня, и второй мой брат, пока не ляжешь рядом со мной.

Горяча ты, пуля, и несешь ты смерть, но не ты ли была моей верной рабой? Земля черная, ты покроешь меня, но не я ли тебя конем топтал? Холодна ты, смерть, но я был твоим господином. Мое тело возьмет земля, мою душу примет небо».

Хаджи-Мурат всегда слушал эту песню с закрытыми глазами и, когда она кончалась протяжной, замирающей нотой, всегда по-русски говорил:

— Хорош песня, умный песня.

Поэзия особенной, энергической горской жизни, с приездом Хаджи-Мурата и сближением с ним и его мюридами, еще более охватила Бутлера. Он завел себе бешмет, черкеску, ноговицы, и ему казалось, что он сам горец и что живет такую же, как и эти люди, жизнью.

В день отъезда Хаджи-Мурата Иван Матвеевич собрал несколько офицеров, чтобы проводить его. Офицеры сидели кто у чайного стола, где Марья Дмитриевна разливала чай, кто у другого стола — с водкой, чихирем и закуской, когда Хаджи-Мурат, одетый по дорожному и в оружии, быстрыми мягкими шагами вошел, хромя, в комнату.

Все встали и по очереди за руку поздоровались с ним. Иван Матвеевич пригласил его на тахту, но он, поблагодарив, сел на стул у окна. Молчание, воцарившееся при его входе, очевидно, несколько не смущало его. Он внимательно оглядел все лица и остановил равнодушный взгляд на столе с самоваром и закусками. Бойкий офицер Петроковский, в первый раз видевший Хаджи-Мурата, через переводчика спросил его, понравился ли ему Тифлис.

— Айя, — сказал он.

— Он говорит, что да, — отвечал переводчик.

— Что же понравилось ему?

Хаджи-Мурат что-то ответил.

— Больше всего ему понравился театр.

— Ну, а на бале у главнокомандующего понравилось ему?

Хаджи-Мурат нахмурился.

— У каждого народа свои обычаи. У нас женщины так не одеваются, — сказал он, взглянув на Марью Дмитриевну.

— Что же ему не понравилось?

— У нас пословица есть, — сказал он переводчику, — угостила собака ишака мясом, а ишак собаку сеном, — оба голодные остались. — Он улыбнулся. — Всякому народу свой обычай хорош.

Разговор дальше не пошел. Офицеры кто стал пить чай, кто закусывать. Хаджи-Мурат взял предложенный стакан чаю и поставил его перед собой.

— Что ж? Сливки? Булку? — сказала Марья Дмитриевна, подавая ему.

Хаджи-Мурат наклонил голову.

— Так что ж, прощай! — сказал Бутлер, трогая его по колену. — Когда увидимся?

— Прощай! прощай, — улыбаясь, по-русски сказал Хаджи-Мурат. — Кунак булур. Крепко кунак твоя. Время — айда пошел, — сказал он, тряхнув головой как бы тому направлению, куда надо ехать.

В дверях комнаты показался Элдар с чем-то большим белым через плечо и с шашкой в руке. Хаджи-Мурат поманил его, и Элдар подошел своими большими шагами к Хаджи-Мурату и подал ему белую бурку и шашку. Хаджи-Мурат встал, взял бурку и, перекинув ее через руку, подал Марье Дмитриевне, что-то сказав переводчику. Переводчик сказал:

— Он говорит: ты похвалила бурку, возьми.

— Зачем это? — сказала Марья Дмитриевна, покраснев.

— Так надо. Адат так, — сказал Хаджи-Мурат.

— Ну, благодарю, — сказала Марья Дмитриевна, взяв бурку. — Дай бог вам сына выручить. Улач якши, — прибавила она. — Переведите ему, что желаю ему семью выручить.

Хаджи-Мурат взглянул на Марью Дмитриевну и одобрительно кивнул головой. Потом он взял из рук Элдара шашку и подал Ивану Матвеевичу. Иван Матвеевич взял шашку и сказал переводчику:

— Скажи ему, чтобы мерина моего бурого взял, больше нечем отдарить.

Хаджи-Мурат помахал рукой перед лицом, показывая этим, что ему ничего не нужно и что он не возьмет, а потом, показав на горы и на свое сердце, пошел к выходу. Все пошли за ним. Офицеры, оставшиеся в комнатах, вынув шашку, разглядывали клинок на ней и решили, что эта была настоящая гурда.

Бутлер вышел вместе с Хаджи-Муратом на крыльцо. Но тут случилось то, чего никто не ожидал и что могло кончиться смертью Хаджи-Мурата, если бы не его сметливость, решительность и ловкость.

Жители кумыцкого аула Таш-Кичу, питавшие большое уважение к Хаджи-Мурату и много раз приезжавшие в укрепление, чтобы только взглянуть на знаменитого наиба, за три дня до отъезда Хаджи-Мурата послали к нему послов просить его в пятницу в их мечеть. Кумыцкие же князья, жившие в Таш-Кичу и ненавидевшие Хаджи-Мурата и имевшие с ним кровомщение, узнав об этом, объявили народу, что они не пустят Хаджи-Мурата в мечеть. Народ взволновался, и произошла драка народа с княжескими сторонниками. Русское начальство усмирило горцев и послало Хаджи-Мурату сказать, чтобы он не приезжал в мечеть. Хаджи-Мурат не поехал, и все думали, что дело тем и кончилось.

Но в самую минуту отъезда Хаджи-Мурата, когда он вышел на крыльцо и лошади стояли у подъезда, к дому Ивана Матвеевича подъехал знакомый Бутлеру и Ивану Матвеевичу кумыцкий князь Арслан-Хан.

Увидав Хаджи-Мурата и выхватив из-за пояса пистолет, он направил его на Хаджи-Мурата. Но не успел Арслан-Хан выстрелить, как Хаджи-Мурат, несмотря на свою хромоту, как кошка, быстро бросился с крыльца к Арслан-Хану. Арслан-Хан выстрелил и не попал. Хаджи-Мурат же, подбежав к нему, одной рукой схватил его лошадь за повод, другой выхватил кинжал и что-то по-татарски крикнул.

Бутлер и Элдар в одно и то же время подбежали к врагам и схватили их за руки. На выстрел вышел и Иван Матвеевич.

— Что же это ты, Арслан, у меня в доме затеял такую гадость! — сказал он, узнав, в чем дело. — Нехорошо это, брат. В поле две воли, а что же у меня резню такую затевать.

Арслан-Хан, маленький человечек с черными усами, весь бледный и дрожащий, сошел с лошади, злобно поглядел на Хаджи-Мурата и ушел с Иваном Матвеевичем в горницу. Хаджи-Мурат же вернулся к лошадям, тяжело дыша и улыбаясь.

— За что он его убить хотел? — спросил Бутлер через переводчика.

— Он говорит, что такой у нас закон, — передал переводчик слова Хаджи-Мурата. — Арслан должен отомстить ему за кровь. Вот он и хотел убить.

— Ну, а если он догонит его дорогой? — спросил Бутлер.

Хаджи-Мурат улыбнулся.

— Что ж, — убьет, значит, так алла хочет. Ну, прощай, — сказал он опять по-русски и, взявшись за холку лошади, обвел глазами всех провожавших его и ласково встретился взглядом с Марьей Дмитриевной.

— Прощай, матушка, — сказал он, обращаясь к ней, — спасибо.

— Дай бог, дай бог семью выручить, — повторила Марья Дмитриевна.

Он не понял слов, но понял ее участие к нему и кивнул ей головой.

— Смотри, не забудь кунака, — сказал Бутлер.

— Скажи, что я верный друг ему, никогда не забуду, — ответил он через переводчика и, несмотря на свою кривую ногу, только что дотронулся до стремени, как быстро и легко перенес свое тело на высокое седло и, оправив шашку, ошупав привычным движением пистолет, с тем особенным гордым, воинственным видом, с которым сидит горец на лошади, поехал прочь от дома Ивана Матвеевича. Ханефи и Элдар также сели на лошадей и, дружелюбно простившись с хозяевами и офицерами, поехали рысью за своим мюршидом.

Как всегда, начались толки об уехавшем.

— Молодчина!

— Ведь как волк бросился на Арслан-Хана, совсем лицо другое стало.

— А надует он. Плут большой должен быть, — сказал Петроковский.

— Дай бог, чтобы побольше русских таких плутов было, — вдруг с досадой вмешалась Марья Дмитриевна. — Неделю у нас прожил; кроме хорошего, ничего от него не видали, — сказала она. — Обходительный, умный, справедливый.

— Почем вы это всё узнали?

— Стало быть, узнала.

— Втюрилась, а? — сказал вошедший Иван Матвеевич. — Уж это как есть.

— Ну и втюрилась. А вам что? Только зачем осуждать, когда человек хороший. Он татарин, а хороший.

— Правда, Марья Дмитриевна, — сказал Бутлер. — Молодец, что заступились.

XXI

Жизнь обитателей передовых крепостей на чеченской линии шла по-старому. Были с тех пор две тревоги, на которые выбегали роты и скакали казаки и милиционеры, но оба раза горцев не могли остановить. Они уходили и один раз в Воздвиженской угнали восемь лошадей казачьих с водопоя и убили казака. Набегов со времени последнего, когда был разорен аул, не было. Только ожидалась большая экспедиция в Большую Чечню вследствие назначения нового начальника левого фланга, князя Барятинского.

Князь Барятинский, друг наследника, бывший командир Кабардинского полка, теперь, как начальник всего левого фланга, тотчас по приезде своем в Грозную собрал отряд, с тем чтобы продолжать исполнять те предначертания государя, о которых Чернышев писал Воронцову. Собранный в Воздвиженской отряд вышел из нее на позицию по направлению к Куринскому. Войска стояли там и рубили лес.

Молодой Воронцов жил в великолепной суконной палатке, и жена его, Марья Васильевна, приезжала в лагерь и часто оставалась ночевать. Ни от кого не были секретом отношения Барятинского с Марьей Васильевой, и потому непридворные офицеры и солдаты грубо ругали ее за то, что благодаря ее присутствию в лагере их рассылали в ночные секреты. Обыкновенно горцы подвозили орудия и пускали ядра в лагерь. Ядра эти большею частью не попадали, и потому в обыкновенное время против этих выстрелов не принималось никаких мер; но для того чтобы горцы не могли выдвигать орудия и пугать Марью Васильевну, высылались секреты.

Ходить же каждую ночь в секреты для того, чтобы не напугать барыню, было оскорбительно и противно, и Марью Васильевну нехорошими словами честили солдаты и не принятые в высшее общество офицеры.

В этот отряд, чтобы повидать там собравшихся своих однокашников по Пажескому корпусу и однополчан, служивших в Куринском полку и адъютантами и ординарцами при начальстве, приехал в отпуск и Бутлер из своего укрепления. С начала его приезда ему было очень весело. Он остановился в палатке Полторацкого и нашел тут много радостно встретивших его знакомых. Он пошел и к Воронцову, которого он знал немного, потому что служил одно время в одном с ним полку. Воронцов принял его очень ласково и представил князю Барятинскому и пригласил его на прощальный обед, который он давал бывшему до Барятинского начальнику левого фланга, генералу Козловскому.

Обед был великолепный. Были привезены и поставлены рядом шесть палаток. Во всю длину их был накрыт стол, уставленный приборами и бутылками. Все напоминало петербургское гвардейское житье. В два часа сели за стол. В середине стола сидели: по одну сторону Козловский, по другую Барятинский. Справа от Козловского сидел муж, слева жена Воронцовы. Во всю длину с обеих сторон сидели офицеры Кабардинского и Куринского полков. Бутлер сидел рядом с Полторацким, оба весело болтали и пили с соседями-офицерами. Когда дело дошло до жаркого и деншики стали разливать по бокалам шампанское, Полторацкий с искренним страхом и сожалением сказал Бутлеру:

— Осрамится наш «как».

— А что?

— Да ведь ему надо речь говорить. А что же он может?

— Да, брат, это не то, что под пулями завалы брать. А еще тут рядом дама да эти придворные господа. Право, жалко смотреть на него, — говорили между собою офицеры.

Но вот наступила торжественная минута. Барятинский встал и, подняв бокал, обратился к Козловскому с

короткой речью. Когда Бяратинский кончил, Козловский встал и довольно твердым голосом начал:

— По высочайшей его величества воле, я уезжаю от вас, расстаюсь с вами, господа офицеры, — сказал он. — Но считайте меня всегда, как, с вами... Вам, господа, знакома, как, истина — один в поле не воин. Поэтому все, чем я на службе моей, как, награжден, всё, как, чем осыпан, великими щедротами государя императора, как, всем положением моим и, как, добрым именем — всем, всем решительно, как... — здесь голос его задрожал, — я, как, обязан одним вам и одним вам, дорогие друзья мои! — И морщинистое лицо сморщилось еще больше. Он вскрикнул, и слезы выступили ему на глаза. — От всего сердца приношу вам, как, мою искреннюю задушевную признательность...

Козловский не мог говорить дальше и, встав, стал обнимать офицеров, которые подходили к нему. Все были растроганы. Княгиня закрыла лицо платком. Князь Семен Михайлович, скривя рот, моргал глазами. Многие из офицеров тоже прослезились. Бутлер, который очень мало знал Козловского, тоже не мог удержать слез. Все это ему чрезвычайно нравилось. Потом начались тосты за Бяратинского, за Воронцова, за офицеров, за солдат, и гости вышли от обеда опьяненные и выпитым вином, и военным восторгом, к которому они и так были особенно склонны.

Погода была чудная, солнечная, тихая, с бодрящим свежим воздухом. Со всех сторон трещали костры, слышались песни. Казалось, все праздновали что-то. Бутлер в самом счастливом, умиленном расположении духа пошел к Полторацкому. К Полторацкому собрались офицеры, раскинули карточный стол, и адъютант заложил банк в сто рублей. Раза два Бутлер выходил из палатки, держа в руке, в кармане панталон, свой кошелек, но, наконец, не выдержал и, несмотря на данное себе и братьям слово не играть, стал понтировать.

И не прошло часу, как Бутлер, весь красный, в поту, испачканный мелом, сидел, облокотившись обеими руками на стол, и писал под смятыми на углы и транспорты картами цифры своих ставок. Он проиграл так много, что уж боялся счесть то, что было за ним запи-

сано. Он, не считая, знал, что, отдав все жалованье, которое он мог взять вперед, и цену своей лошади, он все-таки не мог заплатить всего, что было за ним записано незнакомым адъютантом. Он бы играл и еще, но адъютант с строгим лицом положил своими белыми чистыми руками карты и стал считать меловую колонну записей Бутлера. Бутлер сконфуженно просил извинить его за то, что не может заплатить сейчас всего того, что проиграл, и сказал, что он придет из дому, и когда он сказал это, он заметил, что всем стало жаль его и что все, даже Полторацкий, избегали его взгляда. Это был последний его вечер. Стоило ему не играть, а пойти к Воронцову, куда его звали, «и все бы было хорошо», — думал он. А теперь было не только не хорошо, но было ужасно.

Простившись с товарищами и знакомыми, он уехал домой и, приехав, тотчас же лег спать и спал восемнадцать часов сряду, как спят обыкновенно после проигрыша. Марья Дмитриевна по тому, что он попросил у нее полтинник, чтобы дать на чай провожавшему его казаку, и по его грустному виду и коротким ответам поняла, что он проигрался, и напала на Ивана Матвеевича, зачем он отпускал его.

На другой день Бутлер проснулся в двенадцатом часу и, вспомнив свое положение, хотел бы опять нырнуть в забвение, из которого только что вышел, но нельзя было. Надо было принять меры, чтобы выплатить четыреста семьдесят рублей, которые он остался должен незнакомому человеку. Одна из этих мер состояла в том, что он написал письмо брату, каюсь в своем грехе и умоляя его выслать ему в последний раз пятьсот рублей в счет той мельницы, которая осгавалась еще у них в общем владении. Потом он написал своей скупой родственнице, прося ее дать ему на каких она хочет процентах те же пятьсот рублей. Потом он пошел к Ивану Матвеевичу и, зная, что у него или, скорее, у Марьи Дмитриевны есть деньги, просил его дать ему взаймы пятьсот рублей.

— Я бы дал, — сказал Иван Матвеевич, — сейчас отдал бы, да Машка не даст. Они, эти бабы, очень уж

прижимисты, черт их знает. А надо, надо выкрутиться, черт его возьми. У того черта, у маркитанта, нет ли?

Но у маркитанта нечего было и пробовать заниматься. Так что спасение Бутлера могло прийти только от брата или от скупой родственницы.

XXII

Не достигнув своей цели в Чечне, Хаджи-Мурат вернулся в Тифлис и каждый день ходил к Воронцову и, когда его принимали, умолял его собрать горских пленных и выменять на них его семью. Он опять говорил, что без этого он связан и не может, как он хотел бы, служить русским и уничтожить Шамиля. Воронцов неопределенно обещал сделать, что может, но откладывал, говоря, что он решит дело, когда приедет в Тифлис генерал Аргутинский и он переговорит с ним. Тогда Хаджи-Мурат стал просить Воронцова разрешить ему съездить на время и пожить в Нухе, небольшом городке Закавказья, где он полагал, что ему удобнее будет вести переговоры с Шамилем и с преданными ему людьми о своей семье. Кроме того, в Нухе, магометанском городе, была мечеть, где он более удобно мог исполнять требуемые магометанским законом молитвы. Воронцов написал об этом в Петербург, а между тем все-таки разрешил Хаджи-Мурату переехать в Нуху.

Для Воронцова, для петербургских властей, так же как и для большинства русских людей, знавших историю Хаджи-Мурата, история эта представлялась или счастливым оборотом в кавказской войне, или просто интересным случаем; для Хаджи-Мурата же это был, особенно в последнее время, страшный поворот в его жизни. Он бежал из гор, отчасти спасая себя, отчасти из ненависти к Шамилю, и, как ни трудно было это бегство, он достиг своей цели, и в первое время его радовал его успех и он действительно обдумывал планы нападения на Шамиля. Но оказалось, что выход его семьи, который, он думал, легко устроить, был труднее, чем он думал. Шамиль захватил его семью и, держа ее в плену, обещал раздать женщин по аулам и убить



или ослепить сына. Теперь Хаджи-Мурат переезжал в Нуху с намерением попытаться через своих приверженцев в Дагестане хитростью или силой вырвать семью от Шамиля. Последний лазутчик, который был у него в Нухе, сообщил ему, что преданные ему аварцы собираются похитить его семью и выйти вместе с семьей к русским, но людей, готовых на это, слишком мало, и что они не решаются сделать этого в месте заключения семьи, в Ведено, но сделают это только в том случае, если семью переведут из Ведено в другое место. Тогда на пути они обещаются сделать это. Хаджи-Мурат велел сказать своим друзьям, что он обещает три тысячи рублей за вырубку семьи.

В Нухе Хаджи-Мурату был отведен небольшой дом в пять комнат, недалеко от мечети и ханского дворца. В том же доме жили приставленные к нему офицеры и переводчик и его нукеры. Жизнь Хаджи-Мурата проходила в ожидании и приеме лазутчиков из гор и в разрешенных ему прогулках верхом по окрестностям Нухи.

Вернувшись 8 апреля с прогулки, Хаджи-Мурат узнал, что в его отсутствие приехал чиновник из Тифлиса. Несмотря на все желание узнать, что привез ему чиновник, Хаджи-Мурат, прежде чем идти в ту комнату, где его ожидали пристав с чиновником, пошел к себе и совершил полуденную молитву. Окончив молитву, он вышел в другую комнату, служившую гостиной и приемной. Приехавший из Тифлиса чиновник, толстенький статский советник Кириллов, передал Хаджи-Мурату желание Воронцова, чтоб он к двенадцатому числу приехал в Тифлис для свидания с Аргутинским.

— Якши, — сердито сказал Хаджи-Мурат.

Чиновник Кириллов не понравился ему.

— А деньги привез?

— Привез, — сказал Кириллов.

— За две недели теперь, — сказал Хаджи-Мурат и показал десять пальцев и еще четыре. — Давай.

— Сейчас дадим, — сказал чиновник, доставая кошелек из своей дорожной сумки. — И на что ему деньги? — сказал он по-русски приставу, полагая, что Хаджи-Мурат не понимает, но Хаджи-Мурат понял и сердито взглянул на Кириллова. Доставая деньги,

Кириллов, желая разговориться с Хаджи-Муратом, с тем чтобы иметь что передать по возвращении своему князю Воронцову, спросил у него через переводчика, скучно ли ему здесь. Хаджи-Мурат сбоку взглянул презрительно на маленького толстого человечка в штатском и без оружия и ничего не ответил. Переводчик повторил вопрос.

— Скажи ему, что я не хочу с ним говорить. Пускай даст деньги.

И, сказав это, Хаджи-Мурат опять сел к столу, собираясь считать деньги.

Когда Кириллов вынул золотые и разложил семь столбиков по десять золотых (Хаджи-Мурат получал по пять золотых в день), он подвинул их к Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат ссыпал золотые в рукав черкески, поднялся и совершенно неожиданно хлопнул статского советника по плечи и пошел из комнаты. Статский советник привскочил и велел переводчику сказать, что он не должен сметь этого делать, потому что он в чине полковника. То же подтвердил и пристав. Но Хаджи-Мурат кивнул головой в знак того, что он знает, и вышел из комнаты.

— Что с ним станешь делать, — сказал пристав. — Пырнет кинжалом, вот и все. С этими чертами не говоришь. Я вижу, он беситься начинает.

Как только смерклось, пришли из гор обвязанные до глаз башлыками два лазутчика. Пристав провел их в комнаты к Хаджи-Мурату. Один из лазутчиков был мясистый черный тавлинец, другой — худой старик. Известия, принесенные ими, были для Хаджи-Murата не радостные. Друзья его, взявшиеся выручить семью, теперь прямо отказывались, боясь Шамиля, который угрожал самыми страшными казнями тем, кто будут помогать Хаджи-Мурату. Отслушав рассказ лазутчиков, Хаджи-Мурат облокотил руки на скрещенные ноги и, опустив голову в папахе, долго молчал. Хаджи-Мурат думал, и думал решительно. Он знал, что думает теперь в последний раз, и необходимо решение. Хаджи-Мурат поднял голову и, достав два золотых, отдал лазутчикам по одному и сказал:

— Идите.

— Какой будет ответ?

— Ответ будет, какой даст бог. Идите.

Лазутчики встали и ушли, а Хаджи-Мурат продолжал сидеть на ковре, опершись локтями на колени. Он долго сидел так и думал.

«Что делать? Поверить Шамилю и вернуться к нему? — думал Хаджи-Мурат. — Он лисица — обманет. Если же бы он и не обманул, то покориться ему, рыжему обманщику, нельзя было. Нельзя было потому, что он теперь, после того как я побыл у русских, уже не поверит мне», — думал Хаджи-Мурат.

И он вспомнил сказку тавлинскую о соколе, который был пойман, жил у людей и потом вернулся в свои горы к своим. Он вернулся, но в путах, и на путах остались бубенцы. И соколы не приняли его. «Лети, — сказали они, — туда, где надели на тебя серебряные бубенцы. У нас нет бубенцов, нет и пут». Сокол не хотел покидать родину и остался. Но другие соколы не приняли и заклевали его.

«Так заключают и меня», — думал Хаджи-Мурат.

«Остаться здесь? Покорить русскому царю Кавказ, заслужить славу, чины, богатство?»

«Это можно», — думал он, вспоминая про свои свидания с Воронцовым и лестные слова старого князя.

«Но надо сейчас решить, а то он погубит семью».

Всю ночь Хаджи-Мурат не спал и думал.

XXIII

К середине ночи решение его было составлено. Он решил, что надо бежать в горы и с преданными аварцами ворваться в Ведено и или умереть, или освободить семью. Выведет ли он семью назад к русским, или бежит с нею в Хунзах и будет бороться с Шамилем, — Хаджи-Мурат не решал. Он знал только то, что сейчас надо было бежать от русских в горы. И он сейчас стал приводить это решение в исполнение. Он взял из-под подушки свой черный ватный бешмет и пошел в помещение своих нукеров. Они жили через сени. Как только он вышел в сени с отворенной дверью, его охватила росистая свежесть лунной ночи и ударили в уши свисты и

щелканье сразу нескольких соловьев из сада, примыкавшего к дому.

Пройдя сени, Хаджи-Мурат отворил дверь в комнату нукеров. В комнате этой не было света, только молодой месяц в первой четверти светил в окна. Стол и два стула стояли в стороне, и все четыре нукера лежали на коврах и бурках на полу. Ханефи спал на дворе с лошадьми. Гамзало, услышав скрип двери, поднялся, оглянулся на Хаджи-Мурата и, узнав его, опять лег. Эддар же, лежавший подле, вскочил и стал надевать бешмет, ожидая приказаний. Курбан и Хан-Магома спали. Хаджи-Мурат положил бешмет на стол, и бешмет стукнул о доски стола чем-то крепким. Это были зашитые в нем золотые.

— Зашей и эти, — сказал Хаджи-Мурат, подавая Эддару полученные нынче золотые.

Эддар взял золотые и тотчас же, выйдя на светлое место, достал из-под кинжала ножичек и стал пороть подкладку бешмета. Гамзало приподнялся и сидел, скрестив ноги.

— А ты, Гамзало, вели молодцам осмотреть ружья, пистолеты, приготовить заряды. Завтра поедем далеко, — сказал Хаджи-Мурат.

— Порох есть, пули есть. Будет готово, — сказал Гамзало и зарычал что-то непонятное.

Гамзало понял, для чего Хаджи-Мурат велел зарядить ружья. Он с самого начала, и что дальше, то сильнее и сильнее, желал одного: побить, порезать, сколько можно, русских собак и бежать в горы. И теперь он видел, что этого самого хочет и Хаджи-Мурат, и был доволен.

Когда Хаджи-Мурат ушел, Гамзало разбудил товарищей, и все четверо всю ночь пересматривали винтовки, пистолеты, затравки, кремни, переменяли плохие, подсыпали на полки свежего пороху, затыкали хозыри с отмеренными зарядами пороха, пулями, обернутыми в масляные тряпки, точили шашки и кинжалы и мазали клинки салом.

Перед рассветом Хаджи-Мурат опять вышел в сени, чтобы взять воды для омовения. В сенях еще громче и чаще, чем с вечера, слышны были заливавшиеся перед

светом соловьи. В комнате же нукеров слышно было равномерное шипение и свистение железа по камню оттачиваемого кинжала. Хаджи-Мурат зачерпнул воды из кадки и подошел уже к своей двери, когда услышал в комнате мюридов, кроме звука точения, еще и тонкий голос Ханефи, певшего знакомую Хаджи-Мурату песню. Хаджи-Мурат остановился и стал слушать.

В песне говорилось о том, как джигит Гамзат угнал с своими молодцами с русской стороны табун белых коней. Как потом его настиг за Терекон русский князь и как он окружил его своим, как лес, большим войском. Потом пелось о том, как Гамзат порезал лошадей и с молодцами своими засел за кровавым завалом убитых коней и бился с русскими до тех пор, пока были пули в ружьях и кинжалы на поясах и кровь в жилах. Но прежде чем умереть, Гамзат увидал птиц на небе и закричал им: «Вы, перелетные птицы, летите в наши дома и скажите вы нашим сестрам, матерям и белым девушкам, что умерли мы все за хазават. Скажите им, что не будут наши тела лежать в могилах, а растаскают и оглодают наши кости жадные волки и выключают глаза нам черные вороны».

Этими словами кончалась песня, и к этим последним словам, пропетым заунывным напевом, присоединился бодрый голос веселого Хан-Магомы, который при самом конце песни громко закричал: «Ля илляха иль алла» — и пронзительно завизжал. Потом все затихло, и опять слышалось только соловьиное чмоканье и свист из сада и равномерное шипение и изредка свистение быстро скользящего по камням железа из-за двери.

Хаджи-Мурат так задумался, что не заметил, как нагнул кувшин, и вода лилась из него. Он покачал на себя головой и вошел в свою комнату.

Совершив утренний намаз, Хаджи-Мурат осмотрел свое оружие и сел на свою постель. Делать было больше нечего. Для того чтобы выехать, надо было спроситься у пристава. А на дворе еще было темно, и пристав еще спал.

Песня Ханефи напомнила ему другую песню, сложенную его матерью. Песня эта рассказывала то, что действительно было, — было тогда, когда Хаджи-Мурат

только что родился, но про что ему рассказывала его мать.

Песня была такая:

«Булатный кинжал твой прорвал мою белую грудь, а я приложила к ней мое солнышко, моего мальчика, омыла его своей горячей кровью, и рана зажила без трав и кореньев, не боялась я смерти, не будет бояться и мальчик-джигит».

Слова этой песни обращены были к отцу Хаджи-Мурата, и смысл песни был тот, что, когда родился Хаджи-Мурат, ханша родила тоже своего другого сына, Умма-Хана, и потребовала к себе в кормилицы мать Хаджи-Мурата, выкормившую старшего ее сына, Абу-нунцала. Но Патимат не захотела оставить этого сына и сказала, что не пойдет. Отец Хаджи-Мурата рассердился и приказывал ей. Когда же она опять отказалась, ударил ее кинжалом и убил бы ее, если бы ее не отнял. Так она и не отдала его и выкормила, и на это дело сложила песню.

Хаджи-Мурат вспомнил свою мать, когда она, укладывая его спать с собой рядом, под шубой, на крыше сакли, пела ему эту песню, и он просил ее показать ему то место на боку, где остался след от раны. Как живую, он видел перед собой свою мать — не такую сморщенной, седой и с решеткой зубов, какую он оставил ее теперь, а молодой, красивой и такой сильной, что она, когда ему было уже лет пять и он был тяжелый, носила его за спиной в корзине через горы к деду.

И вспомнился ему и морщинистый, с седой бородкой, дед, серебряник, как он чеканил серебро своими жилистыми руками и заставлял внука говорить молитвы. Вспомнился фонтан под горой, куда он, держась за шаровары матери, ходил с ней за водой. Вспомнилась худая собака, лизавшая его в лицо, и особенно запах и вкус дыма и кислого молока, когда он шел за матерью в сарай, где она доила корову и топила молоко. Вспомнилось, как мать в первый раз обрила ему голову и как в блестящем медном тазу, висевшем на стене, с удивлением увидел свою круглую синеющую головенку.

И, вспомнив себя маленьким, он вспомнил и об любимом сыне Юсуфе, которому он сам в первый раз

обрил голову. Теперь этот Юсуф был уже молодой красавец джигит. Он вспомнил сына таким, каким видел его последний раз. Это было в тот день, как он выезжал из Цельмеса. Сын подал ему коня и попросил позволения проводить его. Он был одет и вооружен и держал в поводу свою лошадь. Румяное, молодое, красивое лицо Юсуфа и вся высокая, тонкая фигура его (он был выше отца) дышали отвагой молодости и радостью жизни. Широкие, несмотря на молодость, плечи, очень широкий юношеский таз и тонкий, длинный стан, длинные сильные руки и сила, гибкость, ловкость во всех движениях всегда радовали отца, и он всегда любовался сыном.

— Лучше оставайся. Ты один теперь в доме. Береги и мать и бабу, — сказал Хаджи-Мурат.

И Хаджи-Мурат помнил то выражение молодечества и гордости, с которым, покраснев от удовольствия, Юсуф сказал, что, пока он жив, никто не сделает худого его матери и бабушке. Юсуф все-таки сел верхом и проводил отца до ручья. От ручья он вернулся назад, и с тех пор Хаджи-Мурат уже не видал ни жены, ни матери, ни сына.

И вот этого-то сына хотел ослепить Шамиль! О том, что сделают с его женою, он не хотел и думать.

Мысли эти так взволновали Хаджи-Мурата, что он не мог более сидеть. Он вскочил и, хромя, быстро подошел к двери и, отворив ее, кликнул Элдара. Солнце еще не всходило, но было совсем светло. Соловьи не замолкали.

— Поди скажи приставу, что я желаю ехать на прогулку, и седлайте коней, — сказал он.

XXIV

Единственным утешением Бутлера была в это время воинственная поэзия, которой он предавался не только на службе, но и в частной жизни. Он, одетый в черкесский костюм, джигитовал верхом и ходил два раза в засаду с Богдановичем, хотя в оба раза эти они никого не подкараулили и никого не убили. Эта смелость и

дружба с известным храбрецом Богдановичем казалась Бутлеру чем-то приятным и важным. Долг свой он уплатил, заняв деньги у еврея на огромные проценты, то есть только отсрочил и отдалил неразрешенное положение. Он старался не думать о своем положении и, кроме воинственной поэзии, старался забыться еще вином. Он пил все больше и больше и со дня на день все больше и больше нравственно слабел. Он теперь уже не был прекрасным Иосифом по отношению к Марье Дмитриевне, а, напротив, стал грубо ухаживать за ней, но, к удивлению своему, встретил решительный отпор, сильно пристыдивший его.

В конце апреля в укрепление пришел отряд, который Барятинский предназначал для нового движения через всю считавшуюся непроходимой Чечню. Тут были две роты Кабардинского полка, и роты эти, по установившемуся кавказскому обычаю, были приняты как гости ротами, стоящими в Куринском. Солдаты разобрались по казармам и угащивались не только ужином, кашей, говядиной, но и водкой, и офицеры разместились по офицерам, и, как и водилось, здешние офицеры угащивали пришедших.

Угощение кончилось попойкой с песенниками, и Иван Матвеевич, очень пьяный, уже не красный, но бледно-серый, сидел верхом на стуле и, выхватив шашку, рубил ею воображаемых врагов и то ругался, то хохотал, то обнимался, то плясал под любимую свою песню: «Шамиль начал бунтоваться в прошедшие годы, трай-рай-рататай, в прошедшие годы».

Бутлер был тут же. Он старался видеть и в этом военную поэзию, но в глубине души ему жалко было Ивана Матвеевича, но остановить его, не было никакой возможности. И Бутлер, чувствуя хмель в голове, потихоньку вышел и пошел домой.

Полный месяц светил на белые домики и на камни дороги. Было светло так, что всякий камушек, соломинка, помет были видны на дороге. Подходя к дому, Бутлер встретил Марью Дмитриевну, в платке, покрывавшем ей голову и плечи. После отпора, данного Марьей Дмитриевной Бутлеру, он, немного совестясь, избегал встречи с нею. Теперь же, при лунном свете и от

выпитого вина, Бутлер обрадовался этой встрече и хотел опять приласкаться к ней.

— Вы куда? — спросил он.

— Да своего старика проведать, — дружелюбно отвечала она. Она совершенно искренно и решительно отвергала ухаживанье Бутлера, но ей неприятно было, что он все последнее время сторонился ее.

— Что же его проведывать, придет.

— Да придет ли?

— А не придет — принесут.

— То-то, нехорошо ведь это, — сказала Марья Дмитриевна. — Так не ходить?

— Нет, не ходите. А пойдем лучше домой.

Марья Дмитриевна повернулась и пошла домой рядом с Бутлером. Месяц светил так ярко, что около тени, двигавшейся подле дороги, двигалось сияние вокруг головы. Бутлер смотрел на это сияние около своей головы и собирался сказать ей, что она все так же нравится ему, но не знал, как начать. Она ждала, что он скажет. Так, молча, они совсем уж подходили к дому, когда из-за угла выехали верховые. Ехал офицер с конвоем.

— Это кого бог несет? — сказала Марья Дмитриевна и посторонилась.

Месяц светил взад приезжому, так что Марья Дмитриевна узнала его только тогда, когда он почти поравнялся с ними. Это был офицер Каменев, служивший прежде вместе с Иваном Матвеевичем, и потому Марья Дмитриевна знала его.

— Петр Николаевич, вы? — обратилась к нему Марья Дмитриевна.

— Я самый, — сказал Каменев. — А, Бутлер! Здравствуйте! Не спите еще? Гуляете с Марьей Дмитриевной? Смотрите, Иван Матвеевич вам задаст. Где он?

— А вот слышите, — сказала Марья Дмитриевна, указывая в ту сторону, из которой неслись звуки тумбаса и песни. — Кутят.

— Это что же, ваши кутят?

— Нет, пришли из Хасав-Юрта, вот и угощаются.

— А, это хорошее дело. И я поспею. Я к нему ведь только на минуточку.

— Что же, дело есть? — спросил Бутлер.

— Есть маленькое дельце.

— Хорошее или дурное?

— Кому как! Для нас хорошее, кое для кого скверное, — и Каменев засмеялся.

В это время и пешие и Каменев подошли к дому Ивана Матвеевича.

— Чихирев! — крикнул Каменев казаку. — Подъезжай-ка.

Донской казак выдвинулся из остальных и подъехал. Казак был в обыкновенной донской форме, в сапогах, шинели и с переметными сумами за седлом.

— Ну, достань-ка штуку, — сказал Каменев, слезая с лошади.

Казак тоже слез с лошади и достал из переметной сумы мешок с чем-то. Каменев взял из рук казака мешок и запустил в него руку.

— Так показать вам новость? Вы не испугаетесь? — обратился он к Марье Дмитриевне.

— Чего же бояться, — сказала Марья Дмитриевна.

— Вот она, — сказал Каменев, доставая человеческую голову и выставляя ее на свет месяца. — Узнаете?

Это была голова, бритая, с большими выступами черепа над глазами и черной стриженной бородкой и подстриженными усами, с одним открытым, другим полузакрытым глазом, с разрубленным и недорубленным бритым черепом, с окровавленным запекшейся черной кровью носом. Шея была замотана окровавленным полотенцем. Несмотря на все раны головы, в складе посиневших губ было детское доброе выражение.

Марья Дмитриевна посмотрела и, ничего не сказав, повернулась и быстрыми шагами ушла в дом.

Бутлер не мог отвести глаз от страшной головы. Это была голова того самого Хаджи-Мурата, с которым он так недавно проводил вечера в таких дружеских беседах.

— Как же это? Кто его убил? Где? — спросил он.

— Удрать хотел, поймали, — сказал Каменев и отдал голову казаку, а сам вошел в дом вместе с Бутлером.

— И молодцом умер, — сказал Каменев.

— Да как же это все случилось?

— А вот погодите, Иван Матвеевич придет, я все подробно расскажу. Ведь я затем послан. Развожу по всем укреплениям, аулам, показываю.

Было послано за Иваном Матвеевичем, и он, пьяный, с двумя также сильно выпившими офицерами, вернулся в дом и принялся обнимать Каменева.

— А я к вам, — сказал Каменев. — Хаджи-Мурата голову привез.

— Врешь! Убили?

— Да, бежать хотел.

— Я говорил, что надует. Так где же она? Голова-то? Покажи-ка.

Кликнули казака, и он внес мешок с головой. Голову вынули, и Иван Матвеевич пьяными глазами долго смотрел на нее.

— А все-таки молодчина был, — сказал он. — Дай я его поцелую.

— Да, правда, лихая была голова, — сказал один из офицеров.

Когда все осмотрели голову, ее отдали опять казачу. Казак положил голову в мешок, стараясь опустить на пол так, чтобы она как можно слабее стукнула.

— А что ж ты, Каменев, приговариваешь что, когда показываешь? — говорил один офицер.

— Нет, дай я его поцелую. Он мне шашку подарил, — кричал Иван Матвеевич.

Бутлер вышел на крыльцо. Марья Дмитриевна сидела на второй ступеньке. Она оглянулась на Бутлера и тотчас же сердито отвернулась.

— Что вы, Марья Дмитриевна? — спросил Бутлер.

— Все вы живорезы. Терпеть не могу. Живорезы, право, — сказала она, вставая.

— То же со всеми может быть, — сказал Бутлер, не зная, что говорить. — На то война.

— Война! — вскрикнула Марья Дмитриевна. — Какая война? Живорезы, вот и всё. Мертвое тело земле предать надо, а они зубоскалят. Живорезы, право, — повторила она и сошла с крыльца и ушла в дом через задний ход.

Бутлер вернулся в гостиную и попросил Каменева рассказать подробно, как было все дело.

И Каменев рассказал.

Дело было вот как.

XXV

Хаджи-Мурату было разрешено кататься верхом вблизи города и непременно с конвоем казаков. Казаков всех в Нухе была полусотня, из которой разобраны были по начальству человек десять, остальных же, если их посылать, как было приказано, по десять человек, приходилось бы наряжать через день. И потому в первый день послали десять казаков, а потом решили посылать по пять человек, прося Хаджи-Мурата не брать с собой всех своих нукеров, но 25 апреля Хаджи-Мурат выехал на прогулку со всеми пятью. В то время как Хаджи-Мурат садился на лошадь, воинский начальник заметил, что все пять нукеров собирались ехать с Хаджи-Муратом, и сказал ему, что ему не позволяется брать с собой всех, но Хаджи-Мурат как будто не слышал, тронул лошадь, и воинский начальник не стал настаивать. С казаками был урядник, георгиевский кавалер, в скобку остриженный, молодой, кровь с молоком, здоровый русский малый, Назаров. Он был старший в бедной старообрядческой семье, выросший без отца и кормивший старую мать с тремя дочерьми и двумя братьями.

— Смотри, Назаров, не пускай далеко! — крикнул воинский начальник.

— Слушаю, ваше благородие, — ответил Назаров и, поднимаясь на стремянах, тронул рысью, придерживая за плечом винтовку, своего доброго, крупного, рыжего, горбоносого мерина. Четыре казака ехали за ним: Феррапонтов, длинный, худой, первый вор и добытчик, — тот самый, который продал порох Гамзале; Игнатов, отслуживающий срок, немолодой человек, здоровый мужик, хваставшийся своей силой; Мишкин, слабосильный малолеток, над которым все смеялись, и Петраков, молодой, белокурый, единственный сын у матери, всегда ласковый и веселый.

С утра был туман, но к завтраку погода разгулялась, и солнце блестело и на только что распутившейся листве, и на молодой девственной траве, и на всходах хлебов, и на ряби быстрой реки, видневшейся налево от дороги.

Хаджи-Мурат ехал шагом. Казаки и его нукеры, не отставая, следовали за ним. Выехали шагом по дороге за крепостью. Встречались женщины с корзинами на головах, солдаты на повозках и скрипящие арбы на буйволах. Отъехав версты две, Хаджи-Мурат тронул своего белого кабардинца; он пошел прѣездом, так, что его нукеры шли большой рысью. Так же ехали и казаки.

— Эх, лошадь добра под ним, — сказал Ферапонтов. — Кабы в ту пору, как он не мирной был, ссадил бы его.

— Да, брат, за эту лошадку триста рублей давали в Тифлисе.

— А я на своем перегоню, — сказал Назаров.

— Как же, перегонишь, — сказал Ферапонтов.

Хаджи-Мурат все прибавлял хода.

— Эй, кунак, нельзя так. Потише! — прокричал Назаров, догоняя Хаджи-Мурата.

Хаджи-Мурат оглянулся и, ничего не сказав, продолжал ехать тем же прѣездом, не уменьшая хода.

— Смотри, задумали что, черти, — сказал Игнатов. — Вишь, лупят.

Так прошли с версту по направлению к горам.

— Я говорю, нельзя! — закричал опять Назаров.

Хаджи-Мурат не отвечал и не оглядывался, только еще прибавлял хода и с прѣзда перешел на скок.

— Врешь, не уйдешь! — крикнул Назаров, задетый за живое.

Он ударил плетью своего крупного рыжего мерина и, привстав на стременах и нагнувшись вперед, пустил его во весь мах за Хаджи-Муратом.

Небо было так ясно, воздух так свеж, силы жизни так радостно играли в душе Назарова, когда он, слившись в одно существо с доброю, сильною лошадыю, летел по ровной дороге за Хаджи-Муратом, что ему и в голову не приходила возможность чего-нибудь

недоброго, печального или страшного. Он радовался тому, что с каждым скоком набирал на Хаджи-Мурата и приближался к нему. Хаджи-Мурат сообразил по топоту крупной лошади казака, приближающегося к нему, что он накоротко должен настигнуть его, и, взявшись правой рукой за пистолет, левой стал слегка сдерживать своего разгорячившегося и слышавшего за собой лошадиный топот кабардинца.

— Нельзя, говорю! — крикнул Назаров, почти равняясь с Хаджи-Муратом и протягивая руку, чтобы схватить за повод его лошадь. Но не успел он схватиться за повод, как раздался выстрел.

— Что ж это ты делаешь? — закричал Назаров, хватаясь за грудь. — Бей их, ребята, — проговорил он и, шатаясь, повалился на луку седла.

Но горцы прежде казаков взялись за оружие и били казаков из пистолетов и рубили их шашками. Назаров висел на шее носившей его вокруг товарищей испуганной лошади. Под Игнатовым упала лошадь, придавив ему ногу. Двое горцев, выхватив шашки, не слезая, полосовали его по голове и рукам. Петраков бросился было к товарищу, но тут же два выстрела, один в спину, другой в бок, сожгли его, и он, как мешок, кувырнулся с лошади.

Мишкин повернул лошадь назад и поскакал к крепости. Ханефи с Хан-Магомой бросились за Мишкиным, но он был уже далеко впереди, и горцы не могли догнать его.

Увидав, что они не могут догнать казака, Ханефи с Хан-Магомой вернулись к своим. Гамзало, добив кинжалом Игнатова, прирезал и Назарова, свалив его с лошади. Хан-Магома снимал с убитых сумки с патронами. Ханефи хотел взять лошадь Назарова, но Хаджи-Мурат крикнул ему, что не надо, и пустился вперед по дороге. Мюриды его поскакали за ним, отгоняя от себя бежавшую за ними лошадь Петракова. Они были уже версты за три от Нухи среди рисовых полей, когда раздался выстрел с башни, означавший тревогу.

Петраков лежал навзничь с взрезанным животом, и его молодое лицо было обращено к небу, и он, как рыба всхлипывая, умирал.

— Батюшки, отцы мои родные, что наделали! — вскрикнул, схватившись за голову, начальник крепости, когда узнал о побеге Хаджи-Мурата. — Голову сняли! Упустили, разбойники! — кричал он, слушая донесение Мишкина.

Тревога дана была везде, и не только все бывшие в наличности казаки были посланы за бежавшими, но собраны были и все, каких можно было собрать, милиционеры из мирных аулов. Объявлено было тысячу рублей награды тому, кто привезет живого или мертвого Хаджи-Мурата. И через два часа после того, как Хаджи-Мурат с товарищами ускакали от казаков, больше двухсот человек конных скакали за приставом отыскивать и ловить бежавших.

Проехав несколько верст по большой дороге, Хаджи-Мурат сдержал своего тяжело дышавшего и посеревшего от поту белого коня и остановился. Вправо от дороги виднелись сакли и минарет аула Беларджика, налево были поля, и в конце их виднелась река. Несмотря на то, что путь в горы лежал направо, Хаджи-Мурат повернул в противоположную сторону, влево, рассчитывая на то, что погоня бросится за ним именно направо. Он же, и без дороги переправясь через Алазань, выедет на большую дорогу, где его никто не будет ожидать, и проедет по ней до леса и тогда уже, вновь переехав через реку, лесом проберется в горы. Решив это, он повернул влево. Но доехать до реки оказалось невозможным. Рисовое поле, через которое надо было ехать, как это всегда делается весной, было только что залито водой и превратилось в трясины, в которой выше бабки вязли лошади. Хаджи-Мурат и его нукеры брали направо, налево, думая, что найдут более сухое место, но то поле, на которое они попали, было все равномерно залито и теперь пропитано водою. Лошади с звуком хлопания пробки вытаскивали утопающие ноги в вязкой грязи и, пройдя несколько шагов, тяжело дыша, останавливались.

Так они бились так долго, что начало смеркаться, а они всё еще не доехали до реки. Влево был островок с распутившимися листиками кустов, и Хаджи-Мурат

решил въехать в эти кусты и там, дав отдых измученным лошадям, пробыть до ночи.

Въехав в кусты, Хаджи-Мурат и его нукеры слезли с лошадей и, стреножив их, пустили кормиться, сами же поели взятого с собой хлеба и сыра. Молодой месяц, светивший сначала, зашел за горы, и ночь была темная. Соловьев в Нухе было особенно много. Два было и в этих кустах. Пока Хаджи-Мурат с своими людьми шумел, въезжая в кусты, соловьи замолкли. Но когда затихли люди, они опять защелкали, переключаясь. Хаджи-Мурат, прислушиваясь к звукам ночи, невольно слушал их.

И их свист напомнил ему ту песню о Гамзате, которую он слушал нынче ночью, когда выходил за водой. Он всякую минуту теперь мог быть в том же положении, в котором был Гамзат. Ему подумалось, что это так и будет, и ему вдруг стало серьезно на душе. Он разостлал бурку и совершил намаз. И едва только окончил его, как послышались приближающиеся к кустам звуки. Это были звуки большого количества лошадиных ног, шлепавших по трясине. Быстроглазый Хан-Магома, выбежав на один край кустов, высмотрел в темноте черные тени конных и пеших, приближавшихся к кустам. Ханефи увидел такую же толпу с другой стороны. Это был Карганов, уездный воинский начальник, с своими милиционерами.

«Что ж, будем биться, как Гамзат», — подумал Хаджи-Мурат.

После того как дана была тревога, Карганов с сотней милиционеров и казаков бросился в догоню Хаджи-Мурата, но нигде не нашел ни его, ни следов его. Карганов уже возвращался безнадежно домой, когда перед вечером ему встретился старик татарин. Карганов спросил у старика, не видал ли он шестерых конных? Старик отвечал, что видел. Он видел, как шесть конных кружились по рисовому полю и въехали в кусты, в которых он собирал дрова. Карганов, захватив с собой старика, вернулся назад и, по виду стреноженных лошадей уверившись, что Хаджи-Мурат был тут, ночью уже окружил кусты и стал дожидаться утра, чтобы взять Хаджи-Мурата живого или мертвого.

Поняв, что он окружен, Хаджи-Мурат высмотрел в середине кустов старую канаву и решил засесть в ней и отбиваться, пока будут заряды и силы. Он сказал это своим товарищам и велел им делать завал на канаве. И нукеры тотчас же взялись рубить ветки, кинжалами копать землю, делать насыпь. Хаджи-Мурат работал вместе с ними.

Как только стало светать, как к кустам близко подъехал сотенный командир милиции и закричал:

— Эй! Хаджи-Мурат! Сдавайся! Нас много, а вас мало.

В ответ на это из канавы показался дымок, шелкнула винтовка, и пуля попала в лошадь милиционера, которая шарахнулась под ним и стала падать. Вслед за этим затрещали винтовки милиционеров, стоявших на опушке кустов, и пули их, свистя и жужжа, обивали листья и сучья и попадали в завал, но не попадали в людей, сидевших за завалом. Только одна отбившаяся лошадь Гамзалы была подбита ими. Лошадь была ранена в голову. Она не упала, но, разорвав треногу, треща по кустам, бросилась к другим лошадям и, прижавшись к ним, поливала кровью молодую траву. Хаджи-Мурат и его люди стреляли только тогда, когда кто-либо из милиционеров выдавался вперед, и редко миновали цели. Три человека из милиционеров были ранены, и милиционеры не только не решались броситься на Хаджи-Мурата и его людей, но всё более и более отдалялись от них и стреляли только издалека, наобум.

Так продолжалось более часа. Солнце взошло в полдерева, и Хаджи-Мурат уже думал сесть на лошадей и попытаться пробиться к реке, когда послышались крики вновь прибывшей большой партии. Это был Гаджи-Ага мехтулинский с своими людьми. Их было человек двести. Гаджи-Ага был когда-то кунак Хаджи-Мурата и жил с ним в горах, но потом перешел к русским. С ним же был Ахмет-Хан, сын врага Хаджи-Мурата. Гаджи-Ага, так же как Карганов, начал с того, что закричал Хаджи-Мурату, чтобы он сдавался, но, так же как и в первый раз, Хаджи-Мурат ответил выстрелом.

— В шашки, ребята! — крикнул Гаджи-Ага, выхватив свою, и послышались сотни голосов людей, с визгом бросившихся в кусты.

Милицionеры вбежали в кусты, но из-за завала затрещало один за другим несколько выстрелов. Человека три упало, и нападавшие остановились, и на опушке кустов тоже стали стрелять. Они стреляли и вместе с тем понемногу приближались к завалу, перебегая от куста к кусту. Некоторые успевали перебегать, некоторые же попадали под пули Хаджи-Мурата и его людей. Хаджи-Мурат бил без промаха, точно так же редко выпускал выстрел даром Гамзало и всякий раз радостно визжал, когда видел, что пули его попадали. Курбан сидел с краю канавы и пел «Ля илляха иль алла» и не торопясь стрелял, но попадал редко. Элдар же дрожал всем телом от нетерпения броситься с кинжалом на врагов и стрелял часто и как попало, беспрестанно оглядываясь на Хаджи-Мурата и высовываясь из-за завала. Волосатый Ханефи, с засученными рукавами, и тут исполнял должность слуги. Он заряжал ружья, которые передавали ему Хаджи-Мурат и Курбан, старательно загоня железным шомполом обернутые в намасленные хлюсты пульки и подсыпая из натруски сухого пороха на полки. Хан-Магома же не сидел, как другие, в канаве, а перебегал из канавы к лошадям, загоня их в более безопасное место, и не переставая визжал и стрелял с руки без подсошек. Его первого ранили. Пуля попала ему в шею, и он сел назад, плюя кровью и ругаясь. Потом ранен был Хаджи-Мурат. Пуля пробила ему плечо. Хаджи-Мурат вырвал из бешмета вату, заткнул себе рану и продолжал стрелять.

— Бросимся в шашки, — в третий раз говорил Элдар.

Он высунулся из-за завала, готовый броситься на врагов, но в ту же минуту пуля ударила в него, и он зашатался и упал навзничь, на ногу Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат взглянул на него. Бараньи прекрасные глаза пристально и серьезно смотрели на Хаджи-Мурата. Рот с выдающеюся, как у детей, верхней губой дергался, не раскрываясь. Хаджи-Мурат выпростал из-под него ногу и продолжал целиться. Ханефи нагнулся

над убитым Элдаром и стал быстро выбирать нерасстрелянные заряды из его черкески. Курбан между тем все пел, медленно заряжая и целясь.

Враги, перебегая от куста к кусту с гиканьем и визгом, придвигались все ближе и ближе. Еще пуля попала Хаджи-Мурату в левый бок. Он лег в канаву и опять, вырвав из бешмета кусок ваты, заткнул рану. Рана в бок была смертельна, и он чувствовал, что умирает. Воспоминания и образы с необыкновенной быстротой сменялись в его воображении одно другим. То он видел перед собой силача Абунунцал-Хана, как он, придерживая рукою отрубленную, висящую щеку, с кинжалом в руке бросился на врага; то видел слабого, бескровного старика Воронцова с его хитрым белым лицом и слышал его мягкий голос; то видел сына Юсуфа, то жену Софиат, то бледное, с рыжей бородой и прищуренными глазами, лицо врага своего Шамиля.

И все эти воспоминания пробегали в его воображении, не вызывая в нем никакого чувства: ни жалости, ни злобы, ни какого-либо желания. Все это казалось так ничтожно в сравнении с тем, что начиналось и уже началось для него. А между тем его сильное тело продолжало делать начатое. Он собрал последние силы, поднялся из-за завала и выстрелил из пистолета в подбегавшего человека и попал в него. Человек упал. Потом он совсем вылез из ямы и с кинжалом пошел прямо, тяжело хромая, навстречу врагам. Раздалось несколько выстрелов, он зашатался и упал. Несколько человек милиционеров с торжествующим визгом бросились к упавшему телу. Но то, что казалось им мертвым телом, вдруг зашевелилось. Сначала поднялась окровавленная, без папахи, бритая голова, потом поднялось туловище, и, ухватившись за дерево, он поднялся весь. Он так казался страшен, что подбегавшие остановились. Но вдруг он дрогнул, отшатнулся от дерева и со всего роста, как подкошенный репей, упал на лицо и уже не двигался.

Он не двигался, но еще чувствовал. Когда первый подбежавший к нему Гаджи-Ага ударил его большим кинжалом по голове, ему казалось, что его молотком бьют по голове, и он не мог понять, кто это делает и

зачем. Это было последнее его сознание связи с своим телом. Больше он уже ничего не чувствовал, и враги топтали и резали то, что не имело уже ничего общего с ним. Гаджи-Ага, наступив ногой на спину тела, с двух ударов отсек голову и осторожно, чтобы не запачкать в кровь чувяки, откатил ее ногою. Алая кровь хлынула из артерий шеи и черная из головы и залила траву.

И Карганов, и Гаджи-Ага, и Ахмет-Хан, и все милиционеры, как охотник над убитым зверем, собрались над телами Хаджи-Мурата и его людей (Ханефи, Курбана и Гамзалу связали) и, в пороховом дыму стоявшие в кустах, весело разговаривая, торжествовали свою победу.

Соловьи, смолкнувшие во время стрельбы, опять зашелкали, сперва один близко и потом другие на дальнем конце.

Вот эту-то смерть и напомнил мне раздавленный репей среди вспаханного поля.

ФАЛЬШИВЫЙ КУПОН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Федор Михайлович Смоковников, председатель казенной палаты, человек неподкупной честности, и гордящийся этим, и мрачно либеральный и не только свободномыслящий, но ненавидящий всякое проявление религиозности, которую он считал остатком суеверий, вернулся из палаты в самом дурном расположении духа. Губернатор написал ему преглупую бумагу, по которой можно было предположить замечание, что Федор Михайлович поступил нечестно. Федор Михайлович очень озлобился и тут же написал бойкий и колкий ответ.

Дома Федору Михайловичу казалось, все делалось ему наперекор.

Было без пяти минут пять часов. Он думал, что сейчас же подадут обедать, но обед не был еще готов. Федор Михайлович хлопнул дверью и ушел в свою комнату. В дверь постучался кто-то. «Кой черт еще там», — подумал он и крикнул:

— Кто там еще?

В комнату вошел гимназист пятого класса, пятнадцатилетний мальчик, сын Федора Михайловича.

— Зачем ты?

— Нынче первое число.

— Что? Деньги?

Было заведено, что каждое первое число отец давал сыну жалованья на забавы три рубля. Федор Михайлович нахмурился, достал бумажник, поискал и вынул купон в 2¹/₂ рубля, потом достал штучку с серебром и отсчитал еще пятьдесят копеек. Сын молчал и не брал.

— Папа, пожалуйста, дай мне вперед.

— Что?

— Я не просил бы, да я занял на честное слово, обещал. Я, как честный человек, не могу... мне надо еще три рубля, право, не буду просить... не то что не буду просить, а просто... пожалуйста, папа.

— Тебе сказано...

— Да папа, ведь один раз...

— Ты получаешь жалованья три рубля, и все мало. Я в твой года не получал и пятидесяти копеек.

— Теперь все товарищи мои больше получают. Петров, Иваницкий пятьдесят рублей получают.

— А я тебе скажу, что, если ты так поведешь себя, ты будешь мошенник. Я сказал.

— Да что же сказали. Вы никогда не войдете в мое положение, я должен буду подлецом быть. Вам хорошо.

— Пошел вон, шалопай. Вон.

Федор Михайлович вскочил и бросился к сыну.

— Вон. Сечь вас надо.

Сын испугался и озлобился, но озлобился больше, чем испугался, и, склонив голову, скорым шагом пошел к двери. Федор Михайлович не хотел бить его, но он был рад своему гневу и долго еще кричал, провожая сына, бранные слова.

Когда пришла горничная и сказала, что готово обедать, Федор Михайлович встал.

— Наконец, — сказал он. — Мне уже и есть не хочется.

И, насупившись, пошел к обеду.

За столом жена заговорила с ним, но он так буркнул сердито короткий ответ, что она замолчала. Сын, тоже не подымал глаз от тарелки и молчал. Поели молча и молча встали и разошлись.

После обеда гимназист вернулся в свою комнату, вынул из кармана купон и мелочь и бросил на стол, а

потом снял мундир, надел куртку. Сначала гимназист взялся за истрепанную латинскую грамматику, потом запер дверь на крючок, смел рукой со стола в ящик деньги, достал из ящика гильзы, насыпал одну, заткнул ватой и стал курить.

Просидел он над грамматикой и тетрадами часа два, ничего не понимая, потом встал и стал, топая пятками, ходить по комнате и вспоминать все, что было с отцом. Все ругательные слова отца, особенно его злое лицо, вспоминались ему, точно он сейчас слышал и видел его. «Шалопай. Сечь надо». И что больше он вспоминал, то больше злился на отца. Вспомнил он, как отец сказал ему: «Вижу, что́ из тебя выйдет — мошенник. Так и знай». — «И выйдешь мошенником, если так. Ему хорошо. Он забыл, как был молод. Ну, какое же я сделал преступление? Просто поехал в театр, не было денег, взял у Пети Грушецкого. Что же тут дурного? Другой бы пожалел, расспросил, а этот только ругаться и об себе думать. Вот когда у него чего-нибудь нет — это крик на весь дом, а я мошенник. Нет, хоть он и отец, а не люблю я его. Не знаю, все ли так, но я не люблю».

В дверь постучалась горничная. Она принесла записку.

— Велели ответ непременно.

В записке было написано: «Вот уже третий раз я прошу тебя возвратить взятые тобой у меня шесть рублей, но ты отвиливаешь. Так не поступают честные люди. Прошу немедленно прислать с сим посланным. Мне самому нужна до зарезу. Неужели же ты не можешь достать?»

Твой, смотря по тому, отдашь ты или не отдашь, презирующий или уважающий тебя товарищ

Грушецкий».

«Вот и думай. Экая свинья какая. Не может подождать. Попытаюсь еще».

Митя пошел к матери. Это была последняя надежда. Мать его была добрая и не умела отказывать, и она, может быть, и помогла бы ему, но нынче она

была встревожена болезнью меньшого, двухлетнего Пети. Она рассердилась на Митю за то, что он пришел и зашумел, и сразу отказала ему.

Он что-то проворчал себе под нос и пошел из двери. Ей стало жалко сына, и она воротила его.

— Постой, Митя, — сказала она. — У меня нет теперь, но завтра я достану.

Но в Мите все еще кипела злоба на отца.

— Зачем мне завтра, когда нужно нынче? Так знайте, что я пойду к товарищу.

Он вышел, хлопнув дверью.

«Больше делать нечего, он научит, где часы заложить», — подумал он, ощупывая часы в кармане.

Митя достал из стола купон и мелочь, надел пальто и пошел к Махину.

II

Махин был гимназист с усами. Он играл в карты, знал женщин, и у него всегда были деньги. Он жил с теткой. Митя знал, что Махин нехороший мальй, но, когда он был с ним, он невольно подчинялся ему. Махин был дома и собирался в театр: в грязной комнатке его пахло душистым мылом и одеколоном.

— Это, брат, последнее дело, — сказал Махин, когда Митя рассказал ему свое горе, показал купон и пятьдесят копеек и сказал, что ему нужно девять рублей. — Можно и часы заложить, а можно и лучше, — сказал Махин, подмигивая одним глазом.

— Как лучше?

— А очень просто. — Махин взял купон. — Поставить единицу перед 2 р. 50, и будет 12 р. 50.

— Да разве бывают такие?

— А как же, а на тысячерублевых билетах. Я один спустил такой.

— Да не может быть?

— Так что ж, валить? — сказал Махин, взяв перо и расправив купон пальцем левой руки.

— Да ведь это нехорошо.

— И, вздор какой.

«И точно, — подумал Митя, и ему вспомнились опять ругательства отца: — мошенник. Вот и буду мошенник». Он посмотрел в лицо Махину. Махин смотрел на него, спокойно улыбаясь.

— Что же, валить?

— Вали.

Махин старательно вывел единицу.

— Ну, вот теперь пойдем в магазин. Вот тут на углу: фотографические принадлежности. Мне кстати рамка нужна, вот на эту персону.

Он достал фотографическую карточку большеглазой девицы с огромными волосами и великолепным бюстом.

— Какова душка? А?

— Да, да. Как же...

— Очень просто. Пойдем.

Махин оделся, и они вместе вышли.

III

В входной двери фотографического магазина зазвонил колокольчик. Гимназисты вошли, оглядывая пустой магазин с полками, установленными принадлежностями, и с витринами на прилавках. Из задней двери вышла некрасивая с добрым лицом женщина и, став за прилавком, спросила, что нужно.

— Рамочку хорошенькую, мадам.

— На какую цену? — спросила дама, быстро и ловко перебирая руками в митенках, с опухшими сочленениями пальцев, рамки разных фасонов. — Эти на пятьдесят копеек, а эти подороже. А вот это очень миленький, новый фасон, рубль двадцать.

— Ну, давайте эту. Да нельзя ли уступить? Возьмите рубль.

— У нас не торгуются, — достойно сказала дама.

— Ну, бог с вами, — сказал Махин, кладя на витрину купон.

— Давайте рамочку и сдачу, да поскорее. Нам в театр не опоздать.

— Еще успеете, — сказала дама и стала близорукими глазами рассматривать купон.

— Мило будет в этой рамочке. А? — сказал Махин, обращаясь к Мите.

— Нет ли у вас других денег? — сказала продавщица.

— То-то и горе, что нету. Мне дал отец, надо же разменять.

— Да неужели нет рубля двадцати?

— Есть пятьдесят копеек. Да что же, вы боитесь, что мы вас обманываем фальшивыми деньгами?

— Нет, я ничего.

— Так давайте назад. Мы разменяем.

— Так сколько вам?

— Да, стало быть, одиннадцать с чем-то.

Продавщица пощелкала на счетах, отперла конторку, достала десять рублей бумажкой и, пошевелив рукой в мелочи, собрала еще шесть двугривенных и два пятака.

— Потрудитесь завернуть, — сказал Махин, неторопливо взяв деньги.

— Сейчас.

Продавщица завернула и завязала бечевкой.

Митя перевел дыхание, только когда колокольчик входной двери зазвенел за ними, и они вышли на улицу.

— Ну вот тебе десять рублей, а эти дай мне. Я тебе отдам.

И Махин ушел в театр, а Митя пошел к Грушецкому и рассчитался с ним.

IV

Через час после ухода гимназистов хозяин магазина пришел домой и стал считать выручку.

— Ах, дура косолапая! Вот дура-то, — закричал он на свою жену, увидав купон и тотчас же заметив подделку. — И зачем брать купоны.

— Да ты сам, Женя, брал при мне, именно двенадцатирублевые, — сказала жена, сконфуженная, огорченная и готовая плакать. — Я и сама не знаю, как они меня обморочили, — говорила она, — гимназисты. Красивый молодой человек, казался такой комильфотный.

— Комильфотная дура, — продолжал браниться муж, считая кассу. — Я беру купон, так знаю и вижу, что на нем написано. А ты, я чай, только рожу гимназистов рассматривала на старости лет.

Этого не выдержала жена и сама рассердилась.

— Настоящий мужчина! Только других осуждать, а сам проиграешь в карты пятьдесят четыре рубля — это ничего.

— Я — другое дело.

— Не хочу с тобой говорить, — сказала жена и ушла в свою комнату и стала вспоминать, как в ее семье не хотели выдавать ее замуж, считая мужа ее гораздо ниже по положению, и как она одна настояла на этом браке; вспомнила про своего умершего ребенка, равнодушие мужа к этой потере и возненавидела мужа так, что подумала о том, как бы хорошо было, если бы он умер. Но, подумав это, она испугалась своих чувств и поторопилась одеться и уйти. Когда ее муж вернулся в квартиру, жены уже не было. Она, не дожидаясь его, оделась и одна уехала к знакомому учителю французского языка, который звал нынче на вечер.

V

У учителя французского языка, русского поляка, был парадный чай с сладкими печениями, а потом сели за несколько столов в винт.

Жена продавца фотографических принадлежностей села с хозяином, офицером и старой, глухой дамой в парике, вдовой содержателя музыкального магазина, большой охотницей и мастерицей играть. Карты шли к жене продавца фотографических принадлежностей. Она два раза назначила шлем. Подле нее стояла тарелочка с виноградом и грушей, и на душе у нее было весело.

— Что же Евгений Михайлович не идет? — спросила хозяйка с другого стола. — Мы его пятым записали.

— Верно, увлекся счетами, — сказала жена Евгенья Михайловича, — нынче расчеты за провизию, за дрова.

И, вспомнив про сцену с мужем, она нахмурилась, и ее руки в митенках задрожали от злобы на него.

— Да вот легок на помине, — сказал хозяин, обращаясь к входившему Евгению Михайловичу. — Что за поздали?

— Да разные дела, — отвечал Евгений Михайлович веселым голосом, потирая руки. И, к удивлению жены, он подошел к ней и сказал:

— А знаешь, я купон-то спустил.

— Неужели?

— Да, мужику за дрова.

И Евгений Михайлович рассказал всем с большим негодованием, — в рассказ его включала подробности его жена, — как надули его жену бессовестные гимназисты.

— Ну-с, теперь за дело, — сказал он, усаживаясь за стол, когда пришел его черед, и тасуя карты.

VI

Действительно, Евгений Михайлович спустил купон за дрова крестьянину Ивану Миронову.

Иван Миронов торговал тем, что покупал на дровяных складах одну сажень дров, развозил ее по городу и выкладывал так, что из сажени выходило пять четверок, которые он продавал за ту же цену, какую стоила четверть на дровяном дворе. В этот несчастный для Ивана Миронова день он рано утром вывез осьмушку и, скоро продав, наложил другую еще осьмушку и надеялся продать, но провозил до вечера, добиваясь покупателя, но никто не купил. Он все попадал на опытных городских жителей, которые знали обычные проделки мужиков, продающих дрова, и не верили тому, что он привез, как он уверял, дрова из деревни. Сам он проголодался, иззяб в своем вытертом полушубке и рваном армяке; мороз к вечеру дошел до двадцати градусов; лошаденка, которую он не жалел, потому что собирался продать ее драчам, совсем стала. Так что Иван Миронов готов был даже с убытком отдать дрова, когда ему встретился ходивший за табаком

в магазин и возвращавшийся домой Евгений Михайлович.

— Возьмите, барин, задешево отдам. Лошаденка стала совсем.

— Да ты откуда?

— Мы из деревни. Свои дрова, хорошие, сухие.

— Знаем мы вас. Ну, что возьмешь?

Иван Миронов запросил, стал сбавлять и, наконец, отдал за свою цену.

— Только для вас, барин, что близко везти, — сказал он.

Евгений Михайлович не очень торговался, радуясь мысли, что он спустит купон. Кое-как, сам подтягивая за оглобли, Иван Миронов ввез дрова во двор и сам разгрузил их в сарай. Дворника не было. Иван Миронов сначала замялся брать купон, но Евгений Михайлович так убедил его и казался таким важным баринном, что он согласился взять.

Войдя с заднего крыльца в девичью, Иван Миронов перекрестился, оттаял сосульки с бороды и, заворотив полу кафтана, достал кожаный кошелек и из него восемь рублей пятьдесят копеек и отдал сдачу, а купон, завернув в бумажку, положил в кошелек.

Поблагодарив, как водится, барина, Иван Миронов, разгоняя уж не кнутом, но кнутовищем насилу передвижавшую ноги, обындевешую, обреченную на смерть клячонку, порожем погнал к трактиру.

В трактире Иван Миронов спросил себе на восемь копеек вина и чая и, отогревшись и даже распотевши, в самом веселом расположении духа беседовал с сидевшим у его же стола дворником. Он разговорился с ним, рассказал ему все свои обстоятельства. Рассказал, что он из деревни Васильевского, в двенадцати верстах от города, что он отделенный от отца и братьев и живет теперь с женой и двумя ребятами, из которых старший только ходил в училище, а еще не помогал ничего. Рассказал, что он здесь стоит на фатере и завтра пойдет на конную продаст своего одра и присмотрит, а если и придется — купит лошадку. Рассказал, что у него набралось теперь без рубля четвертная и что у него половина денег в купоне. Он достал купон и

показал дворнику. Дворник был безграмотный, но сказал, что он менивал для жильцов такие деньги, что деньги хорошие, но бывают поддельные, и потому советовал для верности отдать здесь у стойки. Иван Миронов отдал половому и велел принести сдачи, но половой не принес сдачу, а пришел лысый, с глянцеви-тым лицом приказчик с купоном в пухлой руке.

— Деньги ваши не годятся, — сказал он, показывая купон, но не отдавая его.

— Деньги хорошие, мне барин дал.

— То-то что не хорошие, а поддельные.

— А поддельные, так давай их сюда.

— Нет, брат, вашего брата учить надо. Ты с мошенниками подделал.

— Давай деньги, какую ты имеешь полную праву?

— Сидор! кликни-ка полицейского, — обратился буфетчик к половому.

Иван Миронов был выпивши. А выпивши он был беспокоен. Он схватил приказчика за ворот и закричал:

— Давай назад, я пойду к барину. Я знаю, где он.

Приказчик рванулся от Ивана Миронова, и рубаха его затрещала.

— А, ты так. Держи его.

Половой схватил Ивана Миронова, и тут же явился городской. Выслушав, как начальник, в чем дело, он тотчас же решил его.

— В участок.

Купон городской положил себе в портмоне и вместе с лошадью отвел Ивана Миронова в участок.

VII

Иван Миронов переночевал в участке с пьяными и ворами. Уже около полудня его потребовали к околоточному. Околоточный допросил его и послал с городо-вым к продавцу фотографических принадлежностей. Иван Миронов запомнил улицу и дом.

Когда городской вызвал барина и представил ему купон и Ивана Миронова, утверждавшего, что этот са-

мый барин дал ему купон, Евгений Михайлович сделал удивленное и потом строгое лицо.

— Что ты, видно с ума спятил. В первый раз его вижу.

— Барин, грех, умирать будем, — говорил Иван Миронов.

— Что с ним сделалось? Да ты, верно, заспал. Ты кому-нибудь другому продал, — говорил Евгений Михайлович. — Впрочем, постойте, я пойду у жены спрошу, брала ли она вчера дрова.

Евгений Михайлович вышел и тотчас же позвал дворника, красивого, необыкновенно сильного и ловкого щеголя, веселого малого Василья, и сказал ему, что если у него будут спрашивать, где взяты последние дрова, чтобы он говорил, что в складе, а что у мужиков дров не покупали.

— А то тут мужик показывает, что я ему фальшивый купон дал. Мужик бестолковый, бог знает что говорит, а ты человек с понятием. Так и говори, что дрова мы покупаем только в складе. А это я тебе давно хотел дать на куртку, — прибавил Евгений Михайлович и дал дворнику пять рублей.

Василий взял деньги, блеснул глазами на бумажку, потом на лицо Евгения Михайловича, тряхнул волосами и слегка улыбнулся.

— Известно, народ бестолковый. Необразованность. Не извольте беспокоиться. Я уж знаю, как сказать.

Сколько и как слезно ни умолял Иван Миронов Евгения Михайловича признать свой купон и дворника подтвердить его слова, и Евгений Михайлович и дворник стояли на своем: никогда не брали дров с возов. И городской свел назад в участок Ивана Миронова, обвиняемого в подделке купона.

Только по совету сидевшего с ним пьяного писаря, отдав пятерку околоточному, Иван Миронов выбрался из-под караула без купона и с семью рублями вместо двадцати пяти, которые у него были вчера. Иван Миронов пропил из этих семи рублей три и с разбитым лицом и мертвецки пьяный приехал к жене.

Жена была беременная на сносях и больная. Она начала ругать мужа, он оттолкнул ее, она стала бить

его. Он, не отвечая, лег брюхом на нары и громко заплакал.

Только на другое утро жена поняла, в чем было дело, и, поверив мужу, долго кляла разбойника барина, обманувшего ее Ивана. И Иван, протрезвившись, вспомнил, что ему советовал мастеровой, с которым он пил вчера, и решил идти к аблакату жаловаться.

VIII

Адвокат взялся за дело не столько из-за денег, которые он мог получить, сколько из-за того, что поверил Ивану и был возмущен тем, как бессовестно обманули мужика.

На суд явились обе стороны, и дворник Василий был свидетелем. На суде повторилось то же. Иван Мионов поминал про бога, про то, что умирать будем. Евгений Михайлович, хотя и мучился сознанием гадости и опасности того, что он делал, не мог уже теперь изменить показания и продолжал с внешне спокойным видом все отрицать.

Дворник Василий получил еще десять рублей и с улыбкой спокойно утверждал, что видом не видал Ивана Миронова. И когда его привели к присяге, хотя и робел внутренно, наружно спокойно повторил за вызванным старичком священником слова присяги, на кресте и святом Евангелии клянясь в том, что будет говорить всю правду.

Дело кончилось тем, что судья отказал Ивану Мионову в иске, положил взыскать с него пять рублей судебных издержек, которые Евгений Михайлович великодушно простил ему. Отпуская Ивана Миронова, судья прочел ему наставление о том, чтобы он вперед был осторожнее в взведении обвинений на почтенных людей и был бы благодарен за то, что ему простили судебные издержки и не преследуют его за клевету, за которую он отсидел бы месяца три в тюрьме.

— Благодарим покорно, — сказал Иван Мионов и покачивая головой и вздыхая, вышел из камеры.

Все это, казалось, кончилось хорошо для Евгения Михайловича и дворника Василья. Но это только казалось так. Случилось то, чего никто не видел, но что было важнее всего того, что люди видели.

Василий уже третий год ушел из деревни и жил в городе. С каждым годом он подавал отцу все меньше и меньше и не выписал к себе жену, не нуждаясь в ней. У него здесь, в городе, жен, и не таких, как его нехалыва, было сколько хочешь. С каждым годом Василий все больше и больше забывал деревенский закон и осваивался с городскими порядками. Там все было грубо, серо, бедно, неурядливо, здесь все было тонко, хорошо, чисто, богато, все в порядке. И он все больше и больше уверялся, что деревенские живут без понятия, как звери лесные, здесь же — настоящие люди. Читал он книжки хороших сочинителей, романы, ходил на представления в народный дом. В деревне и во сне того не видишь. В деревне старики говорят: живи в законе с женой, трудись, лишнее не ешь, не щеголяй, а здесь люди умные, ученые — значит, знают настоящие законы, — живут в свое удовольствие. И все хорошо. До дела с купоном Василий все не верил, что у господ нет никакого закона насчет того, как жить. Ему все казалось, что он не знает их закона, а закон есть. Но последнее дело с купоном и, главное, его фальшивая присяга, от которой, несмотря на его страх, ничего худого не вышло, а, напротив, вышло еще десять рублей, он совсем уверился, что нет никаких законов и надо жить в свое удовольствие. Так он и жил, так и продолжал жить. Сначала он пользовался только на покупках жильцов, но этого было мало для всех его расходов, и он, где мог, стал таскать деньги и ценные вещи из квартир жильцов и украл кошелек Евгения Михайловича. Евгений Михайлович уличил его, но не стал подавать в суд, а расчел его.

Домой Василию идти не хотелось, и он остался жить в Москве с своей любезной, отыскивая место. Место нашлось дешевое к лавочнику в дворники. Василий поступил, но на другой же месяц попался в краже мешков. Хозяин не стал жаловаться, а побил Василья и прогнал. После этого случая места уже

не находилось, деньги проживались, потом стала проживаться одежда, и кончилось тем, что остался один рваный пиджак, штаны и опорки. Любезная бросила его. Но Василий не утратил свое бодрое, веселое расположение и, дождавшись весны, пошел пешком домой.

IX

Петр Николаевич Свентицкий, маленький, коренастый человек в черных очках (у него болели глаза, ему угрожала полная слепота), встал, по обыкновению, до света и, выпив стакан чаю, надел крытый, отороченный мерлушкой полушубочек и пошел по хозяйству.

Петр Николаевич был таможенным чиновником и нажил там восемнадцать тысяч рублей. Лет двенадцать тому назад он вышел в отставку не совсем по своей воле и купил именьеце промотавшегося юноши-помещика. Петр Николаич был на службе еще женат. Жена его была бедная сирота старого дворянского рода, крупная, полная, красивая женщина, не давшая ему детей. Петр Николаич во всех делах был человек основательный и настойчивый. Ничего не зная о хозяйстве (он был сын польского шляхтича), он так хорошо занялся хозяйством, что разоренное имение в триста десятин через десять лет стало образцовым. Все постройки у него, от дома до амбара и навеса над пожарной трубой, были прочные, основательные, крытые железом и во время крашенные. В инструментном сарае стояли порядком телеги, сохи, плуги, бороны. Сбруя была вымазана. Лошади были не крупные, почти всё своего завода — саврасой масти, сытенькие, крепенькие, одна в одну. Молотилка работала в крытой риге, корм убирался в особенном сарае, навозная жижа стекала в мощеную яму. Коровы были тоже своего завода, не крупные, но молочные. Свиньи были аглицкие. Был птичник и особенно ноской породы куры. Сад фруктовый был обмазан и подсажен. Везде все было хозяйственно, прочно, чисто, исправно. Петр Николаич радовался на свое хозяйство и гордился тем, что всего этого он до-

стигал не притеснением крестьян, а, напротив, строгой справедливостью к ним. Он даже среди дворян держался среднего, скорее либерального, чем консервативного, взгляда и всегда перед крепостниками защищал народ. Будь с ними хорош, и они будут хороши. Правда, он не спускал промахов и ошибок рабочих, иногда и сам поталкивал их, требовал работы, но зато помещения, харчи были самые хорошие, жалование всегда было выдано вовремя, и в праздники он подносил водку.

Ступая осторожно по талому снегу, — это было в феврале, — Петр Николаич направился мимо рабочей конюшни к избе, где жили рабочие. Было еще темно; еще темнее от тумана, но в окнах рабочей избы был виден свет. Рабочие вставали. Он намеревался поторопить их: по наряду им надо было на шестерне ехать за последними дровами в рошу.

«Это что?» — подумал он, увидав отворенную дверь в конюшню.

— Эй, кто тут?

Никто не отозвался. Петр Николаич вошел в конюшню.

— Эй, кто тут?

Никто не отзывался. Было темно, под ногами мягко, и пахло навозом. Направо от двери в стойле стояла пара молодых саврасых. Петр Николаич протянул руку — пусто. Он тронул ногой. Не легла ли? Нога ничего не встретила. «Куда же они ее вывели?» — подумал он. Запрягать — не запрягали, сани еще все наружи. Петр Николаич вышел из двери и крикнул громко:

— Эй, Степан.

Степан был старший рабочий. Он как раз выходил из рабочей.

— Яу! — откликнулся весело Степан. — Это вы, Петр Николаич? Сейчас ребята идут.

— Что у вас конюшня отперта?

— Конюшня? Не могу знать. Эй, Прощка, давай фонарь.

Прощка прибежал с фонарем. Вошли в конюшню. Степан сразу понял.

— Это воры были, Петр Николаич. Замок сбит.

— Врешь?

— Свели, разбойники. Машки нет, Ястреба нет. Ястреб здесь. Пестрого нет. Красавчика нет.

Трех лошадей не было. Петр Николаич ничего не сказал.

Нахмурился и тяжело дышал.

— Ох, попался бы мне. Кто караулил?

— Петька. Петька проспал.

Петр Николаич подал в полицию, к становому, земскому начальнику, разослал своих. Лошадей не нашли.

— Поганый народ! — говорил Петр Николаич. — Что сделали. Я ли им добро не делал. Погоди же ты. Разбойники, все разбойники. Теперь я не так с вами поведу дело.

Х

А лошади, тройка саврасых, были уже на местах. Одну, Машку, продали цыганам за восемнадцать рублей, другого, Пестрого, променяли мужику за сорок верст, Красавчика загнали и зарезали. Продали шкуру за три рубля. Всему делу этому был руководчиком Иван Миронов. Он служил у Петра Николаича и знал порядки Петра Николаича и решил вернуть свои денежки. И устроил дело.

После своего несчастья с фальшивым купоном Иван Миронов долго пил и пропил бы все, если бы жена не спрятала от него хомуты, одежду и все, что можно было пропить. Во время пьянства своего Иван Миронов не переставая думал не только о своем обидчике, но о всех господах и господишках, которые только тем живут, что обирают нашего брата. Пил один раз Иван Миронов с мужиками из-под Подольска. И мужики, дорогой, пьяные, рассказали ему, как они свели лошадей у мужика. Иван Миронов стал ругать конокрадов за то, что они обидели мужика. «Грех это, — говорил он, — у мужика лошадка все равно брат, а ты его обездолишь. Коли уводить, так у господ. Эти собаки того стоят». Дальше, больше, разговорились, и подольские мужики сказали, что у господ свести лошадей хитро. Надо знать ходы, а без своего человека нельзя. Тогда Иван Миро-

нов вспомнил про Свентицкого, у которого он жил в работниках, вспомнил, что Свентицкий недодал при расчете полтора рубля за сломанный шкворень, вспомнил и про саврасеньких лошадок, на которых он работал.

Иван Миронов ходил к Свентицкому как будто на-ниматься, а только затем, чтобы высмотреть и узнать все. И узнав все, что караульщика нет, что лошади в денниках, в конюшне, подвел воров и сделал все дело.

Поделив с подольскими мужиками выручку, Иван Миронов с пятью рублями приехал домой. Дома делать нечего было: лошади не было. И с той поры Иван Миронов стал водиться с конокрадами и цыганами.

XI

Петр Николаич Свентицкий из всех сил старался найти вора. Без своего не могло быть сделано дело. И потому он стал подозревать своих и, разузнав у рабочих, кто не ночевал в эту ночь дома, узнал, что не ночевал Прошка Николаев — молодой малый, только что пришедший из военной службы солдат, красивый, ловкий малый, которого Петр Николаич брал для выездов вместо кучера. Становой был приятель Петра Николаича, он знал и исправника, и предводителя, и земского начальника, и следователя. Все эти лица бывали у него в именины и знали его вкусные наливки и соленые грибки — белые, опенки и грузди. Все жалели его и старались помочь ему.

— Вот, а вы защищаете мужиков, — говорил становой. — Правду я говорил, что хуже зверей. Без кнута и палки с ними ничего не поделаешь. Так вы говорите, Прошка, тот, что с вами кучером ездит?

— Да, он.

— Давайте его сюда.

Прошку призвали и стали допрашивать:

— Где был?

Прошка тряхнул волосами, блеснул глазами.

— Дома.

— Как же дома, все рабочие показывают, что тебя не было.

— Воля ваша.

— Да не в моей воле дело. А где ты был?

— Дома.

— Ну, хорошо же. Сотский, сведи его в стан.

— Воля ваша.

Так и не сказал Прошка, где был, а не сказал потому, что ночь он был у своего дружка, у Параши, и обещал не выдавать ее, и не выдал. Улик не было. И Прошку выпустили. Но Петр Николаич был уверен, что это все дело Прокофья, и возненавидел его. Один раз Петр Николаич, взяв Прокофья за кучера, выслал его на подставу. Прошка, как и всегда делал, взял на постоялом дворе две меры овса. Полторы скормил, а на полмеры выпил. Петр Николаич узнал это и подал мировому судье. Мировой судья приговорил Прошку на три месяца в острог. Прокофий был самолюбив. Он считал себя выше людей и гордился собой. Острог унижил его. Ему нельзя было гордиться перед народом, и он сразу упал духом.

Из острога Прошка вернулся домой не столько озлобленный против Петра Николаича, сколько против всего мира.

Прокофий, как говорили все, после острога опустился, стал лениться работать, стал пить и скоро попался в воровстве одежи у мещанки и попал опять в острог.

Петр же Николаич узнал об лошадях только то, что была найдена шкура с саврасого мерина, которую Петр Николаич признал за шкуру Красавчика. И эта безнаказанность воров еще больше раздражила Петра Николаича. Он не мог теперь без злобы видеть мужиков и говорить про них и где мог старался прижать их.

XII

Несмотря на то, что, спустив купон, Евгений Михайлович перестал думать о нем, жена его Марья Васильевна не могла простить ни себе, что поддалась обману, ни мужу за жестокие слова, которые он сказал ей,

ни, главное, тем двум мальчишкам-негодьям, которые так ловко обманули ее.

С того самого дня, как ее обманули, она приглядывалась ко всем гимназистам. Раз она встретила Махина, но не узнала его, потому что он, увидав ее, сделал такую рожу, которая совсем изменила его лицо. Но Митю Смоковникова она, столкнувшись с ним нос с носом на тротуаре недели две после события, тотчас же узнала. Она дала ему пройти и, повернувшись, следом пошла за ним. Дойдя до его квартиры и узнав, чей он сын, она на другой день пошла в гимназию и в передней встретила законоучителя Михаила Введенского. Он спросил, что ей нужно. Она сказала, что желает видеть директора.

— Директора нет, он нездоров; может быть, я могу исполнить или передать ему?

Марья Васильевна решила все рассказать законоучителю.

Законоучитель Введенский был вдовец, академик и человек очень самолюбивый. Еще в прошлом году он встретился в одном обществе с отцом Смоковникова и, столкнувшись с ним в разговоре о вере, в котором Смоковников разбил его по всем пунктам и поднял на смех, решил обратить особенное внимание на сына и, найдя в нем такое же равнодушие к закону божию, как и в неверующем отце, стал преследовать его и даже провалил его на экзамене.

Узнав от Марьи Васильевны про поступок молодого Смоковникова, Введенский не мог не почувствовать удовольствия, найдя в этом случае подтверждение своих предположений о безнравственности людей, лишенных руководства церкви, и решил воспользоваться этим случаем, как он старался себя уверить, для показания той опасности, которая угрожает всем отступающим от церкви, — в глубине же души для того, чтобы отомстить гордому и самоуверенному атеисту.

— Да, очень грустно, очень грустно, — говорил отец Михаил Введенский, поглаживая рукой гладкие бока наперсного креста. — Я очень рад, что вы передали дело мне; я, как служитель церкви, постараюсь не оставить

молодого человека без наставлений, но и постараюсь как можно более смягчить назидание.

«Да, я сделаю так, как подобает моему званию», — говорил себе отец Михаил, думая, что он, совершенно забыв недоброжелательство к себе отца, имеет в виду только благо и спасение юноши.

На следующий день на уроке закона божия отец Михаил рассказал ученикам весь эпизод фальшивого купона и сказал, что это сделал гимназист.

— Поступок дурной, постыдный, — сказал он, — но заpiresательство еще хуже. Если, чему я не верю, это сделал один из вас, то лучше ему покаяться, чем скрываться.

Говоря это, отец Михаил пристально смотрел на Митю Смоковникова. Гимназисты, следя за его взглядом, тоже оглядывались на Смоковникова. Митя краснел, потел, наконец расплакался и выбежал из класса.

Мать Мити, узнав про это, выпытала всю правду у сына и побежала в магазин фотографических принадлежностей. Она заплатила двенадцать рублей пятьдесят копеек хозяйке и уговорила ее скрыть имя гимназиста. Сыну же велела все отрицать и ни в коем случае не признаваться отцу.

И действительно, когда Федор Михайлович узнал о том, что было в гимназии, и призванный им сын отперся от всего, он поехал к директору и, рассказав все дело, сказал, что поступок законоучителя в высшей степени предосудителен и он не оставит этого так. Директор пригласил священника, и между им и Федором Михайловичем произошло горячее объяснение.

— Глупая женщина вклепалась в моего сына, потом сама отреклась от своего показания, а вы не нашли ничего лучшего, как оклеветать честного, правдивого мальчика.

— Я не клеветал и не позволю вам говорить так со мной. Вы забываете мой сан.

— Наплевать мне на ваш сан.

— Ваши превратные понятия, — дрожа подбородком, так что тряслась его редкая борода, заговорил законоучитель, — известны всему городу.

— Господа, батюшка, — старался успокоить спорящих директор. Но успокоить их нельзя было.

— Я по долгу своего сана должен заботиться о религиозно-нравственном воспитании.

— Полноте притворяться. Разве я не знаю, что вы ни в чох, ни в смерть не верите?

— Я считаю недостойным себя говорить с таким господином, как вы, — проговорил отец Михаил, оскорбленный последними словами Смоковникова в особенности потому, что он знал, что они справедливы. Он прошел полный курс духовной академии и потому давно уже не верил в то, что исповедовал и проповедовал, а верил только в то, что все люди должны принуждать себя верить в то, во что он принуждал себя верить.

Смоковников не столько был возмущен поступком законоучителя, сколько находил, что это хорошая иллюстрация того клерикального влияния, которое начинает проявляться у нас, и всем рассказывал про этот случай.

Отец же Введенский, видя проявления утвердившегося нигилизма и атеизма не только в молодом, но старом поколении, все больше и больше убеждался в необходимости борьбы с ним. Чем больше он осуждал неверие Смоковникова и ему подобных, тем больше он убеждался в твердости и незыблемости своей веры и тем меньше чувствовал потребности проверять ее или согласовать ее с своей жизнью. Его вера, признаваемая всем окружающим его миром, была для него главным орудием борьбы против ее отрицателей.

Эти мысли, вызванные в нем столкновением с Смоковниковым, вместе с неприятностями по гимназии, происшедшими от этого столкновения, — именно, выговор, замечание, полученное от начальства, — заставили его принять давно уже, со смерти жены, манившее его к себе решение: принять монашество и избрать ту самую карьеру, по которой пошли некоторые из его товарищей по академии, из которых один был уже архиереем, а другой архимандритом на вакансии епископа.

К концу академического года Введенский покинул гимназию, постригся в монахи под именем Мисаила и очень скоро получил место ректора семинарии в поволжском городе.

Между тем Василий-дворник шел большой дорогой на юг.

День он шел, а на ночь десятский отводил его на очередную квартиру. Хлеб ему везде давали, а иногда и сажали за стол ужинать. В одной деревне Орловской губернии, где он ночевал, ему сказали, что купец, снявший у помещика сад, ищет молодцов-караульных. Василью надоело нищенствовать, а домой идти не хотелось, и он пошел к купцу-садовнику и нанялся караульщиком за пять рублей в месяц.

Жизнь в шалаше, особенно после того, как стала поспевать грушовка и с барского гумна караульщики принесли большущие вязанки свежей, из-под молотилки, соломы, была очень приятна Василью. Лежи целый день на свежей, пахучей соломе подле кучек, еще более, чем солома, пахучих, падали ярового и зимового яблока, поглядывай, не забралась ли где ребята за яблоками, пошвыстывай и распевай песни. А песни петь Василий был мастер. И голос у него был хороший. Придут с деревни бабы, девки за яблоками. Пошутит с ними Василий, отдаст, как какая приглянется, побольше или поменьше яблок за яйца или копеечки — и опять лежи; только сходи позавтракать, пообедать, поужинать.

Рубаха на Василье была одна розовая ситцевая, и та в дырах, на ногах ничего не было, но тело было сильное, здоровое, и, когда котелок с кашей снимали с огня, Василий съедал за троих, так что старик караульщик только дивился на него. По ночам Василий не спал и либо свистал, либо покрикивал и, как кошка, далеко в темноте видел. Раз забралась с деревни большие ребята трясти яблоки. Василий подкрался и набросился на них; хотели они отбиться, да он расшвырял их всех, а одного привел в шалаш и сдал хозяину.

Первый шалаш Василья был в дальнем саду, а второй шалаш, когда грушовка сошла, был в сорока шагах от барского дома. И в этом шалаше Василью еще

веселее было. Целый день Василий видел, как господа и барышни играли, ездили кататься, гуляли, а по вечерам и ночам играли на фортепьяно, на скрипке, пели, танцевали. Видел он, как барышни с студентами сидели на окнах и ласкались и потом одни шли гулять в темные липовые аллеи, куда только полосами и пятнами проходил лунный свет. Видел он, как бегали слуги с едой и питьем и как повара, прачки, приказчики, садовники, кучера — все работали только затем, чтобы кормить, поить, веселить господ. Заходили иногда молодые господа и к нему в шалаш, и он отбирал им и подавал лучшие, наливные и краснобокие яблоки, и барышни тут же, хрустя зубами, кусали их и хвалили и что-то говорили — Василий понимал, что об нем, — по-французски и заставляли его петь.

И Василий любовался на эту жизнь, вспоминая свою московскую жизнь, и мысль о том, что все дело в деньгах, все больше и больше западала ему в голову.

И Василий стал все больше и больше думать о том, как бы сделать, чтобы сразу захватить побольше денег. Стал он вспоминать, как он прежде пользовался, и решил, что не так надо делать, что надо не так, как прежде, ухватить где плохо лежит, а вперед обдумать, вызнать и сделать чисто, чтобы никаких концов не оставить. К рождеству богородицы сняли последнюю антоновку. Хозяин попользовался хорошо и всех караульщиков и Василья расчел и отблагодарил.

Василий оделся — молодой барин подарил ему куртку и шляпу — и не пошел домой, очень тошно ему было думать о мужицкой, грубой жизни, — а вернулся назад в город с пьющими солдатиками, которые вместе с ним караулили сад. В городе он решил ночью взломать и ограбить ту лавку, у хозяина которой он жил и который прибил его и прогнал без расчета. Он знал все ходы и где были деньги, солдатика приставил караулить, а сам взломал окно со двора, пролез и выбрал все деньги. Дело было сделано искусно, и следов никаких не нашли. Денег вынул триста семьдесят рублей. Сто рублей Василий дал товарищу, а с остальными уехал в другой город и там кутил с товарищами и товарами.

Между тем Иван Миронов стал ловким, смелым и успешным конокрадом. Аfirmья, его жена, прежде ругавшая его за плохие дела, как она говорила, теперь была довольна и гордилась мужем, тем, что у него тулуп крытый и у ней самой полушалок и новая шуба.

В деревне и в округе все знали, что ни одна кража лошадей не обходилась без него, но доказать на него боялись, и, когда и бывало на него подозрение, он выходил чист и прав. Последняя кража его была из ночного в Колотовке. Когда мог, Иван Миронов разбирал, у кого красть, и больше любил брать у помещиков и купцов. Но и у помещиков и купцов было труднее. И потому, когда не подходили помещичьи и купеческие, он брал и у крестьян. Так он и захватил в Колотовке из ночного каких попало лошадей. Сделал дело не он сам, но подговоренный им ловкий малый Герасим. Мужики хватились лошадей только на заре и бросились искать по дорогам. Лошади же стояли в овраге, в казенном лесу. Иван Миронов намеревался продержатъ их тут до другой ночи, а ночью махнуть за сорок верст к знакомому дворнику. Иван Миронов проведал Герасима в лесу, принес ему пирога и водки и пошел домой лесной тропинкой, где надеялся никого не встретить. На беду его он столкнулся с сторожем-солдатом.

— Али по грибы ходил? — сказал солдат.

— Да нет ничего нынче, — отвечал Иван Миронов, показывая на лукошко, которое он взял на всякий случай.

— Да, нынче не грибное лето, — сказал солдат, — нешто постом пойдут, — и прошел мимо.

Солдат понял, что тут что-то неладно. Незачем было Ивану Миронову ходить рано утром по казенному лесу. Солдат вернулся и стал шарить по лесу. Около оврага он услышал лошадиное фырканье и пошел потихоньку к тому месту, откуда слышал. В овраге было притоптано, и был лошадиный помет. Дальше сидел Герасим и ел что-то, а две лошади стояли привязанные у дерева.

Солдат побежал в деревню, взял старосту, сотского и двух понятых. Они с трех сторон подошли к тому

месту, где был Герасим, и захватили его. Гераська не стал запирается и тотчас же спяна во всем сознался. Рассказал, как его напоил и подговорил Иван Миронов и как обещался нынче прийти за лошадьми в лес. Мужики оставили лошадей и Герасима в лесу, а сами сделали засаду, выжидая Ивана Миронова. Когда смерклось, послышался свист. Герасим откликнулся. Только Иван Миронов стал спускаться с горы, на него набросились и повели в деревню. Наутро перед старостиной избой собралась толпа.

Ивана Миронова вывели и стали допрашивать. Степан Пелагеюшкин, высокий, сутуловатый, длиннорукий мужик, с орлиным носом и мрачным выражением лица, первый стал допрашивать. Степан был мужик одинокий, отбывший воинскую повинность. Только что отошел от отца и стал справляться, как у него увели лошадь. Проработав год в шахтах, Степан опять справил двух лошадей. Обеих увели.

— Говори, где мои кони, — мрачно глядя то в землю, то в лицо Ивана, заговорил, побледнев от злобы, Степан.

Иван Миронов отперся. Тогда Степан ударил его в лицо и разбил нос, из которого потекла кровь.

— Говори, убую!

Иван Миронов молчал, сгибая голову. Степан ударил своей длинной рукой раз, другой. Иван все молчал, только откидывал то туда, то сюда голову.

— Все бей! — закричал староста.

И все стали бить. Иван Миронов молча упал и закричал:

— Варвары, черти, бейте насмерть. Не боюсь вас.

Тогда Степан схватил камень из заготовленной сажени и разбил Ивану Миронову голову.

XV

Убийц Ивана Миронова судили. В числе этих убийц был Степан Пелагеюшкин. Его обвинили строже других, потому что все показали, что он камнем разбил голову Ивана Миронова. Степан на суде ничего не таил,

объяснил, что, когда у него увели последнюю пару лошадей, он заявил в стану, и следы по цыганам найти можно было, да становой его и на глаза не принял и не искал вовсе.

— Что ж нам с таким делать? Разорил нас.

— Почему ж другие не били, а вы? — сказал обвинитель.

— Неправда, все били, мир порешил убить. А я только прикончил. Что ж понапрасну мучить.

Судей поразило в Степане выражение совершенного спокойствия, с которым он рассказывал про свой поступок и про то, как били Ивана Миронова и как он прикончил его.

Степан действительно не видел ничего страшного в этом убийстве. Ему на службе пришлось расстреливать солдата, и, как тогда, так и при убийстве Ивана Миронова, он не видал ничего страшного. Убили так убили. Нынче его, завтра меня.

Степана приговорили легко, к одному году тюрьмы. Одежу мужицкую с него сняли, положили под номером в цейхгауз, а на него надели арестантский халат и коты.

Степан никогда не имел уважения к начальству, но теперь он вполне убедился, что всё начальство, все господа, все, кроме царя, который один жалел народ и был справедлив, все были разбойники, сосущие кровь из народа. Рассказы ссыльных и каторжных, с которыми он сошелся в тюрьме, подтверждали такой взгляд. Один ссылался в каторгу за то, что обличал начальство в воровстве, другой — за то, что ударил начальника, когда стал занапрасно описывать крестьянское имущество, третий — за то, что подделал ассигнации. Господа, купцы, что ни делали, все им сходило с рук, а мужика-бедняка за все про все посылали в остроги вшей кормить.

В остроге посещала его жена. Без него ей и так плохо было, а тут еще сгорела и совсем разорилась, стала с детьми побираться. Бедствия жены еще больше озлобили Степана. Он и в остроге был зол со всеми и раз чуть не зарубил топором кашевара, за что ему был прибавлен год. В этот год он узнал, что жена его померла и что дома его нет больше...

Когда Степану вышел срок, его позвали в цейхгауз, достали с полочки его одежду, в которой он пришел, и дали ему.

— Куда же я пойду теперь? — сказал он, одеваясь, каптенармусу.

— Известно, домой.

— Дома нет. Должно, на дорогу идти надо. Людей грабить.

— А будешь грабить, опять к нам попадешь.

— Ну, это как придется.

И Степан ушел. Направился он все-таки к дому. Больше идти некуда было.

Не доходя до дома, зашел он ночевать в знакомый постоялый двор с кабаком.

Двор держал толстый владимирский мещанин. Он знал Степана. И знал, что попал он в острог по несчастью. И оставил Степана у себя ночевать.

Мещанин этот богатый отбил у соседнего мужика жену и жил с ней, как с работницей и женой.

Степан знал все это дело — как обидел мещанин мужика, как эта скверная бабенка ушла от мужа и теперь разъелась и потная сидела за чаем и из милости угостила чаем и Степана. Проезжих никого не было. Степана оставили ночевать на кухне. Матрена убрала все и ушла в горницу. Степан лег на печке, но спать не мог и все трещал по лучинам, которые сохли на печке. Не выходило у него из головы толстое брюхо мещанина, торчавшее из-под пояса ситцевой мытой-перемытой, слинявшей рубахи. Все ему в голову приходило ножом полоснуть это брюхо, сальник выпустить. И бабенке тоже. То он говорил себе: «Ну, черт с ними, уйду завтра», то вспоминал Ивана Миронова и опять думал о брюхе мещанина и белой, потной глотке Матрены. Уж убить, так обоих. Пропел второй петух. Делать, так теперь, а то рассвет. Нож он приметил с вечера и топор. Он сполз с печи, взял топор и нож и вышел из кухни. Как раз он вышел, и за дверью щелкнула щеколда. Мещанин вышел в двери. Он сделал не так, как хотел. Ножом не пришлось, а он взмахнул топором и рассек голову. Мещанин повалился на притолку и наземь.

Степан вошел в горницу. Матрена вскочила и в одной рубашке стояла у кровати. Степан тем же топором убил и ее.

Потом зажег свечу, вынул деньги из конторки и ушел.

XVI

В уездном городе в отдалении от других строений жил в своем доме старик, бывший чиновник, пьяница, с двумя дочерьми и зятем. Замужняя дочь тоже пила и вела дурную жизнь, старшая же, вдова Мария Семеновна, сморщенная, худая, пятидесятилетняя женщина, одна только содержала всех: у ней была пенсия в двести пятьдесят рублей. На эти деньги кормилась вся семья. Работала же в доме только одна Мария Семеновна. Она ходила за слабым, пьяным стариком отцом и за ребенком сестры, и готовила и стирала. И, как это всегда бывает, на нее же наваливали все дела, какие нужны были, и ее же все трое и ругали и даже бил зять в пьяном виде. Она все переносила молча и с кротостью, и, тоже как всегда бывает, чем больше у ней было дела, тем больше она успевала делать. Она и бедным помогала, отрезывая от себя, отдавая свои одежды, и помогала ходить за больными.

Работал раз у Марии Семеновны хромой, безногий портной деревенский. Перешивал он поддевку старику и покрывал сукном полушубок для Марии Семеновны — зимой на базар ходить.

Хромой портной был человек умный и наблюдательный, по своей должности много видавший разных людей и, вследствие своей хромоты, всегда сидевший и потому расположенный думать. Прожив у Марии Семеновны неделю, не мог надивиться на ее жизнь. Один раз она пришла к нему в кухню, где он шил, застирать полотенцы и разговорилась с ним об его житье, как брат его обижал и как он отделился от него.

— Думал — лучше будет, а все то же, нужда.

— Лучше не менять, а как живешь, так и живи, — сказала Мария Семеновна.

— Да я и то на тебя, Мария Семеновна, дивлюсь, как ты все одна да одна во все концы на людей хлопочешь. А от них добра, я вижу, мало.

Мария Семеновна ничего не сказала.

— Должно, ты по книгам дошла, что награда за это будет на том свете.

— Про это нам неизвестно, — сказала Мария Семеновна, — а только жить так лучше.

— А в книгах это есть?

— И в книгах есть, — сказала она и прочла ему нагорную проповедь из Евангелия. Портной задумался. И когда рассчитался и пошел к себе, все думал о том, что видел у Марии Семеновны и что она сказала и прочла ему.

XVII

Петр Николаич изменился к народу, и народ изменился к нему. Не прошло и года, как они срубили двадцать семь дубов и сожгли не застрахованную ригу и гумно. Петр Николаич решил, что жить с здешним народом нельзя.

В это же время Ливенцовы искали управляющего на свои именья, и предводитель рекомендовал Петра Николаича, как лучшего хозяина в уезде. Именья ливенцовские, огромные, не давали ничего дохода, и крестьяне пользовались всем. Петр Николаич взялся привести всё в порядок и, отдав свое имение в аренду, переехал с женой в дальнюю поволжскую губернию.

Петр Николаич и всегда любил порядок и законность, а теперь тем более не мог допустить того, чтобы этот дикий, грубый народ мог бы, противно закону, завладеть не принадлежащей им собственностью. Он был рад случаю поучить их и строго взялся за дело. Одного крестьянина он за покражу леса засудил в острог, другого собственноручно избил за то, что тот не свернул с дороги и не снял шапку. О лугах, про которые шел спор и крестьяне считали своими, Петр Николаич объявил крестьянам, что если они выпустят на них скотину, то он заарестует ее.

Пришла весна, и крестьяне, как они делали это в прежние года, выпустили скотину на барские луга. Петр

Николаич собрал всех работников и велел загнать скотину на барский двор. Мужики были на пахоте, и потому работники, несмотря на крики баб, загнали скотину. Вернувшись с работы, мужики, собравшись, пришли на барский двор требовать скотину. Петр Николаич вышел к ним с ружьем за плечами (он только что вернулся с объезда) и объявил им, что скотину он отдаст не иначе, как по уплате пятидесяти копеек с рогатой и десяти с овцы. Мужики стали кричать, что луга ихние, что их и отцы и деды ими владели и что нет таких прав забирать чужую скотину.

— Отдай скотину, не то худо будет, — сказал один старик, наступая на Петра Николаича.

— Что худо будет? — весь бледный, подступая к старику, закричал Петр Николаич.

— От греха отдай. Шаромыжник.

— Что? — крикнул Петр Николаич и ударил в лицо старика.

— Ты драться не смеешь. Ребята, бери силом скотину.

Толпа надвинулась. Петр Николаич хотел уйти, но его не пускали. Он стал пробиваться. Ружье выстрелило и убило одного из крестьян. Сделалась крутая свалка. Петра Николаича смяли. И через пять минут изуродованное тело его стащили в овраг.

Над убийцами назначили военный суд, и двоих приговорили к повешению.

XVIII

В селе, из которого был портной, пять богатых крестьян снимали у помещика за тысячу сто рублей сто пять десятин пахотной, черной, как деготь, жирной земли и раздавали ее мужичкам же, кому по восемнадцати, кому по пятнадцати рублей. Ни одна земля не шла ниже двенадцати. Так что барыш был хороший. Сами покупщики брали себе по пяти десятин, и земля эта приходилась им даром. Умер у этих мужиков товарищ, и предложили они хрому портному идти к ним в товарищи.

Когда стали наемщики делить землю, портной не стал пить водку, и, когда речь зашла о том, кому сколько земли дать, портной сказал, что обложить всех надо поровну, что не надо брать лишнего с наемщиков, а сколько придется.

— Как так?

— Да али мы нехристи. Ведь это хорошо господам, а мы хрестьяне. По-божьему надо. Такой закон Христов.

— Где же закон такой?

— А в книге, в Евангелии. Вот приходи воскресенье, я почитаю и потолкуем.

И [в] воскресенье пришли не все, но трое к портному, и стал он им читать.

Прочел пять глав Матвея, стали толковать. Все слушали, но принял только один Иван Чуев. И так принял, что стал во всем жить по-божьему. И в семье его так жить стали. От земли лишней отказался, только свою долю взял.

И стали к портному и к Ивану ходить, и стали понимать, и поняли, и бросили курить, пить, ругаться скверными словами, стали друг другу помогать. И перестали ходить в церковь и снесли попу иконы. И стало таких дворов семнадцать. Всех шестьдесят пять душ. И испугался священник и донес архиерею. Архиерей подумал, как быть, и решил послать в село архимандрита Мисаила, бывшего законоучителем в гимназии.

XIX

Архиерей посадил Мисаила с собой и стал говорить о том, какие новости проявились в его епархии.

— Все от слабости духовной и от невежества. Ты человек ученый. Я на тебя надеюсь. Поезжай, созови и при народе разъясни.

— Если владыка благословит, буду стараться, — сказал отец Мисаил. Он был рад этому поручению. Все, где он мог показать, что он верит, радовало его. А обращая других, он сильнее всего убеждал себя, что он верит.

— Постарайся, очень я страдаю за свою паству, — сказал архиерей, неторопливо принимая белыми, пухлыми руками стакан чая, который подавал ему служка.

— Что ж одно варенье, принеси другого, — обратился он к служке. — Очень, очень мне больно, — продолжал он речь к Мисаилу.

Мисаил был рад себя заявить. Но, как человек небогатый, попросил денег на расходы поездки и, опасаясь противодействия грубого народа, попросил еще распоряжения губернатора о том, чтобы местная полиция в случае надобности оказывала ему содействие.

Архиерей все устроил ему, и Мисаил, собравши с помощью своего служки и кухарки погребец и провизию, которою нужно было запастись, отправляясь в глухое место, поехал к месту назначения. Отправляясь в эту командировку, Мисаил испытывал приятное чувство сознания важности своего служения и притом прекращения всяких сомнений в своей вере, а напротив, совершенную уверенность в истинности ее.

Мысли его были направлены не на сущность веры, — она признавалась аксиомой, — а на опровержение тех возражений, которые делались по отношению ее внешних форм.

XX

Священник села и попадья приняли Мисаила с большим почетом и на другой день его приезда собрали народ в церкви. Мисаил в новой шелковой рясе, с крестом наперсным и расчесанными волосами, вошел на амвон, рядом с ним стал священник, поодаль дьячки, певчие, а у боковых дверей полицейские. Пришли и сектанты — в засаленных, корявых полушубках.

После молебна Мисаил прочел проповедь, увещевая отпадших вернуться в лоно матери церкви, угрожая муками ада и обещая полное прощение покаявшимся.

Сектанты молчали. Когда их стали спрашивать, они отвечали.

На вопрос о том, почему они отпали, они отвечали, что в церкви почитают деревянных и рукотворенных богов и что в писании не только не показано это, но в

пророчествах показано обратное. Когда Мисаил спросил Чуева, правда ли то, что они святые иконы называют досками, Чуев отвечал: «Да ты переверни, какую хочешь, икону, сам увидишь». Когда их спросили, почему они не признают священство, они отвечали, что в писании сказано: «Даром получили, даром и давайте», а попы только за деньги свою благодать раздают. На все попытки Мисаила опереться на Священное писание портной и Иван спокойно, но твердо возражали, указывая на писание, которое они твердо знали. Мисаил рассердился, пригрозил властью мирской. На это сектанты сказали, что сказано: «Меня гнали — и вас будут гнать».

Кончилось ничем, и все бы прошло хорошо, но на другой день у обедни Мисаил сказал проповедь о зловредности совратителей, о том, что они достойны всякой кары, и в народе, выходявшем из церкви, стали поговаривать о том, что стоило бы проучить безбожников, чтобы они не смущали народ. И в этот день, в то время как Мисаил закусывал семгой и сигом с благочинным и приехавшим из города инспектором, в селе сделалась свалка. Православные столпились у избы Чуева и ожидали их выхода, чтобы избить их. Сектантов было человек двадцать мужчин и женщин. Проповедь Мисаила и теперь сборище православных и их угрожающие речи вызвали в сектантах злое чувство, которого не было прежде. Завечерело, пора было бабам коров доить, а православные все стояли и ждали и вышедшего было малого побили и загнали опять в избу. Толковали, что делать, и не соглашались.

Портной говорил: терпеть надо и не обороняться. Чуев же говорил, что если так терпеть, они всех перебьют, и, захватив кочергу, вышел на улицу. Православные бросились на него.

— Ну-ка, по закону Моисея, — крикнул он и стал бить православных и вышиб одному глаз, остальные выскочили из избы и вернулись по домам.

Чуева судили и за совращение и за богохульство приговорили к ссылке.

Отцу же Мисаилу дали награду и сделали архимандритом.

Два года тому назад из земли Войска Донского приехала в Петербург на курсы здоровая, восточного типа, красивая девушка Турчанинова. Девушка эта встрети-лась в Петербурге с студентом Тюриным, сыном земского начальника Симбирской губернии, и полюбила его, но полюбила она не обыкновенной женской любовью с желанием стать его женой и матерью его детей, а товарищеской любовью, питавшейся преимущественно одинаковым возмущением и ненавистью не только к существующему строю, но и к людям, бывшим его представителями, и сознанием своего умственного, образовательного и нравственного превосходства над ними.

Она была способна учиться и легко запоминала лекции и сдавала экзамены и, кроме того, поглощала новейшие книги в огромном количестве. Она была уверена, что и призвание ее не в том, чтобы рожать и воспитывать детей, — она даже с гадливостью и презрением смотрела на такое призвание, — а в том, чтобы разрушить существующий строй, сковывающий лучшие силы народа, и указать людям тот новый путь жизни, который ей указывался европейскими новейшими писателями. Полная, белая, румяная, красивая, с блестящими черными глазами и большой черной косой, она вызывала в мужчинах чувства, которых она не хотела, да и не могла разделять, — так она была вся поглощена своей агитационной, разговорной деятельностью. Но ей все-таки было приятно, что она вызывала эти чувства, и потому она хоть и не наряжалась, не пренебрегала своей наружностью. Ей приятно было, что она нравится, а на деле может показать, как она презирает то, что так ценится другими женщинами. В своих взглядах на средства борьбы с существующим порядком она шла дальше большинства своих товарищей и своего друга Тюрина и допускала, что в борьбе хороши и могут быть употребляемы все средства, до убийства включительно. А между тем эта самая революционерка Катя Турчанинова была в душе очень добрая и самоотверженная женщина, всегда непосредственно предпочитавшая чужую

выгоду, удовольствие, благосостояние своей выгоде, удовольствию, благосостоянию и всегда истинно радовавшаяся возможности сделать кому-нибудь — ребенку, старику, животному — приятное.

Лето Турчанинова проводила в приволжском уездном городе, у товарки своей, сельской учительницы. В этом же уезде у отца жил и Тюрин. Все трое, вместе с уездным врачом, часто видались, обменивались книгами, спорили и возмущались. Именье Тюриных было рядом с тем именем Ливенцовых, куда управляющим поступил Петр Николаич. Как скоро приехал Петр Николаич и взялся за порядки, молодой Тюрин, видя в ливенцовских крестьянах самостоятельный дух и твердое намерение отстаивать свои права, заинтересовался ими и часто ходил в село и разговаривал с крестьянами, развивая среди них теорию социализма вообще и в частности национализации земли.

Когда случилось убийство Петра Николаича и наехал суд, кружок революционеров уездного города имел сильный повод для возмущения судом и смело высказывал его. То, что Тюрин ходил в село и говорил с крестьянами, было выяснено на суде. У Тюрина сделали обыск, нашли несколько революционных брошюр, и студента арестовали и свезли в Петербург.

Турчанинова уехала за ним и пошла в тюрьму для свидания, но ее не пустили в обыкновенный день, а допустили только в день общих свиданий, где она виделась с Тюриным через две решетки. Свидание это еще усилило ее возмущение. Довело же до крайнего предела ее возмущение ее объяснение с красавцем жандармским офицером, который, очевидно, готов был на снисхождение в случае ее принятия его предложений. Это довело ее до последней степени негодования и злобы против всех начальствующих лиц. Она пошла к начальнику полиции жаловаться. Начальник полиции сказал ей то же, что говорил и жандарм, что они ничего не могут, что на это есть распоряжение министра. Она подала докладную записку министру, прося свидания; ей отказали. Тогда она решилась на отчаянный поступок и купила револьвер.

Министр принимал в свой обыкновенный час. Он обошел трех просителей, принял губернатора и подошел к черноглазой, красивой, молодой женщине в черном, стоявшей с бумагой в левой руке. Ласково-похотливый огонек загорелся в глазах министра при виде красивой просительницы, но, вспомнив свое положение, министр сделал серьезное лицо.

— Что вам угодно? — сказал он, подойдя к ней.

Она, не отвечая, быстро вынула из-под пелеринки руку с револьвером и, уставив его в грудь министра, выстрелила, но промахнулась.

Министр хотел схватить ее руку, она отшатнулась и выстрелила другой раз. Министр бросился бежать. Ее схватили. Она дрожала и не могла говорить. И вдруг расхохоталась истерически. Министр не был даже ранен.

Это была Турчанинова. Ее посадили в дом предварительного заключения. Министр же, получив поздравления и соболезнования от самых высокопоставленных лиц и даже самого государя, назначил комиссию исследования того заговора, последствием которого было это покушение.

Заговора, разумеется, никакого не было; но чины тайной и явной полиции старательно принялись за разыскивание всех нитей несуществовавшего заговора и добросовестно заслуживали свое жалованье и содержание: вставая рано утром, в темноте, делали обыск за обыском, переписывали бумаги, книги, читали дневники, частные письма, делали из них на прекрасной бумаге прекрасным почерком экстракты и много раз допрашивали Турчанинову и делали ей очные ставки, желая выведать у нее имена ее сообщников.

Министр был по душе добрый человек и очень жалел эту здоровую, красивую казачку, но он говорил себе, что на нем лежат тяжелые государственные обязанности, которые он исполняет, как они ни трудны ему. И когда его бывший товарищ, камергер, знакомый Тюриных, встретился с ним на придворном бале и стал просить его за Тюрина и Турчанинову, министр пожал

плечами, так что сморщилась красная лента на белом жилете, и сказал:

— Je ne demanderais pas mieux que de lâcher cette pauvre fillette, mais vous savez — le devoir ¹.

А Турчанинова между тем сидела в доме предварительного заключения и иногда спокойно перестукивалась с товарищами и читала книги, которые ей давали, иногда же вдруг впадала в отчаяние и бешенство, билась о стены, визжала и хохотала.

XXIII

Получила раз Мария Семеновна в казначействе свою пенсию и, возвращаясь назад, встретила знакомого учителя.

— Что, Мария Семеновна, казну получили? — прокричал он ей с другой стороны улицы.

— Получила, — ответила Мария Семеновна, — только дыры заткнуть.

— Ну, денег много, и дыры заткнете, останется, — сказал учитель и, прощаясь, пошел.

— Прощайте, — сказала Мария Семеновна и, глядя на учителя, совсем столкнулась с высоким человеком с очень длинными руками и строгим лицом.

Но, подходя к дому, она удивилась, увидав опять этого же длиннорукого человека. Увидав, как она вошла в дом, он постоял, повернулся и ушел.

Марии Семеновне стало сначала жутко, потом грустно. Но когда она вошла в дом и раздала гостинцы и старику и маленькому золотушному племяннику Феде и приласкала визжавшую от радости Трезорку, ей опять стало хорошо, и она, отдав деньги отцу, взялась за работу, которая никогда не переводилась у ней.

Человек, с которым она столкнулась, был Степан.

Из постоянного двора, где Степан убил дворника, он не пошел в город. И удивительное дело, воспоминание об убийстве дворника не только не было ему неприятно,

¹ Я очень рад был бы отпустить эту бедную девочку, но вы понимаете — долг (франц.).

но он по несколько раз в день вспоминал его. Ему было приятно думать, что он может сделать это так чисто и ловко, что никто не узнает и не помешает это делать и дальше и над другими. Сидя в трактире за чаем и водкой, он приглядывался к людям все с той же стороны: как можно убить их. Ночевать он зашел к земляку, ломувому извозчику. Извозчика дома не было. Он сказал, что подождет, и сидел, разговаривая с бабой. Потом, когда она повернулась к печи, ему пришло в голову убить ее. Он удивился, покачал на себя головой, потом достал из голенища нож и, повалив ее, перерезал ей горло. Дети стали кричать, он убил и их и ушел, не ночуя, из города. За городом, в деревне, он вошел в трактир и там выпался.

На другой день он пришел опять в уездный город и на улице слышал разговор Марии Семеновны с учителем. Ее взгляд испугал его, но все-таки он решил забраться в ее дом и взять те деньги, которые она получила. Ночью он взломал замок и вошел в горницу. Первая услыхала его меньшая, замужняя дочь. Она закричала. Степан тотчас же зарезал ее. Зять проснулся и сцепился с ним. Он ухватил Степана за горло и долго боролся с ним, но Степан был сильнее. И, покончив с зятем, Степан, взволнованный, возбужденный борьбой, пошел за перегородку. За перегородкой лежала в постели Мария Семеновна и, поднявшись, смотрела на Степана испуганными, кроткими глазами и крестилась. Взгляд ее опять испугал Степана. Он опустил глаза.

— Где деньги? — сказал он, не поднимая глаз.

Она молчала.

— Где деньги? — сказал Степан, показывая ей нож.

— Что ты? Разве можно? — сказала она.

— Стало быть, можно.

Степан подошел к ней, готовясь ухватить ее за руки, чтобы она не мешала ему, но она не подняла рук, не противилась и только прижала их к груди и тяжело вздохнула и повторила:

— Ох, великий грех. Что ты? Пожалей себя. Чужие души, а пуще свою губишь... О-ох! — вскрикнула она.

Степан не мог больше переносить ее голоса и взгляда и полоснул ее ножом по горлу. — «Разговаривать с

вами». — Она опустилась на подушки и захрипела, обливая подушку кровью. Он отвернулся и пошел по горницам, собирая вещи. Обобрав, что нужно было, Степан закурил папироску, посидел, почистил свою одежду и вышел. Он думал, что и это убийство сойдет ему, как прежние, но, не дойдя до ночлега, вдруг почувствовал такую усталость, что не мог двинуть ни одним членом. Он лег в канаву и пролежал в ней остаток ночи, весь день и следующую ночь.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Лежа в канаве, Степан не переставая видел перед собой кроткое, худое, испуганное лицо Марии Семеновны и слышал ее голос: «Разве можно?» — говорил ее особенный, ее шепелявящий, жалостный голос. И Степан опять переживал все то, что он сделал с нею. И ему становилось страшно, и он закрывал глаза и мотал своей волосатой головой, чтоб вытряхнуть из нее эти мысли и воспоминания. И на минутку он освобождался от воспоминаний, но на место их являлся ему сначала один, другой черный, и за другим шли еще другие черные с красными глазами и делали рожи, и все говорили одно: «С ней покончил — и с собой покончи, а то не дадим покоя». И он открывал глаза и опять видел ее и слышал ее голос, и ему становилось жалко ее и гадко и страшно на себя. И он опять закрывал глаза, и опять — черные.

К вечеру другого дня он поднялся и пошел в кабак. Насилу добрал до кабака и стал пить. Но сколько ни пил, хмель не брал его. Он молча сидел за столом и пил стакан за стаканом. В кабак пришел урядник.

— Ты чей будешь? — спросил его урядник.

— А тот самый, я вчерась у Добротворова всех перерезал.

Его связали и, продержав день при становой квартире, отправили в губернский город. Смотритель тюрьмы, узнав в нем прежнего своего арестанта-буяна и теперь великого злодея, строго принял его.

— Смотри, у меня не шалить, — нахмуря свои брови и выставив нижнюю челюсть, прохрипел смотритель. — Если только замечу что — запорю. От меня не убежишь.

— Что мне бегать, — отвечал Степан, опустив глаза, — я сам в руки дался.

— Ну, со мной не разговаривать. А когда начальство говорит, смотри в глаза, — крикнул смотритель и ударил его кулаком под челюсть.

Степану в это время опять представилась она и слышался ее голос. Он не слышал того, что говорил ему смотритель.

— Чаво? — спросил он, опомнившись, когда почувствовал удар по лицу.

— Ну, ну — марш, нечего прикидываться.

Смотритель ждал буйства, переговоров с другими арестантами, попыток к бегству. Но ничего этого не было. Когда ни заглядывал в дырку его двери вахтер или сам смотритель, Степан сидел на набитом соломой мешке, подперев голову руками, и все что-то шептал про себя. На допросах следователя он тоже был не похож на других арестантов: он был рассеян, не слушал вопросов; когда же понимал их, то был так правдив, что следователь, привыкший к тому, чтобы бороться ловкостью и хитростью с подсудимыми, здесь испытывал чувство подобное тому, которое испытываешь, когда в темноте на конце лестницы поднимаешь ногу на ступень, которой нету. Степан рассказывал про все свои убийства, нахмурив брови и устремив глаза в одну точку, самым простым, деловитым тоном, стараясь вспомнить все подробности: «Вышел он, — рассказывал Степан про первое убийство, — босой, стал в дверях, я его, значит, долбанул раз, он и захрипел, я тогда сейчас взялся за бабу»... и т. д. При обходе прокурором камер острога у Степана спросили, не имеет ли он жалоб и не нужно ли чего. Он отвечал, что ему ничего не нужно и что его не обижают. Прокурор, пройдя несколько шагов по вонючему коридору, остановился и спросил у сопутствующего ему смотрителя, как себя ведет этот арестант?

— Не надивлюсь на него, — отвечал смотритель, довольный тем, что Степан похвалил обращение с ним. — Второй месяц он у нас, примерного поведения. Только боюсь, не задумывает ли чего. Человек отважный и силы непомерной.

II

Первый месяц тюрьмы Степан не переставая мучался все тем же: он видел серую стену своей камеры, слышал звуки острога — гул под собой в общей камере, шаги часового по коридору, стук часов и вместе с тем видел ее — с ее кротким взглядом, который победил его еще при встрече на улице, и худой, морщинистой шей, которую он перерезал, и слышал ее умильный, жалостный, шепелявый голос: «*Чужие души и свою губишь. Разве это можно?*» Потом голос затихал, и являлись те трое — черные. И являлись всё равно, закрыты или открыты были глаза. При закрытых глазах они являлись явственнее. Когда Степан открывал глаза, они смешивались с дверями, стенами и понемногу пропадали, но потом опять выступали и шли с трех сторон, делая рожки и приговаривая: покончи, покончи. Петлю можно сделать, зажечь можно. И тут Степана прохватывала дрожь, и он начинал читать молитвы, какие знал: «Богородицу», «Вотче», и сначала как будто помогало. Читая молитвы, он начинал вспоминать свою жизнь: вспоминал отца, мать, деревню, Волчка-собаку, деда на печке, скамейки, на которых катался с ребятами, потом вспоминал девок с их песнями, потом лошадей, как их увели и как поймали конокрада, как он камнем добил его. И вспоминался первый острог, и как он вышел, и вспоминал толстого дворника, жену извозчика, детей и потом опять вспоминал ее. И ему становилось жарко, и он, спустив с плеч халат, вскакивал с нары и начинал, как зверь в клетке, скорыми шагами ходить взад и вперед по короткой камере, быстро поворачиваясь у запотелых, сырых стен. И он опять читал молитвы, но молитвы уже не помогали.

В один из длинных осенних вечеров, когда в трубах свистел и гудел ветер, он, набегавшись по камере, сел

на койку и почувствовал, что бороться больше нельзя, что черные одолели, и он покорился им. Он давно уже приглядывался к отдушнику печи. Если обхватить его тонкими бечевками или тонкими лентами полотна, то не соскользнет. Но надо было это умно устроить. И он взялся за дело и два дня готовил полотняные ленты из мешка, на котором спал (когда входил вахтер, он накрывал койку халатом). Ленты он связывал узлами и делал их двойные, чтобы они не оборвались, а сдержали тело. Пока он готовил все это, он не мучался. Когда все было готово, он сделал мертвую петлю, надел ее на шею, влез на кровать и повесился. Но только что стал высовываться у него язык, как ленты оборвались, и он упал. На шум вошел вахтер. Позвали фельдшера, и свели его в больницу. На другой день он совсем оправился, и его взяли из больницы и поместили уже не в отдельную, а в общую камеру.

В общей камере он жил среди двадцати человек, как будто был один, никого не видел, ни с кем не говорил и все так же мучался. Особенно тяжело ему было, когда все спали, а он не спал и по-прежнему видел ее, слышал ее голос, потом опять являлись черные с своими страшными глазами и дразнили его.

Опять, как прежде, он читал молитвы, и, как прежде, они не помогали.

Один раз, когда, после молитвы, она опять явилась ему, он стал молиться ей, ее душеньке, о том, чтоб она отпустила, простила его. И когда он к утру повалился на примятый мешок, он крепко заснул, и во сне она, с своей худой, сморщенной, перерезанной шеей, пришла к нему.

— Что ж, простишь?

Она посмотрела на него своим кротким взглядом и ничего не сказала.

— Простишь?

И так до трех раз он спросил ее. Но она все-таки ничего не сказала. И он проснулся. С тех пор ему легче стало, и он как бы очнулся, оглянулся вокруг себя и в первый раз стал сближаться и говорить с своими товарищами по камере.

В одной камере с Степаном сидел Василий, опять попавшийся в воровстве и приговоренный к ссылке, и Чуев, тоже приговоренный на поселение. Василий все время или пел песни своим прекрасным голосом, или рассказывал товарищам свои похождения. Чуев же или работал, что-нибудь шил из платья или белья, или читал Евангелие и псалтырь.

На вопрос Степана о том, за что его сослали, Чуев объяснил ему, что его сослали за истинную веру Христову, за то, что обманщики-попы духа тех людей не могут слышать, которые живут по Евангелию и их отличают. Когда же Степан спросил Чуева, в чем евангельский закон, Чуев разъяснил ему, что евангельский закон в том, чтобы не молиться рукотворенным богам, а поклоняться в духе и истине. И рассказал, как они эту настоящую веру от безногого портного узнали на дележке земли.

— Ну, а за дурные дела что будет? — спросил Степан.

— Все сказано.

И Чуев прочел ему:

— «Когда же придет сын человеческий во славе своей и все святые ангелы с ним, тогда сядет на престоле славы своей, и соберутся пред ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону свою, а козлов — по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал я, и вы дали мне есть; жаждал, и вы напоили меня; был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня; в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи! когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам: так как вы сделали это

одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его: ибо алкал я, и вы не дали мне есть; жаждал, и вы не напоили меня; был странником, и не приняли меня; был наг, и не одели меня; болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи! когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне». И пойдут сии в муку вечную, а праведники — в жизнь вечную». (Матф. XXV, 31—46.)

Василий, присевший на полу против Чуева и слушавший чтение, одобрительно кивнул своей красивой головой.

— Верно, — решительно проговорил он, — идите, мол, проклятые, в муку вечную, никого не кормили, а сами жрали. Так им и надо. Ну-ка дай, я почитаю, — прибавил он, желая похвастаться своим чтением.

— Ну, а прощение разве не будет? — спросил Степан, молча, опустив свою мохнатую голову, слушавший чтение.

— погоди, помолчи, — сказал Чуев Василью, который все приговаривал о том, как богатые ни странника не накормили, ни в темнице не посетили. — погоди, что ль, — повторил Чуев, перелистывая Евангелие. Найдя то, что искал, Чуев расправил большой, побелевшей в остроге, сильной рукой листы.

— «И вели с ним, — с Христом, значит, — начал Чуев, — на смерть и двух злодеев. И, когда пришли на место, называемое лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону.

Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают...» И стоял народ и смотрел. Насмеялись же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранник божий». Так же и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и ев-

рейскими: «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унижал его и говорил: «Или ты не боишься бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли; а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, господи, когда приидешь во царствие твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе: ныне же будешь со мной в раю». (Луки XXIII, 32—43.)

Степан ничего не сказал и сидел задумавшись, как будто слушая, но он ничего не слышал уже из того, что дальше читал Чуев.

«Так вот она в чем истинная вера, — думал он. — Спасутся только те, кто кормил, поил бедных, посещал заключенных, а в ад пойдут, кто не делал этого. А все-таки разбойник только на кресте покаялся, а и то пошел в рай». Он не видел тут никакого противоречия, а напротив, одно подтверждало другое: что милостивые пойдут в рай, а немилостивые — в ад, значило то, что всем надо быть милостивыми, а что разбойника Христос простил, значит, что и Христос был милостив. Все это было совершенно ново для Степана; он только удивлялся, зачем это до сих пор было скрыто от него. И он все свободное время проводил с Чуевым, спрашивая и слушая. И, слушая, он понимал. Ему открылся общий смысл всего учения в том, что люди — братья и им надо любить и жалеть друг друга, и тогда всем хорошо будет. И когда он слушал, то воспринимал, как что-то забытое и знакомое, все, что подтверждало общий смысл этого учения, и пропускал мимо ушей то, что не подтверждало его, приписывая это своему непониманию.

И с этого времени Степан стал другим человеком.

IV

Степан Пелагеюшкин и прежде был смирен, но в последнее время он поражал и смотрителя, и вахтеров, и товарищей происшедшей в нем переменой. Он без приказанья, вне очереди, совершал все самые тяжелые

работы, в том числе и очищение парашаи. Но, несмотря на эту свою покорность, сотоварищи уважали и боялись его, зная его твердость и большую физическую силу, особенно после случая с двумя бродягами, которые напали на него, но от которых он отбил, сломав одному из них руку. Бродяги эти взялись обыгрывать молодого богатенького арестанта и отобрали у него все, что у него было. Степан вступился за него и отнял у них выигранные деньги. Бродяги стали его ругать, потом бить, но он осилил их обоих. Когда же смотритель дознавался, в чем ссора, бродяги объявили, что Пелагеюшкин стал бить их. Степан не оправдывался и покорно принял наказание, состоящее в трехдневном карцере и в перемещении в одиночную камеру.

Одиночная камера была для него тяжела тем, что разлучила его с Чуевым и Евангелием, и, кроме того, он боялся, что возвратятся опять видения ее и черных. Но видений не было. Вся душа его была полна новым, радостным содержанием. Он бы был рад своему уединению, если бы он мог читать и у него было бы Евангелие. Евангелие дали бы ему, но читать он не мог.

Мальчиком он начал учиться грамоте по-старинному: аз, буки, веди, но не пошел по непонятливости дальше азбуки и никак не мог понять тогда складов и так и остался безграмотным. Теперь же он решил выучиться и попросил у вахтера Евангелие. Вахтер принес ему, и он взялся за работу. Буквы он узнавал, но сложить ничего не мог. Сколько он ни бился, чтобы понять, как из букв складываются слова, ничего не выходило. Он ночи не спал, все думал, есть не хотелось, и от тоски на него такая вошь напала, что он не мог отгрестись от нее.

— Что ж, все не дошел? — спросил его раз вахтер.

— Нет.

— Да ты «Отче» знаешь?

— Знаю.

— Ну вот читай ее. Вот она, — и вахтер показал ему «Отче наш» в Евангелии.

Степан стал читать «Отче», сличая знакомые буквы с знакомыми звуками. И вдруг ему открылась тайна

сложения букв, и он стал читать. Это была большая радость. И с тех пор он стал читать, и выделявшийся понемногу смысл из трудно составляемых слов получал еще большее значение.

Одиночество теперь уже не тяготило, но радовало Степана. Он был весь полон своим делом и не обрадовался, когда его, для того чтобы освободить камеры для вновь прибывших политических, перевели опять в общую камеру.

V

Теперь уже не Чуев, а Степан часто в камере читал Евангелие, и одни арестанты пели похабные песни, другие слушали его чтение и его разговоры о прочитанном. Так слушали его молча и внимательно всегда двое: каторжник, убийца, палач Махоркин и Василий, который попался в воровстве и, ожидая суда, сидел в том же остроге. Махоркин два раза во время своего содержания в тюрьме исполнял свои обязанности, оба раза в отъезде, так как не находилось людей, которые бы исполняли то, что присуживали судьи. Крестьяне, убившие Петра Николаича, были судимы военным судом, и два из них были приговорены к смертной казни через повешение.

Махоркина потребовали в Пензу для исполнения его обязанности. В прежнее время он в этих случаях тотчас же писал — он был хорошо грамотен — бумагу губернатору, в которой объяснял, что он командирован для исполнения своих обязанностей в Пензу, и потому просил начальника губернии о назначении ему причитающихся суточных кормовых денег; теперь же он, к удивлению начальника тюрьмы, объявил, что он не поедет и не будет больше исполнять обязанности палача.

— А плети забыл? — крикнул начальник тюрьмы.

— Что ж, плети — так плети, а убивать закона нет.

— Что ж это ты, от Пелагеюшкина набрался? Нашелся пророк острожный, погоди же ты.

Между тем Махин, тот гимназист, который научил подделывать купон, кончил гимназию и курс в университете по юридическому факультету. Благодаря его успеху у женщин, у бывшей любовницы старика товарища министра, его совсем молодым назначили судебным следователем. Он был нечестный человек в долгах, соблазнитель женщин, картежник, но он был ловкий, сметливый, памятливым человеком и умел хорошо вести дела.

Он был судебным следователем в том округе, где судился Степан Пелагеюшкин. Еще на первом допросе Степан удивил его своими ответами, простыми, правдивыми и спокойными. Махин бессознательно чувствовал, что этот стоящий перед ним человек в кандалах и с бритой головой, которого привели и караулят и отведут под замок два солдата, что это человек вполне свободный, нравственно недосыгаемо высоко стоящий над ним. И потому, допрашивая его, он беспрестанно подбадривал себя и подстегивал, чтобы не смущаться и не путаться. Поражало его то, что Степан говорил про свои дела, как про что-то давно прошедшее, совершенное не им, а каким-то другим человеком.

— И тебе не жалко было их? — спрашивал Махин.

— Не жалко. Я не понимал тогда.

— Ну, а теперь?

Степан грустно улыбнулся.

— Теперь на огне меня жги, того бы не сделал.

— Отчего же?

— Оттого, что понял, что все люди братья.

— Что же, и я тебе брат?

— А то как же.

— Как же, я брат, а сужу тебя в каторгу?

— От непонятия.

— Что же я не понимаю?

— Не понимаете, коли судите.

— Ну, продолжаем. Потом ты куда пошел?..

Больше же всего поразило Махина то, что он узнал от зрителя о влиянии Пелагеюшкина на палача Махоркина, который, рискуя быть наказанным, отказался от исполнения своей обязанности.

На вечере у Еропкиных, где были две барышни — богатые невесты, за которыми обеими ухаживал Махин, после пения романсов, в котором особенно отличался очень музыкальный Махин, — он и вторил прекрасно и аккомпанировал, — он рассказал очень верно и подробно — у него была прекрасная память — и совершенно безучастно про странного преступника, который обратил палача. Махин потому так хорошо и помнил и мог передать все, что он всегда был совершенно безучастен к тем людям, с которыми имел дело. Он не входил, не умел входить в душевное состояние других людей и потому-то и мог так хорошо запоминать все, что происходило с людьми, что они делали, говорили. Но Пелагеюшкин заинтересовал его. Он не вошел в душу Степана, но невольно задался вопросом: что у него в душе, и, не найдя ответа, но чувствуя, что это что-то интересное, рассказал на вечере все дело: и соращение палача, и рассказы зрителя о том, как странно ведет себя Пелагеюшкин, и как читает Евангелие, и какое сильное влияние имеет на товарищей.

Всех заинтересовал рассказ Махина, но больше всех меньшую — Лизу Еропкину, восемнадцатилетнюю девушку, только что вышедшую из института и только что опомнившуюся от темноты и тесноты ложных условий, в которых она выросла, и точно вынырнувшую из воды, страстно вдыхавшую в себя свежий воздух жизни. Она стала расспрашивать Махина о подробностях и о том, как, почему произошла такая перемена в Пелагеюшкине, и Махин рассказал то, что он слышал от Степана о последнем убийстве, и как кротость, покорность и бесстрашие смерти этой очень доброй женщины, которую он последнюю убил, победили его, открыли ему глаза и как потом чтение Евангелия dokonчило дело.

Долго в эту ночь не могла Лиза Еропкина заснуть. В ней уже несколько месяцев шла борьба между светской жизнью, в которую увлекала ее сестра, и увлечением Махиным, соединенным с желанием исправить его. И теперь последнее взяло верх. Она и прежде слышала про убитую. Теперь же, после этой ужасной смерти и

рассказа Махина со слов Пелагеюшкина, она до подробностей узнала историю Марии Семеновны и была поражена всем тем, что узнала о ней.

Лизе страстно захотелось быть такой Марией Семеновной. Она была богата и боялась, что Махин ухаживает за ней из-за денег. И она решила раздать свое имение и сказала об этом Махину.

Махин рад был случаю выказать свое бескорыстие и сказал Лизе, что он любит ее не из-за денег, и это, как ему казалось, великодушное решение тронуло его самого. У Лизы между тем началась борьба с ее матерью (имение было отцовское), не позволявшей раздавать имение. И Махин помогал Лизе. И чем больше он поступал так, тем больше он понимал совсем другой, чуждый ему до тех пор мир духовных стремлений, который он видел в Лизе.

VIII

Все утихло в камере. Степан лежал на своем месте на нарах и не спал еще. Василий подошел к нему и, дернув его за ногу, мигнул ему, чтобы он встал и вышел к нему. Степан сполз с нар и подошел к Василью.

— Ну, брат, — сказал Василий, — ты уж потрудись, пособи мне.

— В чем пособить-то?

— Да вот бежать хочу.

И Василий открыл Степану то, что у него все готово, чтоб бежать.

— Завтра я их взбаламучу, — он указал на лежащих. — На меня скажут. Переведут в верхние, а уж там я знаю как. Только ты мне пробой из мертвецкой вышатай.

— Это можно. Куда пойдешь-то?

— А куда глаза глядят. Разве мало народу плохого?

— Это, брат, так, только не нам судить их.

— Да что ж, я разве душегуб какой. Я ни одной души не погубил, а что воровать? Что ж тут плохого? Разве они не грабят нашего брата?

— Это их дело. Они отвечать будут.

— Да что ж им в зубы-то смотреть? Ну вот я церковь обобрал. Кому от этого худо? Я теперь хочу так сделать, чтобы не лавчонку, а хватить казну и раздавать. Добрым людям раздавать.

В это время поднялся с нар один арестант и стал прислушиваться. Степан и Василий разошлись.

На другой день Василий сделал, как хотел. Он стал жаловаться на хлеб, что сыр, подбил всех арестантов звать к себе зрителя, заявить претензию. Зритель пришел, обругал всех и, узнав, что затейщик всего дела Василий, велел посадить его отдельно в одиночную камеру верхнего этажа.

Этого только и нужно было Василью.

IX

Василий знал ту верхнюю камеру, в которую его посадили. Он знал пол в ней и как только попал туда, так стал разбирать пол. Когда можно было пролезть под пол, он разобрал потолочины и спрыгнул в нижний этаж, в мертвецкую. В этот день в мертвецкой лежал на столе один мертвый. В этой же мертвецкой были сложены мешки для сенников. Василий знал это и на эту камеру рассчитывал. Пробой в этой камере был вытащен и вложен. Василий вышел из двери и пошел в строящийся нужник в конце коридора. В этом нужнике была сквозная дыра с третьего этажа до нижнего, подвального. Ощупав дверь, Василий вернулся в мертвецкую, снял с холодного, как лед, мертвеца полотно (он коснулся его руки, когда снимал), потом взял мешки, связал их узлами так, чтобы сделать из них веревку, и снес эту веревку из мешков в нужник; там привязал веревку к перекладине и полез по ней вниз. Веревка не доставала до пола. Много ли, мало она не хватала — он не знал, но делать нечего было, он повис и прыгнул. Ноги отбил, но ходить мог. В подвальном этаже было два окна. Пролезть можно бы, но вделаны железные решетки. Надо было выломать их. Чем? Василий стал шарить. В подвальном этаже лежали отрезки досок.

Он нашел один отрезок с острым концом и стал им выворачивать кирпичи, державшие решетки. Долго он работал. Петухи второй раз уже пели, а решетка держалась. Наконец одна сторона вышла. Василий подсунул отрезок и понапер, решетка выворотилась вся, но упал кирпич и загремел. Часовые могли услышать. Василий замер. Все тихо. Он полез в окно. Вылез. Бежать ему надо было через стену. В углу двора была пристройка. Надо было влезть на эту пристройку и с нее через стену. Надо взять с собой отрезок доски. Без него не влезешь. Василий полез назад. Опять выполз с отрезком и замер, слушая, где часовой. Часовой, как он и рассчитал, ходил по другой стороне квадрата двора. Василий подошел к пристройке, приставил отрезок, полез. Отрезок соскользнул, упал. Василий был в чулках. Он снял чулки, чтобы цепляться ногами, поставил опять отрезок, вскочил на него и ухватился рукой за желоб. — Батюшка, не оторвись, выдержи. — Он схватился за желоб, и вот коленка его на крыше. Часовой идет. Василий лег и замер. Часовой не видит и опять отходит. Василий вскакивает. Железо трещит под ногами. Еще шаг, два, вот стена. До стены легко достать рукой. Одна рука, другая, вытянулся весь, и вот на стене. Только бы не расшибиться, спрыгивая. Василий переворачивается, виснет на руках, вытягивается, пускает одну руку, другую, — господи, благовослови! — На земле. И земля мягкая. Ноги целы, и он бежит.

В предместье Маланья отпирает, и он залезает под стеганое из кусочков теплое, пропитанное запахом пота одеяло.

Х

Крупная, красивая, всегда спокойная, бездетная, полная, как яловая корова, жена Петра Николаича видела из окна, как убили ее мужа и потащили куда-то в поле. Чувство ужаса при виде этого побоища, которое испытала Наталья Ивановна (так звали вдову Петра Николаича), как это всегда бывает, было так сильно, что заглушило в ней все другие чувства. Когда же вся

толпа скрылась за оградой сада и гул голосов затих, и босая Маланья, прислуживавшая им девка, с выпяченными глазами прибежала с известием, точно это было что-то радостное, что Петра Николаича убили и бросили в овраге, из-за первого чувства ужаса стало выделяться другое: чувство радости освобождения от деспота с закрытыми черными очками глазами, которые девятнадцать лет держали ее в рабстве. Она сама ужаснулась этому чувству, сама себе не призналась в нем, а тем более не высказала его никому. Когда обмывали изуродованное желтое, волосатое тело и одевали и укладывали в гроб, она ужасалась, плакала и рыдала. Когда приехал следователь по особо важным делам и как свидетельницу допрашивал ее, она видела тут же, в квартире следователя, двух закованных крестьян, признанных главными виновниками. Один был уже старый с длинной белокурой бородой в завитках, с спокойным и строгим, красивым лицом, другой был цыганского склада, не старый человек с блестящими черными глазами и курчавыми, взъерошенными волосами. Она показывала, что знала, признала в этих самых людях тех, которые первые схватили за руки Петра Николаича, и, несмотря на то, что похожий на цыгана мужик, блестя и поводя глазами из-под движущихся бровей, укоризненно сказал: «Грех, барыня! Ох, умирать будем», — несмотря на это, ей нисколько не жалко было их. Напротив, во время следствия в ней поднялось враждебное чувство и желание отомстить убийцам мужа.

Но, когда через месяц дело, переданное в военный суд, было решено тем, что восемь человек были приговорены к каторжным работам, а двое, белобородый старик и черномазый цыганок, как его звали, были приговорены к повешению, она почувствовала что-то неприятное. Но неприятное сомнение это, под влиянием торжественности суда, скоро прошло. Если высшее начальство признает, что надо, то, стало быть, это хорошо.

Казнь должна была совершиться в селе. И, вернувшись в воскресенье от обедни, Маланья, в новом платье и новых башмаках, доложила барыне, что строят висе-

лицу и к середине ждут палача из Москвы и что воют семейные не переставая, по всей деревне слышно.

Наталья Ивановна не выходила из дома, чтобы не видать ни виселиц, ни народа, и одного желала: чтобы поскорее кончилось то, что должно быть. Она думала только о себе, а не о приговоренных и их семьях.

XI

Во вторник к Наталье Ивановне заехал знакомый становой. Наталья Ивановна угостила его водкой и солеными грибочками ее приготовления. Становой, выпив водки и закусив, сообщил ей, что казни завтра еще не будет.

— Как? Отчего?

— Удивительная история. Палача не могли найти. Один был в Москве, и тот, рассказывал мне сын, начался Евангелия и говорит: не могу убивать. Сам за убийство приговорен к каторжным работам, а теперь вдруг — не может по закону убивать. Ему говорили, что плетью сечь будут. Секите, говорит, а я не могу.

Наталья Ивановна вдруг покраснела, вспотела даже от мыслей.

— А нельзя их простить теперь?

— Как же простить, когда приговорены судом. Один царь простить может.

— Да как же царь узнает?

— Имеют право просить о помиловании.

— Да ведь их за меня казнят, — сказала глупая Наталья Ивановна. — А я прощаю.

Становой засмеялся.

— Что ж, просите.

— Можно?

— Известно, можно.

— Да ведь теперь не успеешь?

— Можно телеграммой.

— К царю?

— Что ж, и к царю можно.

Известие о том, что палач отказался и готов пострадать скорее, чем убивать, вдруг перевернуло душу Натальи Ивановны, и то чувство сострадания и ужаса,

которое просилось несколько раз наружу, прорвалось и захватило ее.

— Голубчик, Филипп Васильевич, напишите мне телеграмму. Я хочу просить у царя помилования.

Становой покачал головой.

— Как бы нам не влетело за это?

— Да ведь я в ответе. Я про вас не скажу.

«Эка добрая баба, — подумал становой, — хорошая баба. Кабы моя такая была, рай бы был, а не то, что теперь».

И становой написал телеграмму царю: «Его Императорскому Величеству Государю Императору. Верноподданная Вашего Императорского Величества, вдова убитого крестьянами коллежского асессора Петра Николаевича Свентицкого, припадая к священным стопам (это место телеграммы особенно понравилось составлявшему ее становому) Вашего Императорского Величества, умоляет Вас помиловать приговоренных к смертной казни крестьян таких-то, такой-то губернии, уезда, волости, деревни».

Телеграмма была послана самим становым, и на душе у Натальи Ивановны было радостно, хорошо. Ей казалось, что если она, вдова убитого, прощает и просит помиловать, то царь не может не помиловать.

XII

Лиза Еропкина жила в неперестающем восторженном состоянии. Чем дальше она шла по открывшемуся ей пути христианской жизни, тем увереннее она была, что это путь истинный, и тем радостнее ей становилось на душе.

У ней были теперь две ближайшие цели: первая обратить Махина, или, скорее, как она говорила это себе, вернуть к себе, к своей доброй, прекрасной натуре. Она любила его, и при свете своей любви ей открывалось божественное его души, общее всем людям, но она видела в этом общем всем людям начале жизни его ему одному свойственную доброту, нежность, высоту. Другая цель ее была в том, чтобы перестать быть богатой.

Она захотела освободиться от имущества, для того чтобы испытать Махина, а потом для себя, для своей души — по слову Евангелия захотела сделать это. Сначала она начала раздавать, но ее остановил отец, и еще больше, чем отец, толпа нахлынувших личных и письменных просителей. Тогда она решила обратиться к старцу, известному своей святой жизнью, с тем чтобы он взял ее деньги и поступил с ними, как найдет нужным. Узнав это, отец рассердился и в горячем разговоре с ней назвал ее сумасшедшей, психопаткой и сказал, что он примет меры к тому, чтобы оградить ее, как сумасшедшую, от самой себя.

Сердитый, раздраженный тон отца передался ей, и она не успела опомниться, как злобно расплакалась и наговорила отцу грубостей, называя его деспотом и даже крыстолюбцем.

Она просила прощенье у отца, он сказал, что не сердится, но она видела, что он был оскорблен и в душе не простил ее. Махину она не хотела говорить про это. Сестра, ревновавшая ее к Махину, совсем отдалилась от нее. Ей не с кем было поделиться своим чувством, не перед кем покаяться.

«Богу надо покаяться», — сказала она себе и, так как был великий пост, решила говеть и на исповеди сказать все духовнику и попросить его совета о том, как ей поступать дальше.

Недалеко от города был монастырь, в котором жил старец, прославившийся своей жизнью, поучениями и предсказаниями и исцелениями, которые приписывали ему.

Старец получил письмо от старого Еропкина, предупреждающее его о приезде дочери и об ее ненормальном, возбужденном состоянии и выражающее уверенность в том, что старец наставит ее на путь истинный — золотой середины, доброй христианской жизни, без нарушения существующих условий.

Усталый от приема, старец принял Лизу и стал спокойно внушать ей умеренность, покорность существующим условиям, родителям. Лиза молчала, краснела и потела, но когда он кончил, она с слезами, стоящими в глазах, начала говорить, сначала робко, о том, что Христос сказал: «Оставь отца и мать и иди за мной»,

потом, все больше и больше одушевляясь, высказала все то свое представление о том, как она понимала христианство. Старец сначала чуть улыбался и возражал обычными поучениями, но потом замолчал и стал вздыхать, только повторяя: «О господи».

— Ну, хорошо, приходи завтра исповедоваться, — сказал он и сморщенной рукой благословил ее.

На другой день он исповедовал ее и, не продолжая вчерашний разговор, отпустил ее, коротко отказавшись взять на себя распоряжение ее имуществом.

Чистота, полная преданность воле бога и горячность этой девушки поразили старца. Он давно уже хотел отречься от мира, но монастырь требовал от него его деятельности. Эта деятельность давала средства монастырю. И он соглашался, хотя смутно чувствовал всю неправду своего положения. Его делали святым, чудотворцем, а он был слабый, увлеченный успехом человек. И открывшаяся ему душа этой девушки открыла ему и его душу. И он увидал, как он был далек от того, чем хотел быть и к чему влекло его сердце.

Скоро после посещения Лизы он заперся в затвор и только через три недели вышел в церковь, служил и после службы сказал проповедь, в которой каял себя и уличал мир в грехе и призывал его к покаянию.

Каждые две недели он говорил проповеди. И на проповеди эти съезжалось все больше и больше народа. И слава его, как проповедника, разглашалась все больше и больше. Было что-то особенное, смелое, искреннее в его проповедях. И от этого он так сильно действовал на людей.

XIII

Между тем Василий сделал все, как хотел. С товарищами он ночью пролез к Краснопузову, богачу. Он знал, как он скуп и развратен, и залез в бюро и вынул деньгами тридцать тысяч. И Василий делал, как хотел. Он даже пить перестал, а давал деньги бедным невестам. Замуж отдавал, из долгов выкупал и сам скрывался. И только то и забота была, чтобы хорошо раздать деньги. Давал он и полиции. И его не искали.

Сердце у него радовалось. И когда все-таки взяли его, он на суде смеялся и хвалился, что деньги у толстопузого дурно лежали, он и счета им не знал, а я их в ход пустил, ими добрым людям помогал.

И защита его была такая веселая, добрая, что присяжные чуть не оправдали его. Приговорили его в ссылку.

Он поблагодарил и вперед сказал, что уйдет.

XIV

Телеграмма Свентицкой к царю не произвела никакого действия. В комиссии прошений сначала решили даже не докладывать о ней царю, но потом, когда за завтраком у государя зашла речь о деле Свентицкого, завтракавший у государя директор доложил про телеграмму от жены убитого.

— *C'est très gentil de sa part*¹, — сказала одна из дам царской фамилии.

Государь же вздохнул, пожал плечами с эполетами и сказал: «Закон», — и подставил бокал, в который камер-лакей наливал шипучий мозельвейн. Все сделали вид, что удивлены мудростью сказанного государем слова. И больше о телеграмме не было речи. И двух мужиков — старого и молодого — повесили с помощью выписанного из Казани жестокого убийцы и скотоложника, татарина-палача.

Старуха хотела одеть тело своего старика в белую рубаху, белые онучи и новые бахилки, но ей не позволили, и обоих закопали в одной яме за оградой кладбища.

— Мне говорила княгиня Софья Владимировна, что он удивительный проповедник, — сказала раз мать государя, старая императрица, своему сыну: — *Faites le venir. Il peut prêcher à la cathédrale*².

¹ Это очень мило с ее стороны (франц.).

² Пригласите его, Он может проповедовать в соборе (франц.).

— Нет, лучше у нас, — сказал государь и велел пригласить старца Исидора.

В дворцовой церкви собралось все генеральство. Новый, необыкновенный проповедник был событием.

Вышел старичок седенький, худенький, оглянул всех: «Во имя отца и сына и святого духа», и начал.

Сначала шло хорошо, но что дальше, то хуже. «Il devenait de plus en plus agressif»¹, — как сказала потом императрица. Он громил всех. Говорил о казни. И приписывал необходимость казни дурному правлению. Разве в христианской стране можно убивать людей?

Все переглядывались, и всех занимало только неприличие и то, как неприятно это было государю, но никто не выказал этого. Когда Исидор сказал: «Аминь», — к нему подошел митрополит и попросил его к себе.

После беседы с митрополитом и обер-прокурором старичка отправили тотчас же назад в монастырь, но не в свой, а в Суздальский, где настоятелем и комендантом был отец Михаил.

XV

Все сделали вид, что ничего неприятного не было от проповеди Исидора, и никто не упоминал про нее. И царю казалось, что слова старца не оставили в нем никакого следа, но раза два в продолжение дня он вспоминал о казни крестьян, о помиловании которых просила телеграммой Свентицкая. Днем был парад, потом выезд на гулянье, потом прием министров, потом обед, вечером театр. Как обыкновенно, царь заснул, как только донес голову до подушки. Ночью его разбудил страшный сон: в поле стояли виселицы, и на них качались трупы, и трупы высовывали языки, и языки тянулись дальше и дальше. И кто-то кричал: «Твоя работа, твоя работа». Царь проснулся в поту и стал думать. В первый раз стал думать об ответственности, которая лежала на нем, и все слова старичка вспомнились ему...

¹ Он становился все более и более агрессивным (франц.).

Но он видел в себе человека только издалека и не мог отдаться простым требованиям человека из-за требований, со всех сторон предъявляемых к царю; признать же требования человека более обязательными, чем требования царя, у него не было сил.

XVI

Отбыв второй срок в остроге, Прокофий, этот бойкий, самолюбивый щеголь-малый, вышел оттуда совсем конченным человеком. Трезвый он сидел, ничего не делал и, сколько ни ругал его отец, ел хлеб, не работал и, мало того, норовил стащить что-нибудь в кабаке, чтобы выпить. Сидел, кашлял, харкал и плевал. Доктор, к которому он ходил, послушал его грудь и покачал головой.

— Тебе, брат, надо того, чего у тебя нет.

— Это, известно, всегда надо.

— Пей молоко, не кури.

— Ныне и так пост, да и коровы нет.

Раз весной он всю ночь не спал, тосковал, хотелось ему выпить. Дома нечего захватить было. Надел шапку и вышел. Прошел по улице, дошел до попов. У дьячка борона наружу стоит прислонена к плетню. Прокофий подошел, вскинул борону на спину и понес к Петровне в корчму. «Авось даст бутылочку». Не успел он отойти, как дьячок вышел на крыльцо. Уж совсем светло, — видит, Прокофий несет его борону.

— Эй, ты что?

Вышел народ, схватили Прокофья, посадили в холодную. Мировой судья присудил на одиннадцать месяцев в тюрьму.

Была осень. Прокофья перевели в больницу. Он кашлял и всю грудь разрывал. И не мог согреться. Кто посильнее был, те все-таки не дрожали. А Прокофий дрожал и день и ночь. Смотритель загонял экономию дров и не топил больницу до ноября. Больно страдал Прокофий телом, но хуже всего страдал духом. Все ему противно было, и ненавидел он всех: и дьячка, и смотрителя за то, что не топил, и вахтера, и соседа по койке

с раздутой красной губой. Возненавидел и того новенького каторжного, которого привели к ним. Каторжный этот был Степан. Он заболел рожей на голове, и его перевели в больницу и положили рядом с Прокофьем. Сначала Прокофий возненавидел его, но потом любил его так, что ждал только того, когда поговорить с ним. Только после разговора с ним утишалась тоска в сердце Прокофья.

Степан всегда всем рассказывал свое последнее убийство и как оно подействовало на него.

— Не то что закричать или что, — говорил он, — а вот на, режь. Не меня, мол, себя пожалей.

— Ну, известно, душу загубить страшно, я и барана раз взялся резать, сам не рад был. А вот никого не загубил, а за что они меня, злодеи, погубили. Никому худого не делал...

— Что ж, это тебе все зачтется.

— Где там?

— Как где? А бог?

— Что-то не видать его; я, брат, не верю, — думаю, помрешь — трава вырастет. Вот и вся.

— Как же думаешь? Я сколько душ загубил, а она, сердечная, только людям помогала. Что же, думаешь, мне с ней одно будет? Нет, погоди...

— Так, думаешь, помрешь, душа останется?

— А то как же. Это верно.

Тяжело было Прокофью умирать, задыхался он. Но в последний час вдруг легко стало. Позвал он Степана.

— Ну, брат, прощай. Видно, пришла смерть моя. И вот боялся, а теперь ничего. Только скорей хочется. И Прокофий помер в больнице.

XVII

Между тем дела Евгения Михайловича шли все хуже и хуже. Магазин был заложен. Торговля не шла. В городе открылся другой магазин, а проценты требовали. Надо было занимать опять за проценты. И кончилось тем, что магазин и весь товар был назначен к

продаже. Евгений Михайлович и его жена бросались повсюду и нигде не могли достать тех четырехсот рублей, которые нужны были, чтобы спасти дело.

Была маленькая надежда на купца Краснопузова, любовница которого была знакома с женой Евгения Михайловича. Теперь же по всему городу было известно, что у Краснопузова украли огромные деньги. Рассказывали, что украли полмиллиона.

— И кто ж украл? — рассказывала жена Евгения Михайловича. — Василий, наш бывший дворник. Говорят, он швыряет теперь этими деньгами, и полиция подкуплена.

— Негодяй был, — сказал Евгений Михайлович. — Как он тогда легко на клятвопреступление пошел. Я никак не думал.

— Говорят, он заходил к нам на двор. Кухарка говорила, что он. Она говорит, что он четырнадцать бедных невест замуж отдал.

— Ну, они выдумают.

В это время какой-то странный пожилой человек в казинетовой куртке вошел в магазин.

— Что тебе?

— Вам письмо.

— От кого?

— Там написано.

— Что же, ответа не надо? Да подожди.

— Нельзя.

И странный человек, отдав конверт, торопливо ушел.

— Чудно!

Евгений Михайлович разорвал толстый конверт и не верил своим глазам: сторублевые бумажки. Четыре. Что это? И тут же безграмотное письмо Евгению Михайловичу: «По Евангелию говорится, делай добро за зло. Вы мне много зла исделали с купоном и мужичка я дюже обидел, а я вот тебя жилею. На, возьми четыре екатеринки и помни своего дворника Василья».

— Нет, это удивительно, — говорил Евгений Михайлович, говорил и жене и сам себе. И когда вспоминал об этом или говорил об этом жене, слезы выступали у него на глаза и на душе было радостно.

XVIII

В Суздальской тюрьме содержалось четырнадцать духовных лиц, всё преимущественно за отступление от православия; туда же был прислан и Исидор. Отец Михаил принял Исидора по бумаге и, не разговаривая с ним, велел поместить его в отдельной камере, как важного преступника. На третьей неделе пребывания Исидора в тюрьме отец Михаил обходил содержащихся. Войдя к Исидору, он спросил: не нужно ли чего?

— Мне многое нужно, не могу сказать при людях. Дай мне случай говорить с тобою наедине.

Они взглянули друг на друга, и Михаил понял, что ему бояться нечего. Он велел привести Исидора в свою келью и, когда они остались одни, сказал:

— Ну, говори.

Исидор упал на колени.

— Брат! — сказал Исидор. — Что ты делаешь? Пожалей себя. Ведь хуже нет злодея тебя, ты поругал все святое...

Через месяц Михаил подал бумаги об освобождении как раскаявшихся, не только Исидора, но и семерых других и сам попросился в монастырь на покой.

XIX

Прошло десять лет.

Митя Смоковников кончил курс в техническом училище и был инженером с большим жалованьем на золотых приисках в Сибири. Ему надо было ехать по участку. Директор предложил ему взять каторжника Степана Пелагеюшкина.

— Как каторжника? Разве не опасно?

— С ним не опасно. Это святой человек. Спросите у кого хотите.

— Да за что он?

Директор улыбнулся.

— Шесть душ убил, а святой человек. Уж я ручаюсь.

И вот Митя Смоковников принял Степана, плешивого, худого, загорелого человека, и поехал с ним.

Дорогой Степан ходил, как он ухаживал за всеми, где мог, как за своим детищем, за Смоковниковым и дорогой рассказал ему всю свою историю. И то, как и зачем и чем он живет теперь.

И удивительное дело. Митя Смоковников, живший до тех пор только питьем, едой, картами, вином, женщинами, задумался в первый раз над жизнью. И думы эти не оставили его, а разворачивали его душу все дальше и дальше. Ему предлагали место, где была большая польза. Он отказался и решил на то, что у него было, купить именье, жениться и, как сумеет, служить народу.

XX

Он так и сделал. Но прежде приехал к отцу, с которым у него были неприятные отношения за новую семью, которую завел отец. Теперь же он решил сблизиться с отцом. И так и сделал. И отец удивлялся, смеялся над ним, а потом сам перестал нападать на него и вспомнил многие и многие случаи, где он был виноват перед ним.

АЛЕША ГОРШОК

Алешка был меньшей брат. Прозвали его Горшком за то, что мать послала его снести горшок молока дяконнице, а он споткнулся и разбил горшок. Мать побила его, а ребята стали дразнить его «Горшком». Алешка Горшок — так и пошло ему прозвище.

Алешка был малый худощавый, лопухий (уши торчали, как крылья), и нос был большой. Ребята дразнили: «У Алешки нос, как кобель на бугре». В деревне была школа, но грамота не далась Алеше, да и некогда было учиться. Старший брат жил у купца в городе, и Алешка сызмальства стал помогать отцу. Ему было шесть лет, уж он с девчонкой-сестрой овец и корову стерег на выгоне, а еще подрос, стал лошадей стеречь и в денном и в ночном. С двенадцати лет уж он пахал и возил. Силы не было, а ухватка была. Всегда он был весел. Ребята смеялись над ним; он молчал либо смеялся. Если отец ругал, он молчал и слушал. И как только переставали его ругать, он улыбался и брался за то дело, которое было перед ним.

Алеше было девятнадцать лет, когда брата его взяли в солдаты. И отец поставил Алешу на место брата к купцу в дворники. Алеше дали сапоги братнины старые, шапку отцовскую и поддевку и повезли в город. Алеша не мог нарадоваться на свою одежду, но купец остался недоволен видом Алешки.

— Я думал, и точно человека заместо Семена поставишь, — сказал купец, оглянув Алешу. — А ты мне какого сопляка привел. На что он годится?

— Он все может — и запряхь, и съездить куда, и работать лютой; он только на вид как плетень. А то он жилист.

— Ну уж, видно, погляжу.

— А пуще всего — безответный. Работать завистливый.

— Что с тобой делать. Оставь.

И Алеша стал жить у купца.

Семья у купца была небольшая: хозяйка, старуха мать, старший сын женатый, простого воспитания, с отцом в деле был, и другой сын — ученый, кончил в гимназии и был в университете, да оттуда выгнали, и он жил дома, да еще дочь — девушка гимназистка.

Сначала Алешка не понравился — очень уж он был мужиковат и одет плохо, и обхожденья не было, всем говорил «ты», но скоро привыкли к нему. Служил он еще лучше брата. Точно был безответный, на все дела его посылали, и все он делал охотно и скоро, без остатова переходя от одного дела к другому. И как дома, так и у купца на Алешу наваливались все работы. Чем больше он делал, тем больше все на него наваливали дела. Хозяйка, и хозяйская мать, и хозяйская дочь, и хозяйский сын, и приказчик, и кухарка, все то туда, то сюда посылали его, то то, то это заставляли делать. Только и слышно было «Сбегай, брат», или: «Алеша, ты это устрой. — Ты что ж это, Алешка, забыл, что ль? — Смотри, не забудь, Алеша». И Алеша бегал, устраивал, и смотрел, и не забывал, и все успевал, и все улыбался.

Сапоги братнины он скоро разбил, и хозяин разобрал его за то, что он ходил с махрами на сапогах и голыми пальцами, и велел купить ему новые сапоги на базаре. Сапоги были новые, и Алеша радовался на них, но ноги у него были всё старые, и они к вечеру ныли у него от беготни, и он сердился на них. Алеша боялся, как бы отец, когда придет за него получить деньги, не обиделся бы за то, что купец за сапоги вычтет из жалованья.

Вставал Алеша зимой до света, колол дров, потом выметал двор, задавал корм корове, лошади, поил их. Потом топил печи, чистил сапоги, одежду хозяевам, ставил самовары, чистил их, потом либо приказчик звал его вытаскивать товар, либо кухарка приказывала ему месить тесто, чистить кастрюли. Потом посылали его в город, то с запиской, то за хозяйской дочерью в гимназию, то за деревянным маслом для старушки. «Где ты пропадаешь, проклятый», — говорил ему то тот, то другой. «Что вам самим ходить — Алеша сбегает. Алешка! А Алешка!» И Алеша бегал.

Завтракал он на ходу, а обедать редко поспевал со всеми. Кухарка ругала его за то, что он не со всеми ходит, но все-таки жалела его и оставляла ему горячего и к обеду и к ужину. Особенно много работы бывало к праздникам и во время праздников. И Алеша радовался праздникам особенно потому, что на праздники ему давали на чай хоть и мало, собиралось копеек шестьдесят, но все-таки это были его деньги. Он мог истратить их, как хотел. Жалованья же своего он и в глаза не видал. Отец приезжал, брал у купца и только выговаривал Алешке, что он сапоги скоро растрепал.

Когда он собрал два рубля этих денег «начайных», то купил, по совету кухарки, красную вязаную куртку, и когда надел, то не мог уж свести губы от удовольствия.

Говорил Алеша мало, и когда говорил, то всегда отрывисто и коротко. И когда ему что приказывали сделать или спрашивали, может ли он сделать то и то, то он всегда без малейшего колебания говорил: «Это все можно», — и сейчас же бросался делать и делал.

Молитв он никаких не знал; как его мать учила, он забыл, а все-таки молился и утром и вечером — молился руками, крестясь.

Так прожил Алеша полтора года, и тут, во второй половине второго года, случилось с ним самое необыкновенное в его жизни событие. Событие это состояло в том, что он, к удивлению своему, узнал, что, кроме тех отношений между людьми, которые происходят от нужды друг в друге, есть еще отношения совсем особенные:

не то чтобы нужно было человеку вычистить сапоги, или снести попку, или запрячь лошадь, а то, что человек так, ни зачем нужен другому человеку, нужно ему послужить, его приласкать, и что он, Алеша, тот самый человек. Узнал он через кухарку Устинью. Устюша была сирота, молодая, такая же работающая, как и Алеша. Она стала жалеть Алешу, и Алеша в первый раз почувствовал, что он, сам он, не его услуги, а он сам нужен другому человеку. Когда мать жалела его, он не замечал этого, ему казалось, что это так и должно быть, что это все равно, как он сам себя жалеет. Но тут вдруг он увидел, что Устинья совсем чужая, а жалеет его, оставляет ему в горшке каши с маслом и, когда он ест, подпершись подбородком на засученную руку, смотрит на него. И он взглянет на нее, и она засмеется, и он засмеется.

Это было так ново и странно, что сначала испугало Алешу. Он почувствовал, что это помешает ему служить, как он служил. Но все-таки он был рад и, когда смотрел свои штаны, заштопанные Устиньей, покачивал головой и улыбался. Часто за работой или на ходу он вспоминал Устинью и говорил: «Ай да Устинья!» Устинья помогала ему, где могла, и он помогал ей. Она рассказала ему свою судьбу, как она осиротела, как ее тетка взяла, как отдали в город, как купеческий сын ее на глупость подговаривал и как она его осадил. Она любила говорить, а ему приятно было ее слушать. Он слышал, что в городах часто бывает: какие мужики в работниках — женятся на кухарках. И один раз она спросила его, скоро ли его женят. Он сказал, что не знает и что ему неохота в деревне брать.

— Что ж, кого приглядел? — сказала она.

— Да я бы тебя взял. Пойдешь, что ли?

— Вишь, горшок, горшок, а как изловчился сказать, — сказала она, ударив его ручником по спине. — Отчего же не пойти?

На масленице старик приехал в город за деньгами. Купцова жена узнала, что Алексей задумал жениться на Устинье, и ей не понравилось это. «Забеременеет, с ребенком куда она годится». Она сказала мужу.

Хозяин отдал деньги Алексею отцу.

— Что ж, хорошо живет мой-то? — сказал мужик. — Я говорил — безответный.

— Безответный-то безответный, да глупости задумал. Жениться вздумал на кухарке. А я женатых держать не стану. Нам это не подходяще.

— Дурак, дурак, а что вздумал, — сказал отец. — Ты не думай. Я прикажу ему, чтоб он это бросил.

Придя в кухню, отец сел, дожидаясь сына, за стол. Алеша бегал по делам и, запыхавшись, вернулся.

— Я думал, ты путный. А ты что задумал? — сказал отец.

— Да я ничего.

— Как ничего. Жениться захотел. Я женю, когда время подойдет, и женю на ком надо, а не на шлюхе городской.

Отец много говорил. Алеша стоял и вздыхал. Когда отец кончил, Алеша улыбнулся.

— Что ж, это и оставить можно.

— То-то.

Когда отец ушел и он остался один с Устиньей, он сказал ей (она стояла за дверью и слушала, когда отец говорил с сыном):

— Дело наше не того, не вышло. Слышала? Рассерчал, не велит.

Она заплакала молча в фартук.

Алеша щелкнул языком.

— Как не послушаешь-то. Видно, бросать надо.

Вечером, когда купчиха позвала его закрыть ставни, она сказала ему:

— Что ж, послушал отца, бросил глупости свои?

— Видно, что бросил, — сказал Алеша, засмеялся и тут же заплакал.

С тех пор Алеша не говорил больше с Устиньей об женитьбе и жил по-старому.

Потом приказчик послал его счищать снег с крыши. Он полез на крышу, счистил весь, стал отдирать примерзлый снег у желобов, ноги покатались, и он упал с лопатой. На беду упал он не в снег, а на крытый

железом выход. Устинья подбежала к нему и хозяйская дочь.

— Ушибся, Алеша?

— Вот еще ушибся. Ничево.

Он хотел встать, но не мог и стал улыбаться. Его снесли в дворницкую. Пришел фельдшер. Осмотрел его и спросил, где больно.

— Больно везде, да это ничево. Только что хозяин обидится. Надо батюшке послать слух.

Пролежал Алеша двое суток, на третьи послали за попом.

— Что же, али помирать будешь? — спросила Устинья.

— А то что ж? Разве всё и жить будем? Когда-нибудь надо, — быстро, как всегда, проговорил Алеша. — Спасибо, Устюша, что жалела меня. Вот оно и лучше, что не велели жениться, а то бы ни к чему было. Теперь все по-хорошему.

Молился он с попом только руками и сердцем. А в сердце у него было то, что как здесь хорошо, коли слушаешь и не обижаешь, так и там хорошо будет.

Говорил он мало. Только просил пить и все чему-то удивлялся.

Удивился чему-то, потянулся и помер.

КОРНЕЙ ВАСИЛЬЕВ

I

Корнею Васильеву было пятьдесят четыре года, когда он в последний раз приезжал в деревню. В густых курчавых волосах у него не было еще ни одного седого волоса, и только в черной бороде у скул пробивалась седина. Лицо у него было гладкое, румяное, загривок широкий и крепкий, и все сильное тело обложилось жиром от сытой городской жизни.

Он двадцать лет тому назад отбыл военную службу и вернулся со службы с деньгами. Сначала он завел лавку, потом оставил лавку и стал торговать скотиной. Ездил в Черкасы за «товаром» (скотиной) и пригонял в Москву.

В селе Гаях, в его каменном, крытом железом доме, жила старуха мать, жена с двумя детьми (девочка и мальчик), еще сирота племянник, немой пятнадцатилетний малый, и работник. Корней был два раза женат. Первая жена его была слабая, больная женщина и умерла без детей, и он, уже немолодым вдовцом, женился второй раз на здоровой, красивой девушке, дочери бедной вдовы из соседней деревни. Дети были от второй жены.

Корней так выгодно продал последний «товар» в Москве, что у него собралось около трех тысяч денег. Узнав от земляка, что недалеко от его села выгодно

продается у разорившегося помещика роща, он вздумал заняться еще и лесом. Он знал это дело и еще до службы жил помощником приказчика у купца в роще.

На железнодорожной станции, с которой сворачивали в Гаи, Корней встретил земляка, гаевского кривого Кузьму. Кузьма к каждому поезду выезжал из Гаев за седоками на своей парочке плохоньких косматых лошадей. Кузьма был беден и оттого не любил всех богатых, а особенно богача Корнея, которого он знал Корнюшкой.

Корней, в полушубке и тулупе, с чемоданчиком в руке, вышел на крыльцо станции и, выпятив брюхо, остановился, отдуваясь и оглядываясь. Было утро. Погода была тихая, пасмурная, с легким морозцем.

— Что ж, не нашел седоков, дядя Кузьма? — сказал он. — Свезешь, что ли?

— Что ж, давай рублевку. Свезу.

— Ну и семь гривен довольно.

— Брюхо наел, а тридцать копеек у бедного человека оттянуть хочешь.

— Ну, ладно, давай, что ль, — сказал Корней. И, уложив в маленькие санки чемодан и узел, он широко уселся на заднем месте.

Кузьма остался на козлах.

— Ладно. Трогай.

Выехали из ухабов у станции на гладкую дорожку.

— Ну, а что, как у вас, не у нас, а у вас на деревне? — спросил Корней.

— Да хорошего мало.

— А что так? Моя старуха жива?

— Старуха-то жива. Надьсь в церкви была. Старуха твоя жива. Жива и молодая хозяйка твоя. Что ей делается. Работника нового взяла.

И Кузьма засмеялся как-то чудно, как показалось Корнею.

— Какого работника? А Петра что?

— Петра заболел. Взяла Евстигнея Белого из Каменки, — сказал Кузьма, — из своей деревни, значит.

— Вот как? — сказал Корней.

Еще когда Корней сватал Марфу, в народе что-то бабы болтали про Евстигнея.

— Так-то, Корней Васильич, — сказал Кузьма. — Очень уж бабы нынче волю забрали.

— Что и говорить! — промолвил Корней. — А старая твоя сивая стала, — прибавил он, желая прекратить разговор.

— Я и сам не молод. По хозяину, — проговорил Кузьма в ответ на слова Корнея, постегивая косматого, кривоногого мерина.

На полдороге был постоянный двор. Корней велел остановиться и вошел в дом. Кузьма приворотил лошадь к пустому корыту и оправлял шлею, не глядя на Корнея и ожидая, что он позовет его.

— Заходи, что ль, дядя Кузьма, — сказал Корней, выходя на крыльцо, — выпьешь стаканчик.

— Ну что ж, — отвечал Кузьма, делая вид, что не торопится.

Корней потребовал бутылку водки и поднес Кузьме. Кузьма, не евши с утра, тотчас же захмелел. И как только захмелел, стал шепотом, пригибаясь к Корнею, рассказывать ему, что говорили в деревне. А говорили, что Марфа, его жена, взяла в работники своего прежнего любовника и живет с ним.

— Мне что ж. Мне тебя жалко, — говорил пьяный Кузьма. — Только нехорошо, народ смеется. Видно, греха не боится. Ну, да погоди же ты, говорю. Дай срок, сам приедет. Так-то, брат, Корней Васильич.

Корней молча слушал то, что говорил Кузьма, и густые брови все ниже и ниже спускались над блестящими черными, как уголь, глазами.

— Что ж, поить будешь? — сказал он только, когда бутылка была выпита. — А нет, так и едем.

Он расплатился с хозяином и вышел на улицу.

Домой он приехал сумерками. Первый встретил его тот самый Евстигней Белый, про которого он не мог не думать всю дорогу. Корней поздоровался с ним. Увидав худощавое белобрысое лицо заторопившегося Евстигнея, Корней только недоуменно покачал головой. «Наврал, старый пес, — подумал он

на слова Кузьмы. — А кто их знает. Да уж я до-
знаюсь».

Кузьма стоял у лошади и подмигивал своим одним
глазом на Евстигнея.

— У нас, значит, живешь? — спросил Корней.

— Что ж, надо где-нибудь работать, — отвечал Ев-
стигней.

— Топлена горница-то?

— А то как же? Матвевна тама, — отвечал Евстиг-
ней.

Корней поднялся на крыльцо. Марфа, услышав го-
лоса, вышла в сени и, увидав мужа, вспыхнула и тороп-
ливо и особенно ласково поздоровалась с ним.

— А мы с матушкой уж и ждать перестали, — ска-
зала она и вслед за Корнеем вошла в горницу.

— Ну что, как живете без меня?

— Живем всё по-старому, — сказала она и, подхва-
тив на руки двухлетнюю дочку, которая тянула ее за
юбку и просила молока, большими решительными шага-
ми вошла в сени.

Корнеева мать с такими же черными глазами, как у
Корнея, с трудом волоча ноги в валенках, вошла в гор-
ницу.

— Спасибо проведать приехал, — сказала она, пока-
чивая трясущейся головой.

Корней рассказал матери, по какому делу заехал, и,
вспомнив про Кузьму, пошел вынести ему деньги. Толь-
ко он отворил дверь в сени, как прямо перед собой
он увидал у двери на двор Марфу и Евстигнея. Они
близко стояли друг от друга, и она говорила что-то.
Увидав Корнея, Евстигней шмыгнул во двор, а Марфа
подошла к самовару, поправляя гудевшую над ним
трубу.

Корней молча прошел мимо ее согнутой спины и,
взяв узел, позвал Кузьму пить чай в большую избу.
Перед чаем Корней роздал московские гостинцы до-
машним: матери шерстяной платок, Федьке книжку с
картинками, немому племяннику жилетку и жене ситец
на платье.

За чаем Корней сидел насупившись и молчал. Толь-
ко изредка неохотно улыбался, глядя на него, который

забавлял всех своей радостью. Он не мог нарадоваться на жилетку. Он укладывал и развертывал ее, надевал ее и целовал свою руку, глядя на Корнея, и улыбался.

После чая и ужина Корней тотчас же ушел в горницу, где спал с Марфой и маленькой дочкой. Марфа оставалась в большой избе убирать посуду. Корней сидел один у стола, облокотившись на руку, и ждал. Злоба на жену все больше и больше ворочалась в нем. Он достал со стены счеты, вынул из кармана записную книжку и, чтобы развлечь мысли, стал считать. Он считал, поглядывая на дверь и прислушиваясь к голосам в большой избе.

Несколько раз он слышал, как отворялась дверь в избу и кто-то выходил в сени, но это все была не она. Наконец послышались ее шаги, дернулась дверь, отлипла, и она, румяная, красивая, в красном платке, вошла с девочкой на руках.

— Небось с дороги-то уморился, — сказала она, улыбаясь, как будто не замечая его угрюмого вида.

Корней глянул на нее и стал опять считать, хотя считать уж нечего было.

— Уж не рано, — сказала она и, спустив с рук девочку, прошла за перегородку.

Он слышал, как она убирала постель и укладывала спать дочку.

«Люди смеются, — вспомнил он слова Кузьмы. — Погоди же ты...» — подумал он, с трудом переводя дыхание, и медленным движением встал, положил обгрызок карандаша в жилетный карман, повесил счеты на гвоздь, снял пиджак и подошел к двери перегородки. Она стояла лицом к иконам и молилась. Он остановился, ожидая. Она долго крестилась, кланялась и шепотом говорила молитвы. Ему казалось, что она давно перечитала все молитвы и нарочно по несколько раз повторяет их. Но вот она положила земной поклон, выпрямилась, прошептала в себя какие-то молитвенные слова и повернулась к нему лицом.

— А Агашка-то уж спит, — сказала она, указывая на девочку, и, улыбаясь, села на заскрипевшую кровать.

— Евстигней давно здесь? — сказал Корней, входя в дверь.

Она спокойным движением перекинула одну толстую косу через плечо на грудь и начала быстрыми пальцами расплетать ее. Она прямо смотрела на него, и глаза ее смеялись.

— Евстигней-то? А кто его знает, — недели две али три.

— Ты живешь с ним? — проговорил Корней.

Она выпустила из рук косу, но тотчас же поймала опять свои жесткие густые волосы и опять стала плести.

— Чего не выдумают. Живу с Евстигнеем? — сказала она, особенно звучно произнося слово Евстигней. — Выдумают же! Тебе кто сказал?

— Говори: правда, нет ли? — сказал Корней и сжал в кулаки засунутые в карманы могучие руки.

— Будет болтать пустое. Снять сапоги-то?

— Я тебя спрашиваю, — повторил он.

— Ишь добро какое. На Евстигнею польстилась, — сказала она. — И кто только наврал тебе?

— Что ты с ним в сенях говорила?

— Что говорила. Говорила, на бочку обруч набить надо. Да ты что ко мне пристал?

— Я тебе велю: говори правду. Убью, сволочь поганая.

Он схватил ее за косу.

Она выдернула у него из руки косу, лицо ее скосилось от боли.

— Только на то тебя и взять, что драться. Что я от тебя хорошего видела? От такого житья не знаю, что сделаешь.

— Что сделаешь? — проговорил он, надвигаясь на нее.

— За что полкосы выдрал? Во, так шмотами и лезут. Что пристал. И правда, что...

Она не договорила. Он схватил ее за руку, сдернул с кровати и стал бить по голове, по бокам, по груди. Чем больше он бил, тем больше разгоралась в нем злоба. Она кричала, защищалась, хотела уйти, но он не пускал ее. Девочка проснулась и бросилась к матери.

— Мамка, — ревела она.

Корней ухватил девочку за руку, оторвал от матери и, как котенка, бросил в угол. Девочка визгнула, и несколько секунд ее не слышно было.

— Разбойник! Ребенка убил, — кричала Марфа и хотела подняться к дочери.

Но он опять схватил ее и так ударил в грудь, что она упала навзничь и тоже перестала кричать. Только девочка кричала отчаянно, не переводя духа.

Старуха, без платка, с растрепанными седыми волосами, с трясущейся головой, шатаясь, вошла в каморку и, не глядя ни на Корнея, ни на Марфу, подошла к внучке, заливавшейся отчаянными слезами, и подняла ее.

Корней стоял, тяжело дыша и оглядываясь, как будто спросонья, не понимая, где он и кто тут с ним.

Марфа подняла голову и, стоная, вытирала окровавленное лицо рубахой.

— Злодей постылый! — проговорила она. — И живу с Евстигнеем и жила. На, убей до смерти. И Агашка не твоя дочь; с ним прижила, — быстро выговорила она и закрыла локтем лицо, ожидая удара.

Но Корней как будто ничего не понимал и только сопел и оглядывался.

— Ты глянь, что с девчонкой сделал: руку вышиб, — сказала старуха, показывая ему вывернутую висящую ручку не переставая заливавшейся криками девочки. Корней повернулся и молча вышел в сени и на крыльцо.

На дворе было все так же морозно и пасмурно. Снежинки инея падали ему на горевшие щеки и лоб. Он сел на приступки и ел горстями снег, собирая его на перилах. Из-за дверей слышно было, как стонала Марфа и жалостно плакала девочка; потом отворилась дверь в сени, и он слышал, как мать с девочкой вышла из горницы и прошла через сени в большую избу. Он встал и вошел в горницу. Завернутая лампа горела малым светом на столе. Из-за перегородки слышались усилившиеся, как только он вошел, стоны Марфы. Он молча оделся, достал из-под лавки чемодан, уложил в него свои вещи и завязал его веревкой.

— За что убил меня? За что? Что я тебе сделала? —

заговорила Марфа жалостным голосом. Корней, не отвечая, поднял чемодан и понес к двери. — Каторжник. Разбойник! погоди ж ты. Али на тебя суда нет? — совсем другим голосом злобно проговорила она.

Корней, не отвечая, толкнул дверь ногой и так сильно захлопнул ее, что задрожали стены.

Войдя в большую избу, Корней разбудил немого и велел ему запрягать лошадь. Немой, не сразу проснувшись, удивленно-вопросительно поглядывал на дядю и обеими руками расчесывал голову. Поняв, наконец, что от него требовали, он вскочил, надел валенки, рваный полушубок, взял фонарь и пошел на двор.

Уж было совсем светло, когда Корней выехал с немой в маленьких пошевнях за ворота и поехал назад по той же дороге, по которой с вечера приехал с Кузьмою.

Он приехал на станцию за пять минут до отхода поезда. Немой видел, как он брал билет, как взял чемодан и как сел в вагон, кивнув ему головой, и как вагон укатился из вида.

У Марфы, кроме побоев на лице, были сломаны два ребра и разбита голова. Но сильная, здоровая молодая женщина справилась через полгода, так что не осталось никаких следов побоев. Девочка же навек осталась полукалекой. У ней были переломлены две кости руки, и рука осталась кривая.

Про Корнея же с тех пор, как он ушел, никто ничего не знал. Не знали, жив ли он, или умер.

II

Прошло семнадцать лет. Была глухая осень. Солнце ходило низко, и в четвертом часу вечера уж смеркалось. Андреевское стадо возвращалось в деревню. Пастух, отслужив срок, до заговенья ушел, и гоняли скотину очередные бабы и ребята.

Стадо только что вышло с овсяного жнивья на грязную, испещренную раздвоенно-копытными следами чер-

ноземную, взрытую колеями большую грунтовую дорогу и с непрерывающим мычанием и бляением подвигалось к деревне. По дороге впереди стада шел в потемневшем от дождя, заплатанном зипуне, в большой шапке, с кожаным мешком за сутуловатой спиной высокий старик с седой бородой и курчавыми седыми волосами; только одни густые брови были у него черные. Он шел, тяжело двигая по грязи мокрыми и разбившимися грубыми хохлацкими сапогами и через шаг равномерно подпираясь дубовой клюкой. Когда стадо догнало его, он, опершись на клюку, остановился. Гнавшая стадо молодайка, покрывшись с головой дерюжкой, в подтыканной юбке и мужских сапогах, перебежала быстрыми ногами то на ту, то на другую сторону дороги, подгоняя отстающих овец и свиней. Поравнявшись с стариком, она остановилась, оглядывая его.

— Здорово, дедушка, — сказала она звучным, нежным, молодым голосом.

— Здорово, умница, — проговорил старик.

— Что ж, ночевать, что ль?

— Да видно так. Уморился, — хрипло проговорил старик.

— А ты, дед, к десятскому не ходи, — ласково проговорила молодайка. — Иди прямо к нам, — третья изба с краю. Станных людей свекровь так пускает.

— Третья изба. Зиновеева, значит? — сказал старик, как-то значительно поводя черными бровями.

— А ты разве знаешь?

— Бывал.

— Ты чего, Федюшка, слюни распустил, — хромято вовсе отстала, — крикнула молодайка, указывая на ковылявшую позади стада трехногую овцу, и, взмахнув правой рукой хворостиной и как-то странно, снизу, кривой левой рукой перехватив дерюжку на голове, побежала назад за отставшей хромой мокрой черной овцой.

Старик был Корней. А молодайка была та самая Агашка, которой он выломал руку семнадцать лет тому назад. Она была выдана в Андреевку, в богатую семью, за четыре версты от Гаев.

III

Корней Васильев из сильного, богатого, гордого человека стал тем, что он был теперь: старым побирušкой, у которого ничего не было, кроме изношенной одежды на теле, солдатского билета и двух рубах в сумке. Вся эта перемена сделалась так понемногу, что он не мог бы сказать, когда это началось и когда сделалось. Одно, что он знал, в чем был твердо уверен, это то, что виною его несчастья была его злодейка жена. Ему странно и больно было вспоминать то, что он был прежде. И когда он вспоминал про это, он с ненавистью вспоминал про ту, кого он считал причиной всего того дурного, что он испытал в эти семнадцать лет.

В ту ночь, когда он избил жену, он поехал к помещику, где продавалась роща. Рощи не довелось купить. Она была уже куплена, и он вернулся в Москву и там запил. Он и прежде пивал, но теперь пьянствовал без просыпу две недели, и когда опомнился, уехал на низ за скотиной. Покупка была неудачная, и он понес убыток. Он поехал в другой раз. И вторая покупка не задалась. И через год у него из трех тысяч осталось двадцать пять рублей и пришлось наниматься к хозяевам. Он и прежде пил, а теперь стал выпивать чаще и чаще.

Сначала он прожил год приказчиком у скотопромышленника, но дорогой запил, и купец расчел его. Потом он нашел по знакомству место торговца вином, но и тут прожил недолго. Запутался в расчетах, и ему отказали. Домой ехать и стыдно было, и злоба брала. «Проживут и без меня. Может, и мальчишка-то не мой», — думал он.

Все шло хуже и хуже. Без вина он не мог жить. Стал наниматься уж не в приказчики, а в погонщики к скотине, потом и в эту должность не стали брать.

Чем хуже ему становилось, тем больше он обвинял ее, и тем больше разгоралась его злоба на нее.

В последний раз Корней нанялся в погонщики к скотине к незнакомому хозяину. Скотина заболела. Корней не был виноват, но хозяин рассердился и рассчитал и

приказчика и его. Наниматься некуда было, и Корней решил идти странствовать. Состроил себе сапоги хорошие, сумку, взял чаю, сахару, денег восемь рублей и пошел в Киев. В Киеве ему не понравилось, и он пошел на Кавказ, в Новый Афон. Не доходя Нового Афона, его захватила лихорадка. Он вдруг ослабел. Денег оставалось рубль семьдесят копеек, знакомых никого не было, и он решил идти домой к сыну. «Может, она и померла теперь, злодейка моя, — думал он. — А жива, так хоть перед смертью выскажу ей все; чтоб знала она, мерзавка, что со мной сделала», — думал он и пошел к дому.

Лихорадка трепала его через день. Он слабел все больше и больше, так что не мог уходить больше десяти, пятнадцати верст в день. Не доходя двухсот верст до дому деньги все вышли, и он шел уж Христовым именем и ночевал по отводу десятского. «Радуйся, до чего довела меня!» — думал он про жену, и, по старой привычке, старые и слабые руки сжимались в кулаки. Но и бить некого было, да и силы в кулаках уже не было.

Две недели шел он эти двести верст и, совсем больной и слабый, добрал до того места, в четырех верстах от дома, где встретился, не узнав ее и не быв признан, с той Агашкой, которая считалась, но не была его дочерью и которой он выломал руку.

IV

Он сделал, как сказала ему Агафья. Дойдя до Зиновеева двора, он попросился ночевать. Его пустили.

Войдя в избу, он как и всегда делал, перекрестился на иконы и поздоровался с хозяевами.

— Застыл, дед! Иди, иди на печь, — сказала сморщенная веселая старушка хозяйка, убирающаяся у стола.

Муж Агафьи, моложавый мужик, сидел на лавке у стола и заправлял лампу.

— И мокрый же ты, дед! — сказал он. — Да что станешь делать. Сушись!

Корней разделся, разулся, повесил против печки онучи и влез на печь.

В избу вошла и Агафья с кувшином. Она уже успела пригнать стадо и обратиться с скотиной.

— А не бывал старик странный? — спросила она. — Я велела к нам заходить.

— А вон он, — сказал хозяин, указывая на печь, где, потирая мохнатые костлявые ноги, сидел Корней.

К чаю хозяева кликнули и Корнея. Он слез и сел на краю лавки. Ему подали чашку и кусок сахара.

Разговор шел про погоду, про уборку. Не дается в руки хлеб. У помещиков проросли копны в поле. Только начнут возить — опять дождь. Мужички свезли. А у господ так дуром преет. А мыша в снопах — страсть.

Корней рассказал, что он видел по дороге целое поле полно копен. Молодайка налила ему пятую чашку жидкого, чуть желтого чаю и подала.

— Ничего. Пей, дедушка, на здоровье, — сказала она на его отказ.

— Что ж это рука у тебя неисправная? — спросил он у нее, осторожно принимая от нее полную чашку и пошевеливая бровями.

— С мальства еще сломали, — сказала говорливая свекровь. — Это ее отец нашу Агашку убить хотел.

— С чего ж это? — спросил Корней. И, глядя на лицо молодайки, ему вспомнился вдруг Евстигней Белый с его голубыми глазами, и рука, державшая чашку, так задрожала, что он разлил половину чая, пока донес ее до стола.

— А такой был в Гаях у нас человек, отец ей, Корней Васильевым звали. Богатей был. Так возгордился на жену. Ее избил и ее вот испортил.

Корней молчал, взглядывая из-под не переставая шевелившихся черных бровей то на хозяина, то на Агашу.

— За что же? — спросил он, откусывая сахар.

— Кто их знает. Про нашу сестру всякое сболтнут, а ты отвечай, — говорила старуха. — Из-за работника что-то у них вышло. Работник малый хороший был из нашей деревни. Он и помер у них в доме.

— Помер? — переспросил Корней и откашлялся.

— Давно помер... У них мы и взяли молодайку. Жили хорошо. Первые на селе были. Пока жив был хозяин.

— А он что же? — спросил Корней.

— Тоже помер, должно. С того раза пропал. Лет пятнадцать будет.

— Больше, никак, мне мамушка сказывала, меня она только кормить бросила.

— Что ж, ты на него не обижаешься на то, что он руку... — начал было Корней и вдруг захлюпал.

— Разве он чужой — отец ведь. Что ж, еще пей с холоду-то. Налить, что ль?

Корней не отвечал и, всхлипывая, плакал.

— Чего ж ты?

— Ничего, так, спаси Христос.

И Корней дрожащими руками ухватился за столбик и за полати и полез большими худыми ногами на печь.

— Вишь ты, — сказала старушка сыну, подмигивая на старика.

V

На другой день Корней поднялся раньше всех. Он слез с печи, размял высохшие подвертки; с трудом обул заскорузшие сапоги и надел мешок.

— Что ж, дед, позавтракал бы? — сказала старуха.

— Спаси бог. Пойду.

— Так вот возьми хоть лепешек вчерашних. Я тебе в мешок положу.

Корней поблагодарил и простился.

— Заходи, когда назад пойдешь, живы будем...

На дворе был тяжелый осенний туман, закрывающий все. Но Корней хорошо знал дорогу, знал всякий спуск и подъем, и всякий куст, и все ветлы по дороге, и леса направо и налево, хотя за семнадцать лет одни срубили и из старых стали молодыми, а другие из молодых стали старыми.

Деревня Гаи была все та же, только построились с краю новые дома, каких не было прежде. И из деревянных домов стали кирпичные. Его каменный дом был такой же, только постарел. Крыша была давно не

крашена, и на угле выбитые были кирпичи, и крыльцо покровилось.

В то время как он подходил к своему прежнему дому, из скрипучих ворот вышла матка с жеребенком, старый мерин чалый и третьяк. Старый чалый был весь в ту матку, которую Корней за год до своего ухода привел с ярмонки.

«Должно, это тот самый, что у нее тогда в брюхе был. Та же вислозадина и та же широкая грудь и косматые ноги», — подумал он.

Лошадей гнал поить черноглазый мальчишка в новых лапотках. «Должно, внук, Федькин сын значит, в него черноглазый», — подумал Корней.

Мальчик посмотрел на незнакомого старика и побегал за заигравшим по грязи стригуном. За мальчиком бежала собака, такая же черная, как прежний Волчок.

«Неужели Волчок?» — подумал он. И вспомнил, что тому было бы двадцать лет.

Он подошел к крыльцу и с трудом взошел на те ступеньки, на которых он тогда сидел, глотая снег с перил, и отворил дверь в сени.

— Чего лезешь не спросясь, — окликнул его женский голос из избы. Он узнал ее голос. И вот она сама, сухая, жилистая, морщинистая старуха, высунулась из двери. Корней ждал той молодой красивой Марфы, которая оскорбила его. Он ненавидел ее и хотел укорить, и вдруг вместо нее перед ним была какая-то старуха. — Милостыни — так под окном проси, — пронзительным, скрипучим голосом проговорила она.

— Я не милостыни, — сказал Корней.

— Так чего же ты? Чего еще?

Она вдруг остановилась. И он по лицу ее увидел, что она узнала его.

— Мало ли вас шляется. Ступай, ступай. С богом.

Корней привалился спиной к стене и, упираясь на клюку, пристально смотрел на нее и с удивлением чувствовал, что у него не было в душе той злобы на нее, которую он столько лет носил в себе, но какая-то умиленная слабость вдруг овладела им.

— Марфа! Помирать будем.

— Ступай, ступай с богом, — быстро и злобно говорила она.

— Больше ничего не скажешь?

— Нечего мне говорить, — сказала она. — Ступай с богом. Ступай, ступай. Много вас, чертей, дармоедов, шляется.

Она быстрыми шагами вернулась в избу и захлопнула дверь.

— Чего ж ругать-то, — послышался мужской голос, и в дверь вошел с топором за поясом черноватый мужик, такой же, как был Корней сорок лет тому назад, только поменьше и похудее, но с такими же черными блестящими глазами.

Это был тот самый Федька, которому он семнадцать лет тому назад подарил книжку с картинками. Это он упрекнул мать за то, что она не пожалела нищего. С ним вместе вошел, и тоже с топором за поясом, немой племянник. Теперь это был взрослый, с редкой бородкой, морщинистый, жилистый человек, с длинной шеей, решительным и внимательно пронизывающим взглядом. Оба мужика только позавтракали и шли в лес.

— Сейчас, дедка, — сказал Федор и указал немому сначала на старика, а потом на горницу и показал рукою, как режут хлеб.

Федор вышел на улицу, а немой вернулся в избу. Корней все стоял, опустив голову, прислонившись к стене и опираясь на клюку. Он чувствовал большую слабость и с трудом удерживал рыдания. Немой вышел из избы с большим пахучим ломтем свежего черного хлеба и, перекрестившись, подал Корнею. Когда Корней, приняв хлеб, тоже перекрестился, немой обратился к двери в избу, провел двумя руками по лицу и начал делать вид, что плюет. Он выражал этим неодобрение тетке. Вдруг он замер и, разинув рот, уставился на Корнею, как будто узнавая. Корней не мог больше удерживать слезы и, вытирая глаза, нос и седую бороду полою кафтана, отвернулся от него и вышел на крыльцо. Он испытывал какое-то особенное, умиленное, восторженное чувство смирения, унижения перед людьми, перед нею, перед сыном, перед всеми людьми, и чувство это и радостно и больно раздирало его душу.

Марфа смотрела из окна и спокойно вздохнула только тогда, когда увидела, что старик скрылся за углом дома.

Когда Марфа уверилась, что старик ушел, она села за стан и стала ткать. Она ударила раз десяток бердом, но руки не шли, она остановилась и стала думать и вспоминать, каким она сейчас видела Корнея, — она знала, что это был он — тот самый, который убивал ее и прежде любил ее, и ей было страшно за то, что она сейчас сделала. Не то она сделала, что надо было. А как же надо было обойтись с ним? Ведь он не сказал, что он Корней и что он домой пришел.

И она опять взялась за челнок и продолжала ткать до самого вечера.

VI

Корней с трудом добрал к вечеру до Андреевки и опять попросился ночевать к Зиновеевым. Его приняли.

— Что ж, дед, не пошел дальше?

— Не пошел. Ослаб. Видно, назад пойду. Ночевать пустите?

— Место не пролежишь. Иди сушишь.

Всю ночь Корнея трепала лихорадка. Перед утром он забылся, а когда проснулся, домашние все разошлись по своим делам, и в избе оставалась одна Агафья.

Он лежал на хорах на сухом кафтане, который подостлала ему старуха. Агафья вынимала хлеба из печи.

— Умница, — позвал он ее слабым голосом, — подойди ко мне.

— Сейчас, дед, — отвечала она, высаживая хлеба. — Напиться, что ль? Кваску?

Он не отвечал.

Высавив последний хлеб, она подошла к нему с ковшиком кваса. Он не повернулся к ней и не стал пить, а как лежал кверху лицом, так и стал говорить, не поворачиваясь.

— Гаща, — сказал он тихим голосом, — время мое доспело. Я помирать хочу. Так вот ты прости меня Христа ради.

— Бог простит. Что ж, ты мне худого не делал...

Он помолчал.

— А еще вот что: сходи ты, умница, к матери, скажи ей... странник, мол, скажи... вчерашний странник, скажи...

Он стал всхлипывать.

— А ты разве был у наших?

— Был. Скажи, странник вчерашний... странник, скажи... — опять он остановился от рыданий и, наконец, собравшись с силами, договорил: — попроситься к ней приходил, — сказал он и стал шарить у себя около груди.

— Скажу, дед, скажу. А ты чего ищешь? — сказала Агафья.

Старик, не отвечая, сморщившись от усилия, достал своей худой волосатой рукой бумагу из-за пазухи и подал ей.

— А это вот отдай, кто спросит. Билет мой солдатский. Слава богу, развязались все грехи, — и лицо его сложилось в торжественное выражение. Брови поднялись, глаза уставились в потолок, и он затих.

— Свечку, — проговорил он, не шевеля губами.

Агафья поняла. Достала от икон обгоревшую восковую свечку, зажгла и подала ему. Он прихватил ее большим пальцем.

Агафья отошла убрать в сундучок его билет, и когда подошла к нему, свеча валилась у него из руки, и остановившиеся глаза уже не видели, и грудь не дышала. Агафья перекрестилась, задула свечу, достала полотенце чистое и закрыла его лицо.

Во всю ночь эту Марфа не могла заснуть и все думала о Корнее. Наутро она надела зипун, накрылась платком и пошла узнавать, где вчерашний старик. Очень скоро она узнала, что старик в Андреевке. Марфа взяла из плетня палку и пошла в Андреевку. Чем дальше она шла, тем все страшнее и страшнее ей становилось. «Попрощаемся с ним, возьмем домой, грех развяжем. Пускай хоть помрет дома при сыне», — думала она.

Когда Марфа стала подходить к дочернему двору, она увидела большую толпу народа у избы. Одни стояли в сенях, другие под окнами. Все уж знали, что тот

самый знаменитый богач Корней Васильев, который двадцать лет тому назад гремел по округе, бедным странником помер в доме дочери. Изба тоже была полна народа. Бабы перешептывались, вздыхали и охали.

Когда Марфа вошла в избу и народ расступился, пропуская ее, она под святыми увидела обмытое, убранный, прикрытое полотном мертвое тело, над которым грамотный Филипп Кононыч, подражая дьячкам, читал нараспев славянские слова псалтыря.

Ни простить, ни просить прощенья уже нельзя было. А по строгому, прекрасному, старому лицу Корнея нельзя было понять, прощает ли он, или еще гневается.

ЯГОДЫ

Стояли жаркие, безветренные июньские дни. Лист в лесу сочен, густ и зелен, только кое-где срываются пожелтевшие березовые и липовые листья. Кусты шиповника осыпаны душистыми цветами, в лесных лугах сплошной медовый клевер, рожь густая, рослая, темнеет и волнуется, до половины налилась, в низах переключаются коростели, в овсах и ржах то хрипят, то щелкают перепела, соловей в лесу только изредка сделает колено и замолкнет, сухой жар печет. По дорогам лежит неподвижно на палец сухая пыль и поднимается густым облаком, уносимым то вправо, то влево случайным слабым дуновением.

Крестьяне доделывают постройки, возят навоз, скотина голодает на высохшем пару, ожидая отавы. Коровы и телята зыкаются с поднятыми крючковато хвостами, бегают от пастухов со стойла. Ребята стерегут лошадей по дорогам и обрезают. Бабы таскают из леса мешки травы, девки и девочки вперегонку друг с другом ползают между кустов по срубленному лесу, собирают ягоды и носят продавать дачникам.

Дачники, в разукрашенных, архитектурно вычурных домиках, лениво гуляют под зонтиками, в легких, чистых, дорогих одеждах по усыпанным песком дорожкам или сидят в тени деревьев, беседок, у крашенных столиков и, томясь от жары, пьют чай или прохладительные напитки.

У великолепной дачи Николая Семеныча, с башней, верандой, балкончиком, галереями — все свеженькое, новенькое, чистенькое — стоит ямская с бубенцами тройка в коляске, привезшая из города за пятнадцать «взад-назад», как говорит ямщик, петербургского барина.

Барин этот — известный либеральный деятель, участвовавший во всех комитетах, комиссиях, подношениях, хитро составленных, как будто верноподданнических, а в сущности самых либеральных адресов. Он приехал из города, в котором он, как всегда, страшно занятой человек, пробудет только сутки, к своему другу, товарищу детства и почти единомышленнику.

Они немного только расходятся в способах применения конституционных начал. Петербуржец — больше европеец, с маленьким пристрастием даже к социализму, получает очень большое жалованье по местам, которые он занимает. Николай же Семеныч — чисто русский человек, православный, с оттенком славянофильства, владеет многими тысячами десятин земли.

Они пообедали в саду обедом из пяти кушаний, но от жару почти ничего не ели, так что труды сорокарублевого повара и его помощников, особенно усердно работавших для гостя, пропали почти даром. Покушали только ботвинью ледяную с свежей белорыбницей и разноцветное мороженое в красивой форме и разукрашенное разными сахарными волосами и бисквитами. Обедали гость, либеральный врач, учитель детей — студент, отчаянный социал-демократ, революционер, которого Николай Семеныч умел держать в узде, Мари — жена Николая Семеныча, и трое детей, из которых меньшей только приходил к пирожному.

Обед был немножко натянут, потому что Мари, сама очень нервная женщина, была озабочена расстройством желудка Гоги, — так (как и водится у порядочных людей) назывался меньшей мальчик Николай, — и еще оттого, что, как только начинался политический разговор между гостем и Николаем Семенычем, отчаянный студент, желая показать, что он ни перед кем не стесняется высказывать свои убеждения, врывается в разговор, и гость замолкал, Николай же Семеныч утишал революционера.

Обедали в семь часов. После обеда приятели сидели на веранде, прохладжаясь холодным нарзаном с легким белым вином, и беседовали.

Разногласие их прежде всего выразилось в вопросе о том, какие должны быть выборы, двухстепенные или одностепенные, и они горячо начали было спорить, когда их позвали к чаю в защищенную сетками от мух столовую. За чаем шел общий разговор с Мари, которую разговор этот не мог занимать, так как она вся была поглощена мыслью о признаках расстройства желудка Гоги. Разговор шел о живописи, и Мари доказывала, что в декадентской живописи есть *un je ne sais quoi*¹, которое нельзя отрицать. Она в эту минуту вовсе не думала о декадентской живописи, но говорила то, что говорила много раз. Гостю уже совсем это было не нужно, но он слышал, что говорят против декадентства, и говорил все это так похоже, что никто бы не догадался о том, что ему не было никакого дела до декадентства или недекадентства. Николай же Семеныч, глядя на жену, чувствовал, что она чем-то недовольна и что будет, пожалуй, какая-нибудь неприятность — кроме того, ему очень скучно было слушать то, что она говорила и что он слышал, ему казалось, больше чем сто раз.

Зажгли дорогие бронзовые лампы и фонари на дворе, детей уложили спать, подвергнув больного Гогу лечебным операциям.

Гость с Николаем Семенычем и доктором вышли на веранду. Лакей подал свечи с колпаками и еще нарзану, и начался около двенадцати часов уж настоящий, оживленный разговор о том, какие должны были быть приняты государственные меры в настоящее, важное для России время. Оба не переставая курили, разговаривая.

Снаружи, за воротами дачи побрякивали бубенчиками ямщицкие лошади, стоявшие без корма, и то зевал, то храпел тоже без корма сидевший в коляске старик ямщик, двадцать лет живший у одного хозяина и все свое жалованье, за исключением рублей трех или пяти,

¹ что-то такое (франц.).

которые он пропивал, отсылавший домой брату. Когда уж с разных дач стали перекликаться петухи, и особенно один громкий, тонкий в соседней даче, ямщик усомнился, не забыли ли его, сошел с коляски и вошел в дачу. Он видел, что его седок сидел и пил что-то и в промежутках громко говорил. Он забоялся и пошел отыскивать лакея. Лакей в ливрейном пиджачке сидя спал в передней. Ямщик разбудил его. Лакей, бывший дворовый, кормивший своей службой (служба была выгодная — пятнадцать рублей жалованья и от господ на чай в год рублей иногда до ста) свою большую семью — пять девок и два мальчика, вскочил и, оправившись и отряхнувшись, пошел к господам сказать, что ямщик беспокоится, просит отпустить.

Когда лакей вошел, спор был в самом разгаре. Подшедший к ним доктор участвовал в нем.

— Не могу я допустить, — говорил гость, — чтобы русский народ должен был идти по каким-то иным путям развития. Прежде всего нужна свобода — свобода политическая — та свобода, как это всем известно, наибольшая свобода, при соблюдении наибольших прав других людей.

Гость чувствовал, что он запутался и что-то не так говорит, но в горячке спора он не мог хорошенько вспомнить, как надо говорить.

— Это так, — отвечал Николай Семеныч, не слушая гостя и только желая высказать свою мысль, которая ему особенно нравилась. — Это так, но достигается это другим путем — не большинством голосов, а всеобщим согласием. Посмотрите на решения мира.

— Ах, этот мир.

— Нельзя отрицать, — сказал доктор, — что у славянских народов есть свой особенный взгляд. Например, польское право veto. Я не утверждаю, чтобы это было лучше.

— Позвольте, я доскажу всю мою мысль, — начал Николай Семеныч. — Русский народ имеет особенные свойства. Свойства эти...

Но пришедший с заспанными глазами в своей ливрее Иван перервал его:

— Ямщик беспокоится...

— Скажите ему (петербургский гость всем лакеям говорил «вы» и гордился этим), что я поеду скоро. И за лишнее заплачу.

— Слушаю-с.

Иван ушел, и Николай Семеныч мог досказать всю свою мысль. Но и гость и доктор слышали ее двадцать раз (или по крайней мере им так казалось) и стали опровергать ее, особенно гость, примерами истории. Он отлично знал историю.

Доктор был на стороне гостя и любовался его эрудицией и был рад случаю знакомства с ним.

Разговор так затянулся, что стало светло за лесом на другой стороне дороги и соловей проснулся, но собеседники всё курили и разговаривали, разговаривали и курили.

Может быть, разговор продолжался бы еще, но из двери вышла горничная.

Горничная эта была сирота, которая, чтобы кормиться, должна была поступить в услужение. Сначала она жила у купцов, где приказчик соблазнил ее и она родила. Ребенок ее умер, она поступила к чиновнику, где сын гимназист не давал ей покоя, потом поступила помощницей горничной к Николаю Семенычу и считала себя счастливой, что ее не преследовали более своей похотью господ и платили исправно жалованье. Она вошла доложить, что барыня зовут доктора и Николая Семеныча.

«Ну, — подумал Николай Семеныч, — верно, с Гогой что-нибудь».

— А что? — спросил он.

— Николай Николаевич что-то нездоровы, — сказала горничная. Николай Николаевич, «они» — это был одержимый поносом объевшийся Гога.

— Ну и пора, — сказал гость, — смотрите, как светло. Как мы засиделись, — сказал он, улыбаясь, как бы хваля себя и своих собеседников за то, что они так долго и много говорили, и простился.

Иван долго бегал усталыми ногами за шляпой и зонтиком гостя, которые сам гость засунул в самые неподходящие места. Иван надеялся получить на чай, но гость, всегда щедрый и никак не пожалевший бы дать

ему рубль, увлеченный разговором, совсем забыл про это и вспомнил только дорогой, что он ничего не дал лакею. «Ну, нечего делать».

Ямщик влез на козлы, подобрал вожжи, сел бочком и тронул. Бубенчики звенели. Петербуржец, покачиваясь на мягких рессорах, ехал и думал об ограниченности и предвзятости мыслей своего приятеля.

То же самое думал Николай Семеныч, не сразу пошедший к жене. «Ужасна эта петербургская ограниченная узость. Не могут они выйти из этого», — думал он.

К жене же он медлил входить, потому что от этого свидания теперь не ожидал ничего хорошего. Дело все было в ягодах. Мальчики вчера принесли ягоду. Николай Семеныч купил, не торговавшись, две тарелки не совсем спелых ягод. Дети прибежали, прося себе, начали есть прямо с тарелок. Мари еще не выходила. И когда вышла и узнала, что Гоге дано было ягод, ужасно рассердилась, так как у него желудок уже был расстроен. Она стала упрекать мужа, он ее. И вышел неприятный разговор, почти ссора. К вечеру, точно, Гога нехорошо сходил. Николай Семеныч думал, что этим кончится, но призыв доктора обозначал, что дело приняло дурной оборот.

Когда он вошел к жене, она, в пестром шелковом халате, который ей очень нравился, но о котором она теперь не думала, стояла в детской с доктором над горшком и светила ему туда текущей свечкой.

Доктор с внимательным видом, в пенсне, смотрел туда, палочкой ворочая вонючее содержимое.

— Да, — сказал он значительно.

— Всё эти проклятые ягоды.

— Ну отчего же ягоды, — робко сказал Николай Семеныч.

— Отчего ягоды? Ты вот накормил его, а я ночь не сплю, и ребенок умрет...

— Ну, не умрет, — улыбаясь, сказал доктор, — маленький прием висмута и осторожность. Дадим сейчас.

— Он заснул, — сказала Мари.

— Ну, лучше не тревожить, завтра я зайду.

— Пожалуйста.

Доктор ушел, Николай Семеныч остался один и еще долго не мог успокоить жену. Когда он заснул, было уж совсем светло.

В соседней деревне в это самое время возвращались из ночного мужики и ребята. Некоторые были на одной, у некоторых были лошади в поводу и позади бежали стригуны и двухлетки.

Тараска Резунов, малый лет двенадцати, в полушубке, но босой, в картузе, на пегой кобыле с мерином в поводу и таким же пегим, как мать, стригуном, обогнал всех и поскакал в гору к деревне. Черная собака весело бежала впереди лошадей, оглядываясь на них. Пегий сытый стригун сзади взбрыкивал своими белыми в чулках ногами то в ту, то в другую сторону. Тараска подъехал к избе, слез, привязал лошадей у ворот и вошел в сени.

— Эй вы, заспались! — закричал он на сестер и брата, спавших в сенях на дерюжке.

Мать, спавшая рядом с ними, встала уже доить корову.

Ольгушка вскочила, оправляя обеими руками взлохмаченные длинные белесые волосы, Федька же, спавший с ней, все еще лежал, уткнувшись головой в шубу, и только потирал заскорузлой пяткой высунувшуюся из-под кафтана стройную детскую ножку.

Ребята с вечера собирались за ягодами, и Тараска обещал разбудить сестру и малого, как только вернется из ночного.

Он так и сделал. В ночном, сидя под кустом, он падал от сна; теперь же разгулялся и решил не ложиться спать, а идти с девками за ягодами. Мать дала ему кружку молока. Ломоть хлеба он сам отрезал себе и уселся за стол на высокой лавке и стал есть.

Когда он в одной рубашке и портках, быстрыми шагами прокладывая отчетливые следы босых ног по пыли, пошел по дороге, по которой лежали уже несколько таких же, одних побольше, других поменьше, босых следов с четко отпечатанными пальчиками, девки уже красными и белыми пятнышками виднелись далеко

впереди на темной зелени роши. (Они с вечера приготовили себе горшочек и кружечку и, не завтракая и не запасшись хлебом, перекрестились раза два на передний угол и побежали на улицу.) Тараска догнал их за большим лесом, только что они свернули с дороги.

Роса лежала на траве, на кустах, даже на нижних ветвях и кустов и дерев, и голые ножонки девочек тотчас намокли и сначала заволодели, а потом разогрелись, ступая то по мягкой траве, то по неровностям сухой земли. Ягодное место было по сведенному лесу. Девчонки вошли прежде в прошлогоднюю вырубку. Молодая поросль только что поднималась, и между сочных молодых кустов выдавались места с невысокой травой, в которой зрели и прятались розовато-белые еще и кое-где красные ягоды.

Девчонки, перегнувшись вдвое, ягодку за ягодкой выбирали своими маленькими загорелыми ручонками и клали какую похуже в рот, какую получше в кружку.

— Ольгушка! сюда иди. Тут бяда сколько.

— Ну? Вре! Ау! — перекликались они, далеко не расходясь, когда заходили за кусты.

Тараска ушел от них дальше за овраг в прежде, за год, срубленный лес, на котором молодая поросль, особенно ореховая и кленовая, была выше человеческого роста. Трава была сочнее и гуще, и когда попадались места с земляникой, ягоды были крупнее и сочнее под защитой травы.

— Грушка!

— Аась!

— А как волк?

— Ну что ж волк? Ты что ж пугаешь. А я небось не боюсь, — говорила Грушка, и, забывшись, она, думая о волке, клала ягоду за ягодой, и самые лучшие не в кружку, а в рот.

— А Тараска-то наш ушел за овраг. Тараска-а!

— Я-о! — отвечал Тараска из-за оврага. — Идите сюда.

— А и то пойдем, тама больше.

И девчата полезли вниз в овраг, держась за кусты, а из оврага отвершками на другую сторону, и тут, на

припоре солнца, сразу напали на полянку с мелкой травой, сплошь усыпанную ягодами. Обе молчали и не переставая работали и руками и губами.

Вдруг что-то шарахнулось и среди тишины с страшным, как им показалось, грохотом затрещало по траве и кустам.

Грушка упала от страха и рассыпала до половины кружки набранные ягоды.

— Мамушка! — завизжала она и заплакала.

— Заяц это, заяц! Тараска! Заяц. Вон он, — кричала Ольгушка, указывая на серо-бурую спинку с ушами, мелькавшую между кустов. — Ты чего? — обратилась Ольгушка к Грушке, когда заяц скрылся.

— Я думала, волк, — отвечала Грушка и вдруг тотчас же после ужаса и слез отчаяния расхохоталась.

— Вот дура-то.

— Страсть испугалась! — говорила Грушка, заливаясь звонким, как колокольчик, хохотом.

Подобрали ягоды и пошли дальше. Солнце уже взошло и светлыми яркими пятнами и тенями расцветило зелень и блестело в каплях росы, о которую вымокли девчонки теперь по самый пояс.

Девчата были уж почти на конце леса, всё уходя дальше и дальше, в надежде что что дальше, то больше будет ягод, когда в разных местах слышались звонкие ауканья девок и баб, вышедших позднее и также собиравших ягоды.

В завтрак кружка и горшочек были уже наполовину полны, когда девчата сошлись с теткой Акулиной, тоже вышедшей по ягоды. За теткой Акулиной ковылял на толстых кривых ножонках крошечный толстопузый мальчик в одной рубашонке и без шапки.

— Увязался со мной, — сказала Акулина девчатам, взяв мальчика на руки. — И оставить не с кем.

— А мы сейчас зайца здорового выпугнули. Как затрещи-ит — жуть...

— Вишь ты! — сказала Акулина и спустила опять с рук малого.

Переговорившись так, девочки разошлись с Акулиной и продолжали свое дело.

— Знать, посидим таперича, — сказала Ольгушка, садясь под густую тень орехового куста. — Уморилася.

Эх, хлебушка не взяли, поесть бы теперь,

— И мне хочется, — сказала Грушка.

— Что это тетка Акулина кричит больно чего-то? Чуешь? Ау, тетка Акулина!

— Ольгушка-а! — отозвалась Акулина.

— Чаго!

— Малый не с вами? — кричала Акулина из-за отвершка.

— Нету.

Но вот зашелестели кусты, и из-за отвершка показалась сама тетка Акулина с подобранной выше колен юбкой, с кошелкой на руке.

— Малого не видали?

— Нету.

— Вот грех какой! Мишка-а-а!

— Мишка-а-а!

Никто не отзывался.

— Ох, горюшко, заплутается он. В большой лес забредет.

Ольгушка вскочила и пошла с Грушкой искать в одну сторону, тетка Акулина в другую. Не переставая звонкими голосами кликали Мишку, но никто не откликнулся.

— Уморилась, — говорила Грушка, отставая, но Ольгушка не переставая аукала и шла то вправо, то влево, поглядывая по сторонам.

Акулинин голос отчаянный слышался далеко к большому лесу. Ольгушка уже хотела бросить искать и идти домой, когда в одном сочном кусте, около пня липовой молодой поросли, она услышала упорный и сердитый, отчаянный писк какой-то птицы, вероятно, с птенцами, чем-то недовольной. Птица, очевидно, чего-то боялась и на что-то сердилась. Ольгушка оглянулась на куст, обросший густой и высокой с белыми цветами травой, и под самым им увидела синенькую, не похожую ни на какие лесные травы кучку. Она остановилась, пригляделась. Это был Мишка. И его-то боялась и на него сердилась птица.

Мишка лежал на толстом брюхе, подложив ручонки под голову и вытянув пухлые кривые ножонки, и сладко спал.

Ольгушка покликкала мать и, разбудивши малого, дала ему ягод.

И долго потом Ольгушка всем, кого встречала, и дома матери, и отцу, и соседям рассказывала, как она искала и как нашла Акулининова малого.

Солнце уж совсем вышло из-за леса и жарко пекло землю и все, что было на ней.

— Ольгушка! Купаться, — пригласили Ольгу сошедшие с ней девочки. И все большим хором пошли с песнями к реке. Барахтаясь, визжа и болтая ногами, девчата не заметили, как с запада заходила черная низкая туча, как солнце стало скрываться и открываться и как запахло цветами и березовым листом и стало погромыхивать. Не успели девки одеться, как полил дождь и измочил их до нитки.

В прилипших к телу и потемневших рубашонках девочки прибежали домой, поели и понесли на поле, где отец перепаживал картофель, обедать.

Когда они вернулись и пообедали, рубашонки уж высохли. Перебрав землянику и уложив ее в чашки, они понесли ее на дачу к Николаю Семенычу, где хорошо платили; но на этот раз им отказали.

Мари, сидевшая под зонтиком в большом кресле и томившаяся от жара, увидав девочек с ягодами, замахала на них веером.

— Не надо, не надо.

Но Валя, старший, двенадцатилетний мальчик, отдохавший от переутомления классической гимназии и игравший в крокет с соседями, увидав ягоды, подбежал к Ольгушке и спросил:

— Сколько?

Она сказала:

— Тридцать копеек.

— Много, — сказал он. Он потому сказал «много», что так всегда говорили большие. — Подожди, только зайди за угол, — сказал он и побежал к няне.

Ольгушка с Грушкой между тем любовались на зеркальный шар, в котором виднелись какие-то маленькие дома, леса, сады. И этот шар и многое другое было для них не удивительно, потому что они ожидали всего са-

мого чудесного от таинственного и непонятного для них мира людей-господ.

Валя побежал к няне и стал просить у нее тридцать копеек. Няня сказала, что довольно двадцать, и достала ему из сундучка деньги. И он, обходя отца, который только что встал после вчерашней тяжелой ночи, курил и читал газеты, отдал двугривенный девочкам и, пересыпав ягоды в тарелку, напустился на них.

Вернувшись домой, Ольгушка развязала зубами узелок в платке, в котором был завязан двугривенный, и отдала его матери. Мать спрятала деньги и собрала белье на речку.

Тараска же, с завтрака пропахивавший с отцом картофель, спал в это время в тени густого темного дуба, тут же сидел и отец его, поглядывая на спутанную отпряженную лошадь, которая паслась на рубеже чужой земли и всякую минуту могла зайти в овсы или чужие луга.

Все в семье Николая Семеныча было нынче так, как сбыкновенно. Все было исправно. Завтрак из трех блюд был готов, мухи давно ели его, но никто не шел, потому что никому не хотелось есть.

Николай Семеныч был доволен справедливостью своих суждений, которая выяснялась из того, что он прочел нынче в газетах. Мари была спокойна, потому что Гога ходил хорошо. Доктор был доволен тем, что предложенные им средства принесли пользу. Валя был доволен тем, что съел целую тарелку земляники.

ЗА ЧТО?

I

В 1830 году весною к пану Ячевскому в его родовое имение Рожанку приехал единственный сын его умершего друга молодой Иосиф Мигурский. Ячевский был шестидесятипятилетний широколобый, широкоплечий, широкогрудый старик с длинными белыми усами на кирпично-красном лице, патриот времен второго раздела Польши. Он юношей вместе с Мигурским-отцом служил под знаменами Костюшки и всеми силами своей патриотической души ненавидел апокалипсическую, как он называл ее, блудницу Екатерину II и изменника, мерзкого ее любовника Понятовского, и так же верил в восстановление Речи Посполитой, как верил ночью, что к утру опять взойдет солнце. В 12-м году он командовал полком в войсках Наполеона, которого он обожал. Погибель Наполеона огорчила его, но он не отчаивался в восстановлении хотя и искалеченного, но все-таки царства Польского. Открытие сейма в Варшаве Александром I оживило его надежды, но Священный Союз, реакция во всей Европе, самодурство Константина отдаляло осуществление заветного желания. С 25-го года Ячевский поселился в деревне и безвыездно жил в своей Рожанке, занимая время хозяйством, охотой и чтением газет и писем, посредством которых он все-таки горячо следил за

политическими событиями в своем отечестве. Он был женат вторым браком на бедной красивой шляхтёнке, и брак этот был несчастлив. Он не любил и не уважал этой своей второй жены, тяготился ею, дурно, грубо обращался с нею, как будто вымещая на ней свою ошибку второго брака. Детей от второй жены не было. От первой же жены было две дочери: старшая, Ванда, величавая красавица, знавшая цену своей красоты и скупавшая в деревне, и меньшая, Альбина, любимица отца, живая, костлявая девочка, с вьющимися белокурыми волосами и широко, как у отца, расставленными большими блестящими голубыми глазами.

Альбине было пятнадцать лет, когда приехал Иосиф Мигурский. Мигурский и прежде, студентом, бывал у Ячевских в Вильно, где они жили по зимам, и ухаживал за Вандой, теперь же в первый раз уже вполне взрослым, свободным человеком приехал к ним в деревню. Приезд молодого Мигурского был приятен всем жителям Рожанки. Старику Иозё Мигурский был приятен тем, что напоминал ему друга, его отца, в то время, как они оба были молоды, и еще тем, что с жаром и самыми розовыми надеждами рассказывал о революционном брожении не только в Польше, но и за границей, откуда он только что приехал. Пани Ячевской Мигурский был приятен тем, что при гостях старик Ячевский сдерживался и не бранил ее за все, как обыкновенно. Ванде он был приятен потому, что она была уверена, что Мигурский приехал для нее и намеревается ей сделать предложение; она готовилась дать ему согласие, но намеревалась, как она сама с собой говорила: lui tenir la dragée haute¹. Альбина была рада тому, что все были рады. Не одна Ванда была уверена в том, что Мигурский приехал с намерением сделать ей предложение. Это думали все в доме — от старика Ячевского до няни Лудвики, хотя никто и не говорил этого.

И это была правда. Мигурский приехал с этим намерением, но, пробыв неделю, он, чем-то смущенный и расстроенный, уехал, не сделав предложения. Все были

¹ помучить его, чтобы он это оценил (франц.).

удивлены этим неожиданным отъездом, и никто, кроме Альбины, не понимал его причины. Альбина знала, что причиной этого странного отъезда была она. Во все время пребывания его в Рожанке она замечала, что Мигурский был особенно возбужден и весел только с нею. Он обращался с ней, как с ребенком, шутил с ней, дразнил ее, но она женским чутьем чуяла, что в этом обращении его с нею было не отношение взрослого к ребенку, а мужчины к женщине. Она видела это в том любующемся взгляде и ласковой улыбке, с которыми он встречал ее, когда она входила в комнату, и провожал, когда она выходила. Она не отдавала себе ясного отчета о том, что такое это было, но это его отношение к ней веселило ее, и она невольно старалась делать то, что нравилось ему. Нравилось же ему все, что она бы ни делала. И потому она в его присутствии с особенным возбуждением делала все, что делала. Ему нравилось, как она наперегонки бегала с прекрасным хортым (борзая собака), прыгавшим на нее и лизавшим ее в раскрасневшееся сияющее лицо; нравилось, как она при малейшем поводе заливалась заразительно звонким смехом; нравилось, как она, продолжая весело смеяться глазами, принимала серьезный вид при скучной проповеди ксендза; нравилось, как с необыкновенной верностью и комизмом представляла то старую няню, то пьяного соседа, то его самого, Мигурского, мгновенно переходя от изображения одного к изображению другого. Нравилась, главное, ее восторженная жизнерадостность, точно как будто она только что сейчас узнала вполне всю прелесть жизни и спешила воспользоваться ею. Ему нравилась эта особенная ее жизнерадостность, а жизнерадостность эта возбуждалась и усиливалась именно тем, что она знала, что эта жизнерадостность восхищает его. И потому одна Альбина знала, отчего Мигурский, приехавший, чтобы сделать предложение Ванде, уехал, не сделав его. Хотя она никому не решилась бы сказать этого, не говорила этого ясно и сама себе, она в глубине души знала, что он хотел полюбить сестру, и полюбил ее, Альбину. Альбина очень удивлялась этому, считая себя вполне ничтожной в сравнении с умной, образованной, красавицей

Вандой, но не могла не знать, что это так, и не могла не радоваться этому, потому что сама всеми силами своей души полюбила Мигурского, полюбила так, как любят только в первый раз и только один раз в жизни.

II

В конце лета газеты принесли известие о парижской революции. Вслед за этим стали приходиться известия о готовящихся беспорядках в Варшаве. Ячевский с страхом и надеждой ожидал с каждой почтой известия об убийстве Константина и начале революции. Наконец в ноябре получились в Рожанке сначала весть о нападении на бельведер, о бегстве Константина Павловича, потом о том, что сейм объявил династию Романовых лишеной польского престола, что Хлопицкий объявлен диктатором и польский народ опять свободен. Восстание не дошло еще до Рожанки, но все обитатели ее следили за ходом его, ожидали его у себя и готовились к нему. Старик Ячевский переписывался с старым знакомым, одним из главарей восстания, принимал тайнственных евреев-факторов, не по хозяйственным, а по революционным делам, и готовился присоединиться к восстанию, когда настанет время. Пани Ячевская не только как всегда, но еще более, чем всегда, заботилась о материальных удобствах мужа и, как всегда, этим самым все больше и больше раздражала его. Ванда отослала свои брильянты подруге в Варшаву, с тем чтобы вырученные деньги отдать в революционный комитет. Альбина интересовалась только тем, что делает Мигурский. Через отца она знала, что он поступил в отряд Дверницкого, и старалась узнать все то, что касалось этого отряда. Мигурский писал два раза: один раз извещал о том, что он поступил в войско, другой раз, в половине февраля, писал восторженное письмо о победе поляков при Сточке, где взяли шесть русских орудий и пленных. «Zwycięstwo Polaków i klęska Moskali! Wiwat!»¹ — заканчивал он письмо. Альбина была в восторге. Она

¹ Да здравствуют поляки, погибель москалям! Ура! (польск.)

рассматривала карту, рассчитывала, где и когда должны быть окончательно побеждены москали, и бледнела, и дрожала, когда отец медленно распечатывал привезенные с почты пакеты. Один раз мачеха, зайдя в ее комнату, застала ее перед зеркалом в панталонах и конфедератке. Альбина готовилась в мужском платье бежать из дома, чтобы присоединиться к польскому войску. Мачеха сказала отцу. Отец призвал дочь к себе и, скрывая свое сочувствие ей, даже восхищение перед ней, сделал ей строгий выговор, требуя, чтобы она выбросила из головы глупые мысли об участии в войне. «У женщины есть другое дело: любить и утешать тех, которые жертвуют собой за отчизну», — сказал он ей. Теперь она нужна ему, составляя его радость и утешение, а придет время, она так же нужна будет мужу. Он знал, чем подействовать на нее. Он намекнул ей на то, что он одинок и несчастен, и поцеловал ее. Она прижалась к нему лицом, скрывая слезы, которые все-таки намочили рукав его халата, и обещала ему ничего не предпринимать без его согласия.

III

Только люди, испытавшие то, что испытали поляки после раздела Польши и подчинения одной части ее власти ненавистных немцев, другой — власти еще более ненавистных москалей, могут понять тот восторг, который испытывали поляки в 30-м и 31-м году, когда после прежних несчастных попыток освобождения новая надежда освобождения казалась осуществимой. Но надежда эта продолжалась недолго. Силы были слишком несоразмерны, и революция опять была задавлена. Опять бессмысленно повинующиеся десятки тысяч русских людей были пригнаны в Польшу и под начальством то Дибича, то Паскевича и высшего распорядителя — Николая I, сами не зная, зачем они делают это, пропитав землю кровью своей и своих братьев поляков, задавили их и отдали опять во власть слабых и ничтожных людей, не желающих ни свободы, ни подавления поляков, а только одного: удовлетворения своего корыстолюбия и ребяческого тщеславия.

Варшава была взята, отдельные отряды разбиты. Сотни, тысячи людей были расстреляны, забиты палками, сосланы. В числе сосланных был и молодой Мигурский. Имение его было конфисковано, а сам он определен солдатом в линейный батальон в Уральск.

Ячевские жили зиму 1832 года в Вильне для здоровья старика, послѣ 31-го года страдавшего болезнью сердца. Здесь пришло к ним письмо от Мигурского из крепости. Он писал, что, как ни тяжело для него было то, что он перенес и что предстоит ему, он рад тому, что ему пришлось пострадать за отчизну, что он не отчаивается в том святом деле, за которое он отдал часть своей жизни и готов отдать остаток ее, и что если бы завтра явилась новая возможность, он поступил бы так же. Читая письмо вслух, старик зарыдал на этом месте и долго не мог продолжать. В остальной части письма, которую вслух прочла Ванда, Мигурский писал, что, *какие бы ни были его планы и мечты* в тот последний его приезд, который останется вечно самой светлой точкой во всей его жизни, он теперь и не может и не хочет говорить про них.

Ванда и Альбина поняли каждая по-своему значение этих слов, но никому не объяснили того, как они поняли их. В конце письма Мигурский посылал приветствия всем и, между прочим, с тем же игривым тоном, с которым он обращался с Альбиной во время своего приезда, обращался к ней и в письме, спрашивая ее, так же ли она быстро бегают, перегоняя хортых, и так ли хорошо передразнивает всех. Он желал здоровья старику, успеха в хозяйственных делах матери, достойного мужа Ванде и продолжения той же жизнерадостности Альбине.

IV

Здоровье старика Ячевского шло все хуже и хуже, и в 1833 году вся семья переехала за границу. Ванда встретила в Бадене богатого польского эмигранта и вышла за него замуж. Болезнь старика быстро ухудшалась, и в начале 1833 года он умер за границей на руках Альбины. Желю он не допускал ходить за собой и до

последней минуты не мог простить ей той ошибки, которую он сделал, женившись на ней. Пани Ячевская вернулась с Альбиной в деревню. Главный интерес жизни Альбины был Мигурский. В ее глазах это был величайший герой, и мученик, служению которому она решила посвятить свою жизнь. Еще до отъезда за границу она начала переписываться с ним, сначала по поручению отца, потом от себя. После смерти отца она, вернувшись в Россию, продолжала переписываться с ним и, когда ей минуло восемнадцать лет, объявила мачехе, что она решила ехать в Уральск к Мигурскому, с тем чтобы выйти там за него замуж. Мачеха стала упрекать Мигурского за то, что он эгоистически хочет облегчить свое тяжелое положение тем, чтобы, увлекши богатую девушку, заставить ее разделить его несчастье. Альбина рассердилась и объявила мачехе, что только она одна может приписывать такие подлые мысли человеку, пожертвовавшему всем для своего народа, что Мигурский, напротив, отказывался от той помощи, которую она предлагала ему, и что она бесповоротно решила ехать к нему и выйти за него замуж, если он только захочет дать ей это счастье. Альбина была совершеннолетняя, и деньги у нее были, — те триста тысяч золотых, которые покойник дядя оставил двум племянницам. Так что ничего не могло задержать ее.

В ноябре 1833 года Альбина простилась с домашними, как на смерть, со слезами провожавшими ее в дальний, неведомый край варварской Московии, села с старой преданной няней Лудвикой, которую она брала с собой, в отцовский, вновь исправленный для дальней дороги возок и пустилась в дальнюю дорогу.

V

Мигурский жил не в казармах, а на своей отдельной квартире. Николай Павлович требовал, чтобы разжалованные поляки не только несли всю тяжесть суровой солдатской жизни, но и терпели все те унижения, которым подвергались в это время рядовые солдаты; но большинство тех простых людей, которые должны были

исполнять эти его распоряжения, понимали всю тяжесть положения этих разжалованных и, несмотря на опасность неисполнения его воли, где могли, не исполняли ее. Полуграмотный, выслужившийся из солдат командир того батальона, в который был зачислен Мигурский, понимал положение бывшего богатого, образованного молодого человека, лишившегося всего, жалел его и уважал и делал ему всякого рода послабления. И Мигурский не мог не оценить добродушия подполковника с белыми бакенбардами на одутловатом солдатском лице и, чтобы отплатить ему, согласился учить его сыновей, готовящихся в корпус, математике и французскому языку.

Жизнь Мигурского в Уральске, тянувшаяся уже седьмой месяц, была не только однообразная, унылая и скучная, но и тяжелая. Знакомств, кроме батальонного командира, с которым он старался держаться как можно дальше, у него был только один сосланный поляк, малообразованный и пронырливый, неприятный человек, занимавшийся здесь торговлей рыбой. Главная же тяжесть жизни Мигурского состояла в том, что ему трудно было привыкать к нужде. Средств у него после конфискации его имения не было никаких, и он перебивался продажей золотых вещей, которые у него остались.

Единственная и большая радость его жизни после его ссылки была переписка с Альбиной, поэтическое, милое представление о которой со времени посещения его Рожанки осталось у него в душе и становилось теперь в изгнании все прекраснее и прекраснее. В одном из первых писем своих она, между прочим, спрашивала его, что значат слова его давнишнего письма: «какие бы ни были мои желания и мечты». Он отвечал ей, что теперь он может признаться ей, что мечты его были о том, чтобы назвать ее своей женой. Она ответила ему, что любит его. Он ответил, что лучше бы она не писала этого, потому что ему ужасно думать о том, что могло бы быть и теперь невозможно. Она ответила, что это не только возможно, но что это непременно будет. Он отвечал ей, что не может принять ее жертвы, что в теперешнем положении его это невозможно. Вскоре после

этого своего письма он получил повестку на две тысячи золотых. По штемпелю конверта и почерку он узнал, что это было прислано от Альбины, и вспомнил, что в одном из первых писем он в шуточном тоне описывал ей то удовольствие, которое он испытывает теперь, уроками зарабатывая все, что ему нужно, — денег на чай, табак и даже книги. Переложив деньги в другой конверт, он отослал их назад с письмом, в котором он просил ее не портить их святых отношений деньгами. У него всего было довольно, писал он, и он вполне счастлив, зная, что имеет такого друга, как она. На этом остановилась их переписка.

В ноябре Мигурский сидел у подполковника, давая урок мальчикам, когда послышался звук приближающегося почтового колокольца и закричали по морозному снегу полозья саней и остановились у подъезда. Дети вскочили, чтобы узнать, кто приехал. Мигурский остался в комнате, глядя на дверь и ожидая возвращения детей, но в дверь вошла сама подполковница.

— А к вам, пан, какие-то барыни приехали, вас спрашивают, — сказала она. — Должно, с вашей стороны, по-хоже — полячки.

Если бы Мигурского спросили: считает ли он возможным приезд к нему Альбины, он бы сказал, что это невысказано; в глубине же души он ждал ее. Кровь прилила ему к сердцу, и он, задыхаясь, выбежал в переднюю. В передней развязывала платок на голове толстая рябая женщина. Другая женщина входила в дверь квартиры полковника. Услыхав за собой шаги, она оглянулась. Из-под капора сияли жизнерадостные, широко поставленные, блестящие голубые глаза с заиндеветыми ресницами Альбины. Он остолбенел и не знал, как встретить ее, как здороваться. «Юзё!» — вскрикнула она, назвав его так, как называл его отец и как сама с собой она называла его, обхватила руками его шею, прильнула к его лицу своим зардевшимся холодным лицом и засмеялась и заплакала.

Узнав, кто такая Альбина и зачем она приехала, добрая полковница приняла ее и поместила до свадьбы у себя.

Добродушный подполковник выхлопотал разрешение высшего начальства. Из Оренбурга выписали ксендза и обвенчали Мигурских. Жена батальонного командира была посаженной матерью, один из учеников нес образ, а Бржозовский, сосланный поляк, был шафером.

Альбина, как ни странно это может казаться, страстно любила своего мужа, но совсем не знала его. Она теперь только знакомилась с ним. Само собой разумеется, что она нашла в живом человеке с плотью и кровью много такого обыденного и непоэтического, чего не было в том образе, который она носила и растила в своем воображении; но зато, именно потому, что это был человек с плотью и кровью, она нашла в нем много такого простого, хорошего, чего не было в том отвлеченном образе. Она слышала от знакомых и друзей про его храбрость на войне и знала про его мужество при потере состояния и свободы и представляла себе его героем, всегда живущим возвышенной героической жизнью; в действительности же, с своей необыкновенной физической силой и храбростью, он оказался кротким, смиренным ягненком, самым простым человеком, с добродушными шутками, с той самой детской улыбкой чувственного рта, окруженного белокурой бородкой и усами, которая прельстила ее еще в Рожанке, и с неугасимой трубкой, которая была ей особенно тяжела во время беременности.

Мигурский тоже теперь узнал Альбину, и в Альбине в первый раз узнал женщину. По тем женщинам, которых он знал до женитьбы, он не мог знать женщин. И то, что он узнал в Альбине, как в женщине вообще, удивило его и скорее могло бы разочаровать его в женщине вообще, если бы он не чувствовал к Альбине, как к Альбине, особенно нежного и благодарного чувства. К Альбине, как к женщине вообще, он чувствовал ласковое, несколько ироническое снисхождение, к Альбине же, как к Альбине, не только нежную любовь, но и восхищение, и сознание неоплатного долга за ее жертву, давшую ему незаслуженное счастье.

Мигурские были счастливы тем, что, направив всю силу своей любви друг на друга, они испытывали среди чужих людей чувство двух заблудившихся зимой, замерзающих и отогревающих друг друга. Радостной жизни Мигурских содействовало и участие в их жизни рабски, самоотверженно преданной своей панюсе, добродушно-ворчливой, комической, влюбляющейся во всех мужчин, няни Лудвики. Мигурские были счастливы и детьми. Через год родился мальчик. Через полтора года — девочка. Мальчик был повторением матери: те же глаза и та же резвость и грация. Девочка была здоровый красивый зверок.

Несчастливы же Мигурские были удалением от родины и, главное, тяжестью своего непривычно-униженного положения. Особенно страдала за это унижение Альбина. Он, ее Юзё, герой, идеал человека, должен был вытягиваться перед всяким офицером, делать ружейные приемы, ходить в караул и безропотно повиноваться.

Кроме того, известия из Польши получались самые печальные. Почти все близкие родные, друзья были или сосланы, или, лишившись всего, бежали за границу. Для самих же Мигурских не предвиделось какого-либо конца этому положению. Все попытки ходатайствовать о прощении или хотя бы об улучшении положения, о производстве в офицеры, не достигали цели. Николай Павлович делал смотры, парады, учения, ходил по маскарадам, заигрывал с масками, скакал без надобности по России из Чугуева в Новороссийск, Петербург и Москву, пугая народ и загоня лошадей, и когда какой-нибудь смельчак решался просить смягчения участи ссыльных декабристов или поляков, страдавших из-за той самой любви к отечеству, которая им же восхвалялась, он, выпячивая грудь, останавливал на чем попало свои оловянные глаза и говорил: «Пускай служат. Рано». Как будто он знал, когда будет не рано, а когда будет время. И все приближенные: генералы, камергеры и их жены, кормившиеся около него, умилялись перед необычайной прозорливостью и мудростью этого великого человека.

В общем, все-таки в жизни Мигурских было больше счастья, чем несчастья,

Так прожили они пять лет. Но вдруг обрушилось на них неожиданное, страшное горе. Заболела сначала девочка, через два дня заболел мальчик: горел три дня и, без помощи врачей (никого нельзя было найти), на четвертый день умер. Через два дня после него умерла и девочка.

Альбина не утопилась в Урале только потому, что не могла без ужаса представить себе положения мужа при известии об ее самоубийстве. Но жить ей было трудно. Всегда прежде деятельная и заботливая, она теперь, предоставив все свои заботы Лудвике, сидела часами без дела, молча глядя на то, что попадалось под глаза, а то вдруг вскакивала и убегала в свою каморку и там, не отвечая на утешения мужа и Лудвики, тихо плакала, только качая головой, прося их уйти и оставить ее одну. Летом она уходила на могилу детей и там сидела, раздирая себе сердце воспоминаниями о том, что было и что могло бы быть. Особенно мучила ее мысль о том, что дети могли бы остаться живы, если бы они жили в городе, где могла бы быть подана медицинская помощь. «За что? За что? — думала она. — И Юзё и я — мы ничего ни от кого не хотим, кроме того, чтоб ему жить так, как он родился и жили его деды и прадеды, а мне только — чтобы жить с ним, любить его, любить моих крошек, воспитывать их. И вдруг его мучают, ссылают, а у меня отнимают то, что мне дороже света. Зачем? За что?» — задавала она этот вопрос людям и богу. И не могла представить себе возможности какого-нибудь ответа.

А без этого ответа не было жизни. И жизнь ее остановилась. Бедная жизнь в изгнании, которую она прежде умела украшать своим женским вкусом и изяществом, стала теперь невыносима не только ей, но и Мигурскому, страдавшему за нее и не знавшему, чем помочь ей.

VII

В это самое тяжелое для Мигурских время прибыл в Уральск поляк Росоловский, замешанный в грандиозном плане возмущения и побега, устроенного в то время в Сибири сосланным ксендзом Сироцинским.

Росоловский, так же как и Мигурский, так же как и тысячи людей, наказанных ссылкой в Сибирь за то, что они хотели быть тем, чем родились, — поляками, был замешан в этом деле, наказан за это розгами и отдан в солдаты в тот же батальон, где был Мигурский. Росоловский, бывший учитель математики, был длинный, сутуловатый, худой человек с впалыми щеками и хмуренным лбом.

В первый же вечер своего пребывания Росоловский, сидя за чаем у Мигурских, стал, естественно, рассказывать своим медленным, спокойным басом про то дело, за которое он так жестоко пострадал. Дело состояло в том, что Сироцинский организовал по всей Сибири тайное общество, цель которого состояла в том, чтобы с помощью поляков, зачисленных в казачьи и линейные полки, взбунтовать солдат и каторжных, поднять поселенцев, захватить в Омске артиллерию и всех освободить.

— Да разве это было возможно? — спросил Мигурский.

— Очень возможно, все было готово, — сказал Росоловский, мрачно хмурясь, и медленно, спокойно рассказал весь план освобождения и все принятые меры для успеха дела и, в случае неуспеха, для спасения заговорщиков. Успех был верный, если бы не изменили два злодея. Сироцинский, по словам Росоловского, был человек гениальный и великой душевной силы. Он и умер героем и мучеником. И Росоловский ровным, спокойным басом стал рассказывать подробности казни, на которой он, по приказанию начальства, должен был присутствовать вместе со всеми судившимися по этому делу.

— Два батальона солдат стояли в два ряда, длинной улицей, у каждого солдата в руке была гибкая палка такой высочайше утвержденной толщины, чтобы три только могли входить в дуло ружья. Первым повели доктора Шакальского. Два солдата вели его, а те, которые были с палками, били его по оголенной спине, когда он равнялся с ними. Я видел это только тогда, когда он подходил к тому месту, где я стоял. То я слышал только дробь барабана, но потом, когда становился

слышен свист палок и звук ударов по телу, я знал, что он подходит. И я видел, как его тянули за ружья солдаты, и он шел, вздрагивая и поворачивая голову то в ту, то в другую сторону. И раз, когда его проводили мимо нас, я слышал, как русский врач говорил солдатам: «Не бейте больно, пожалейте». Но они всё били; когда его провели мимо меня второй раз, он уже не шел сам, а его тащили. Страшно было смотреть на его спину. Я зажмурился. Он упал, и его унесли. Потом повели второго. Потом третьего, потом четвертого. Все падали, всех уносили — одних замертво, других еле живыми, и мы всё должны были стоять и смотреть. Продолжалось это шесть часов — от раннего утра и до двух часов пополудни. Последнего повели самого Сироцинского. Я давно не видал его и не узнал бы, так он постарел. Все в морщинах бритое лицо его было бледно-зеленоватое. Тело обнаженное было худое, желтое, ребра торчали над втянутым животом. Он шел так же, как и все, при каждом ударе вздрагивая и вздергивая голову, но не стонал и громко читал молитву: *Miserere mei Deus secundam magnam misericordiam tuam*¹.

— Я сам слышал, — быстро прохрипел Росоловский и, закрыв рот, засопел носом.

Лудвика, сидевшая у окна, рыдала, закрыв лицо платком.

— И охота вам расписывать! Звери — звери и есть! — вскрикнул Мигурский и, бросив трубку, вскочил со стула и быстрыми шагами ушел в темную спальню. Альбина сидела как окаменевшая, уставив глаза в темный угол.

VIII

На другой день Мигурский, придя домой с ученья, был удивлен видом жены, которая, как в старину, легкими шагами, с сияющим лицом встретила его и повела в спальню.

— Ну, Юзё, слушай.

— Слушаю. Что?

¹ Помилуй мя, боже, по велицей милости твоей (лат.).

— Я всю ночь думала о том, что рассказал Росоловский. И я решилась: я не могу жить так, не могу жить тут. Не могу! Я умру, но не останусь здесь.

— Да что же делать?

— Бежать.

— Бежать? Как?

— Я все обдумала. Слушай.

И она рассказала ему тот план, который она придумала сегодня ночью. План был такой: он, Мигурский, уйдет из дома вечером и оставит на берегу Урала свою шинель и на шинели письмо, в котором напишет, что лишает себя жизни. Поймут, что он утопился. Будут искать тело, будут посылать бумаги. А он спрячется. Она так спрячет его, что никто не найдет. Можно будет прожить так хоть месяц. А когда все уляжется, они убегут.

Затая ее в первую минуту показалась Мигурскому неисполнимой, но к концу дня, когда она с такой страстью и уверенностью убеждала его, он стал соглашаться с нею. Кроме того, он был склонен согласиться еще и потому, что наказание за неудавшийся побег, такое же наказание, как то, про которое рассказывал Росоловский, падало на него, Мигурского, успех же освобождал ее, а он видел, как после смерти детей тяжела ей была жизнь здесь.

Росоловский и Лудвика были посвящены в замысел, и после долгих совещаний, изменений, поправок план побега был выработан. Сначала хотели сделать так, чтобы Мигурский, после того как он будет признан утонувшим, бежал бы один, пешком. Альбина же выедет в экипаже и в условленном месте встретит его. Такой был первый план. Но потом, когда Росоловский рассказал про все неудавшиеся попытки побегов последних пяти лет в Сибири (за все время убежал и спасся только один счастливец), Альбина предложила другой план, тот, чтобы Юзё, спрятанный в экипаже, ехал с нею и Лудвикой до Саратова. В Саратове же ему, переодетому, идти вниз по берегу Волги и в условленном месте сесть в лодку, которую она наймет в Саратове и в которой поплывет вместе с Альбиной и Лудвикой вниз по Волге до Астрахани и через Каспийское море в Персию.

План был этот одобрен всеми и главным устройтелем Росоловским, но представлялась трудность устройства такого помещения в экипаже, которое не обратило бы на себя внимания начальства, а между тем могло бы вместить в себя человека. Когда же Альбина после поездки на могилу детей сказала Росоловскому, как ей больно оставлять прах детей на чужой стороне, он, подумав, сказал:

— Просите начальство о разрешении взять с собой гробы детей, вам разрешат.

— Нет, я не хочу, не хочу этого! — сказала Альбина.

— Просите. В этом всё. Мы не возьмем гробов, а для них сделаем большой ящик и в ящик положим Юзефа.

В первую минуту Альбина отвергла это предложение, так ей неприятно было связывать обман с воспоминанием о детях, но когда Мигурский весело одобрил этот проект, она согласилась.

Так что окончательный план выработался такой: Мигурский сделает все то, что должно убедить начальство, что он утопился. Когда смерть его будет признана, Альбина подаст прошение о том, чтобы ей после смерти мужа разрешено было вернуться на родину и взять с собой и прах детей. Когда же ей дадут и это разрешение, будет сделано подобие того, что могилы раскопаны и гробы взяты, но гробы оставят на месте, а вместо детских гробов в приготовленном для этого ящике поместится Мигурский. Ящик поставят в тарантас и так доедут до Саратова. От Саратова они сядут на лодку. В лодке Юзе выйдет из ящика, и они поплывут до Каспийского моря. А там Персия или Турция и — свобода.

IX

Прежде всего Мигурские купили тарантас под предлогом отправления Лудвики на родину. Потом началось устройство в тарантасе такого ящика, в котором, не задохнувшись, можно бы было, хотя и скорчившись, лежать и из которого можно бы было скоро и незаметно

выходить и опять влезать. Втроем, Альбина, Росоловский и сам Мигурский, придумывали и прилаживали ящик. В особенности важна была помощь Росоловского, который был хороший столяр. Ящик был сделан так, что, утвержденный на дрожины позади кузова, он плотно приходился к кузову, и стенка, приходившаяся к кузову, отваливалась так, что человек, вынув стенку, мог лежать частью в ящике, частью на дне тарантаса. Кроме того, в ящике были провернуты дыры для воздуха, и сверху и с боков ящик должен был быть покрыт рогожей и увязан веревками. Входить и выходить из него можно было через тарантас, в котором было сделано сиденье.

Когда тарантас и ящик были готовы, еще до исчезновения мужа, Альбина, чтобы приготовить начальство, пошла к полковнику и заявила, что муж ее впал в меланхолию и покушался на самоубийство и она боится за него и просит на время отпустить его. Способность ее к драматическому искусству пригодилась ей. Выражаемые ею беспокойство и страх за мужа были так естественны, что полковник был тронут и обещал сделать все, что может. После этого Мигурский сочинил письмо, которое должно было быть найдено за обшлагом его шинели на берегу Урала, и в условленный день, вечером, он пошел к Уралу, дождался темноты, положил на берегу одежду, шинель с письмом и тайно вернулся домой. На чердаке, запиравшемся замком, было приготовлено для него место. Ночью Альбина послала Лудвику к полковнику заявить о муже, что он, выйдя из дома двадцать часов назад, не возвращался. Утром ей принесли письмо мужа, и она с выражением сильного отчаяния, в слезах, отнесла его полковнику.

Через неделю Альбина подала прошение об отъезде на родину. Горе, выражаемое Мигурской, поражало всех, видевших ее. Все жалели несчастную мать и жену. Когда отъезд ее был разрешен, она подала другое прошение — о позволении откопать трупы детей и взять их с собою. Начальство подивилось на эту сентиментальность, но разрешило и это.

На другой день после получения и этого разрешения вечером Росоловский с Альбиной и Лудвикой в наемной

телеге с ящиком, в который должны были быть вложены гробы детей, приехали на кладбище, к могиле детей. Альбина, опустившись на колени у могил детей, помолилась и скоро встала и, нахмурившись, обращаясь к Росоловскому, сказала:

— Делайте то, что надо, а я не могу, — и отошла в сторону.

Росоловский с Лудвикой сдвинули надгробный камень и вскопали лопатой верхние части могилы так, что могила имела вид раскопанной. Когда все было сделано, они кликнули Альбину и с ящиком, наполненным землей, вернулись домой.

Наступил назначенный день отъезда. Росоловский радовался успеху доведенного почти до конца предприятия, Лудвика напекла на дорогу печений и пирожков и, приговаривая свою любимую поговорку: «Jak matę kocham», говорила, что у ней сердце разрывается от страха и радости. Мигурский радовался и своему освобождению с чердака, на котором он просидел больше месяца, и больше всего — оживлению и жизнерадостности Альбины. Она как будто забыла все прежнее горе и все опасности и, как в девичье время, прибегая к нему на чердак, сияла восторженной радостью.

В три часа утра пришел казак провожать, и привел казак-ямщик тройку лошадей. Альбина с Лудвикой и собачкой сели в тарантас на подушки, покрытые ковром. Казак и ямщик сели на козлы. Мигурский, одетый в крестьянское платье, лежал в кузове тарантаса.

Выехали из города, и добрая тройка понесла тарантас по гладкой, как камень, убитой дороге между бесконечной, непаханой, поросшей прошлогодним серебристым ковылем степью.

Х

Сердце замирало в груди Альбины от надежды и восторга. Желая поделиться своими чувствами, она изредка, чуть улыбаясь, указывала Лудвике головой то на широкую спину казака, сидевшего на козлах, то на дно тарантаса. Лудвика с значительным видом неподвижно смотрела перед собой и только чуть-чуть морщила губы,

День был ясный. Со всех сторон расстилалась безграничная пустынная степь, блестящая серебристым ковьялем на косых лучах утреннего солнца. Только то с той, то с другой стороны жесткой дороги, по которой, как по асфальту, гулко звучали некованные быстрые ноги башкирских коней, виднелись бугорки насыпанной земли сусликов; на заду сидел сторожевой зверок и, предупреждая об опасности, пронзительно свистел и скрывался в нору. Редко встречались презажие: обоз казаков с пшеницей или конные башкиры, с которыми казак бойко перекидывался татарскими словами. На всех станциях лошади были свежие, сытые, и полтинники на водку, которые давала Альбина, делали то, что ямщики гнали, как они говорили, по-фельдъегерски — вскачь всю дорогу.

На первой же станции, в то время как прежний ящик увел, а новый не приводил еще лошадей и казак вошел во двор, Альбина, перегнувшись, спросила мужа, как он себя чувствует, не нужно ли ему чего.

— Превосходно, покойно. Ничего не нужно. Легко пролежу хоть двое суток.

К вечеру приехали в большое село Дергачи. Для того чтобы муж мог расправить члены и освежиться, Альбина остановилась не на почтовом, а на постоялом дворе и тотчас же, дав деньги казаку, послала его купить ей яиц и молока. Тарантас стоял под навесом, на дворе было темно, и, поставив Лудвику караулить казака, Альбина выпустила мужа, накормила его, и до возвращения казака он опять влез в свое потаенное место. Послали опять за лошадьми и поехали дальше. Альбина чувствовала все больший и больший подъем духа и не могла удержать своего восторга и веселости. Говорить ей было больше не с кем, как с Лудвикой, казаком и Трезоркой, и она забавлялась ими.

Лудвика, несмотря на свою некрасивость, при всяком отношении с мужчиной тотчас же подозревавшая в этом мужчине любовные на нее виды, подозревала теперь это самое по отношению к здоровенному добродушному казаку-уральцу с необыкновенно ясными и добрыми голубыми глазами, который провожал их и который

был особенно приятен обеим женщинам своей простотою и добродушной ласковостью. Кроме Трезорки, на которого Альбина грозилась, не позволяя ему нюхать под сидением, она теперь забавлялась Лудвикой и ее комическим кокетством с не подозревающим приписываемые ему намерения, добродушно улыбающимся на все, что ему говорили, казаком. Альбина, возбужденная и опасностью, и начинающим осуществляться успехом дела, и чудной погодой, и степным воздухом, испытывала давно не испытанное ею чувство детского восторга и веселья. Мигурский слышал ее веселый говор и тоже, несмотря на скрываемую им физическую тяжесть своего положения (особенно жарко ему было, и жажда его мучила), забывая о себе, радовался на ее радость.

К вечеру второго дня стало виднеться что-то в тумане. Это был Саратов и Волга. Казак своими степными глазами видел и Волгу, и мачты и указывал их Лудвике. Лудвика говорила, что видела тоже. Но Альбина ничего не могла разобрать. И только нарочно громко, чтобы слышал муж, говорила:

— Саратов, Волга, — как будто разговаривая с Трезором, рассказывала мужу Альбина все то, что она видела.

XI

Не въезжая в Саратов, Альбина остановилась на левой стороне Волги, в слободе Покровской, против самого города. Здесь она надеялась в продолжение ночи успеть переговорить с мужем и даже вывести его из ящика. Но казак во всю короткую весеннюю ночь не отходил от тарантаса и сидел подле него в стоявшей под навесом пустой телеге. Лудвика, по распоряжению Альбины, сидела в тарантасе и, будучи вполне уверена, что казак ради нее не отходит от тарантаса, мигала, смеялась и закрывала свое рябое лицо платком. Но Альбина не видела уж в этом ничего веселого и все больше и больше тревожилась, не понимая, для чего казак так неотлучно держался около тарантаса.

Несколько раз в короткую майскую ночь с зарей, сливающейся с зарей, Альбина выходила из горницы

постоялого двора мимо вонючей галереи на заднее крыльцо. Казак все еще не спал и, спустив ноги, сидел на стоявшей подле тарантаса пустой телеге. Только перед рассветом, когда петухи уже проснулись и перекликались со двора на двор, Альбина, сойдя вниз, нашла время переговорить с мужем. Казак храпел, развалившись в телеге. Она осторожно подошла к тарантасу и толкнула ящик.

— Юзё! — Ответа не было. — Юзё, Юзё! — с испугом, громче проговорила она.

— Что ты, милая, что? — сонным голосом проговорил Мигурский из ящика.

— Что ты не отвечал?

— Спал, — проговорил он, и она по звуку голоса узнала, что он улыбался. — Что же, выходить? — спросил он.

— Нельзя, казак тут, — и, сказав это, она взглянула на казака, спящего в телеге.

И удивительное дело, казак храпел, но глаза его, добрые голубые глаза, были открыты. Он смотрел на нее и, только встретившись с ней взглядом, закрыл глаза.

«Показалось это мне или точно он не спал? — спросила себя Альбина. — Верно, показалось», — подумала она и опять обратилась к мужу.

— Потерпи еще немного, — сказала она. — Поесть хочешь?

— Нет. Курить хочу.

Альбина опять взглянула на казака. Он спал. «Да, это показалось мне», — подумала она.

— Я теперь поеду к губернатору.

— Ну, час добрый...

И Альбина, достав из чемодана платье, пошла в горницу одеваться.

Переодевшись в свое лучшее вдовье платье, Альбина переехала Волгу. На набережной она взяла извозчика и поехала к губернатору. Губернатор принял ее. Хорошенькая, мило улыбающаяся вдова-полька, прекрасно говорящая по-французски, очень понравилась молодящемуся старику губернатору. Он все разрешил ей и просил ее приехать еще завтра к нему, чтобы получить

от него приказ к городничему в Царицын. Радуюсь и успеху своего ходатайства, и тому действию ее привлекательности, которое она видела в манере губернатора, Альбина, счастливая и полная надежд, возвращалась под гору по немощеной улице на долгушке к пристани. Солнце взошло уже выше леса и косыми лучами играло на рябящей воде огромного разлива. Справа и слева по горе виднелись, как белые облака, облитые пахучим цветом яблони. Лес мачт виднелся у берега, и паруса белели по играющему на солнце, рябящему от ветерка разливу. На пристани, разговорившись с извозчиком, Альбина спросила, можно ли нанять лодку до Астрахани, и десятки шумливых, веселых лодочников предложили ей свои услуги и лодки. Она сговорилась с одним из лодочников, больше других понравившимся ей, и пошла посмотреть его лодку-косовушку, стоящую в тесноте других лодок у пристани. На лодке была устанавливаемая небольшая мачта с парусом, так что можно было идти ветром. В случае безветрия были весла и два здоровые, веселые бурлака-гребцы, сидевшие на солнце в лодке. Веселый, добродушный лоцман советовал не оставлять тарантас, а, сняв с него колеса, поставить на лодку. «Как раз устает, и вам покойней сидеть будет. Даст бог погоду, дней в пяток до Астрахани добежим».

Альбина сторговалась с лодочником и велела ему прийти в Покровскую слободу, на Логинов постоянный двор, чтобы посмотреть тарантас и получить задаток. Все удалось лучше, чем она ожидала. В самом восторженно-счастливом состоянии Альбина переехала Волгу и, разочтясь с извозчиком, направилась к постоялому двору.

XII

Казак Данило Лифанов был из Стрелецкого Умета на Общем Сырту. Ему было тридцать четыре года, и он отслуживал последний месяц своего срока казацкой службы. У него в семье был старик, девяностолетний дед, помнящий еще Пугачева, два брата, сноха старшего брата, за старую веру сосланного в каторгу в Сибирь,

жена, две дочери и два сына. Отец его был убит на войне с французами. Он был старшим в доме. У них во дворе было шестнадцать коней, два цабана быков и было распахано и засеяно пшеницей своей вольной земли пятнадцать сотенников. Он, Данило, служил в Оренбурге, в Казани и теперь кончал срок. Он твердо держался старой веры, не курил, не пил и не ел из одной посуды с мирскими и также строго держался присяги. Во всех своих делах он был медлительно-твердо обстоятелен и на то, что ему поручено было делать от начальства, употреблял все свое внимание и не забывал ни на минуту, пока не исполнил всего, как он понимал, своего назначения. Теперь ему велено было проводить до Саратова двух полячек с гробами так, чтобы над ними дорогой ничего худого не сделали, чтобы они ехали смирно, никаких шалостей не делали, и в Саратове честь честью сдать их начальству. Так он и доставил их до Саратова и с собачонкой, и со всеми с гробами ихними. Бабы были смиренные, ласковые, хотя и полячки, а ничего худого не делали. Но тут, в Покровской слободе, ввечеру, он, проходя мимо тарантаса, увидел, что собачонка вспрыгнула в тарантас и там стала визжать и хвостом махать, и из-под сидения тарантаса ему показался чей-то голос. Одна из полячек, старая, увидав собачку в тарантасе, испугалась чего-то, схватила собачонку и унесла.

«Что-то тут есть», — подумал казак и стал примечать. Когда молодая полячка вышла ночью к тарантасу, он притворился, что спит, и явственно услышал мужской голос из ящика. Рано утром он пошел в полицию и заявил о том, что полячки, какие ему поручены, не добром едут, а вместо мертвых везут какого-то живого человека в ящике.

Когда Альбина в своем восторженно-веселом настроении, уверенная в том, что теперь все кончено и они через несколько дней будут свободны, подошла к постоялому двору, она с удивлением увидела у ворот щегольскую пару с пристяжкой на отлете и двух казаков. В воротах толпился народ, заглядывая во двор.

Она была так полна надежды и энергии, что ей и в голову не пришла мысль о том, что эта пара и толпившийся народ имеют отношение к ней. Она вошла во двор и, в одно и то же время взглянув под тот навес, где стоял ее тарантас, увидела, что народ толпится именно около ее тарантаса, и в то же мгновение услышала отчаянный лай Трезорки. Случилось то самое ужасное, что только могло случиться. Перед тарантасом, блестя своим чистым мундиром, с сияющими на солнце пуговицами и полупогонами и лаковыми сапогами, стоял осанистый, с черными бакенбардами человек и говорил что-то громко, хриплым повелительным голосом. Перед ним, между двумя солдатами, в крестьянском наряде, с сеном в спутанных волосах, стояла ее Юзё и, как бы недоумевая о том, что вокруг него делалось, поднимал и опускал свои могучие плечи. Трезорка, не зная того, что он был причиной всего несчастья, ошестинившись, бесполезно озлобленно лаял на полицмейстера. Увидав Альбину, Мигурский вздрогнул, хотел подойти к ней, но солдаты удержали его.

— Ничего, Альбина, ничего! — проговорил Мигурский, улыбаясь своей кроткой улыбкой.

— А вот и барынька сама! — проговорил полицмейстер. — Пожалуйте сюда. Гробы ваших младенцев? А? — сказал он, подмигивая на Мигурского.

Альбина не отвечала и только, схватившись за грудь, раскрыв рот, с ужасом смотрела на мужа.

Как это бывает в предсмертные и вообще решительные в жизни минуты, она в одно мгновение перечувствовала и передумала бездну чувств и мыслей и вместе с тем не понимала еще, не верила своему несчастью. Первое чувство было знакомое ей давно — чувство оскорбленной гордости при виде ее героя-мужа, униженного перед теми грубыми, дикими людьми, которые держали его теперь в своей власти. «Как смеют они держать его, этого лучшего из всех людей, в своей власти?» Другое чувство, одновременно с этим охватившее ее, было сознание совершившегося несчастья. Сознание же несчастья вызвало в ней воспоминание о главном несчастье ее жизни, о смерти детей. И сейчас же возник вопрос: за что? за что отняты дети? Вопрос же: за

что отняты дети? вызвал вопрос: за что теперь гибнет, мучается любимый, лучший из людей, ее муж? И тут же она вспомнила о том, какое ждет его позорное наказание, и то, что она, она одна виновата в этом.

— Кто он вам? Муж он вам? — повторил полицмейстер.

— За что, за что? — вскрикнула она и, закатившись истерическим хохотом, упала на снятый теперь с козел и стоявший у тарантаса ящик. Вся трясущаяся от рыданий, с залитым слезами лицом Лудвика подошла к ней.

— Паненка, милая паненка! Як бога кохам, ничего не будет, ничего, — говорила она, бессмысленно водя по ней руками.

На Мигурского надели наручники и повели со двора. Увидав это, Альбина побежала за ним.

— Прости, прости меня, — говорила она. — Все я! Я одна виновата.

— Там разберут, кто виноват. И до вас дело дойдет, — сказал полицмейстер и рукою отстранил ее.

Мигурского повели к переправе, и Альбина, сама не зная, зачем она делала это, шла за ним и не слушала уговаривающую ее Лудвику.

Казак Данило Лифанов во все это время стоял у колес тарантаса и мрачно взглядывал то на полицмейстера, то на Альбину, то себе на ноги.

Когда Мигурского увели, оставшийся один Трезорка, махая хвостиком, стал ласкаться к нему. Он привык к нему во время дороги. Казак вдруг отслонился от тарантаса, сорвал с себя шапку, швырнул ее изо всех сил наземь, откинул ногой от себя Трезорку и пошел в харчевню. В харчевне он потребовал водки и пил день и ночь, пропил все, что было у него и на нем, и только на другую ночь, проснувшись в канаве, перестал думать о мучившем его вопросе: хорошо ли он сделал, донеся начальству о полячкином муже в ящике?

Мигурского судили и приговорили за побег к прогнанию сквозь тысячу палок. Его родные и Ванда, имевшая связи в Петербурге, выхлопотали ему смягче-

шие наказания, и его сослали на вечное поселение в Сибирь. Альбина поехала за ним.

Николай же Павлович радовался тому, что задавил гидру революции не только в Польше, но и во всей Европе, и гордился тем, что он не нарушил заветов русского самодержавия и для блага русского народа удержал Польшу во власти России. И люди в звездах и золоченых мундирах так восхваляли его за это, что он искренно верил, что он великий человек и что жизнь его была великим благом для человечества и особенно для русских людей, на развращение и одурение которых были бессознательно направлены все его силы.

БОЖЕСКОЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

I

Это было в 70-х годах в России, в самый разгар борьбы революционеров с правительством.

Генерал-губернатор Южного края, здоровый немец с опущенными книзу усами, холодным взглядом и безвыразительным лицом, в военном сюртуке, с белым крестом на шее, сидел вечером в кабинете за столом с четырьмя свечами в зеленых абажурах и пересматривал и подписывал бумаги, оставленные ему правителем дел. «Генерал-адъютант такой-то», — выводил он с длинным росчерком и откладывал.

В числе бумаг был и приговор к смертной казни через повешение кандидата Новороссийского университета Анатолия Светлогуба за участие в заговоре, имеющем целью низвержение существующего правительства. Генерал, особенно нахмурившись, подписал и эту. Белыми, сморщенными от старости и мыла, выхолонными пальцами он аккуратно срывал края листов и отложил в сторону. Следующая бумага касалась назначения сумм на перевозку провианта. Он внимательно читал эту бумагу, думая о том, верно или неверно высчитаны суммы, как вдруг ему вспомнился его разговор с своим помощником о деле Светлогуба. Генерал полагал, что найденный у Светлогуба динамит еще не доказывает его преступного намерения. Помощник же его настаивал

на том, что, кроме динамита, было много улик, доказывающих то, что Светлогуб был главой шайки. И, вспомнив это, генерал задумался, и под его сюртуком с ватой на груди и крепкими, как картон, лацканами неровно забилося сердце, и он стал так тяжело дышать, что большой белый крест, предмет его радости и гордости, зашевелился на его груди. Можно еще воротить правителя дел и если не отменить, то отложить приговор.

«Воротить? Не воротить?»

Сердце еще неровнее забилося. Он позвонил. Скорым неслышным шагом вошел курьер.

— Иван Матвеевич уехал?

— Никак нет-с, ваше высокопревосходительство, в канцелярию изволили пройти.

Сердце генерала то останавливалось, то давало быстрые толчки. Он вспомнил предупреждение слушавшего на днях его сердце врача.

«Главное, — сказал врач, — как только почувствуете, что есть сердце, кончайте занятия, развлекайтесь. Хуже всего — волнения. Ни в каком случае не допускайте себя до этого».

— Прикажете позвать?

— Нет, не надо, — сказал генерал. «Да, — сказал он сам себе, — нерешительность хуже всего волнует. Подписано — и кончено. Ein jeder macht sich sein Bett und muss d'rauf schlafen¹, — сказал он сам себе любимую пословицу. — Да и это меня не касается. Я исполнитель высшей воли и должен стоять выше таких соображений», — прибавил он, сдвигая брови, чтобы вызвать в себе жестокость, которой не было в его сердце.

И тут же ему вспомнилось его последнее свидание с государем, как государь, сделав строгое лицо и устремив на него свой стеклянный взгляд, сказал: «Надеюсь на тебя: как ты не жалел себя на войне, ты так же решительно будешь поступать в борьбе с красными — не дашь ни обмануть, ни испугать себя. Прощай!» И государь, обняв его, подставил ему свое плечо для поце-

¹ Как постелешь, так и поспишь (нем.).

луя. Генерал вспомнил это и то, как он ответил государю: «Одно мое желание — отдать жизнь на служение своему государю и отечеству».

И, вспомнив чувство подобострастного умиления, которое он испытал перед сознанием своей самоотверженной преданности своему государю, он отогнал от себя смутившую его на мгновение мысль, подписал остальные бумаги и еще раз позвонил.

— Чай подан? — спросил он.

— Сейчас подают, ваше высокопревосходительство.

— Хорошо, ступай.

Генерал глубоко вздохнул и, потирая рукой место, где было сердце, тяжелой походкой вышел в большую пустую залу и по свеженатертому паркету залы в гостиную, из которой слышались голоса.

У жены генерала были гости: губернатор с женой, старая княжна, большая патриотка, и гвардейский офицер, жених последней, незамужней дочери генерала.

Жена генерала, сухая, с холодным лицом и тонкими губами, сидя за низким столиком, на котором стоял чайный прибор с серебряным чайником на конфорке, фальшиво-грустным тоном рассказывала толстой молодой даме, жене губернатора, о своем беспокойстве за здоровье мужа.

— Всякий день новые и новые донесения открывают заговоры и всякие ужасные вещи... И это все ложится на Базиля, он должен все решать.

— Ах, не говорите! — сказала княжна. — Je deviens féroce quand je pense à cette maudite engeance¹.

— Да, да, ужасно! Верите ли, он работает двенадцать часов в сутки, и с его слабым сердцем. Я прямо боюсь...

Она не договорила, увидав входящего мужа.

— Да, вы непременно послушайте его. Барбини — удивительный тенор, — сказала она, приятно улыбаясь губернаторше, о вновь приехавшем певце так натурально, как будто они только об этом и говорили.

¹ Я свирепею, когда думаю об этой проклятой породе (франц.).

Дочь генерала, миловидная полная девушка, сидела с женихом в дальнем углу гостиной, за китайскими ширмочками. Она встала и вместе с женихом подошла к отцу.

— Каково, мы и не видались нынче! — сказал генерал, целуя дочь и пожимая руку ее жениху.

Поздоровавшись с гостями, генерал подсел к столу и разговорился с губернатором о последних новостях.

— Нет, нет, о делах не разговаривать, запрещено! — перебила речь губернатора жена генерала. — А вот кстати и Копьев; он нам что-нибудь веселое расскажет. Здравствуйте, Копьев.

И Копьев, известный весельчак и остряк, действительно рассказал последний анекдот, который рассмешил всех.

II

— Да нет, этого не может быть, не может, не может! Пустите меня! — кричала, взвизгивая, мать Светлогуба, вырываясь из рук учителя гимназии — товарища сына, и доктора, которые старались удержать ее.

Мать Светлогуба была не старая, миловидная женщина, с седеющими локонами и звездой морщинками от глаз. Учитель, товарищ Светлогуба, узнав о том, что смертный приговор подписан, хотел осторожно подготовить ее к страшному известию, но только что он начал говорить про ее сына, она по тону его голоса, по робости взгляда угадала, что случилось то, чего она боялась.

Это происходило в небольшом номере лучшей гостиницы города.

— Да что вы меня держите, пустите меня! — кричала она, вырываясь от доктора, старого друга их семьи, который одной рукой держал ее за худой локоть, другой ставил на овальный стол перед диваном склянку капель. Она рада была, что ее держат, потому что чувствовала, что ей надо что-то предпринять, — а что — она не знала и боялась себя.

— Успокойтесь. Вот, выпейте валерьяновых капель, — говорил доктор, подавая в рюмке мутную жидкость.

Она вдруг затихла и почти сложилась вдвое, склонив голову на впалую грудь, и, закрыв глаза, опустилась на диван.

И ей вспомнилось, как сын ее три месяца тому назад прощался с ней с таинственным и грустным лицом. Потом вспомнила она восьмилетнего мальчика в бархатной курточке, с голыми ножками и длинными вьющимися колечками белокурых волос.

«И его, его, этого самого мальчика... сделают с ним это!»

Она вскочила, оттолкнула стол и вырвалась из рук доктора. Дойдя до двери, она опять упала на кресло.

— А они говорят — бог есть! Какой он бог, если он позволяет это! Черт его возьми, этого бога! — кричала она, то рыдая, то закатываясь истерическим хохотом. — Повесят, повесят того, кто бросил все, всю карьеру, все состояние отдал другим, народу, все отдал, — говорила она, всегда прежде упрекавшая сына за это, теперь же выставлявшая перед собой заслугу его самоотречения. — И его, его, с ним сделают это! А вы говорите, что есть бог! — вскрикнула она.

— Да я ничего не говорю, я только прошу вас выпить капли.

— Ничего не хочу. Ха-ха-ха! — хохотала и рыдала она, упиваясь своим отчаянием.

К ночи она так измучилась, что не могла уже ни говорить, ни плакать, а только смотрела перед собой остановившимся, сумасшедшим взглядом. Доктор впрыснул ей морфий, и она заснула.

Сон был без сновидений, но пробуждение было еще ужаснее. Ужаснее всего было то, что люди могли быть так жестоки, не только эти ужасные генералы с бритыми щеками и жандармы, но все, все: коридорная девушка, с спокойным лицом приходившая убирать комнату, и соседи в номере, которые весело встречались и о чем-то смеялись, как будто ничего не было.

III

Светлогуб второй месяц сидел в одиночном заключении и за это время пережил многое.

С детства Светлогуб бессознательно чувствовал неправду своего исключительного положения богатого человека, и, хотя старался заглушить в себе это сознание, ему часто, когда он встречался с нуждой народа, а иногда просто, когда самому было особенно хорошо и радостно, становилось совестно за тех людей — крестьян, стариков, женщин, детей, которые рождались, росли и умирали, не только не зная всех тех радостей, которыми он пользовался, не ценя их, но и не выходили из напряженного труда и нужды. Когда он кончил университет, чтобы освободиться от этого сознания своей неправоты, завел школу у себя в деревне, образцовую школу, лавку потребительного товарищества и приют для бездельных стариков и старух. Но, странное дело; ему, занимаясь этими делами, еще гораздо более было совестно перед народом, чем когда он ужинал с товарищами или заводил дорогую верховую лошадь. Он чувствовал, что все это было не то, и хуже, чем не то: тут было что-то дурное, нравственно нечистое.

В одном из таких состояний разочарования в своей деревенской деятельности он приехал в Киев и встретился с одним из наиболее близких товарищей по университету. Товарищ этот три года после этой встречи был расстрелян во рву киевской крепости.

Товарищ этот, горячий, увлекающийся и с огромными дарованиями человек, привлек его к участию в обществе, цель которого состояла в просвещении народа, вызове в нем сознания его прав и образования в нем объединенных кружков, стремящихся к освобождению себя от власти землевладельцев и правительства. Беседы с этим человеком и его друзьями как бы привели в ясное сознание все то, что до тех пор смутно чувствовалось Светлогубом. Он понял теперь, что ему надо было делать. Не прерывая сношений с новыми товарищами, он уехал в деревню и начал там совсем новую деятельность. Он сам стал школьным учителем, устроил классы для взрослых, читал им книги и бро-

шюры, объяснял крестьянам их положение; кроме того, он издавал нелегальные народные книги и брошюры и отдавал все, что мог, не отнимая у матери, на устройство таких же центров по другим деревням.

С первых же шагов этой новой деятельности Светлогуб встретил два неожиданных препятствия: одно в том, что большинство людей народа не только было равнодушно к его проповедям, но почти презрительно смотрело на него. (Понимали его и сочувствовали ему только исключительные личности и часто люди сомнительной нравственности.) Другое препятствие было со стороны правительства. Школа была запрещена ему, и у него и у близких ему людей были сделаны обыски и отобраны книги и бумаги.

Светлогуб мало обратил внимания на первое препятствие — равнодушие народа, так как был слишком возмущен вторым препятствием: притеснениями правительства, бессмысленными и оскорбительными. То же испытывали и его товарищи в своей деятельности и в других местах, и чувство раздражения против правительства, взаимно разжигаемое, дошло до того, что большая часть этого кружка решила силою бороться с правительством.

Главою этого кружка был некто Меженецкий — человек, как его считали все, непоколебимой силы воли, непобедимой логичности и весь преданный делу революции.

Светлогуб подчинился влиянию этого человека и с той же энергией, с которой он прежде работал в народе, отдался террористической деятельности.

Деятельность эта была опасна, но эта-то опасность более всего и привлекала Светлогуба.

Он говорил себе: «Победа или мученичество, а если и мученичество, то мученичество это та же победа, но только в будущем». И огонь, загоревшийся в нем, не только не потухал в продолжение семи лет его революционной деятельности, а все более и более разгорался, поддерживаемый любовью и уважением тех людей, среди которых он вращался.

Тому, что он отдал почти все свое состояние — состояние, перешедшее ему от отца, — на это дело, он не

приписывал никакой важности, не приписывал и тем трудам и той нужде, которые он переносил часто в этой деятельности. Одно только огорчало его: это то горе, которое он доставлял этой деятельностью своей матери и той девушке, ее воспитаннице, которая жила с его матерью и любила его.

В последнее время мало любимый им и неприятный товарищ, террорист, преследуемый полицией, просил его спрятать у себя динамит. Светлогуб без колебания согласился именно потому, что не любил этого товарища, и на следующий день в квартире Светлогуба сделан был обыск и найден динамит. На все вопросы о том, как, откуда он приобрел динамит, Светлогуб отказался отвечать.

И вот то мученичество, которое он ожидал, началось для него. В последнее время, когда столько друзей его было казнено, заключено, сослано, когда пострадало столько женщин, Светлогуб почти желал мученичества: И в первые минуты ареста и допросов он чувствовал особенное возбуждение, почти радость.

Он испытывал это чувство, когда его раздевали, обыскивали и когда ввели в тюрьму и заперли за ним железную дверь. Но когда прошел день, другой, третий, прошла неделя, другая, третья в грязной, сырой, наполненной насекомыми камере и в одиночестве и невольной праздности, прерываемой только перестукиваниями с товарищами заключенными, передававшими всё недобрые и нерадостные вести, да изредка допросами холодных, враждебных людей, старавшихся выпытывать от него обвинения товарищей, нравственные силы его вместе с физическими постоянно ослабевали, и он только тосковал и желал, как он говорил себе, какого-нибудь конца этого мучительного положения. Тоска его увеличилась еще тем, что он усомнился в своих силах. На второй месяц своего заточения он стал заставлять себя на мысли сказать всю правду, только бы быть освобожденным. Он ужасался на свою слабость, но не находил уже в себе прежних сил и ненавидел, презирал себя и тосковал еще больше.

Самое же ужасное было то, что ему в заточении так жалко стало тех молодых сил и радостей, которыми

он так легко жертвовал, пока был на воле, и которые ему теперь казались так обаятельны, что он раскаивался в том, что считал хорошим, раскаивался иногда во всей своей деятельности. Ему приходили мысли о том, как счастливо, хорошо он мог бы жить на свободе — в деревне, на воле, за границей, среди любимых и любящих друзей. Жениться на ней, а может быть и на другой, и жить с ней простой, радостной, светлой жизнью.

IV

В один из мучительно однообразных дней заключения второго месяца смотритель при обычном обходе передал Светлогубу маленькую книжку с золоченым крестом на коричневом переплете, сказав, что тюрьму посетила губернаторша и оставила Евангелия, которые разрешено передать заключенным. Светлогуб поблагодарил и слегка улыбнулся, кладя книжку на привинченный к стене столик.

Когда смотритель ушел, Светлогуб переговорился стуками с соседями о том, что был смотритель и ничего не сказал нового, а только принес Евангелие, и сосед ответил, что и ему тоже.

После обеда Светлогуб раскрыл склеившуюся от сырости листами книжонку и стал читать. Светлогуб никогда еще, как книгу, не читал Евангелия. Все, что он знал о ней, было то, что в гимназии проходил законоучитель и что нараспев читали в церкви попы и дьяконы.

«Глава первая. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду... — читал он. — Зоровавель родил Авиуда», — продолжал он читать. Все это было то самое, чего он ожидал: какая-то запутанная, ни на что не нужная бессмыслица. Если бы это было не в тюрьме, он не мог бы дочитать одной страницы, а тут он продолжал читать для процесса чтения. «Как гоголевский Петрушка», — подумал он про себя. Он прочел первую главу о рождении дево́й и о пророчестве, состоящем в том, что нарекут рожденному имя Эммануил, означающее

«с нами бог». «И в чем же тут пророчество?» — подумал он и продолжал читать. Он прочел и вторую главу — о ходячей звезде, и третью — об Иоанне, питающемся стрекозами, и четвертую — о каком-то дьяволе, предлагавшем Христу гимнастическое упражнение с крыши. Так все это казалось ему неинтересно, что, несмотря на скуку тюрьмы, он уже хотел закрыть книгу и начать обычное свое вечернее занятие — ловлю блох в снятой рубашке, как вдруг вспомнил, что на экзамене пятого класса гимназии он забыл одну из заповедей блаженства и розоволицый, кудрявый батюшка вдруг рассердился и поставил ему двойку. Он не мог вспомнить, какая была эта заповедь, и прочел блаженства. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть царство небесное», — прочел он. «Это, пожалуй, и к нам относится», — подумал он. «Блаженны вы, когда будут поносить и гнать вас. Радуйтесь и веселитесь: так гнали и пророков, бывших прежде вас». «Вы — соль земли. Если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на поприще людям».

«Это совсем уж к нам относится», — подумал он и продолжал читать дальше. Прочтя всю пятую главу, он задумался: «Не сердитесь, не прелюбодействуйте, терпите зло, любите врагов».

«Да, если бы все так жили, — думал он, — и не нужно бы и революции». Читая дальше, он все больше и больше вникал в смысл тех мест книги, которые были вполне понятны. И чем дальше он читал, тем все больше и больше приходил к мысли, что в этой книге сказано что-то особенно важное. И важное, и простое, и трогательное, такое, чего он никогда не слышал прежде, но что как будто было давно знакомо ему.

«Ко всем же сказал: если кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет свою душу ради меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе».

— Да, да, это самое! — вдруг вскрикнул он со слезами на глазах. — Это самое я и хотел делать. Да, хо-

тел этого самого: именно, отдать душу свою; не сбере-
речь, а отдать. В этом радость, в этом жизнь. «Многое
я делал для людей, для славы людской, — думал он, —
не славы толпы, а славы доброго мнения тех, кого я
уважал и любил: Наташи, Дмитрия Шеломова, — и
тогда были сомнения, было тревожно. Хорошо мне
было только тогда, когда я делал только потому, что
этого требовала душа, когда хотел отдать себя, всего
отдать...»

С этого дня Светлогуб большую часть времени стал
проводить за чтением и обдумыванием того, что было
сказано в этой книге. Чтение это вызвало в нем
не только умиленное состояние, которое выносило его
из тех условий, в которых он находился, но и такую
работу мысли, которой он прежде никогда не сознавал
в себе. Он думал о том, почему люди, все люди не жи-
вут так, как сказано в этой книге. «Ведь жить так хо-
рошо не одному, а всем. Только живи так — и не будет
горя, нужды, будет одно блаженство. Только бы кон-
чилось это, только бы быть мне опять на свободе, — ду-
мал он иногда, — выпустят же они меня когда-нибудь
или сошлют в каторгу. Все равно, везде можно жить
так. И буду жить так. Это можно и надо жить так; не
жить так — безумие».

V

В один из тех дней, когда он находился в таком
радостном, возбужденном состоянии, в камеру к нему
вошел в необычное время смотритель и спросил, хорошо
ли ему и не желает ли он чего. Светлогуб удивился, не
понимая, что означает эта перемена, и попросил папи-
рос, ожидая отказа. Но смотритель сказал, что он сей-
час пришлет; и действительно, сторож принес ему
пачку папирос и спички.

«Должно быть, кто-нибудь похотатайствовал за
меня», — подумал Светлогуб и, закурив папиросу, стал
ходить взад и вперед по камере, обдумывая значение
этой перемены.

На другой день его повели в суд. В помещении
суда, где он уже бывал несколько раз, его не стали

допрашивать. Но один из судей, не глядя на него, встал с своего кресла, встали и другие, и, держа в руках бумагу, стал читать громким, ненатурально невыразительным голосом.

Светлогуб слушал и смотрел на лица судей. Все они не смотрели на него и с значительными, унылыми лицами слушали.

В бумаге было сказано, что Анатолий Светлогуб за доказанное участие в революционной деятельности, имеющей целью ниспровержение, в более близком или далеком будущем, существующего правительства, приговаривается к лишению всех прав и к смертной казни через повешение.

Светлогуб слышал и понимал значение слов, произносимых офицером. Он заметил нелепость слов: в более близком или далеком будущем и лишения прав человека, приговоренного к смерти, но совершенно не понимал того значения, которое имело для него то, что было прочитано.

Только долго после того, как ему сказали, что он может идти и он вышел с жандармом на улицу, он начал понимать то, что ему было объявлено.

«Тут что-то не то, не то... Тут какая-то бессмыслица. Этого не может быть», — говорил он себе, сидя в карете, которая везла его назад в тюрьму.

Он чувствовал в себе такую силу жизни, что не мог представить себе смерти: не мог соединить сознания своего «я» с смертью, с отсутствием «я».

Вернувшись назад в свою тюрьму, Светлогуб сел на койку и, закрыв глаза, старался живо представить себе то, что его ожидает, и никак не мог этого сделать. Он никак не мог представить себе того, чтобы его не было, не мог представить себе и того, чтобы люди могли желать убить его.

«Меня, молодого, доброго, счастливого, любимого столькими людьми, — думал он, — он вспомнил о любви к себе матери, Наташи, друзей, — меня убьют, повесят! Кто, зачем сделает это? И потом, что же будет, когда меня не будет? Не может быть», — говорил он себе.

Пришел смотритель. Светлогуб не слышал его входа.

— Кто это? Что вы? — проговорил Светлогуб, не узнавая зрителя. — Ах да, это вы! Когда же это будет? — спросил он.

— Не могу знать, — сказал зритель и, постояв молча несколько секунд, вдруг вкрадчивым, нежным голосом проговорил: — Тут наш батюшка желал бы... напут... желал бы видеть вас...

— Мне не надо, не надо, ничего не надо! Уйдите! — вскрикнул Светлогуб.

— Не нужно ли вам написать кому-нибудь? Это можно, — сказал зритель.

— Да, да, пришлите. Я напишу.

Зритель ушел.

«Стало быть, утром, — думал Светлогуб. — Они всегда так делают. Завтра утром меня не будет... Нет, этого не может быть, это сон».

Но пришел сторож, настоящий, знакомый сторож, и принес два пера, чернильницу, пачку почтовой бумаги и синеватых конвертов и поставил табуретку к столу. Все это было настоящее и не сон.

«Надо не думать, не думать. Да, да, писать. Напишу маме», — подумал Светлогуб, сел на табуретку и тотчас же начал писать.

«Милая, родная! — написал он и заплакал. — Прости меня, прости за все горе, которое я причинил тебе. Заблуждался я или нет, но я не мог иначе. Об одном прошу, прости меня». — «Да это я уже написал, — подумал он. — Ну, да все равно, теперь некогда переписывать». — «Не тужи обо мне, — писал он дальше. — Немного раньше, немного позже... разве не все равно? Я не боюсь и не раскаиваюсь в том, что делал. Я не мог иначе. Только ты прости меня. И не сердись на них — ни на тех, с которыми я работал, ни на тех, которые казнят меня. Ни те, ни другие не могли иначе: прости им, они не знают, что творят. Я не смею о себе повторять эти слова, но они у меня в душе и поднимают и успокаивают меня. Прости, целую твои милые сморщенные, старые руки! — Две слезы одна за другой капнули на бумагу и расплылись на ней. — Я плачу, но не от горя или страха, а от умиления перед самой торжественной минутой моей жизни и оттого, что

люблю тебя. Друзей моих не упрекай, а люби. Особенно Прохорова, именно за то, что он был причиной моей смерти. Это так радостно любить того, кто не то что виноват, но которого можно упрекать, ненавидеть. Полюбить такого человека — врага — такое счастье! Наташе скажи, что ее любовь была моим утешением и радостью. Я не понимал этого ясно, но в глубине души сознавал. Мне было легче жить, зная, что она есть и любит меня. Ну, сказал все. Прощай!»

Он перечел письмо и, в конце его прочтя имя Прохорова, вдруг вспомнил, что письмо могут прочесть, наверное прочтут, и это погубит Прохорова.

— Боже мой, что я наделал! — вдруг вскрикнул он и, разорвав письмо на длинные полосы, стал старательно сжигать их на лампе.

Он сел писать с отчаянием, а теперь чувствовал себя спокойным, почти радостным.

Он взял другой лист и тотчас же стал писать. Мысли одна за другой толпились в его голове.

«Милая, голубушка мама! — писал он, и опять глаза его затуманились слезами, и ему надо было вытирать их рукавом халата, чтобы видеть то, что он пишет. — Как я не знал себя, не знал всю силу той любви к тебе и благодарности, которая всегда жила в моем сердце! Теперь я знаю и чувствую, и когда вспоминаю: наши размолвки, мои недобрые слова, сказанные тебе, мне больно и стыдно и почти непонятно. Прости же меня и вспоминай только то хорошее, если что было такого во мне.

Смерти я не боюсь. По правде сказать, не понимаю ее, не верю в нее. Ведь если есть смерть, уничтожение, то разве не все равно умереть тридцатью годами или минутами раньше или позже? Если же нет смерти, то уж совсем все равно, раньше или позже».

«Но что я философствую, — подумал он, — надо сказать то, что было в том письме, — что-то хорошее в конце. — Да». — «Друзей моих не упрекай, а люби, и особенно того, кто был причиной невольной моей смерти. Наташу поцелуй за меня и скажи ей, что я любил ее всегда».

Он сложил письмо, запечатал и сел на кровать, положив руки на колена и глотая слезы.

Он все не верил, что должен умереть. Несколько раз он, опять задавая себе вопрос, не спит ли он, тщетно старался проснуться. И эта мысль навела его на другую: о том, что и вся жизнь в этом мире не есть ли сон, пробуждение от которого будет смерть. А если это так, то сознание жизни в этом мире не есть ли только пробуждение от сна предшествующей жизни, подробности которой и я не помню? Так что жизнь здесь не начало, а только новая форма жизни. Умру и перейду в новую форму. Мысль эта понравилась ему; но когда он хотел опереться на нее, он почувствовал, что эта мысль, да и всякая мысль, какая бы ни была, не может дать бесстрашие перед смертью. Наконец он устал думать. Мозг больше не работал. Он закрыл глаза и долго сидел так, не думая.

«Как же? Что же будет? — опять вспомнил он. — Ничего? Нет, не ничего. А что же?»

И ему вдруг совершенно ясно стало, что на эти вопросы для живого человека нет и не может быть ответа.

«Так зачем же я спрашиваю себя об этом? Зачем? Да, зачем? Не надо спрашивать, надо жить так, как я жил сейчас, когда писал это письмо. Ведь мы все приговорены давно, всегда, и живем. Живем хорошо, радостно, когда... любим. Да, когда любим. Вот я писал письмо, любил, и мне было хорошо. Так и надо жить. И можно жить везде и всегда, и на воле, и в тюрьме, и нынче, и завтра, и до самого конца».

Ему хотелось сейчас же ласково, любовно поговорить с кем-нибудь. Он постучал в дверь, и когда часовой заглянул к нему, он спросил его, который час и скоро ли он будет сменяться, но часовой ничего не ответил ему. Тогда он попросил позвать смотрителя. Смотритель пришел, спрашивая, что ему нужно.

— Вот я написал письмо матери, отдайте, пожалуйста, — сказал он, и слезы выступили ему на глаза при воспоминании о матери.

Смотритель взял письмо и, обещая передать его, хотел уходить, но Светлогуб остановил его.

— Послушайте, вы добрый. Зачем вы служите в этой тяжелой должности? — сказал он, ласково трогая его за рукав.

Смотритель неестественно жалостно улыбнулся и, опустив глаза, сказал:

— Надо же жить.

— А вы оставьте эту должность. Ведь всегда можно устроиться. Вы такой добрый. Может быть, я бы мог...

Смотритель вдруг всхлипнул, быстро повернулся и вышел, хлопнув дверью.

Волнение смотрителя еще больше умилило Светлогуба, и, удерживая радостные слезы, он стал ходить от стены до стены, не испытывая теперь уже никакого страха, а только умиленное состояние, поднимавшее его выше мира.

Тот самый вопрос, что будет с ним после смерти, на который он так старался и не мог ответить, казался разрешенным для него и не каким-либо положительным, рассудочным ответом, а сознанием той истинной жизни, которая была в нем.

И он вспомнил слова Евангелия: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падши на землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». «Вот и я упадаю в землю. Да, истинно, истинно», — думал он.

«Заснуть бы, — вдруг подумал он, — чтобы не ослабеть потом». Он лег на койку, закрыл глаза и тотчас же заснул.

Он проснулся в шесть часов утра, весь под впечатлением светлого, веселого сновидения. Он видел во сне, что он с какой-то маленькой белокурой девочкой лазает по развесистым деревьям, осыпанным спелыми черными черешнями, и собирает в большой медный таз. Черешни не попадают в таз и сыплются на землю, и какие-то странные животные, вроде кошек, ловят черешни и подбрасывают кверху и опять ловят. И, глядя на это, девочка заливается, хохочет так заразительно, что и Светлогуб тоже весело смеется во сне, сам не зная чему. Вдруг медный таз выскальзывает из рук девочки, Светлогуб хочет поймать его, но не успевает, и таз с медным грохотом, толкаясь о сучья, падает на землю. И он про-

сыпается, улыбаясь и слушая продолжающийся грохот таза. Грохот этот есть звук отворяемых железных запоров в коридоре. Слышны шаги по коридору и бряканье ружей. Он вдруг вспоминает все. «Ах, если бы заснуть опять!» — думает Светлогуб, но заснуть уже нельзя. Шаги подошли к его двери. Он слышит, как ключ ищет замка и как, отворяясь, скрипит дверь.

Вошли жандармский офицер, смотритель и конвой.

«Смерть? Ну, так что же? Уйду. Да, это хорошо. Все хорошо», — думает Светлогуб, чувствуя, как возвращается к нему то умиленно-торжественное состояние, в котором он был вчера.

VI

В той же тюрьме, где содержался Светлогуб, содержался и старик раскольник, беспоповец, усомнившийся в своих руководителях и искавший истинную веру. Он отрицал не только никонианскую церковь, но и правительство со времени Петра, которого считал антихристом, царскую власть называл «табачной державой» и смело высказывал то, что думал, обличая попов и чиновников, за что и был судим и содержим в остроге и пересылаем из одной тюрьмы в другую. То, что он не на воле, а в тюрьме, что над ним ругались смотрители, что на него надевали кандалы, что над ним издевались сотоварищи узники, что все они, так же как и начальство, отреклись от бога и ругались друг над другом и оскверняли всячески в себе образ божий, — все это не занимало его, все это он видел везде в миру, когда был на воле. Все это, он знал, происходило оттого, что люди потеряли истинную веру и все разбрелись, как слепые цыплята от матери. А между тем он знал, что истинная вера есть. Знал он это потому, что чувствовал эту веру в своем сердце. И он искал эту веру везде. Больше всего он надеялся найти ее в откровении Иоанна.

«Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Се грядущее скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам

его». И он постоянно читал эту таинственную книгу и всякую минуту ждал «грядущего», который не только воздаст каждому по делам его, но и откроет всю божескую истину людям.

В утро казни Светлогуба он услышал барабаны и, влезши на окно, увидал через решетку, как подвезли колесницу и как вышел из тюрьмы юноша с светлыми очами и вьющимися кудрями и, улыбаясь, взошел на колесницу. В небольшой белой руке юноши была книга. Юноша прижимал к сердцу книгу, — раскольник узнал, что это было Евангелие, — и, кивая в окна заключенным, улыбаясь, переглянулся с ним. Лошади тронулись, и колесница с сидевшим в ней светлым, как ангел, юношей, окруженная стражниками, гроыхая по камням, выехала за ворота.

Раскольник слез с окна, сел на свою койку и задумался. «Этот познал истину, — думал он. — Антихристовы слуги затем и задавят его веревкой, чтоб не открыл никому».

VII

Было пасмурное осеннее утро. Солнца не видно было. С моря дул влажный теплый ветер.

Свежий воздух, вид домов, города, лошадей, людей, смотревших на него, — все это развлекало Светлогуба. Сидя на скамейке колесницы, спиною к кучеру, он невольно вглядывался в лица конвоирующих его солдат и встречавшихся жителей.

Был ранний час утра, улицы, по которым его везли, были почти пусты, и встречались только рабочие. Обрызганные известкой каменщики в фартуках, поспешно шедшие ему навстречу, остановились и вернулись назад, равняясь с колесницей. Один из них что-то сказал, махнул рукой, и все они повернулись и пошли назад к своему делу; извозчики-ломовики, везущие гремящие полосы железа, своротив своих крупных лошадей, чтобы дать дорогу колеснице, остановились и с недоумевающим любопытством смотрели на него. Один из них снял шапку и перекрестился. Кухарка в белом фартуке и чепчике, с корзинкой в руке, вышла из ворот, но, уви-

дав колесницу, быстро вернулась во двор и выбежала оттуда с другой женщиной, и обе, не переводя дыхания, широко раскрытыми глазами проводили колесницу до тех пор, пока могли видеть ее. Какой-то растерзанно одетый, небритый седоватый человек что-то, очевидно неодобрительное, с энергическими жестами внушал дворнику, указывая на Светлогуба. Два мальчика рысью догнали колесницу и с повернутыми головами, не глядя перед собой, шагали рядом с ней по тротуару. Один, постарше, шел быстрыми шагами; другой, маленький, без шапки, держась за старшего и испуганно глядя на колесницу, короткими ножонками с трудом, спотыкаясь, поспевал за старшим. Встретившись с ним глазами, Светлогуб кивнул ему головой. Этот жест страшного человека, везомого на колеснице, так смутил мальчика, что он, выпучивши глаза и раскрыв рот, собрался плакать. Тогда Светлогуб, поцеловав свою руку, ласково улыбнулся ему. И мальчик вдруг неожиданно ответил милой, доброй улыбкой.

Во все время переезда сознание того, что ожидает его, не нарушало спокойно-торжественного настроения Светлогуба.

Только когда колесница подъехала к виселице и его свели с нее и он увидал столбы с перекладиной и слегка качавшейся на ней от ветра веревкой, он почувствовал как будто физический удар в сердце. Ему вдруг стало тошно. Но это продолжалось недолго. Вокруг помоста он увидал черные ряды солдат с ружьями. Впереди солдат ходили офицеры. И как только его стали сводить с колесницы, раздался неожиданный, заставивший его вздрогнуть треск барабанной дроби. Позади рядов солдат Светлогуб увидал коляски господ и дам, очевидно приехавших смотреть на зрелище. Вид всего этого в первую минуту удивил Светлогуба, но тотчас же он вспомнил себя, какой он был до тюрьмы, и ему стало жалко того, что люди эти не знают, что он знал теперь. «Но они узнают. Я умру, но истина не умрет. Они будут знать. И как все — уж не я, а все они могли бы быть и будут счастливыми».

Его ввели на помост, и вслед за ним вошел офицер. Барабаны замолкли, и офицер прочел ненатуральным

голосом, особенно слабо звучащим среди широкого поля и после треска барабанов, тот глупый смертный приговор, который ему читали на суде: о лишении прав того, кого убивают, и о близком и далеком будущем. «Зачем, зачем они делают все это? — думал Светлогуб. — Как жалко, что они еще не знают и что я уже не могу передать им всего, но они узнают. Все узнают».

К Светлогубу подошел худощавый, с длинными редкими волосами священник в лиловой рясе, с одним небольшим золоченым крестом на груди и с другим большим серебряным крестом, который он держал в слабой, белой, жилистой, худой руке, выступавшей из чернобархатного обшлага.

— Милосердный господь, — начал он, перекладывая крест из левой руки в правую и поднося его к Светлогубу.

Светлогуб вздрогнул и отстранился. Он чуть было не сказал недоброго слова священнику, участвующему в совершаемом над ним деле и говорящему о милосердии, но, вспомнив слова Евангелия: «Не знают, что творят», сделал усилие и робко проговорил:

— Извините, мне не надо этого. Пожалуйста, простите меня, но мне, право, не надо! Благодарю вас.

Он протянул священнику руку. Священник переложил опять крест в левую руку и, пожав руку Светлогуба, стараясь не смотреть ему в лицо, спустился с помоста. Барабаны опять затрещали, заглушая все другие звуки. Вслед за священником, колебля доски помоста, быстрыми шагами подошел к Светлогубу среднего возраста человек с покатыми плечами и мускулистыми руками, в пиджаке сверх русской рубахи. Человек этот, быстро оглянув Светлогуба, совсем близко подошел к нему и, обдав его неприятным запахом вина и пота, схватил его цепкими пальцами за руки выше кисти и, сжав их так, что стало больно, загнул их ему за спину и туго завязал. Завязав руки, палач на минуту остановился, как бы соображая и взглядывая то на Светлогуба, то на какие-то вещи, которые он принес с собой и положил на помосте, то на висевшую на перекладине веревку. Сообразив то, что ему нужно было, он подошел

к веревке, что-то сделал с ней, подвинул Светлогуба вперед ближе к веревке и обрыву помоста.

Как при объявлении смертного приговора Светлогуб не мог понять всего значения того, что объявлялось ему, так и теперь он не мог обнять всего значения предстоящей минуты и с удивлением смотрел на палача, поспешно, ловко и озабоченно исполняющего свое ужасное дело. Лицо палача было самое обыкновенное лицо русского рабочего человека, не злое, но сосредоточенное, какое бывает у людей, старающихся как можно точнее исполнить нужное и сложное дело.

— Еще сюда вот подвинься... или подвиньтесь... — проговорил хриплым голосом палач, толкая его к виселице. Светлогуб подвинулся.

«Господи, помоги, помилуй меня!» — проговорил он.

Светлогуб не верил в бога и даже часто смеялся над людьми, верящими в бога. Он и теперь не верил в бога, не верил потому, что не мог не только словами выразить, но мыслью обнять его. Но то, что он разумел теперь под тем, к кому обращался, — он знал это, — было нечто самое реальное из всего того, что он знал. Знал и то, что обращение это было нужно и важно. Знал это потому, что обращение это тотчас успокоило, укрепило его.

Он подвинулся к виселице и, невольно окинув взглядом ряды солдат и пестрых зрителей, еще раз подумал: «Зачем, зачем они делают это?» И ему стало жалко и их и себя, и слезы выступили ему на глаза.

— И не жалко тебе меня? — сказал он, уловив взгляд бойких серых глаз палача.

Палач на минуту остановился. Лицо его вдруг сделалось злое.

— Ну вас! Разговаривать! — пробормотал он и быстро нагнулся к полу, где лежала его поддевка и какое-то полотно, и, ловким движением обеих рук сзади обняв Светлогуба, накинул ему на голову холстинный мешок и поспешно обдернул его до половины спины и груди.

«В руки твои предаю дух мой», — вспомнил Светлогуб слова Евангелия.

Дух его не противился смерти, но сильное, молодое тело не принимало ее, не покорялось и хотело бороться.

Он хотел крикнуть, рвануться, но в то же мгновение почувствовал толчок, потерю точки опоры, животный ужас задыхания, шум в голове и исчезновение всего.

Тело Светлогуба, качаясь, повисло на веревке. Два раза поднялись и опустились плечи.

Подождав минуты две, палач, мрачно хмурясь, положил руки на плечи трупу и сильным движением потянул его. Все движения трупа прекратились, кроме медленного покачивания висевшей в мешке куклы с неестественно выпяченной вперед головой и вытянутыми в арестантских чулках ногами.

Сходя с помоста, палач объявил начальнику, что труп можно снять с петли и похоронить.

Через час труп был снят с виселицы и отвезен на неосвященное кладбище.

Палач исполнил то, что хотел и что взялся исполнить. Но исполнение это было нелегко. Слова Светлогуба: «И не жалко тебе меня» — не выходили у него из головы. Он был убийца, каторжник, и звание палача давало ему относительную свободу и роскошь жизни, но с этого дня он отказался впредь исполнять взятую на себя обязанность и в ту же неделю пропил не только все деньги, полученные за казнь, но и всю свою относительно богатую одежду, и дошел до того, что был посажен в карцер, а из карцера переведен в больницу.

VIII

Один из главарей революционеров террористической партии, Игнатий Меженецкий, тот самый, который увлек Светлогуба в террористическую деятельность, пересылался из губернии, где его взяли, в Петербург. В той же тюрьме сидел и старик раскольник, видевший казнь Светлогуба. Его пересылали в Сибирь. Он все так же думал о том, как и где бы ему узнать, в чем истинная вера, и иногда вспоминал про того светлого юношу, который, идя на смерть, радостно улыбался.

Узнав, что в одной с ним тюрьме сидит товарищ этого юноши, человек одной с ним веры, раскольник обрадовался и упросил вахтера, чтобы он свел его к другу Светлогуба.

Меженецкий, несмотря на все строгости тюремной дисциплины, не переставал сноситься с людьми своей партии и ждал каждый день известия о том подкопе, который им же был выдуман и придуман для взрыва на воздух царского поезда. Теперь, вспоминая некоторые упущенные им подробности, он придумывал средства передать их своим единомышленникам. Когда вахтер пришел в его камеру и осторожно, тихо сказал ему, что один арестант хочет видиться с ним, он обрадовался, надеясь, что это свидание даст ему возможность сообщения с своей партией.

— Кто он? — спросил он.

— Из крестьян.

— Что ж ему нужно?

— Об вере говорить хочет.

Меженецкий улыбнулся.

— Ну, что же, пошлите его, — сказал он. «Они, раскольники, тоже ненавидят правительство. Может быть, и пригодится», — подумал он.

Вахтер ушел и через несколько минут, отворив дверь, впустил в камеру сухого, невысокого старика, с густыми волосами и редкой седеющей козлиной бородкой, с добрыми, усталыми голубыми глазами.

— Что вам надо? — спросил Меженецкий.

Старик вскинул на него глазами и, поспешно опустив их, подал небольшую, энергическую, сухую руку.

— Что вам надо? — повторил Меженецкий.

— Слово до тебя есть.

— Какое слово?

— Об вере.

— О какой вере?

— Сказывают, ты одной веры с тем вьюношем, что в Одесте антихристовы слуги задавили веревкой.

— Каким юношей?

— А в Одесте по осени задавили.

— Верно, Светлогуб?

— Он самый. Друг он тебе? — старик при каждом вопросе пытливо взглядывал своими добрыми глазами в лицо Меженецкого и тотчас опять опускал их.

— Да, близкий был мне человек.

— И веры одной?

— Должно быть, одной, — улыбаясь, сказал Меженецкий.

— Об этом самом и слово мое к тебе.

— Что же, собственно, вам нужно?

— Веру вашу познать.

— Веру нашу... Ну, садитесь, — сказал Меженецкий, пожимая плечами. — Вера наша вот в чем. Верим мы в то, что есть люди, которые забрали силу и мучают и обманывают народ, и что надо не жалеть себя, бороться с этими людьми, чтобы избавить от них народ, который они эксплуатируют, — по привычке сказал Меженецкий, — мучают, — поправился он. — И вот их-то надо уничтожить. Они убивают, и их надо убивать до тех пор, пока они не опомнятся.

Старик раскольник вздыхал, не поднимая глаз.

— Вера наша в том, чтобы не жалеть себя, свергнуть деспотическое правительство и установить свободное, выборное, народное.

Старик тяжело вздохнул, встал, расправил полы халата, опустился на колени и лег к ногам Меженецкого, стукнувшись лбом о грязные доски пола.

— Зачем вы кланяетесь?

— Не оманывай ты меня, открой, в чем вера ваша, — сказал старик, не вставая и не поднимая головы.

— Я сказал, в чем наша вера. Да вы встаньте, а то я и говорить не буду.

Старик поднялся.

— В том и вера того юноши была? — сказал он, стоя перед Меженецким и изредка взглядывая ему в лицо своими добрыми глазами и тотчас же опять опускающая их.

— В том самом и была, за то его и повесили. А меня вот за ту же веру теперь в Петропавловку везут.

Старик поклонился в пояс и молча вышел из камеры.

«Нет, не в том вера того юноши, — думал он. — Тот юнош знал истинную веру, а этот либо хвастался, что он одной с ним веры, либо не хочет открыть... Что же, буду добиваться. И здесь и в Сибири. Везде бог, везде люди. На дороге стал, о дороге спрашивай», — думал старик и опять взял Новый завет, который сам собой раскрывался на Откровении, и, надев очки, сел у окна и стал читать его.

IX

Прошло еще семь лет. Меженецкий отбыл одиночное заключение в Петропавловской крепости и пересылался на каторгу.

Он много перенес за эти семь лет, но направление его мыслей не изменилось, и энергия не ослабела. При допросах, перед заключением в крепость, он удивлял следователей и судей своей твердостью и презрительным отношением к тем людям, во власти которых он находился. В глубине души он страдал оттого, что был пойман и не мог докончить начатого дела, но не показывал этого: как только он приходил в соприкосновение с людьми, в нем поднималась энергия злобы. На вопросы, которые ему делали, он молчал и только тогда говорил, когда был случай уязвить допрашивающих — жандармского офицера или прокурора.

Когда ему сказали обычную фразу: «Вы можете облегчить свое положение искренним признанием», он презрительно улыбнулся и, помолчав, сказал:

— Если вы думаете выгодой или страхом заставить меня выдать товарищей, то судите по себе. Неужели вы думаете, что, делая то дело, за которое вы меня судите, я не готовился к самому худшему? Так вы ничем ни удивить, ни испугать меня не можете. Делать со мной можете, что хотите, а говорить я не буду.

И ему приятно было видеть, как они смущенно переглянулись между собой.

Когда его в Петропавловской крепости поместили в маленькую, с темным стеклом в высоком окне, сырую камеру, он понял, что это не на месяцы, а на годы, — и на него нашел ужас. Ужасна была эта благоустроенная

мертвая тишина и сознание того, что он не один, а что тут, за этими непроницаемыми стенами, сидят такие же узники, приговоренные на десять, двадцать лет, убивающиеся, и вешаемые, и сходящие с ума, и медленно умирающие чахоткой. Тут и женщины и мужчины, и друзья, может быть... «Пройдут годы, и ты так же сойдешь с ума, повесишься или умрешь, и не узнают про тебя», — думал он.

И в душе его поднималась злоба на всех людей и в особенности на тех, которые были причиной его заключения. Злоба эта требовала присутствия предметов злобы, требовала движения, шума. А тут мертвая тишина, мягкие шаги молчаливых, не отвечающих на вопросы людей, звуки отпираемых, запираемых дверей, в обычные часы пища, посещение молчаливых людей и сквозь тусклые стекла свет от поднимающегося солнца, темнота и та же тишина, те же мягкие шаги, и одни и те же звуки. Так нынче, завтра... И злоба, не находя себе выхода, разъедала его сердце.

Пробовал он стучать, но ему не отвечали, и стук его вызывал только опять те же мягкие шаги и ровный голос человека, угрожавшего карцером.

Единственное время отдыха и облегчения было время сна. Но зато ужасно было пробуждение. Во сне он всегда видел себя на свободе и большей частью увлекающимся такими делами, которые он считал несогласными с революционной деятельностью. То он играл на какой-то странной скрипке, то ухаживал за девицами, то катался в лодке, то ходил на охоту, то за какое-то странное научное открытие был провозглашен доктором иностранного университета и говорил благодарственную речь за обедом. Сны эти были так яркие, а действительность так скучна и однообразна, что воспоминания мало отличались от действительности.

Тяжело было в сновидениях только то, что большей частью он просыпался в тот момент, когда вот-вот должно было совершиться то, к чему он стремился, чего желал. Вдруг толчок сердца — и вся радостная обстановка исчезала; оставалось мучительное, неудовлетворенное желание, опять эта с разводами сырости се-

рая стена, освещенная лампочкой, и под телом жесткая койка с примятым на один бок сеником.

Сон был лучшим временем. Но чем дольше продолжалось заключение, тем меньше он спал. Как величайшего счастья он ждал сна, желал его, и чем больше желал, тем больше разгуливался. И стоило ему задать себе вопрос: «Засыпаю ли я?» — и проходила вся сонливость.

Беганье, прыганье по своей клетке не помогало. От усиленного движения только делалась слабость и еще большее возбуждение нервов, делалась головная боль в темени, и стоило только закрыть глаза, чтобы на темном с блестками фоне стали выступать рожи лохматые, плешивые, большеротые, криворотые, одна страшнее другой. Рожи гримасничали самыми ужасными гримасами. Потом рожи стали являться уже при открытых глазах, и не только рожи, но целые фигуры, стали говорить и плясать. Становилось страшно, он вскакивал, бился головой о стену и кричал. Форточка в двери отворялась.

— Кричать не полагается, — говорил спокойный, ровный голос.

— Позовите зрителя! — кричал Меженецкий.

Ему ничего не отвечали, и форточка закрывалась.

И такое отчаяние охватывало Меженецкого, что он одного желал — смерти.

Один раз в таком состоянии он решил лишить себя жизни. В камере был душник, на котором можно было утвердить веревку с петлею и, став на койку, повеситься. Но не было веревки. Он стал разрывать простыню на узкие полосы, но полос этих оказалось мало. Тогда он решил заморить себя голодом и не ел два дня, но на третий день ослабел, и припадок галлюцинаций повторился с ним с особенной силой. Когда принесли ему пищу, он лежал на полу без чувств, с открытыми глазами.

Пришел доктор, положил его на койку, дал ему бром и морфину, и он заснул.

Когда на другой день он проснулся, доктор стоял над ним и покачивал головой. И вдруг Меженецкого

охватило знакомое ему прежде бодрящее чувство злости, которого он давно уже не испытывал.

— Как вам не стыдно, — сказал он доктору в то время, как тот, наклонив голову, считал его пульс, — служить здесь! Зачем вы меня лечите, чтобы опять мучить? Ведь это все равно как присутствовать при сечении и разрешать повторить операцию.

— Потрудитесь на спинку лечь, — сказал невозмутимо доктор, не глядя на него и доставая инструмент для оскультации из бокового кармана.

— Те залечивали раны, чтобы догнать остальные пять тысяч палок. К черту, к дьяволу! — вдруг закричал он, скидывая ноги с койки. — Убирайтесь, издохну без вас!

— Нехорошо, молодой человек, на грубости есть у нас свои ответы.

— К черту, к черту!

И Меженецкий был так страшен, что доктор поспешил уйти.

Х

Произошло ли это от приемов лекарств, или он пережил кризис, или поднявшаяся злоба на доктора вылечила его, но с этой поры он взял себя в руки и начал совсем другую жизнь.

«Вечно держать меня здесь они не могут и не станут, — думал он. — Освободят же когда-нибудь. Может быть, — что всего вероятнее, — изменится режим (наши продолжают работать), и потому надо беречь жизнь, чтобы выйти сильным, здоровым и быть в состоянии продолжать работу».

Он долго обдумывал наилучший для этой цели образ жизни и придумал так: ложился он в девять часов и заставлял себя лежать — спать или не спать, все равно — до пяти часов утра. В пять часов он вставал, убирался, умывался, делал гимнастику и потом, как он себе говорил, шел по делам. И в воображении он шел по Петербургу, с Невского на Надеждинскую, стараясь представлять себе все то, что могло встретиться ему на этом переходе: вывески, дома, городовые, встречаю-

щиеся экипажи и пешеходы. В Надеждинской он входил в дом своего знакомого и сотрудника, и там они, вместе с пришедшими товарищами, обсуживали предстоящее предприятие. Шли прения, споры. Меженецкий говорил и за себя и за других. Иногда он говорил вслух, так что часовой в окошечко делал ему замечания, но Меженецкий не обращал на него никакого внимания и продолжал свой воображаемый петербургский день. Пробыв часа два у приятеля, он возвращался домой и обедал, сначала в воображении, а потом в действительности, тем обедом, который ему приносили, и ел всегда умеренно. Потом он, в воображении, сидел дома и занимался то историей, математикой и иногда, по воскресеньям, литературой. Занятие историей состояло в том, что он, избрав какую-нибудь эпоху и народ, вспоминал факты и хронологию. Занятие математикой состояло в том, что он делал наизусть выкладки и геометрические задачи. (Он особенно любил это занятие.) По воскресеньям он вспоминал Пушкина, Гоголя, Шекспира и сам сочинял.

Перед сном он еще делал маленькую экскурсию, в воображении ведя с товарищами, мужчинами и женщинами, шуточные, веселые, иногда серьезные разговоры, иногда бывшие прежде, иногда вновь выдумываемые. И так шло дело до ночи. Перед сном он для упражнения делал в действительности две тысячи шагов в своей клетке и ложился на свою койку и большей частью засыпал.

На другой день было то же. Иногда он ехал на юг и подговаривал народ, начинал бунт и вместе с народом прогонял помещиков, раздавал землю крестьянам. Все это, однако, он воображал себе не вдруг, а постепенно, со всеми подробностями. В воображении его революционная партия везде торжествовала, правительственная власть слабела и была вынуждена созвать собор. Царская фамилия и все угнетатели народа исчезали, и устанавливалась республика, и он, Меженецкий, избирался президентом. Иногда он слишком скоро доходил до этого, и тогда начинал опять сначала и достигал цели другим способом.

Так он жил год, два, три, иногда отступая от этого строгого порядка жизни, но большей частью возвращаясь к нему. Управляя своим воображением, он освободился от произвольных галлюцинаций. Только изредка на него находили припадки бессонницы и видения, рожи, и тогда он глядел на отдушник и соображал, как он укрепит веревку, как сделает петлю и повесится. Но припадки эти продолжались недолго. Он преодолевал их.

Так прожил он почти семь лет. Когда срок его заключения кончился и его повезли на каторгу, он был вполне свеж, здоров и в полном обладании своих душевных сил.

XI

Везли его, как особенно важного преступника, одного, не давая ему общаться с другими. И только в красноярской тюрьме ему в первый раз удалось войти в общение с другими политическими преступниками, тоже ссылавшимися на каторгу; их было шесть человек — две женщины и четверо мужчин. Это были все молодые люди нового склада, незнакомого Меженецкому. Это были революционеры следующего за ним поколения, его наследники, и потому они особенно интересовали его. Меженецкий ожидал встретить в них людей, идущих по его стопам и потому долженствующих высоко оценить все то, что было сделано их предшественниками, особенно им, Меженецким. Он готовился ласково и снисходительно обойтись с ними. Но, к неприятному удивлению его, эта молодежь не только не считала его своим предшественником и учителем, но обращалась с ним как бы снисходительно, обходя и извиняя его устарелые взгляды. По мнению их, этих новых революционеров, все то, что делал Меженецкий и его друзья, все попытки возмущения крестьян и, главное, террор и все убийства: губернатора Кропоткина, Мезенцова и самого Александра II — все это был ряд ошибок. Все это привело только к реакции, торжествовавшей при Александре III и вернувшей общество назад, почти к крепостному праву. Путь освобождения народа, по мнению новых, был совсем иной.

В продолжение двух дней и почти двух ночей не переставали споры между Меженецким и его новыми знакомыми. Особенно один, руководитель всех, Роман, как его все звали только по имени, мучительно огорчал Меженецкого непоколебимой уверенностью в своей правоте и снисходительным, даже насмешливым отрицанием всей прошедшей деятельности Меженецкого и его товарищей.

Народ, по понятию Романа, грубая толпа, «быдло», и с народом, стоящим на той степени развития, на которой он стоит теперь, ничего сделать нельзя. Все попытки поднять русское сельское население — это все равно, что пытаться зажечь камень или лед. Нужно воспитать народ, нужно приучить его к солидарности, и это может сделать только большая промышленность и выросшая на ней социалистическая организация народа. Земля не только не нужна народу, но она-то и делает его консерватором и рабом. Не только у нас, но и в Европе. И он на память приводил мнения авторитетов и статистические цифры. Народ надо освободить от земли. И чем скорее это сделается, тем лучше. Чем больше их идут на фабрики, и чем больше забирают в руки землю капиталисты, и чем больше угнетают их, тем лучше. Уничтожиться деспотизм, а главное капитализм, может только солидарностью людей народа, а солидарность эта может быть достигнута только союзами, корпорациями рабочих, то есть только тогда, когда народные массы перестанут быть земельными собственниками и станут пролетариями.

Меженецкий спорил и горячился. Особенно раздражала его одна из женщин, недурная волосатая брюнетка с очень блестящими глазами, которая, сидя на окне и как будто не принимая прямого участия в разговоре, изредка вставляла словечки, подтверждавшие доводы Романа, или только презрительно посмеивалась на слова Меженецкого.

— Разве можно переделать весь земледельческий народ в фабричный? — говорил Меженецкий.

— Отчего же нельзя? — возражал Роман. — Это общий экономический закон.

— Почему мы знаем, что закон это всеобщий? — говорил Меженецкий.

— Прочтите Каутского, — презрительно улыбаясь, встала брюнетка.

— Если и допустить, — говорил Меженецкий, — (я не допускаю этого) что народ переделается в пролетариев, то почему вы думаете, что он сложится в ту, вперед предназначенную ему вами форму?

— Потому что это научно обосновано, — вставляла брюнетка, поворачиваясь от окна.

Когда же речь зашла о форме деятельности, которая нужна для достижения цели, разногласие стало еще больше. Роман и его друзья стояли на том, что нужно подготавливать армию рабочих, содействовать переходу крестьян в фабричных и пропагандировать социализм среди рабочих. И не только не бороться открыто с правительством, а пользоваться им для достижения своих целей. Меженецкий же говорил, что надо прямо бороться с правительством, терроризировать его, что правительство и сильнее и хитрее вас. «Не вы обманете правительство, а оно вас. Мы и пропагандировали народ и боролись с правительством».

— И как много сделали! — иронически проговорила брюнетка.

— Да, я думаю, что прямая борьба с правительством — неправильная трата сил, — сказал Роман.

→ Первое марта трата сил! — закричал Меженецкий. — Мы жертвовали собой, жизнями, а вы спокойно сидите по домам, наслаждаясь жизнью, и только проповедуете.

— Не очень-то наслаждаемся жизнью, — спокойно сказал Роман, оглядываясь на своих товарищей, и победоносно расхохотался своим незаразительным, но громким, отчетливым, самоуверенным смехом.

Брюнетка, покачивая головой, презрительно улыбалась.

— Не очень-то наслаждаемся жизнью, — сказал Роман. — А если и сидим здесь, то обязаны этим реакции, а реакция — произведение именно первого марта.

Меженецкий замолчал. Он чувствовал, что задыхается от злобы, и вышел в коридор.

Стараясь успокоиться, Меженецкий стал ходить взад и вперед по коридору. Двери камер до вечерней переклички были открыты. Высокий белокурый арестант, с лицом, добродушие которого не нарушалось до половины выбритой головой, подошел к Меженецкому.

— Арестантик тут, в нашей камере, увидел ваше степенство, — позови, говорит, его ко мне.

— Какой арестант?

— «Табачная держава», так ему прозвище. Старичок он, из раскольников. Позови, говорит, ко мне того человека. Про ваше степенство, значит.

— Где же он?

— Во тут, в нашей камере. Покличь, говорит, того барина.

Меженецкий вошел с арестантом в небольшую камеру с нарами, на которых сидели и лежали арестанты.

На голых досках, под серым халатом, на краю нар, лежал тот самый старик раскольник, который семь лет тому назад приходил к Меженецкому расспрашивать о Светлогубе. Лицо старика, бледное, все ссохлось и сморщилось, волосы все были такие же густые, редкая бородка была совсем седая и торчала кверху. Глаза голубые, добрые и внимательные. Он лежал навзничь и, очевидно, был в жару: на маслаках щек был болезненный румянец.

Меженецкий подошел к нему.

— Что вам? — спросил он.

Старик с трудом поднялся на локоть и подал трясущуюся сухую небольшую руку. Он, собираясь говорить, как бы раскачиваясь, стал тяжело дышать и, с трудом переводя дыханье, тихо заговорил:

— Не открыл ты мне тогда, — бог с тобой, а я всем открываю.

— Что же открываете?

— Про агнца... про агнца открываю... тот юноша с агнцем был. А сказано: агнец победит я, всех победит... И кто с ним, те избранныи и вернии,

— Я не понимаю, — сказал Меженецкий.

— А ты понимай в духе. Цари область примут со зверем. А агнец победит я.

— Какие цари? — сказал Меженецкий.

— И цари семь суть: пять их пало и один остался, другой еще не придет, не пришел, значит. И егда придет, мало ему есть... значит, конец ему придет... понял?

Меженецкий покачивал головой, думая, что старик бредит и слова его бессмысленны. Так же думали и арестанты, товарищи по камере. Тот бритый арестант, который звал Меженецкого, подошел к нему и, слегка толкнув его локтем и обратив на себя внимание, подмигнул на старика.

— Всё болтает, всё болтает, табачная держава наша, — сказал он. — А что, и сам не знает.

Так думали, глядя на старика, и Меженецкий и его сотоварищи по камере. Старик же хорошо знал, что говорил, и то, что он говорил, имело для него ясный и глубокий смысл. Смысл был тот, что злу, недолго остается царствовать, что агнец добром и смирением побеждает всех, что агнец утрет всякую слезу, и не будет ни плача, ни болезни, ни смерти. И он чувствовал, что это уже совершается, совершается во всем мире, потому что это совершается в просветленной близости к смерти душе его.

— Ей гряди скоро! Аминь. Ей гряди, господи Иисусе! — проговорил он и слегка значительно и, как показалось Меженецкому, сумасшедше улыбнулся.

XIII

«Вот он, представитель народа, — подумал Меженецкий, выходя от старика. — Это лучший из них. И какой мрак! Они (он разумел Романа с его друзьями) говорят: с таким народом, каков он теперь, ничего нельзя сделать».

Меженецкий одно время работал свою революционную работу среди народа и знал всю, как он выражался, «инертность» русского крестьянина; сходилась и с

солдатами на службе и отставными и знал их тупую веру в присягу, в необходимость повиновения и невозможность рассуждением подействовать на них. Он знал все это, но никогда не делал из этого знания того вывода, который неизбежно вытекал из него. Разговор с новыми революционерами расстроил, раздражил его.

«Они говорят, что все то, что делали мы, что делали Халтурин, Кибальчич, Перовская, что все это было ненужно, даже вредно, что это-то и вызвало реакцию Александра III, что благодаря им народ убежден, что вся революционная деятельность идет от помещиков, убивших царя за то, что он отнял у них крепостных. Какой вздор! Какое непонимание и какая дерзость думать так!» — думал он, продолжая ходить по коридору.

Все камеры были закрыты, исключая одной той, в которой были новые революционеры. Подходя к ней, Меженецкий услышал смех ненавистной ему брюнетки и трескучий, решительный голос Романа. Они, очевидно, говорили про него. Меженецкий остановился слушать. Роман говорил:

— Не понимая экономических законов, они не отдавали себе отчета в том, что делали. И большая доля тут была...

Меженецкий не мог и не хотел дослушать, чего тут была большая доля, но ему и не нужно было знать этого. Один тон голоса этого человека показывал то полное презрение, которое испытывали эти люди к нему, к Меженецкому, герою революции, погубившему двенадцать лет жизни для этой цели.

И в душе Меженецкого поднялась такая страшная злоба, какой он еще никогда не испытывал. Зло на всех, на всё, на весь этот бессмысленный мир, в котором могли жить только люди, подобные животным, как этот старик с своим агнцем, и такие же полуживотные палачи и тюремщики, эти наглые, самоуверенные, мертворожденные доктринеры.

Вошел дежурный вахтер и увел политических женщин на женскую половину. Меженецкий отошел в дальний конец коридора, чтобы не встречаться с ними. Вернувшись, вахтер запер дверь новых политических и

предложил Меженецкому войти к себе. Меженецкий машинально послушался, но попросил не запирать своей двери.

Вернувшись в свою камеру, Меженецкий лег на койку, лицом к стене.

«Неужели в самом деле так понапрасну погублены все силы: энергия, сила воли, гениальность (он никогда никого не считал выше себя по душевным качествам) погублены задаром!» Он вспомнил недавно, уже по дороге в Сибирь, полученное им письмо от матери Светлогуба, упрекавшей его по-женски, глупо, как он думал, за то, что он погубил ее сына, увлекши в террористическую партию. Получив письмо, он только презрительно улыбнулся: что могла понимать эта глупая женщина о тех целях, которые стояли перед ним и Светлогубом. Но теперь, вспомнив письмо и милую, доверчивую, горячую личность Светлогуба, он задумался сначала о нем, а потом и о себе. Неужели вся жизнь была ошибка? Он закрыл глаза и хотел заснуть, но вдруг с ужасом почувствовал, что возвратилось то состояние, которое он испытывал первый месяц в Петропавловской крепости. Опять боль в темени, опять рожи, большеротые, мохнатые, ужасные, на темном фоне с звездочками, и опять фигуры, представляющиеся открытым глазам. Новое было то, что какой-то уголовный, в серых штанах, с бритой головой, качался над ним. И опять, по связи идей, он стал искать отдушника, на котором можно бы было утвердить веревку.

Невыносимая злоба, требующая проявления, жгла сердце Меженецкого. Он не мог сидеть на месте, не мог успокоиться, не мог отогнать своих мыслей.

«Как? — стал он уж задавать себе вопрос. — Разрезать артерию? Не сумею. Повеситься? Разумеется, самое простое».

Он вспомнил о веревке, которой была перевязана вязанка дров, лежащая в коридоре. «Стать на дрова или на табуретку. В коридоре ходит вахтер. Но он заснет или выйдет. Надо выждать и тогда унести к себе веревку и утвердить на отдушнике».

Стоя у своей двери, Меженецкий слушал шаги вахтера в коридоре и изредка, когда вахтер уходил в дальний конец, выглядывал в отверстие двери. Вахтер все не уходил и все не засыпал. Меженецкий жадно прислушивался к звукам его шагов и ожидал.

В это время в той камере, где был больной старик, среди темноты, чуть освещаемой коптящей лампой, среди сонных ночных звуков дыханья, ворчанья, крик-тенья, храпа, кашля, происходило величайшее в мире дело. Старик раскольник умирал, и духовному взору его открылось все то, чего он так страстно искал и желал в продолжение всей своей жизни. Среди ослепительного света он видел агнца в виде светлого юноши, и великое множество людей из всех народов стояло перед ним в белых одеждах, и все радовались, и зла уже больше не было на земле. Все это совершилось, старик знал это, и в его душе и во всем мире, и он чувствовал великую радость и успокоение.

Для людей же, бывших в камере, было то, что старик громко хрипел предсмертным хрипом, и сосед его проснулся и разбудил других; и когда хрип кончился и старик затих и похолодел, товарищи его по камере стали стучать в дверь.

Вахтер отпер дверь и вошел к арестантам. Минут через десять два арестанта вынесли мертвое тело и понесли его вниз в мертвецкую. Вахтер вышел за ними и запер дверь за собою. Коридор остался пустой.

«Запирай, запирай, — подумал Меженецкий, следивший из своей двери за всем, что делалось, — не мешаешь мне уйти от всего этого нелепого ужаса».

Меженецкий не испытывал уже теперь того внутреннего ужаса, который до этого томил его. Он весь был поглощен одной мыслью: как бы что-нибудь не мешало ему исполнить свое намерение.

С трепещущим сердцем он подошел к вязанке дров, развязал веревку, вытянул ее из-под дров и, оглядываясь на дверь, понес к себе в камеру. В камере он влез на табуретку и накинул веревку на отдушник. Связав оба конца веревки, он перетянул узел и из двойной веревки сделал петлю. Петля была слишком низко. Он вновь перевязал веревку, опять сделал петлю, примерил

на шею и, беспокойно прислушиваясь и оглядываясь на дверь, влез на табуретку, всунул голову в петлю, оправил ее и, оттолкнув табуретку, повис...

Только при утреннем обходе вахтер увидал Меженецкого, стоявшего на согнутых в коленях ногах подле лежавшей на боку табуретки. Его вынули из петли. Прибежал смотритель и, узнав, что Роман был врач, позвал его, чтобы оказать помощь удушеннику.

Были употреблены все обычные приемы для оживления, но Меженецкий не ожил.

Тело Меженецкого снесли в мертвецкую и положили на нары рядом с телом старика раскольника.

ЧТО Я ВИДЕЛ ВО СНЕ...

I

— Она как дочь не существует для меня; пойми, не существует, но не могу же я оставить ее на шее чужих людей. Сделаю так, чтобы она могла жить, как она хочет, но знать ее я не могу. Да, да. Никогда в голову не могло прийти что-нибудь подобное... Ужасно, ужасно!

Он пожал плечами, встряхнул головой и поднял глаза кверху. Говорил это шестидесятилетний князь Михаил Иванович Ш. своему младшему брату, князю Петру Ивановичу, пятидесятишестилетнему губернскому предводителю в центральном губернском городе.

Разговор происходил в губернском городе, куда приехал старший петербургский брат, узнав, что бежавшая из его дома год назад тому дочь поселилась с ребенком в этом самом городе.

Князь Михаил Иванович был красивый, бело-седой, свежий высокий старик с гордым и привлекательным лицом и приемами. Семья его состояла из раздражительной, часто ссорившейся с ним из-за всяких пустяков, вульгарной жены, сына не совсем удачного, мота и кутилы, но вполне «порядочного», как понимал отец, человека, и двух дочерей, из которых одна, старшая, хорошо вышла замуж и жила в Петербурге, и меньшая любимая дочь Лиза, та самая, которая почти год тому

назад исчезла из дома и только теперь нашлась с ребенком в дальнем губернском городе.

Князь Петр Иванович хотел спросить брата: как, при каких условиях ушла Лиза, кто мог быть отцом ребенка, но не мог решиться спросить. Еще сегодня утром, когда жена Петра Ивановича стала выражать сочувствие деверю, князь Петр Иванович видел, какое страдание выразилось на лице брата и как он старательно скрыл то страдание под выражением неприступной гордости и стал расспрашивать невестку о цене ее квартиры. За завтраком, при всех семейных и гостях, он, как всегда, был ядовито и остроумно насмешлив. Со всеми, кроме детей, с которыми он был как-то почтиительно ласков, он со всеми был неприступно надменен. И притом был так естествен, что все как будто признавали за ним право быть надменным.

Вечером брат составил ему партию в винт. Когда он ушел в приготовленную ему комнату, он только что взялся вынимать фальшивые зубы, как в дверь слегка постучались двумя ударами.

— Кто там?

— C'est moi, Michel¹.

Князь Михаил Иванович узнал голос невестки, поморщился, вставил назад зубы и проговорил про себя: «Чего ей нужно», и громко:

— Entrez².

Невестка была тихое, кроткое существо, безропотно покорявшаяся мужу, но чудачка, как ее называли (некоторые считали ее даже дурочкой), хотя и хорошенькая, всегда растрепанная, неряшливо, небрежно одетая, всегда рассеянная и с самыми странными, неподходящими к предводительше, неаристократическими мыслями, которые она вдруг выражала к удивлению всех, и знакомых и мужа.

— Vous pouvez me renvoyer, mais je ne m'en irai pas, je vous le dis d'avance³, — начала она свою речь с свойственной ей нелогичностью.

¹ Это я, Мишель (франц.).

² Войдите (франц.).

³ Вы можете меня прогнать, но я не уйду, говорю это вам заранее (франц.).

— Dieu preserve¹, — отвечал деверь, с своей обычной, несколько преувеличенной учтивостью подвигая ей кресло. — Ça ne vous dérange pas?² — сказал он, вынимая папиросу.

— Вот что, Мишель, я не буду говорить ничего неприятного, я только хотела сказать об Лизаньке.

Михаил Иванович вздохнул, очевидно от боли, но тотчас же справился и, улыбаясь усталой улыбкой, сказал:

— Разговор с тобой может быть для меня об одном предмете, именно о том, о котором ты хочешь говорить, — сказал он, не глядя на нее и, очевидно, избегая даже названия предмета разговора.

Но толстеньякая, кругленькая, миловидная невестка не смутилась и, тем же добрым, умоляющим взглядом своих голубых глаз продолжая смотреть на Михаила Ивановича, сказала, так же, и еще более, чем он, тяжело вздыхая:

— Мишель, mon bon ami³, пожалейте ее. — Она, как всегда говоря с деверем, сбивалась на «вы». — Ведь она человек.

— Я никогда не сомневался в этом, — с неприятной улыбкой отвечал Михаил Иванович.

— Она дочь.

— Была. Да. Но, милая Алин, к чему эти разговоры?

— Мишель, милый, повидайте ее. Я хотела сказать вам только то, что тот, кто виноват во всем...

Князь Михаил Иванович вспыхнул, лицо его стало страшно.

— Ради бога, не будем говорить. Довольно я перестрадал. Теперь ничего нет для меня, кроме желания поставить ее в такое положение, чтобы она никому не была в тягость, чтобы ей не нужно было входить ни в какие сношения со мной, чтобы она могла жить своей отдельной жизнью и мы с семьей своей жизнью, не зная ее. Я не могу иначе.

¹ Боже сохрани (франц.).

² Вас это не беспокоит? (франц.)

³ друг мой (франц.).

— Мишель, все «я». Ведь она тоже «я».

— Это несомненно, но, милая Алин, пожалуйста, оставим это. Мне слишком тяжело.

Александра Дмитриевна помолчала, покачала головой.

— И Маша (жена Михаила Ивановича) так же смотрит?

— Совершенно так же.

Александра Дмитриевна пощелкала языком.

— Brisons la-dessus. Et bonne nuit¹, — сказал он.

Но Александра Дмитриевна не уходила. Она помолчала.

— Петя мне говорил, что вы хотите оставить деньги той женщине, у которой она живет. Вы знаете адрес?

— Знаю.

— Так не делайте это через нас, а съездите сами. Вы только посмотрите, как она живет. Если вы не захотите видеть ее, то наверное не увидите. Его там нет, никого нет.

Михаил Иванович вздрогнул всем телом.

— Ах, за что, за что вы меня мучаете? Это него-степриимно.

Александра Дмитриевна встала и с слезами в го-лосе, умиляясь сама над собой, проговорила:

— Она такая жалкая и такая хорошая.

Он встал и стоял, дожидаясь, пока она кончит. Она протянула ему руку.

— Мишель, это нехорошо, — сказала она и вышла.

Долго после нее ходил Михаил Иванович по ковру комнаты, превращенной для него в спальню, и морщился, и вздрагивал, и вскрикивал: «Ох, ох!», и, услышав себя, пугался и замолкал.

Мучала его оскорбленная гордость. Его дочь, его, выросшего в доме своей матери, знаменитой Авдотьи Борисовны, принимавшей посещения императриц, его, знакомство с которым считалось за великую честь, его, прошедшего свою жизнь рыцарем без страха и упрека... То, что у него был побочный сын от французенки, которого он устроил за границей, не уменьшало в нем

¹ Оставим это. И покойной ночи (франц.).

его высокого мнения о себе. И вот его дочь, для которой он не только сделал все, что может и должен сделать отец: дал прекрасное воспитание, дал ей возможность выбирать себе партию в высшем и лучшем русском обществе, но не только та дочь, которой он дал все то, чего только может желать девушка, но которую он прямо любил, которой любовался, гордился, эта дочь опозорила его, сделала с ним то, что он не может смотреть в глаза людям, что ему стыдно всех.

И он вспоминал те времена, когда он не только относился к ней как к своей дочери, к члену его семьи, но когда он нежно любил ее, радовался на нее, гордился ею. Он вспоминал ее, какую она была, когда ей было восемь, девять лет: умненькая, все понимающая, живая, быстрая, грациозная девочка с черными блестящими глазами и распущенными русыми волосами на костлявой своей спинке. Вспоминал он, как она вскакивала к нему на колени и обнимала за шею, и щекотала его, заливаясь хохотом, и, несмотря на его крик, не переставала, и потом целовала в рот, в глаза, в щеки. Он был враг всякой экспансивности, но эта экспансивность умиляла его, и он иногда отдавался ей и вспоминал теперь, как было приятно ласкать ее.

И это-то когда-то милое существо могло сделаться тем, что оно стало теперь, — существом, про которое он не мог думать без отвращения.

Он вспоминал теперь тоже то время, когда она становилась женщиной, и то особенное чувство страха и оскорбления, которое он испытывал к ней, когда замечал, что мужчины смотрят на нее как на женщину. Он вспоминал об этом своем ревнивом отношении к дочери, когда она с кокетливым чувством, зная, что она хороша, приходила к нему в бальном платье, и когда он видал ее на балах. Он боялся нечистых взглядов на нее, а она не только не понимала этого, но радовалась этому. «Да, — думал он, — какое суеверие чистота женщин. Напротив, они не знают стыда, у них нет стыда».

Он вспомнил, как она, непонятно для него почему, отказала двум очень хорошим женихам и как, продолжая ездить в свет, все больше и больше увлекалась

не кем-нибудь, но увлекалась своим успехом. Но успех этот не мог продолжаться долго. Прошли год, два, три. Все пригляделись к ней. Она была красива, но уже не первой молодости, стала как бы обычным аксессуаром балов. Михаил Иванович вспоминал, как он видел, что она засидится, и желал для нее одного — выдать поскорее замуж, хоть не так хорошо, как можно было прежде, но хоть как-нибудь прилично. Но она как-то особенно вызывающе-гордо держала себя, ему казалось, и, вспоминая это, еще более злое чувство поднялось в нем против нее. Отказала стольким порядочным людям, чтобы потом этот ужас! «О, ох!» — опять застонал он, и, остановившись, закурил папиросу, и хотел думать о другом, как он перешлет ей деньги, не допустив ее до себя, но опять встало воспоминание о том, как она уже недавно — ей было уже больше двадцати лет — затеяла какой-то роман с четырнадцатилетним мальчиком, пажем, гостившим у них в деревне, как она довела мальчика до сумасшествия, как он разливался-плакал, и как она серьезно, холодно и даже грубо отвечала отцу, когда он, чтобы прекратить этот глупый роман, велел мальчику уехать; и как с тех пор у него и прежде довольно холодные отношения к дочери стали совсем холодными и с ее стороны. Она как будто считала себя чем-то оскорбленной.

«А как я был прав, — думал он теперь. — Это бесстыдная и недобрая натура».

И вот опять последнее ужасное воспоминание письма из Москвы, в котором она писала, что она не может вернуться домой, что она несчастная, погибшая женщина, просит простить и забыть ее, и ужасные воспоминания о разговорах с женой и догадках, цинических догадках, перешедших, наконец, в достоверность, что несчастье случилось в Финляндии, куда ее отпустили гостить к тетке, и что виновник его ничтожный студент-швед, пустой, дрянной человек и женатый.

Все это он вспоминал теперь и ходил, ходил взад и вперед по ковру комнаты, вспоминая и прежнюю свою любовь к ней, гордость за нее, и ужасаясь на это

непонятное для него падение и ненавидя ее за ту боль, которую она ему сделала. Он вспоминал то, что говорила ему невестка, и старался представить себе, как бы он мог простить ее, но стоило ему только вспомнить «его», и ужас, отвращение, оскорбленная гордость наполняли его сердце. И он вскрикивал: «Ох, ох», — и старался думать о другом.

«Нет, это невозможно. Отдам Пете деньги, чтобы он давал ей ежемесячно. А у меня нет, нет дочери...»

И он попал опять на прежнюю колею того странного, смешанного чувства, которое не переставая мучало его: чувства умиления перед воспоминанием о его любви к ней и чувства мучительной злобы за то, что она могла сделать ему так больно.

II

Лиза в этот один последний год пережила без всякого сравнения больше, чем она пережила во все прежние двадцать пять лет. В этот год ей вдруг открылась вся пустота ее прежней жизни: ясна стала вся изменчивость, вся гадость той жизни, которую она вела в своем богатом петербургском обществе и доме, где она вместе со всеми играла животной жизнью, касаясь только верхов ее, пользуясь всеми прелестями ее, но не спускаясь до глубины ее. Хорошо было год, два, три, но когда это: вечера, балы, концерты, ужины, бальные платья, прически, выставляющие красоту тела, молодые и не молодые ухаживатели, все одинакие, все что-то как будто знающие, имеющие как будто право всем пользоваться и надо всем смеяться, когда летние месяцы на дачах с такой же природой, тоже только дающей верхи приятности жизни, когда и музыка и чтение, тоже такие же — только задирающие вопросы жизни, но не разрешающие их, — когда все это продолжалось семь, восемь лет, не только не обещая никакой перемены, но, напротив, все больше и больше теряя прелести, она пришла в отчаяние, и на нее стало находить состояние отчаяния, желания смерти. Подруги направили ее на деятельность благотворительности. Она увидала, с одной

стороны, нищету, настоящую, отталкивающую, и притворную, еще более жалкую и отталкивающую, и увидела страшную холодность дам-патронесс, приезжающих на своих тысячных экипажах и в тысячных нарядах, и ей становилось все тяжелее и тяжелее. Хотелось чего-нибудь настоящего, хотелось жизни, а не игры с ней, не снимания пенек. И не было никакой. Лучшее из ее воспоминаний была любовь к кадету Коко, как его звали. То было хорошее, честное, прямое, но ничего подобного теперь не было и не могло быть. Она все больше и больше тосковала и в этом тоскливом положении поехала к тетке в Финляндию. Новая обстановка, новая природа, новые люди, какие-то особенные, показались ей особенно привлекательны.

Как и когда это началось, она не могла дать себе отчета. У тетки гостил швед. Он говорил о своих работах, о своем народе, о новом шведском романе, и она сама не знает, как и когда началось это страшное заражение взглядами и улыбками, смысл которых нельзя было выразить словами, но которые имели значение, как ей казалось, превосходящее всякие слова. Эти взгляды и улыбки открывали друг другу их души, не только их души, но какие-то общие всему человечеству, великие и самые важные тайны. Всякое сказанное ими слово получало от этих улыбок величайшее и блаженнейшее значение. Такое же значение получала музыка, когда они слушали ее вместе или пели дуэты. Такое же значение получали слова читаемых вслух книг. Иногда они спорили, каждый отстаивал свое мнение, но стоило им встретиться глазами и блеснуть улыбке, и спор оставался где-то внизу, а они поднимались над ним в какой-то возвышенной, доступной только им области.

Как это сделалось, как, когда из-за этих взглядов и улыбок выступил дьявол, в одно и то же время схвативший их, она не могла бы сказать, но когда она почувствовала страх перед дьяволом, невидимые нити, связывающие их, были уж так переплетены, что она чувствовала свое бессилие вырваться из них и всю надежду возлагала уже на него, на его благородство. Она

надеялась, что он не воспользуется своей силой, но и смутно не желала этого.

Бессилие ее в борьбе усиливалось еще тем, что ей не за что было держаться. Жизнь ее светская, с своей поверхностностью и фальшью, опротивела ей. Мать свою она не любила, отец, как ей казалось, оттолкнул ее от себя, и ей страстно хотелось не игры с жизнью, а самой жизни, и в любви, в совершенной женской любви к мужчине, она предчувствовала эту жизнь. И страстная, здоровая натура влекла ее туда же. И эта жизнь представлялась ей в нем, в его высокой, сильной фигуре, в его белокурой голове и белых поднятых усах, из-под которых сияла притягивающая, всемогущая улыбка. В этом она видела обещание чего-то самого лучшего, что есть на свете. И вот улыбки и взгляды, надежды и обещания чего-то невозможно прекрасного привели к тому, к чему они должны были привести, но чего она боялась и чего смутно, бессознательно ожидала. И вдруг все прекрасное, духовное, радостное, полное надежд на будущее, вдруг все стало отвратительным, животным и не только печальным, но отчаянным.

Она смотрела в глаза ему, старалась улыбаться, старалась притвориться, что она не боится ничего, что это так и должно быть, но она в глубине души знала, что теперь все пропало, что в нем нет того, чего она искала, что было в ней, что было в Коко. Она сказала ему, что он должен написать теперь ее отцу, прося ее руки. Он сказал, что сделает это. Потом, при втором свидании, сказал, что не может сделать этого сейчас. В глазах его было что-то робкое, неясное, и она еще больше усумнилась в нем. На другой день он прислал ей письмо, в котором объявил, что он женат, что жена давно оставила его, что он погиб теперь в ее глазах, что он виноват, умоляет ее о прощении.

Она позвала его и на словах сказала ему, что она любит его и, все равно, женат он был или нет, чувствует себя навеки связанной с ним и не оставит его.

В следующее свидание он сказал, что у него ничего нет, что родители его бедные и что он может предло-

жить ей только самую бедную жизнь. Она сказала, что ей ничего не нужно и что она сейчас же готова ехать с ним, куда он хочет.

Он отговаривал ее, советовал подождать. Она согласилась. Но жизнь с скрыванием от домашних, с случайными свиданиями и тайной перепиской была ей мучительна, и она настаивала на отъезде и бегстве.

Когда она переехала в Петербург, он писал ей, обещая приехать, потом перестал писать и исчез. Она попыталась жить по-прежнему, но не могла. Она стала болеть. Ее лечили, но положение ее становилось хуже и хуже. Когда же она убедилась, что ей нельзя будет скрыть то, что она хотела скрыть, она решила убить себя. Но как сделать это так, чтобы смерть казалась естественной? Она хотела убить себя, ей казалось, что она окончательно решила это, и достала яду, всыпала его в рюмку и готова была выпить. Она и выпила бы его, если бы в это время не вбежал к ней пятилетний племянник, сын сестры, показывая ей подаренную бабушкой игрушку. Она остановилась, приласкала мальчика и вдруг расплакалась. Ей пришла мысль, что она могла бы быть матерью, если бы он не был женат, и мысль о материнстве в первый раз заставила ее вернуться в себя, думать не о том, что подумают и скажут о ней другие, а о своей, настоящей своей жизни. Убить себя ради мнения других людей казалось легко, но убить себя для себя было невозможно. Она вылила яд и перестала думать о самоубийстве, а стала жить сама в себе, и жизнь эта была мучительна, но была жизнь, она не хотела и не могла расстаться с нею. Она стала молиться, чего она давно уже не делала, но это не облегчало: она страдала не за себя, а за страдания отца, которые она понимала, и жалела его, но знала, что страдания эти будут, и она виной их. Несколько месяцев так шла ее жизнь, и вдруг с ней случилось событие, никому незаметное, даже ей почти незаметное, но такое, которое уже совсем перевернуло ее жизнь. Она вдруг, сидя за работой, — она вязала одеяло, — почувствовала странное ощущение движения... в себе.

— Да нет, не может быть. — Она замерла с крючком и одеялом в руках. И вдруг опять то же удивительное колебание. Неужели это он или она? И она, забыв про все, про его гадость и ложь, про раздражительность матери, про горе отца, просияла улыбкой, но не той гнусной улыбкой, которой она отвечала на такие же улыбки его, а светлой, чистой, радостной улыбкой.

Она ужасалась теперь мысли, что она могла думать убить его вместе с собой, и теперь все свои мысли направила на то, как уйти из дома, куда и где сделаться матерью, несчастной, жалкой матерью, но все-таки матерью. И она все это придумала и устроила, и ушла и поселилась в далеком губернском городе, где никто бы не мог найти ее и где она думала быть вдали от своих, и где, на ее беду, был назначен губернатором брат ее отца, чего она никак не ожидала.

Она жила у акушерки Марьи Ивановны уже четвертый месяц и, узнав о том, что дядя в том же городе, собиралась уехать куда-нибудь дальше.

III

Михаил Иванович проснулся рано и в это же утро, войдя в кабинет брата, отдал ему приготовленный чек на деньги, которые он оставлял брату, прося его помесечно выдавать их дочери, и спросил, когда отходит в Петербург курьерский. Поезд отходил в семь часов вечера, так что Михаил Иванович мог успеть пообедать ранним обедом до отъезда. Напившись кофе с невесткой, которая ничего не говорила больше о том, что так было тяжело ему, а только робко взглядывала на него, он, по своей обыкновенной гигиенической привычке, пошел сделать обычную прогулку.

Александра Дмитриевна проводила его до передней.

— Вы пройдите, Мишель, в городской сад, там прекрасно ходить и от всего близко, — сказала она, жалостно глядя ему в сердитое лицо,

Михаил Иванович послушался ее совета и пошел в городской сад, откуда было все близко, и с досадой думал о глупости, упорстве и бессердечности женщин. «Ей не жалко меня, — думал он о невестке. — Она и понять не может моих страданий. А она? — он подумал о дочери. — Она знает, что это для меня, какая это мука. Какой ужасный удар в конце жизни, которую укоротит, наверное, она же. Ну, да и лучше конец, чем эти мучения. И все это *pour les beaux yeux d'un chérapap*»¹. — «О-о-о», — громко простонал он, и такое чувство ненависти и злобы поднялось в нем при мысли о всем том, что теперь будут говорить в городе, когда все узнают (наверно, все уже знают), такое чувство злобы поднялось в нем против нее, что захотелось все сказать ей, дать ей понять все значение того, что она сделала. «Они не понимают».

«Оттуда всё близко», — подумал он и, достав записную книжку, прочел ее адрес: «Кухонная улица, дом Абрамова, Вера Ивановна Селиверстова». Она жила под этим именем. Он подошел к выходу и кликнул извозчика.

— Вам кого, господин? — спросила его Марья Ивановна, акушерка, когда он вошел на узкую площадку крутой вонючей лестницы.

— Госпожа Селиверстова здесь?

— Вера Ивановна? Здесь, пожалуйста. Она вышедши, в лавочку пошла, должно, сейчас придет.

Михаил Иванович вошел за толстой Марьей Ивановной в маленькую гостиную, и его, как ножом, резнул, как ему показалось, отвратительный, злой крик ребенка из соседней комнатки.

Марья Ивановна извинилась, ушла в комнатку, и слышно было, как успокаивала ребенка. Ребенок затих, и она вышла.

— Это ее ребеночек. Она сейчас придет. Вы кто ж будете?

— Я знакомый, да я лучше после приду, — сказал Михаил Иванович, готовясь уйти. Так мучительно ему

¹ ради прекрасных глаз негодя (франц.).

было готовиться к встрече с ней и так невозможно казалось какое бы то ни было объяснение.

Он только повернулся и хотел уйти, как по лестнице слышались легкие, быстрые шаги, и он узнал голос Лизы.

— Марья Ивановна! что, не кричал без меня... А я...

И она вдруг увидела отца. Кулек, который она держала в руке, выпал у нее из рук.

— Папа?! — вскрикнула она и, вся бледная и трясущаяся всем телом, остановилась в дверях.

Он смотрел на нее и не двигался с места. Она похудела, глаза стали больше, нос заострился, руки тонкие, костлявые. И не знал, что сказать и что сделать. Он забыл теперь все то, что думал о своем сраме, и ему только жалко, жалко было ее, жалко и за ее худобу, и за ее плохую, простую одежду, и, главное, за жалкое лицо ее с умоляющими о чем-то, устремленными на него глазами.

— Папа, прости, — сказала она, подвигаясь к нему.

— Меня, — проговорил он, — меня прости, — и он захлюпал, как ребенок, целуя ее лицо, руки и обливая их слезами.

Жалость к ней открыла ему самого себя. И увидав себя, какой он был действительно, он понял, как он виноват перед ней, виноват за свою гордость, холодность, даже злобу к ней. И он рад был тому, что виноват, что ему нечего прощать, а самому нужно прощение.

Она повела его в свою комнату, рассказала ему, как она живет, но не показывала ему ребенка и ничего не говорила о прошедшем, зная, что это было бы мучительно для него. Он сказал ей, что ей надо устроиться иначе.

— Да, если бы в деревне, — сказала она.

— Мы всё обдумаем это, — сказал он.

Вдруг за дверью сначала запищал, а потом закричал ребенок. Она открыла широко глаза и, не спуская их с отца, замерла в нерешительности.

— Что ж, тебе кормить надо, — сказал Михаил Иванович, шевеля бровями от явного внутреннего усилия.

Она поднялась, и ей вдруг пришла безумная мысль показать тому, кого она так давно любила, того, кого

она теперь любила больше всего на свете. Но, прежде чем сказать то, что хотела, она взглянула в лицо отца. Рассердится он или нет?

Лицо отца выражало не сердитость, но одно страдание.

— Да иди, иди, — сказал он. — Слава богу. Да, я завтра приду опять, и мы решим. Прощай, голубушка. Да, прощай. — И опять ему трудно было удержать поднявшийся комок в горле.

Когда Михаил Иванович вернулся к брату, Александра Дмитриевна тотчас же спросила его:

— Ну что?

— Да ничего.

— Видели? — спросила она, по лицу его догадываясь, что что-то случилось.

— Да, — скороговоркой проговорил он и вдруг заплакал. — Да, и глуп и стар стал, — сказал он, успокоившись.

— Нет, умен, очень умен.

Михаил Иванович простил дочь, совсем простил, и ради прощенья победил в себе весь страх перед славой людской. Он устроил дочь у сестры Александры Дмитриевны, жившей в деревне, и видался с дочерью и любил ее не только по-прежнему, но еще больше, чем прежде, и часто приезжал к ней и гостил у нее. Но ребенка он избегал видеть и не мог победить в себе чувства отвращения, омерзения к нему. И это было источником страданий дочери.

13 ноября 1906.

БЕДНЫЕ ЛЮДИ

В рыбацкой хижине сидит у огня Жанна, жена рыбака, и чинит старый парус. На дворе свистит и воет ветер и, плескаясь и разбиваясь о берег, гудят волны... На дворе темно и холодно, на море буря, но в рыбацкой хижине тепло и уютно. Земляной пол чисто выметен; в печи не потух еще огонь; на полке блестит посуда. На кровати с опущенным белым пологом спят пятеро детей под завывание бурного моря. Муж-рыбак с утра вышел на своей лодке в море и не возвращался еще. Слышит рыбацка гул волн и рев ветра. Жутко Жанне.

Старые деревянные часы с хриплым боем пробили десять, одиннадцать... Мужа все нет. Жанна задумывается. Муж не жалеет себя, в холод и бурю ловит рыбу. Она сидит с утра до вечера за работой. И что же? Еле-еле кормятся. А у ребяток все нет обуви: и летом и зимой бегают босиком; и хлеб едят не пшеничный, — хорошо и то, что хватает ржаного. Только и приправы к еде, что рыба. «Ну, да слава богу, дети здоровы. Нечего жаловаться, — думает Жанна и опять прислушивается к буре. — Где-то он теперь? Сохрани его, господи, спаси и помилуй!» — говорит она и крестится.

Спать еще рано. Жанна встает, накидывает на голову толстый платок, зажигает фонарь и выходит на улицу посмотреть, не тише ли стало море, не светает ли, и горит ли лампа на маяке, и не видать ли лодки мужа. Но на море ничего не видно. Ветер рвет с нее платок и чем-то оторванным стучит в дверь соседней избушки, и Жанна вспоминает о том, что она еще с вечера хотела зайти проведать больную соседку. «Некому

и приглядеть за ней», — подумала Жанна и постучала в дверь. Прислушалась... Никто не отвечает.

«Плохое вдовье дело, — думает Жанна, стоя у порога. — Хоть и немного детей — двое, а все одной обдумать надо. А тут еще болезнь! Эх, плохое вдовье дело. Зайду проведаю».

Жанна постучала еще и еще. Никто не отвечал.

— Эй, соседка! — крикнула Жанна. «Уж не случилось ли что», — подумала она и толкнула дверь.

В избушке было сыро и холодно. Жанна подняла фонарь, чтобы оглядеть, где больная. И первое, что ей бросилось в глаза, — это постель прямо против двери, и на постели она, соседка, лежит на спине так тихо и неподвижно, как лежат только мертвые. Жанна поднесла фонарь еще ближе. Да, это она. Голова закинута назад; на холодном, посиневшем лице спокойствие смерти. Бледная мертвая рука, будто потянувшаяся за чем-то, упала и свесилась с соломы. И тут же, недалеко от мертвой матери, двое маленьких детей, кудрявых и толстощеких, прикрытых старым платьем, спят, скорчившись и прижавшись друг к другу белокуроыми головками. Видно, мать, умирая, еще успела закутать им ножки старым платком и накрыть их своим платьем. Дыхание их ровно и спокойно, они спят сладко и крепко.

Жанна снимает колыбельку с детьми и, закутав их платком, несет домой. Сердце ее сильно бьется; она сама не знает, как и зачем она сделала это, но она знает, что не могла не сделать то, что сделала.

Дома она кладет непроснувшихся детей на кровать с своими детьми и торопливо задергивает полог. Она бледна и взволнованна. Точно мучит ее совесть. «Что-то скажет он?.. — сама с собой говорит она. — Шутка ли, пятеро своих ребятишек — мало еще ему было с ними заботы... Это он?.. Нет, нет еще!.. И зачем было брать!.. Прибьет он меня! Да и поделом, я и стою того. Вот он! Нет!.. Ну, тем лучше!»

Дверь скрипнула, будто кто вошел. Жанна вздрогнула и приподнялась со стула.

«Нет. Опять никого! Господи, и зачем я это сделала?.. Как ему теперь в глаза взгляну?..» И Жанна задумывается и долго сидит молча у кровати.

Дождь перестал; рассвело, но ветер гудит, и море ревет по-прежнему.

Вдруг дверь распахнулась, в комнату ворвалась струя свежего морского воздуха, и высокий смуглый рыбак, волоча за собой мокрые разорванные сети, входит в горницу со словами:

— Вот и я, Жанна!

— Ах, это ты! — говорит Жанна и останавливается, не смея поднять на него глаза.

— Ну, уж ночь! Страх!

— Да, да, погода была ужасная! Ну, а как ловля?

— Дрянь, совсем дрянь! Ничего не поймал. Только сети разорвал. Плохо, плохо!.. Да, я тебе скажу, и погода ж была! Кажется, такой ночи и не запомню. Какая там ловля! Слава богу, что жив домой добрался... Ну, а ты что тут без меня делала?

Рыбак втащил сети в комнату и сел у печки.

— Я? — сказала Жанна, бледная. — Да что ж я... Сидела шила... Ветер так завывал, что страшно становилось. Боялась за тебя.

— Да, да, — пробормотал муж, — погода чертовски скверная! Да что поделаешь!

Оба помолчали.

— А знаешь, — сказала Жанна, — соседка-то Симон умерла.

— Ну?

— И не знаю когда; верно, еще вчера. Да, тяжело ей было умирать. Да и за детей-то, должно быть, как сердце болело! Ведь двое детей — крошки... Один еще не говорит, а другой чуть начинает ползать...

Жанна замолчала. Рыбак нахмурился; лицо его сделалось серьезно, озабоченно.

— Ну, дела! — проговорил он, почесывая в затылке. — Ну, да что станешь делать! Придется взять, а то проснутся, каково им с покойницей? Ну, да что уж, как-нибудь перебьемся! Ступай же скорей!

Но Жанна не двигалась с места.

— Что ж ты? Не хочешь? Что с тобой, Жанна?

— Вот они, — сказала Жанна и отдернула полог.

СИЛА ДЕТСТВА

— Убить!.. Застрелить!.. Сейчас застрелить мерзавца!.. Убить!.. Горло перерезать убийце!.. Убить, убить! — кричали мужские, женские голоса толпы.

Огромная толпа народа вела по улице связанного человека. Человек этот, высокий, прямой, шел твердым шагом, высоко поднимая голову. На красивом, мужественном лице его было выражение презрения и злобы к окружающим его людям.

Это был один из тех людей, которые в войне народа против власти воюют на стороне власти. Его схватили теперь и вели на казнь.

«Что же делать! Не всегда сила на нашей стороне. Что же делать? Теперь их власть. Умереть так умереть, видно так надо», — думал этот человек и, пожимая плечами, холодно улыбнулся на крики, которые продолжались в толпе.

— Это городской, он еще утром стрелял по нас! — кричали в толпе.

Но толпа не останавливалась, и его вели дальше. Когда же пришли на ту улицу, где по мостовой лежали вчерашние неубранные еще тела убитых войсками, толпа освиrepела.

— Нечего оттягивать! Сейчас тут и застрелить негодяя, куда еще водить его? — кричали люди.

Пленный хмурился и только выше поднимал голову. Он, казалось, ненавидел толпу еще более, чем толпа ненавидела его,

— Перебить всех! Шпионов! Царей! Попов! И этих мерзавцев! Убить, убить сейчас! — взвизгивали женские голоса.

Но руководители толпы решили довести его до площади и там разделаться с ним.

До площади уже было недалеко, когда в минуту затишья в задних рядах толпы послышался плачущий детский голосок.

— Батя! Батя! — всхлипывая, кричал шестилетний мальчик, втискиваясь в толпу, чтобы добраться до пленного. — Батя! Что они с тобой делают? Постой, постой, возьми меня, возьми!..

Крики остановились в той стороне толпы, с которой шел ребенок, и толпа, расступаясь перед ним, как перед силой, пропускала ребенка все ближе и ближе к отцу.

— А какой миленький! — сказала одна женщина.

— Тебе кого? — сказала другая, нагибаясь к мальчику.

— Батю! Пустите меня к батю! — пищал мальчик.

— Тебе сколько лет, мальчик?

— Что вы с батей хотите делать? — отвечал мальчик.

— Иди домой, мальчик, иди к матери, — сказал мальчику один из мужчин.

Пленный уже слышал голос мальчика и слышал, что говорили ему. Лицо его стало еще мрачнее.

— У него нет матери! — крикнул он на слова того, кто отсылал ребенка к матери.

Все ближе и ближе протискиваясь в толпе, мальчик добрался до отца и полез к нему на руки.

В толпе кричали все то же: «Убить! Повесить! Застрелить мерзавца!»

— Зачем ты из дома ушел? — сказал отец мальчику.

— Что они с тобой хотят делать? — говорил мальчик.

— Ты вот что сделай, — сказал отец.

— Ну?

— Знаешь Катюшу?

— Соседку? Как не знать.

— Так вот, пойди к ней и там побудь. А я... я приду.

— Без тебя не пойду, — сказал мальчик и заплакал.

— Отчего не пойдешь?

— Они прибьют тебя.

— Нет же, они ничего, они так.

И пленный спустил с рук мальчика и подошел к тому человеку, который распоряжался в толпе.

— Послушайте, — сказал он, — убивайте меня, как и где хотите, но только не при нем, — он показал на мальчика. — Развяжите меня на две минуты и держите за руку, а я скажу ему, что мы с вами гуляем, что вы мне приятель, и он уйдет. А тогда... тогда убивайте, как хотите.

Руководитель согласился.

Тогда пленный взял опять мальчика на руки и сказал:

— Будь умник, пойдй к Кате.

— А ты что же?

— А ты видишь, я гуляю вот с этим приятелем, мы пройдем еще немного, а ты иди, а я приду. Иди же, будь умник.

Мальчик уставился на отца, нагнул головку на одну сторону, потом на другую и задумался.

— Иди, милый, я приду.

— Придешь?

И ребенок послушался. Одна женщина вывела его из толпы.

Когда ребенок скрылся, пленный сказал:

— Теперь я готов, убивайте меня.

И тут случилось что-то совсем непонятное, неожиданное. Какой-то один и тот же дух проснулся во всех этих за минуту жестоких, безжалостных, ненавидящих людях, и одна женщина сказала:

— А знаете что. Пустить бы его.

— И то, бог с ним, — сказал еще кто-то. — Отпустить.

— Отпустить, отпустить! — загремела толпа.

И гордый, безжалостный человек, за минуту ненавидевший толпу, зарыдал, закрыл лицо руками и, как виноватый, выбежал из толпы, и никто не остановил его.

ВОЛК

Был один мальчик. И он очень любил есть цыплят и очень боялся волков.

И один раз этот мальчик лег спать и заснул. И во сне он увидел, что идет один по лесу за грибами и вдруг из кустов выскочил волк и бросился на мальчика.

Мальчик испугался и закричал: «Ах, ай! Он меня съест!»

Волк говорит: «Постой, я тебя не съем, а я с тобой поговорю».

И стал волк говорить человеческим голосом.

И говорит волк: «Ты боишься, что я тебя съем. А сам ты что же делаешь? Ты любишь цыплят?»

— «Люблю».

— «А зачем же ты их ешь? Ведь они, эти цыплята, такие же живые, как и ты. Каждое утро — пойди посмотри, как их ловят, как повар несет их на кухню, как перерезают им горло, как их matka кудахчет о том, что цыплят у нее берут. Видел ты это?» — говорит волк.

Мальчик говорит: «Я не видел».

«А не видел, так ты посмотри. А вот теперь я тебя съем. Ты такой же цыпленочек — я тебя и съем».

И волк бросился на мальчика, и мальчик испугался и закричал: «Ай, ай, ай!» Закричал и проснулся.

И с тех пор мальчик перестал есть мясо — не стал есть ни говядины, ни телятины, ни баранины, ни кур.

РАЗГОВОР С ПРОХОЖИМ

Вышел рано. На душе хорошо, радостно. Чудное утро, солнце только вышло из-за деревьев, роса блестит и на траве, и на деревьях. Все мило, и все милы. Так хорошо, что умирать не хочется. Точно, не хочется умирать. Пожил бы еще в этом мире, с такой красотой вокруг и радостью на душе. Ну, да это не мое дело, а хозяина...

Подхожу к деревне; против первого дома, на дороге, ко мне боком, стоит не двигается человек. Очевидно, ждет чего-то или кого-то, ждет так, как умеют ждать только рабочие люди, — без нетерпения, без досады. Подхожу ближе — крестьянин, бородатый, косматый, с проседью, здоровенный, простое рабочее лицо. Курит не сигарку бумажную, а трубочку. Поздоровались.

— Где тут Алексей, старик, живет? — спрашиваю.

— Не знаю, милый, мы нездешние.

Не я нездешний, а мы нездешние. Одного русского человека почти никогда нет (некто, когда он делает что-нибудь плохое, тогда — я). А то семья — мы, артель — мы, общество — мы.

— Нездешние? Откуда же?

— Калуцкие мы.

Я показал на трубку.

— А сколько в год прокуришь? Рубля три, я чай?

— Три? Не управишься еще на три.

— А что бы бросить?

— Как ее бросишь, привычка.

— Я тоже курил, бросил; как хорошо, легко.

— Известное дело. Да скучно без ней.

— А брось, и скуки не будет. Ведь хорошего в ней мало.

— Что же хорошего.

— Не хорошо, так и делать не надо. На тебя глядя, и другой станет. А пуще всего молодые ребята. Скажут: вот старый курит, а нам и бог велел.

— Так-то так.

— И сын станет, на тебя глядя.

— Известное дело, и сын тоже...

— Так брось.

— Бросил бы, да скучно без ней, едят ее мухи. От скуки больше. Станет скучно, сейчас за нее. Вся беда — скучно. Так скучно другой раз... скучно, скучно, — протянул он.

— А от скуки лучше о душе подумать.

Он вскинул на меня глазами, лицо его вдруг стало совсем другое, внимательное, серьезное, не такое, как прежде. добродушно-шутливое, бойкое, краснобайное.

— Об душе подумать, об душе, значит? — проговорил он, пытливо глядя мне в глаза.

— Да, о душе подумаешь и все глупости оставишь.

Лицо его ласково просияло.

— Верно это, старичок. Верно ты говоришь. Об душе первое дело. Первое дело об душе. (Он помолчал.) Спасибо, старичок. Верно это. (Он указал на трубку.) Это что, одни пустяки, о душе первое дело, — повторил он. — Верно ты говоришь. — И лицо его стало еще добрее и серьезнее.

Я хотел продолжать разговор, но к горлу что-то подступило (я очень слаб стал на слезы), не мог больше говорить, простился с ним и с радостным, умиленным чувством, глотая слезы, отошел.

Да как же не радоваться, живя среди такого народа, как же не ждать всего самого прекрасного от такого народа?

9 сент. 1909.

Крекшино

ПРОЕЗЖИЙ И КРЕСТЬЯНИН

В крестьянской избе. Старик проезжий сидит на коннике и читает книгу. Хозяин, вернувшись с работы, садится за ужин и предлагает проезжему. Проезжий отказывается. Хозяин ужинает. Отужинав, встает, молится и подсаживается к старику.

Крестьянин. По какому, значит, случаю?..

Проезжий (снимает очки, кладет книгу). Поезда нет, только завтра пойдет. На станции тесно. Попросился у бабы у твоей переночевать. Она и пустила.

Крестьянин. Что ж, ничего, ночуй.

Проезжий. Спасибо. Ну, что ж, как по теперешнему времени живете?

Крестьянин. Какая наша жизнь? Самая плохая!

Проезжий. Что ж так?

Крестьянин. А оттого так, что жить не при чем. Такая наша жизнь, что надо бы хуже, да некуда! Вот у меня девять душ, все есть хотят, а убрал шесть мер, вот и живи тут. Поневоле в люди пойдешь. А пойдешь наниматься, цены сбиты. Что хотят богатые, то с нами и делают. Народа размножилось, земли не прибавилось, а подати, знай, прибавляют. Тут и аренда, и земские, и подземельные, и мосты, и страховка, и десятскому, и продовольственные — всех не перечтешь, и попы, и бары. Все на нас ездят, только ленивый на нас не ездит.

Проезжий. А я думал, что мужички нынче хорошо жить стали.

Крестьянин. Так-то хорошо жить стали, что по дням не емши сидят.

Проезжий. Я потому думал, что очень уж деньгами швырять стали.

Крестьянин. Какими деньгами швырять стали? Чудно ты говоришь. Люди с голоду помирают, а он говорит: деньгами швыряются.

Проезжий. А как же, по газетам видать, что в прошлом году на семьсот миллионов, — а миллион ведь это тысяча тысяч рублей, — так на семьсот миллионов вина мужички выпили.

Крестьянин. Да разве мы одни пьем? Погляди-ка, как ее попы окалызывают, за первый сорт. А бары-то тоже спуску не дают.

Проезжий. Все это малая часть, большая часть на мужиков приходится.

Крестьянин. Так что же, и пить уже ее не надо?

Проезжий. Нет, я к тому, что если на вино в год дуром семьсот миллионов швыряют, так, значит, еще не так плохо живут. Шутка ли — семьсот миллионов, — и не выговоришь.

Крестьянин. Да как же без ней-то? Ведь не нами заведено, не нами и кончится; и престол, и свадьбы, и поминки, и магарычи: хочешь не хочешь — нельзя без ней. Заведено.

Проезжий. Есть же люди, что не пьют. А живут же. Хорошего ведь в ней мало.

Крестьянин. Чего хорошего, акромья плохого!

Проезжий. Так и не надо бы пить ее.

Крестьянин. Да пей не пей, все равно жить не при чем. Земли нет. Была бы земля, все бы жить можно, а то нет ее.

Проезжий. Как нет ее? Мало ли ее? Куда ни погляди, везде земля.

Крестьянин. Земля-то земля, да не наша! Близок локоть, да не укусишь!

Проезжий. Не ваша? Чья же она?

Крестьянин. Чья? Известно чья. Вот он, толстопузый черт, захватил тысячу семьсот десятин, сам

один, и все ему мало, а мы уже и кур перестаем держать — выпустить некуда. В пору и скотину переводить. Кормов нету. А зайдет на его поле теленок али лошадь — штрах, продавай последнее, ему отдавай.

Проезжий. Да на что же ему земли-то столько?

Крестьянин. На что ему земля? Известно на что: сеет, убирает, продает, денежки в банку кладет.

Проезжий. Да где же ему такую палестину вспахать да убрать?

Крестьянин. Точно ты махонький. На то у него деньги, наймет рабочих, они и пашут и убирают.

Проезжий. Рабочие-то, я чай, тоже из ваших?

Крестьянин. Которые — наши, которые — чужие.

Проезжий. Да ведь все же из крестьян?

Крестьянин. Известно, из нашего же брата. Кто же, кроме мужика, работает? Известно, мужики же.

Проезжий. А кабы не шли к нему мужики на работу...

Крестьянин. Ходи не ходи, все равно не даст. Будет пустовать земля, а дать — не даст. Собака на сене, сама не ест, другим не дает.

Проезжий. Да как же он свою землю убережет? Ведь, я чай, верст на пять? Где же ему поспеть укараулить?

Крестьянин. Чудно ты говоришь. Он на боку лежит, брюхо отращивает, на то у него сторожа.

Проезжий. А сторожа-то, гляди, опять из ваших?

Крестьянин. А то из каких же, известно, из наших же.

Проезжий. Значит, мужики сами для господ землю обрабатывают, да еще сами ее от себя караулят?

Крестьянин. Как же быть-то?

Проезжий. А так и быть, что не ходить к нему на работу да и в сторожа не наниматься, тогда бы земля вольная была. Земля божья, и люди божьи — паши, сей, убирай, кому нужно.

Крестьянин. Забастовку, значит? На это, брат, у них солдаты есть. Пришлют солдат — раз, два, па-ли — кого расстреляют, а кого заберут, С солдатами разговор короткий,

Проезжий. Да ведь солдаты тоже из ваших? За чем же они своих стрелять будут?

Крестьянин. А то как же, на то присяга.

Проезжий. Присяга? Это что же, присяга?

Крестьянин. Аль ты не русский? Присяга — одно слово присяга.

Проезжий. Клянутся, значит?

Крестьянин. А то как же? На кресте, Евангелии присягают: за престол-отечество живот положить должен.

Проезжий. А на мой разум, не надо бы этого делать.

Крестьянин. Чего не надо бы?

Проезжий. Присягать не надо.

Крестьянин. Как же не надо, когда в законе положено?

Проезжий. Нет, в законе нет этого. В законе Христовом прямо запрещено: не клянись, говорит, во все.

Крестьянин. Ну? Как же попы-то?

Проезжий (*берет книгу, раскрывает, ищет и читает*). «Вам сказано: держи клятвы, а я говорю — не клянись вовсе. Но да будет слово ваше «да, да», «нет, нет», а что сверх этого, то от лукавого» (Мф. гл. V, ст. 33, 38). Значит, по Христову закону нельзя клясться.

Крестьянин. А не будут присягать, и солдат не будет.

Проезжий. А на что же их, солдат-то?

Крестьянин. Как на что? А как если на нашего царя да чужие цари пойдут, как же тогда?

Проезжий. Сами цари ссорятся, сами пускай и разбираются.

Крестьянин. Ну! Да как же так?

Проезжий. А так, что кто в бога верит, тот, что ему ни говори, убивать людей не станет.

Крестьянин. Почему же поп в церкви указ читал, что война объявилась, чтоб запасные собирались?

Проезжий. Про это не знаю, а знаю, что в заповедях — в шестой прямо сказано: не убий. Запрещено, значит, человеку человека убивать.

Крестьянин. Это, значит, дома. А на войне-то как же без этого? Враги, значит.

Проезжий. По Христову Евангелию врагов нету, всех любить велено. *(Раскрывает Евангелие и ищет.)*

Крестьянин. Ну-ка, почитай!

Проезжий *(читает)*. «Вы слышали, что сказано древним: не убивай; кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата подлежит суду». Еще сказано: «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф. гл. V, ст. 43, 44).

Продолжительное молчание.

Крестьянин. Ну, а подати как же? Тоже не отдавать?

Проезжий. Уж это как сам знаешь. Если у тебя самого дети голодные, так известное дело, прежде своих накормить.

Крестьянин. Так, значит, вовсе и солдат не надо?

Проезжий. А на кой их ляд? Миллионы да миллионы с вас же собирают, шутка ли прокормить да одеть ораву такую. Близу миллионов дармоедов этих, а польза от них только та, что вам же земли не дают да вас же стрелять будут.

Крестьянин *(вздыхает и качает головой)*. Так-то так. Да кабы все сразу. А то упрись один или два, застрелят или в Сибирь сошлют, только и толков будет.

Проезжий. А есть люди и теперь, и молодые ребята, поодиночке, а стоят за божий закон, в солдаты не идут: не могу, мол, по Христову закону быть убийцей. Делайте, что хотите, а ружья в руки не возьму.

Крестьянин. Ну и что же?

Проезжий. Сажают в арестантские — сидят там, сердешные, по три, по четыре года. А сказывают, там хорошо им, потому начальство тоже люди, уважают их.

А других и вовсе отпускают — говорят: не годится, слаб здоровьем. А он кося сажень в плечах, а не годится, потому — бояться принять такого, он другим расскажет, что солдатство против закона божеского. И отпускают.

Крестьянин. Ну?

Проезжий. Бывает, что отпускают, а бывает, что и помирают там. Да и в солдатах помирают, да еще калечат — кто без ноги, без руки...

Крестьянин. Ну и прокурат же ты, малый. Хорошо бы так, да не выйдет так дело.

Проезжий. Отчего не выйдет?

Крестьянин. А оттого...

Проезжий. От чего от того?

Крестьянин. Оттого, что начальству власть дана.

Проезжий. Да ведь власть-то у начальства только оттого, что вы его слушаете. А не слушайте начальства, и не будет и власти.

Крестьянин (*качает головой*). И чудно ты говоришь. Как же без начальства? Без начальства никак невозможно.

Проезжий. Известно дело, невозможно. Да только кого ты начальством считать будешь: исправника али бога? Кого хочешь слушать: исправника или бога?

Крестьянин. Да это что и говорить. Больше бога не будешь. Первое дело — по-божьи жить.

Проезжий. А коли по-божьи жить, так бога и слушать надо, а не людей. А будешь по-божьи жить, не станешь с чужой земли людей сгонять, не станешь в десятских, старостах ходить, подати отбирать, не пойдешь в стражники, в урядники, а пуще всего в солдаты не пойдешь, не будешь обещаться людей убивать.

Крестьянин. Так как же попы долгогривые-то? Им видать, что не по закону, а что ж они не учат, как должно?

Проезжий. Об этом не знаю. Они свою линию ведут, а ты свою веди.

Крестьянин. То-то долгогривые черти.

Проезжий. Это напрасно: что других осуждать. Надо каждому самому об себе помнить.

Крестьянин. Это как есть.

Долгое молчание. Крестьянин покачивает головой и усмехается.

Это, значит, ты к тому, что если дружно взяться всем сразу, — напором, значит, — так и земля наша будет, и податей не будет?

Проезжий. Нет, брат, не к тому я говорю. Не к тому я говорю, что по-божьи жить, так и земля наша будет, и податей платить не станем, а к тому говорю, что жизнь наша плохая только оттого, что сами плохо живем. Жили бы по-божьи, и плохой жизни бы не было. О том, какая была бы наша жизнь, если бы по-божьи жили, — один бог знает, а только то верно, что плохой жизни не было бы. Сами пьем, ругаемся, деремся, судимся, завиствуем, ненавидим людей, закона божьего не принимаем, людей осуждаем: то толстопузые, то долгогривые, а помани нас денежками, мы готовы на всякую службу идти: и в сторожа, и в десятские, и в солдаты, и своего же брата разорять, душить и убивать готовы. Сами живем по-дьявольски, а на людей жалеемся.

Крестьянин. Это верно. Да только трудно, уж как трудно! Другой раз и не стерпишь.

Проезжий. А для души терпеть надо.

Крестьянин. Это как есть! Оттого и плохо живем, что про бога забываем.

Проезжий. То-то и дело. Оттого и жизнь плохая. А то глядишь, забастовщики говорят: дай вот этих да вот этих господ да богачей толстопузых перебьем, — все от них, — и жизнь наша хорошая будет. И били и бьют, а пользы все нет никакой. Тоже и начальство: дай только, говорит, сроку, перевешаем да переморим по тюрьмам тысячу, другую народа, устроится жизнь хорошая. А глядишь, жизнь только все хужеет.

Крестьянин. Да это как есть. Разве можно не судом, надо по закону.

Проезжий. Вот то-то и дело. Одно из двух: либо богу служи, либо дьяволу. Хочешь дьяволу — пьянствуй, ругайся, дерись, ненавидь, корыстовайся, не

божьего закона слушайся, а людского, — и жизнь будет плохая; а хочешь служить богу — его одного слухай: не то что грабить или убивать, а никого не осуждай, не ненавиствуй, не влипай в худые дела, и не будет плохой жизни.

Крестьянин (*вздыхает*). Хорошо ты, старичок, рассказываешь, дуже хорошо, только мы мало слушаем. Ох, кабы побольше так наставляли нас, другое бы было. А то придут из города, тоже свое болтают, как дела исправить, болтают хлестко, а слушать нечего. Спасибо, старичок. Речи твои хорошие.

Где же ложиться будешь? На печке, что ль? Баба подстелет.

12-го октября 1909 г.

ПЕСНИ НА ДЕРЕВНЕ

Голоса и гармония были слышны точно рядом, но за туманом никого не было видно. Был будний день, и потому песни поутру сначала удивили меня.

«Да это, верно, рекрутов провожают», — вспомнил я бывший на днях разговор о том, что пятеро назначено из нашей деревни, и пошел по направлению к невольно притягивающей к себе веселой песне. Когда я подходил к песенникам, песня и гармония затихли. Песенники, то есть провожаемые ребята, вошли в каменную двухсвязную избу, к отцу одного из призываемых. Против дверей стояла небольшая кучка баб, девушек, детей. Пока я расспрашивал у баб, чьи да чьи ребята идут и зачем они зашли в избу, из двери вышли сопровождаемые матерями и сестрами и сами молодые ребята. Их было пятеро: четверо холостых, один женатый. Деревня наша под городом, и почти все призывные работали в городе и были одеты по-городски, очевидно в самые лучшие одежды: пиджаки, новые картузы, высокие щегольские сапоги. Естественно, больше других бросался в глаза невысокий, хорошо сложенный парень, с милым, веселым, выразительным лицом, с чуть пробивающимися усиками и бородкой и блестящими карими глазами. Как только он вышел, он тотчас же взялся за большую дорожную гармонику, висевшую у него через плечо, и, поклонившись мне, тотчас же, быстро перебирая клавиши, заиграл веселую «барыню» и, в самый раз такта, бойко, отрывисто шагая, тронулся вдоль улицы.

Рядом с ним шел тоже невысокий, коренастый белокурый малый. Он бойко поглядывал по сторонам и лихо подхватывал второй голос, когда запедало выводил первый. Это был женатый. Эти двое шли впереди. Остальные же трое, так же хорошо одетые, шли позади их и ничем особенным не выделялись, разве только тем, что один из них был высок ростом.

Я шел с толпой за парнями. Песни всё были веселые, и во время шествия не было никаких выражений горя. Но как только подошли к следующему двору, в котором должно было также быть угощение, и остановились, так началось вытье женщин. Трудно было разобрать, что они причитали. Слышны были только отдельные слова: смеретушка... отца матери... родиму сторонушку... И после каждого стиха голосащая, втягивая в себя воздух, заливалась сначала протяжными стонами, а потом закатывалась истерическим хохотом. Это были матери, сестры уходивших. Кроме голошения родственниц, слышны были уговоры посторонних. «Да будет, Матрена, я чай, уморилась», — услышал я слова одной женщины, уговаривавшей голосащую.

Парни вошли в избу, я остался на улице, разговаривая с знакомым крестьянином Васильем Ореховым, бывшим моим школьником. Сын его был один из пятерых, тот самый женатый парень, который шел, подпевая подголоском.

— Что же? жалко? — сказал я.

— Что же делать? Жалей не жалей, служить надо.

И он рассказал мне все свое хозяйственное положение. У него было три сына: один был дома, другой был этот уходящий в солдаты, третий жил, так же как и второй, в людях и хорошо подавал в дом. Этот же уходящий, очевидно, был плохой подавальщик. «Жена городская, к нашему делу не годится. Отрезанный ломоть. Голько бы сам себя кормил. Жалко-то жалко. А что же поделаешь».

Пока мы говорили, парни вышли из дома на улицу, и опять началось голошение, взвизги, хохот, уговоры. Постояв у двора минут пять, тронулись дальше, и опять гармоника и песни. Нельзя было не дивиться на энергию, бодрость игрока, как он верно отбивал темп, как

притопывал, останавливаясь, как замолкал и потом в самый раз подхватывал развеселым голосом, поглядывая кругом своими ласковыми карими глазами. У него, очевидно, было настоящее и большое музыкальное дарование. Я смотрел на него, и когда мы встречались с ним глазами, — так по крайней мере мне казалось, — он как будто смущался и, двинув бровью, отворачивался и еще бойчее заливался. Когда подошли к пятому, последнему, двору и ребята вошли в дом, я вошел за ними. Парней, всех пятерых, усадили за убранный скатертью стол. На столе были хлеб и вино. Хозяин, тот самый, с которым я говорил и который провожал женатого сына, наливал и подносил. Ребята почти ничего не пили, отпивали не больше четверти стаканчика, а то только пригубливали и отдавали. Хозяйка резала ковригу и подавала закусывать. Хозяин подливал стаканчики и обносил. В то время как я смотрел на парней, с печки, подле самого того места, где я сидел, слезла женщина в самой показавшейся мне неожиданной и странной одежде. На женщине было светло-зеленое, кажется шелковое, платье с модными украшениями, на ногах были ботинки с высокими каблуками, белокурые волосы были причесаны по-модному, и в ушах были большие золотые серьги-кольца. Лицо женщины было не грустное и не веселое, но как будто обиженное. Она сошла на пол, бойко постукивая своими, с высокими каблучками, новыми ботинками, не глядя на ребят, вышла в сени. Все в этой женщине: и ее одяние, и ее обиженное лицо, и в особенности серьги — все было так чуждо всему окружающему, что я никак не мог понять, кто она могла быть и зачем попала на печку в избу Василья. Я спросил у сидевшей рядом со мною женщины, кто она.

— Сноха Васильева. Из горничных она, — отвечали мне.

Хозяин стал наливать в третий раз, но парни отказались от угощения, встали, помолились, поблагодарили хозяев и вышли на улицу. На улице тотчас же опять заголосили. Первая заголосила вышедшая за парнями очень старая, сгорбленная женщина. Она так особенно жалостно голосила, так закатывалась, что бабы не переставая уговаривали ее и подхватывали под локти

воюющую, закатывающуюся и падающую вперед старуху.

— Кто это? — спросил я.

— Да бабка его. Василью мать, значит.

Как только старуха истерически захохотала и повалилась на руки поддерживающим ее бабам, шествие тронулось дальше, и опять залились гармония и веселые голоса.

На выходе из деревни подъехали телеги, чтобы везти призывных до волости, и все остановились. Воя и плача больше не было. Гармонщик же все больше и больше расходился. Он, согнув голову набок и установившись на одной ноге и вывернув другую, постукивал ею, руки же выводили частые, красивые фьеритуры, и, как раз, где надо было, подхватывал песню его бойкий, высокий, веселый голос и приятный подголосок Васильева сына. И старые, и молодые, и в особенности окружавшие толпу ребята, и я в том числе, — все мы, не спуская глаз, смотрели на певца, любуясь им.

— И ловок же, бестия! — сказал кто-то из мужиков.

— Горе плачет, горе песенки поет.

В это время к песеннику подошел энергическим, большим шагом тот из провожаемых парней, который был особенно высокого роста. Нагнувшись к гармонисту, он что-то сказал ему.

«Какой молодчина, — подумал я. — Этого уже верно зачислят куда-нибудь в гвардию». Я не знал, чей он, из какого двора.

— Чей этот? — спросил я, указывая на молодцеватого парня, у невысокого старичка, подходившего ко мне.

Старичок, сняв шапку, поклонился мне, но он не слышал мой вопрос.

— Чего говорите?

В первую минуту я не узнал его, но как только он заговорил, я тотчас же вспомнил работающего, хорошего мужика, который, как часто бывает, как бы на подбор, подпадал под одно несчастье после другого: то лошадей двух увели, то сгорел, то жена померла. Не узнал я его в первую минуту потому, что, давно не видав его, помнил Прокофия красно-рыжим и среднего роста

человеком, теперь же он был не рыжий, а седой и совсем маленький.

— Ах, это ты, Прокофий, — сказал я. — Я спрашиваю: чей этот молодец, вот что подходил к Александру?

— Этот? — повторил Прокофий, указывая движением головы на высокого парня. Он качнул головой и прошамкал какое-то слово, я не разобрал что.

— Я говорю: чей малый? — переспросил я и оглянулся на Прокофия.

Лицо Прокофия сморщилось, скулы задрожали.

— Мой это, — проговорил он и, отвернувшись от меня и закрывая лицо рукою, захлюпал, как ребенок.

И только теперь, после этих двух слов Прокофия: «мой это», я не одним рассудком, но всем существом своим почувствовал весь ужас того, что происходило передо мною в это памятное мне туманное утро. Все то разрозненное, непонятное, странное, что я видел, — все вдруг получило для меня простое, ясное и ужасное значение. Мне стало мучительно стыдно за то, что я смотрел на это, как на интересное зрелище. Я остановился и с сознанием совершенного дурного поступка вернулся домой.

И подумать, что все это совершается теперь над тысячами, десятками тысяч людей по всей России и совершалось и будет долго еще совершаться над этим кротким, мудрым, святым и так жестоко и коварно обманутым русским народом.

*8-го ноября 1909 г.
Ясная Поляна.*

ТРИ ДНЯ В ДЕРЕВНЕ

Первый день БРОДЯЧИЕ ЛЮДИ

В наше время по деревням завелось нечто совершенно новое, невиданное и неслыханное прежде. Каждый день в нашу деревню, состоящую из восьмидесяти дворов, приходят на ночлег от шести до двенадцати холодных, голодных, оборванных прохожих.

Такие люди, оборванные, почти раздетые, разутые, часто больные, до последней степени грязные, приходят в деревню и идут к десятскому. Десятский же, для того чтобы эти люди не умерли на улице от холода и голода, разводит их по местным жителям, считая жителями только крестьян. Десятский не ведет их к помещику, у которого, кроме своих десяти комнат в доме, есть еще десятки помещений и в конторе, и в кучерской, и в прачечной, и в белой и в черной людской, и в других заведениях; ни к священнику или дьякону, торговцу, у которых хоть и небольшие дома, но все-таки есть некоторый простор, а к тому крестьянину, у которого вся семья: жена, снохи, девки, большие и малые ребята, все в одной семи-восьми-десятиаршинной горнице. И хозяин принимает этого голодного, холодного, вонючего, оборванного, грязного человека и дает ему не только ночлег, но и кормит его.

— Сам за стол сядешь, — говорил мне старик хозяин, — нельзя и его не позвать. А то и в душу не пойдет, и покормишь, и чайком попоишь.

Таковы ночные постояльцы; но среди дня зайдут в каждый крестьянский дом не два, не три таких посетителя, а десять и больше. И то же: «нельзя же...»

И всякому баба, несмотря на то что хлеба далеко не достает до новины, отрежет ломоть, смотря по человеку, потолще или потоньше.

— Коли всем подавать, и на день ковриги не хватит, — говорили мне хозяйки. — Другой раз согрешишь и откажешь.

И так это происходит каждый день по всей России. Огромная, с каждым годом все увеличивающаяся, армия нищих, калек, административно ссыльных, беспомощных стариков и, главное, безработных рабочих живет, помещается, то есть укрывается от холода и непогоды, и кормится прямо непосредственно помощью самого тяжело трудящегося и самого бедного сословия — деревенского крестьянства.

У нас есть работные, воспитательные дома, есть приказы общественного призрения, есть всякого рода благотворительные учреждения по городам. И во всех этих учреждениях, в зданиях с электрическими освещениями, паркетными полами, чистой прислугой и разными, с хорошим жалованьем, служащими, призываются тысячи всякого рода беспомощных людей. Но как ни много таких людей, все это только капля в море того огромного населения (цифра эта неизвестна, но должна быть огромна), которое теперь, нищенствуя, бродит по России и призывается и кормится без всяких учреждений одним крестьянским деревенским народом, только своим христианским чувством побуждаемым к несению этой огромной и тяжелой повинности.

Только подумать о том, что заговорили бы живущие некрестьянскою жизнью люди, если бы в каждую спальню к ним ставили на ночь, хоть раз в неделю, одного такого измерзшегося, изголодавшегося, грязного, вшивого прохожего. Крестьяне же не только помещают их, таких прохожих, но и кормят их и чаем поят, оттого что «в душу самому не пойдет, если не посадить с собой за

стол». (В глухих местах Саратовской, Тамбовской и других губерний крестьяне не дожидаются того, чтобы десятский привел такого прохожего, а сами всегда без отказа принимают и кормят таких людей.)

И как все истинно добрые дела, крестьяне не переставая делают это, не замечая того, что это доброе дело. А между тем дело это, кроме того, что есть доброе дело, «для души», есть дело и огромной важности для всего русского общества. Важность этого дела для всего русского общества состоит в том, что, если бы не было этого крестьянского народа и не было бы в нем того христианского чувства, которое так сильно живет в нем, трудно представить себе, что бы было не только с этими сотнями тысяч несчастных бездомных, бродящих людей, но и со всеми достаточными, в особенности богатыми деревенскими жителями, живущими оседлой жизнью.

Надо только видеть ту степень лишения и страдания, до которой дошли или доведены эти бездомные, бродящие люди, и вдуматься в то душевное состояние, в котором они не могут не находиться, для того чтобы понять, что только эта помощь, оказываемая им крестьянами, удерживает их от вполне естественных в их положении насилий над теми людьми, которые владеют в излишке всем, что им, этим несчастным людям, необходимо только для поддержания своей жизни.

Так что не благотворительные общества и не правительство с своими полицейскими и разными судебными учреждениями ограждают нас, людей достаточных классов, от напора на нас дошедшего и большей частью доведенного до последней степени нищеты и отчаяния бродячего, голодного и холодного, бездомного люда, а ограждает, так же как и содержит и кормит нас, опять-таки все та же основная сила жизни русского народа — крестьянство.

Да, не будь среди огромного населения русского крестьянства того глубокого религиозного сознания братства всех людей, уже давно, несмотря ни на какую полицию (ее же так мало и не может быть много в деревнях), не только разнесли бы эти бездомные люди, дошедшие до последней степени отчаяния, все дома богатых, но и поубивали бы всех тех, кто стоял бы им на

дороге. Так что надо не ужасаться и удивляться на то, что, как это мы слышим и читаем, ограбили, убили человека с целью ограбления, а понимать и помнить то, что если это так редко случается, то обязаны мы этим только той бескорыстной помощи, которую оказывает крестьянство этому несчастному, бродячему населению.

К нам в дом заходит ежедневно от десяти до пятнадцати человек. Из этого числа есть настоящие нищие, такие, которые почему-либо избрали этот способ прокормления, сшили себе сумы, оделись, обулись, как могли, и пошли по миру. Есть между этими слепые, безрукие или безногие, есть, хотя изредка, дети, женщины. Но таких малая часть. Большинство же нищих теперь — это нищие прохожие без сумы, большею частью молодые и не калеки. Все они в самом жалком виде, разутые, раздетые, исхудалые, дрожащие от холода. Спросишь: «Куда идете?» Ответ почти всегда один: «Искать работы», или: «Искал работы, да не нашел, ворочаюсь домой. Нет работы, везде прикрывают». Есть среди этих немало и возвращающихся из ссылки.

Из этого-то большого числа нищих прохожих есть много самого различного свойства: есть люди явно пьющие, доведенные до этого своего положения вином, есть малограмотные, но есть вполне интеллигентные, есть скромные, стыдливые, есть, напротив, назойливые, требовательные.

На днях, только проснулся, Илья Васильевич говорит мне:

— У крыльца пятеро прохожих.

— Возьмите на столе, — говорю я.

Илья Васильевич берет и подает, как заведено, по пять копеек. Проходит около часа. Я выхожу на крыльцо. Ужасно оборванный, в совершенно развалившейся обуви маленький человек, с нездоровым лицом, подпухшими бегающими глазами, начинает кланяться и подает свидетельство.

— Вам подали?

— Ваше сиятельство, что же я с пятаком сделаю? Ваше сиятельство, войдите в мое положение. — Подает свидетельство. — Извольте посмотреть, ваше сиятельство, извольте видеть, — показывает на свою одежду. —

Куда я могу, ваше сиятельство (на каждом слове «ваше сиятельство», а на лице ненависть), что мне делать, куда мне деваться?

Я говорю, что подаю всем одинаково. Он продолжает умолять, требуя, чтобы я прочел свидетельство. Я отказываю. Становится на колени. Я прошу его оставить меня.

— Что же, мне, значит, руки на себя наложить? Одно остается. Больше делать нечего. Хоть что-нибудь.

Даю двадцать копеек, он уходит, очевидно, озлобленный.

И таких, то есть особенно неотвязных, очевидно признающих за собой право требовать своей доли у богатых, особенно много. Это все большей частью люди грамотные, часто даже начитанные и для которых недаром прошла революция. Эти люди видят в богатых, не как обыкновенные старинные нищие, людей, спасающих свою душу милостыней, а разбойников, грабителей, пьющих кровь рабочего народа; очень часто такого рода нищий сам не работает и всячески избегает работы, но во имя рабочего народа считает себя не только вправе, но обязанным ненавидеть грабителей народа, то есть богатых, и ненавидит их всей силой своей нужды, и если просит, а не требует, то только притворяется.

Таких людей, притом же и пьющих, про которых хочется сказать, что они сами виноваты, много; но немало среди бродячих людей и людей совершенно другого склада, кротких, смиренных и очень жалких, и страшно подумать про положение именно этих людей.

Вот высокий красивый человек, в одном оборванном и коротком пиджаке. Сапоги уже плохи и стоптаны, умное, хорошее лицо. Снимает картуз, просит, как обыкновенно. Я подаю, он благодарит. Я спрашиваю: откуда? куда?

— Из Петербурга, домой в деревню (нашей губернии).

Спрашиваю: отчего же так, пешком?

— Длинная история, — говорит он, пожимая плечами.

Я прошу рассказать. Рассказывает, очевидно, правдиво, как он «жил в Петербурге, было хорошее место

конторщика, тридцать рублей». Жил очень хорошо. «Ваши книги читал: «Войну и мир», «Анну Каренину», — говорит, опять улыбаясь особенно приятной улыбкой.

«И вздумали домашние, — продолжает он рассказ, — переселиться в Сибирь, в Томскую губернию». Написали ему, спрашивая, согласен ли он продать свою часть земли на старом месте. Он согласился. Домашние уехали, но оказалось, что земля им в Сибири попала дурная, они прожились там и вернулись домой. Живут теперь на квартирах в своей деревне, без земли, кормятся работой. Случилось, что к тому же времени и его жизнь в Петербурге разладилась. Первое — потерял место, и не от себя, а фирма, в которой служил, разорилась, распустила служащих. «А тут, по правде сказать, сошелся с швейкой, — опять тоже улыбаясь, — совсем замотала она меня. То помогал своим, а теперь вот каким козырем. Ну, да бог не без милости, может и справлюсь».

Очевидно, и умный, и сильный, деловитый человек, и только ряд случайностей привел его в теперешнее положение.

Или другой: в опорках, подпоясан веревкой. Одежда вся-вся в распозшихся дырках, очевидно не прорванная, но изношена до последней степени, лицо скуластое, приятное, умное и трезвое. Я подаю обычные пять копеек, он благодарит. Разговорились. Он административно-ссылный, жил в Вятке. И там плохо было, а теперь уж и вовсе худо, идет в Рязань, где жил прежде. Спрашиваю: чем был?

— Газетчиком, разносил газеты.

— За что пострадал?

— За распространение нелегальной литературы.

Разговорились про революцию. Я сказал свое мнение о том, что всё в нас самих, что такую огромную силу нельзя сломить силою.

— Уничтожится зло вне нас, только когда оно уничтожится в нас, — говорю я.

— Так-то так, да не скоро.

— От нас зависит.

— Я читал вашу книгу о революции.

— Это не моя, но я так же думаю.

— Хотел просить вас о ваших книгах.

— С удовольствием. Только как бы не повредить вам. Я дам самых невинных.

— Да мне что? Я уже ничего не боюсь. Для меня тюрьма лучше, чем так. Я тюрьмы не боюсь. Другой раз желаю, — грустно проговорил он.

— Как жалко, что столько сил тратится напрасно, — говорю я, — вот такие люди, как вы, как расстраиваете свою жизнь. Ну, как же вы теперь? Что намерены делать?

— Я-то? — проговорил он, вглядываясь мне в лицо.

То он весело и бойко отвечал мне, когда дело касалось прошедшего и общих вопросов, но как только дело коснулось его и он увидел мое сочувствие, он отвернулся, закрыл рукавом глаза, и затылок его затрясся.

И сколько таких людей!

Такие люди жалки, трогательны, но и эти люди стоят у того порога, перешагнув который начинается положение отчаянности, в котором добрый человек становится готовым на все.

«Сколь устойчивой ни казалась бы нам наша цивилизация, — говорит Генри Джордж, — а в ней развиваются уже разрушительные силы. Не в пустынях и лесах, а в городских трущобах и на больших дорогах воспитываются те варвары, которые сделают с нашей цивилизацией то же, что сделали гунны и вандалы с древней».

Да, то, что лет двадцать тому назад предсказывал Генри Джордж, совершается теперь на наших глазах везде и с особенной яркостью у нас в России, благодаря удивительному ослеплению правительства, старательно подкапывающего ту основу, на которой стоит и может стоять какое бы то ни было общественное благоустройство.

Вандалы, предсказанные Джорджем, уже вполне готовы у нас в России. И они, эти вандалы, эти отпетые люди, особенно ужасны у нас, среди нашего, как это ни странно кажется, глубоко религиозного народа. Вандалы эти особенно ужасны у нас именно потому, что у

нас нет того сдерживающего начала, следования приличию, общественному мнению, которое так сильно среди европейских народов. У нас либо истинное, глубоко религиозное чувство, либо полное отсутствие всяких, каких-либо сдерживающих начал: Стенька Разин, Пугачев... И, страшно сказать, эта армия Стеньки и Емельки все больше и больше разрастается благодаря таким же, как и пугачевские, деяниям нашего правительства последнего времени с его ужасами полицейских насилий, безумных ссылок, тюрем, каторги, крепостей, ежедневных казней.

Такая деятельность освобождает Стенек Разиных от последних остатков нравственных стеснений. «Уже если ученые господа так делают, то нам-то и бог велел», — говорят и думают они.

Я часто получаю письма от этого разряда людей, преимущественно ссыльных. Они знают, что я что-то такое писал о том, что не надо противиться злу насилием, и большею частью, хоть и безграмотно, но с большим жаром возражают мне, говоря, что на все то, что делают с народом власти и богатые, можно и нужно отвечать только одним: мстить, мстить и мстить.

Удивительна слепота нашего правительства. Оно не видит, не хочет видеть того, что все, что оно делает для того, чтобы обезоружить врагов своих, только усиливает число их и их энергию. Да, люди эти страшны: страшны и для правительства, и для людей богатых, и для всех людей, живущих среди богатых.

Но, кроме чувства страха, которое возбуждают эти люди, есть еще и другое чувство, и чувство гораздо более обязательное, чем чувство страха, чувство, которое не можем мы все не испытывать по отношению людей, попавших рядом случайностей в это ужасное положение бродяжнической жизни. Чувство это — чувство стыда и сострадания.

И не столько страх, сколько это чувство стыда и сострадания должно заставить нас, людей, не находящихся в этом положении, ответить так или иначе на это новое, ужасное явление русской жизни.

Второй день
ЖИВУЩИЕ И УМИРАЮЩИЕ

Я сижу за работой, приходит тихо Илья Васильевич и, очевидно не желая отрывать меня от дела, говорит, что давно дожидаются прохожие и женщина.

— Возьмите, пожалуйста, и подайте.

— Женщина по какому-то делу.

Прошу подождать и продолжаю работу. Выхожу, совершенно забыв о просительнице. Из-за угла выходит молодая длиннолицая, худая, очень бедно, холодно по погоде одетая крестьянка.

— Что нужно, в чем дело?

— К вашей милости.

— Да об чем? В чем дело?

— К вашей милости.

— Да что?

— Не по закону отдали. Осталась одна с трюмя детьми.

— Кого, куда отдали?

— Хозяина моего в Крапивну угнали.

— Куда, зачем?

— В солдаты, значит. А не по закону, потому один кормилец. Нельзя нам без него прожить. Будьте отец родной.

— Да что он, одинокий разве?

— Один как есть.

— Так как же одинокого отдали?

— А кто их знает. Вот осталась одна с ребятами. Делай что хошь. Одно — помирать надо. Да ребят жалко. Только и надежда, что на вашу милость, потому не по закону, значит.

Записал деревню, имя, прозвище, говорю, что узнаю — дам знать.

— Помогните хоть сколько-нибудь. Ребята есть хотят, а, верьте богу, куска хлеба нет. Пуще всего грудной. Молока в грудях нет. Хоть бы бог прибрал.

— Коровы разве нет? — спрашиваю.

— Какая у нас корова? Голодом все помираем.

Плачет и вся трясется в своей рваной поддевочке.

Отпускаю ее и собираюсь на обычную прогулку. Оказывается, что живущему у нас врачу есть дело к больному в той самой деревне, из которой приходила солдатка, и в той, где волостное правление. Я присоединяюсь к врачу, и мы вместе едем.

Заезжаю в волость. Врач идет в той же деревне по своим делам.

Старшины нет, нет и писаря, один помощник писаря, молодой, умный, знакомый мне мальчик. Расспрашиваю о муже солдатки. Почему отдан одинокий? Помощник справляется и говорит, что солдаткин муж не одинокий, а что их два брата.

— Как же она говорила мне, что он одинокий?

— Врет. Они всегда так, — говорит он, улыбаясь.

Справляюсь по разным нужным мне делам в волостном правлении. Заходит врач, окончив свое посещение больного, и мы вместе едем, направляясь в ту деревню, где живет солдатка. Но еще до выезда из села быстро выходит нам наперерез девочка лет двенадцати.

— К вам, верно, — говорю я доктору.

— Нет, я к вашей милости, — обращаясь ко мне, говорит девочка.

— Что нужно?

— К вашей милости. Как мать померши и остались мы одни сироты. Пятеро нас... Помогните как, обдумайте нужду нашу...

— Да ты откуда?

Девочка указывает дом кирпичный, довольно хороший.

— Я здешняя, вот и дом наш. Зайдите, сами увидите.

Выхожу из саней, иду к дому. Из дома выходит женщина и приглашает войти. Женщина эта — тетка сирот. Вхожу. Чистая, просторная горница. Все дети налицо. Четверо, кроме старшей: два мальчика, одна девочка и меньшей опять мальчик двухлетний. Тетка рассказывает подробно положение семьи. Два года тому назад отца детей задавило в рудокопной шахте. Хлопотали о вознаграждении, ничего не вышло. Осталась вдова с четырьмя детьми, пятого родила без него. Без мужика бились кое-как. Вдова нанимала сначала работать землю.

Да без мужика все шло хуже да хуже, сначала корову проели, а потом и лошадь, осталось две овцы. Всё жили кое-как, да вот с месяц тому назад сама заболела, померла. Осталось пять человек детей, старшей двенадцать.

— Кормись как хочешь. Помогаю по силам, — говорит тетка, — да сила наша малая. И ума не приложу, что с детьми делать. Хоть бы померли. В приют бы куда определить детей, хоть не всех.

Старшая девочка, очевидно, все понимает, вникает в наш разговор с теткой.

— Хоть бы этого вот, Миколашку, куда предельить, а то с ним беда, никуда отойти нельзя, — говорит она, указывая на двухлетнего бодрого мальчугана, весело смеющегося чему-то с сестренкой и, очевидно, совсем не согласного с желанием тетки.

Я обещаюсь хлопотать о помещении кого-либо из детей в приют. Девочка старшая благодарит и спрашивает, когда прийти за ответом. Глаза всех детей, даже и Миколашки, устремлены на меня, как на какое-то волшебное существо, которое все может сделать для них.

Выйдя из дома, не доходя до саней, встречаю старика. Старик здоровается и тотчас же начинает говорить о сиротах же.

— Бяда, — говорит он, — жалость смотреть на них. И девчонка старшенькая как хлопочет. Ровно мать им. И как ей только бог дает. Спасибо, люди не покидают, а то как есть голодом бы померли, сердешные. Вот уж таким и не грех помочь, — говорит он, очевидно советуя сделать это мне.

Прощаемся со стариком, с теткой, с девочкой и едем с врачом в деревню к утренней солдатке.

Спрашиваю у первого двора, где живет солдатка. Оказывается, что в этом первом дворе живет очень знакомая мне вдова, живущая милостыней, которую она умеет особенно упорно и назойливо выпрашивать. Вдова эта, как обыкновенно, тотчас начинает просить помощи. Помощь теперь ей особенно нужна для того, чтобы прокормить телка.

— А то съела она нас с старухой. Вы зайдите, посмотрите.

— А что старуха?

— Да что старуха — скрипит.

Я обещаю зайти посмотреть не столько телку, сколько старуху. Опять спрашиваю, где дом солдатки. Вдова же указывает мне избу через двор и успевает прибавить, что «бедны-то бедны, да уж очень пьют деверь ихний»...

Иду по указанию вдовы к дому через двор.

Как ни жалки по деревням дома бедных людей, такого заваливающегося дома, как дом солдатки, я давно не видал. Не только вся крыша, но и стены перекошились, так что окна кривые.

Внутренность не лучше внешности. Маленькая избушка с печкой, занимающей треть ее, вся была перекошена, черная, грязная и, к удивлению моему, полна народа. Я думал найти одну солдатку с ее детьми, но тут и золовка, молодая баба с детьми, и старуха свекровь. Солдатка же сама только вернулась от меня и, иззябшая, греется на печке. Пока она слезает, свекровь мне рассказывает про их житье. Сыновья ее, два брата, жили первоначально вместе. Все кормились. «Да нынче уже кто же живет вместе. Все поделены, — говорит словоохотливая свекровь. — Стали бабы ругаться, разделились братья, жисть еще хуже стала. Земля малая. Только и кормились, что заработками. Да вот Пётру отдали. Куда же ей теперь с ребятами деться? Так и живет с нами. Да всех не прокормить. Что и делать, не придумаем. Сказывают, вернуть можно».

Солдатка слезает с печи и тоже продолжает просить о том, чтобы я похлопотал вернуть мужа. Я говорю, что этого нельзя, и спрашиваю, какое имущество осталось у нее после мужа. Имущества никакого нет. Землю муж, уходя, отдал брату, ее деверю, чтобы он кормил ее с детьми. Было три овцы, да две пошли на проводы мужа. Осталось, как она говорит, только рухлядишка кое-какая, да овца, да две курицы. Всего и имущества. Свекровь подтверждает ее слова.

Спрашиваю солдатку, откуда она взята. Взята она из Сергиевского.

Сергиевское — богатое большое село, в сорока верстах от нас.

Спрашиваю: живы ли отец, мать и как живут.

— Живут, — говорит, — хорошо.

— Отчего бы тебе к ним не поехать?

— Я и сама думаю. Да боюсь, не примут саму-четверту.

— А может, и примут. Напиши им. Хочешь, я напишу?

Солдатка соглашается, я записываю имя ее родителя.

Пока я разговариваю с бабами, одна, старшенькая из детей солдатки, толстопузая девочка, подходит к ней и, дергая ее за рукав, что-то просит, кажется, просит есть. Солдатка говорит со мною и не отвечает. Девочка еще раз дергает и что-то бормочет.

— Пропasti на вас нет! — вскрикивает солдатка и с размаху ударяет девочку по голове.

Девочка заливается ревом.

Окончив свои дела здесь, я выхожу из избы и иду ко вдове с телкой.

Вдова уже ждет меня перед своим домом и опять просит войти взглянуть на телку. Я вхожу. В сенях, точно, стоит телка. Вдова просит взглянуть на нее. Я гляжу на телку и вижу, что вся жизнь вдовы так сосредоточена на телке, что она не может себе представить, чтобы мне могло быть неинтересно смотреть на телку.

Посмотрев на телку, я вхожу в дом и спрашиваю, где старуха.

— Старуха? — переспрашивает вдова, очевидно удивленная тем, что после телки меня еще может интересовать старуха. — На печи. Где же ей быть?

Я подхожу к печи и здороваюсь с старухой.

— О-ох! — отвечает мне слабый, хриплый голос. — Кто это?

Я называю себя и спрашиваю, как она живет.

— Какая моя жизнь?

— Что ж, болит что?

— Все болит. О-ох!

— Со мной доктор тут. Не позвать ли его?

— Дохтур? О-ох! Что мне твой дохтур! Мой вон где дохтур... Дохтур?.. О-ох!

— Ведь старая она, — говорит вдова.

— Ну, не старше меня, — говорю я.

— Как не старше, много старше. Ей, люди говорят, годов девяносто, — говорит вдова. — У ней уже все виски вылезли. Ономясь обстригла ее.

— Зачем же обстригла?

— Да вылезли все, почитай. Я и обрезала.

— О-ох! — опять стонет старуха. — О-ох! Забыл меня бог! Не примает души. Он, батюшка, не вынет, сама не выйдет... О-ох!.. За грехи, видно. И глотку промочить нечем. Хоть бы напоследки чайку попить. О-ох!

Заходит в избу врач, я прощаюсь, и мы выходим на улицу, садимся в сани и едем в небольшую соседнюю деревеньку на последнее посещение больного. Врача еще накануне приезжали звать к этому больному. Приезжаем, входим вместе в избушку. Небольшая, но чистая горница, в середине люлька, и женщина усиленно качает ее. За столом сидит лет восьми девочка и с удивлением и испугом смотрит на нас.

— Где он? — спрашивает врач про больного.

— На печи, — говорит женщина, не переставая качать люльку с ребенком.

Врач всходит на хоры и, облокотившись на печку, нагибается над больным и что-то делает там.

Я подхожу к врачу и спрашиваю, в каком положении больной.

Врач не отвечает. Я всхожу тоже на хоры, вглядываюсь в темноту и только понемногу начинаю различать волосатую голову человека, лежащего на печи.

Тяжелый, дурной запах стоит вокруг больного. Больной лежит навзничь. Врач держит его за пульс левой руки.

— Что он, очень плох? — спрашиваю я.

Врач не отвечает мне и обращается к хозяйке.

— Запали лампу, — говорит он.

Хозяйка зовет девчонку и велит ей качать люльку, а сама зажигает лампу и подает врачу. Я слезаю с хор, чтобы не мешать врачу. Он берет лампу и продолжает свои исследования над больным.

Девочка, заглядевшись на нас, недостаточно сильно качает люльку, и ребенок начинает пронзительно и жа-

лостно кричать. Мать, отдавши врачу лампу, сердито отталкивает девочку и принимается сама качать.

Я опять подхожу к врачу. И опять спрашиваю, что больной.

Врач, все еще занятый больным, тихим голосом говорит мне одно слово.

Я не расслышал, что он сказал, и переспрашиваю.

— Агония. — повторяет врач сказанное слово и молча слезает с хор и ставит лампу на стол.

Ребенок не переставая кричит и жалостным и озлобленным голосом.

— Что ж, аль помер? — говорит баба, точно поняв значение слова, сказанного врачом.

— Нет еще, да не миновать, — говорит врач.

— Что же, за попом, значит? — недовольно говорит баба, все сильнее и сильнее качая раскричавшегося ребенка.

— Добро бы сам дома был, а то теперь кого найдешь, — гляди, все за дровами уехали.

— Больше тут мне делать нечего, — говорит врач, и мы выходим.

Потом я узнал, что баба нашла, кого послать за попом, и поп только успел причастить умирающего.

Едем домой и дорогой молчим. Думаю, что оба испытываем одинаковое чувство.

— Что у него было? — спрашиваю я.

— Воспаление легких. Я не ждал такого скорого конца, организм могучий, но зато и условия губительны. Сорок градусов температура, а на дворе пять градусов мороза, идет и сидит.

И опять замолкаем и едем молча довольно долго.

— Я не заметил на печи ни постели, ни подушки, — говорю я.

— Ничего, — говорит врач.

И, очевидно, понимая, о чем я думаю, говорит:

— Да, вчера я был в Крутом у родильницы. Надо было для исследования положить женщину так, чтобы она лежала вытянувшись. В избе не было такого места.

И опять мы молчим и опять, вероятно, думаем об одном и том же. Молча доезжаем до дома. У крыльца

стоит великолепная пара коней цугом в ковровых санях. Кучер красавец, в тулупе и мохнатой шапке. Это сын приехал из своего имения.

Вот мы сидим за обеденным столом, накрытым на десять приборов. Один прибор пустой. Это место внучки. Она нынче не совсем здорова и обедает у себя с няней. Для нее приготовлен особенно гигиенический обед: бульон и саго.

За большим обедом из четырех блюд, с двумя сортами вин и двумя служащими лакеями и стоящими на столе цветами, идут разговоры.

— Откуда эти чудесные розаны? — спрашивает сын.

Жена рассказывает, что цветы эти присланы из Петербурга какой-то дамой, не открывающей своего имени.

— Такие розаны по полтора рубля за штуку, — говорит сын. И он рассказывает, как на каком-то концерте или представлении закидали всю сцену такими цветами. Разговор переходит на музыку и на большого знатока и покровителя ее.

— А что? Как его здоровье?

— Да все нехорошо. Опять едет в Италию. И всякий раз — проведет там зиму и удивительно поправляется.

— Переезд тяжел и скучен.

— Нет, отчего же, с express¹ всего тридцать девять часов.

— Все-таки скука.

— Погоди, скоро летать будем.

Третий день

ПОДАТИ

Кроме обычных посетителей и просителей, нынче еще особенные: первый — это бездетный, доживающий в большой бедности свой век, старик крестьянин; второй — это очень бедная женщина с кучей детей; третий — это крестьянин, сколько я знаю, достаточный. Все

¹ экспрессом (франц.).

трое из нашей деревни, и все трое по одному и тому же делу. Собирают перед Новым годом подати, и у старика описали самовар, у бабы овцу и у достаточного крестьянина корову. Все они просят защиты или помощи, а то и того и другого.

Первый говорит зажиточный крестьянин, высокий, красивый, стареющийся человек. Он рассказывает, что пришел староста, описал корову и требует двадцать семь рублей. А деньги эти продовольственные, и, по мнению крестьянина, деньги эти не следует брать теперь. Я ничего этого не понимаю и говорю, что справлюсь, узнаю в волостном правлении и тогда скажу, можно или нельзя освободиться от этого платежа.

Вторым говорит старик, у которого описали самовар. Маленький, худенький, слабый, плохо одетый человек рассказывает с трогательным огорчением и недоумением, как пришли, взяли самовар и требуют три рубля семь гривен, которых нет и добыть негде.

Спрашиваю: за какие это подати?

— Какие-то, кто их знает, казенные, что ль. Где ж мы со старухой возьмем? И так еле живы. Какие же это права? Пожалейте нашу старость. Помогите как.

Я обещаюсь узнать и сделать, что могу. Обращаюсь к бабе. Худая, измученная, я ее знаю. Знаю, что муж пьяница и пять детей.

— Овцу описали. Пришли. Давай, говорит, деньги. Я говорю: хозяйина нет, на работе. Давай, говорит. Где же я возьму. Одна овца, и ту забрали. — Плачет.

Обещаюсь разузнать и помочь, если могу, и прежде всего иду на деревню к старосте, узнать подробности, какие это подати и почему так строго взимаются.

На улице деревни останавливают меня еще две просительницы — бабы. Мужья на работе. Одна просит купить у ней холст, отдает за два рубля.

— А то описали кур. Только развела. Тем и кормлюсь, что соберу яичек, продам. Возьмите, холст хороший. Я бы и за три не отдала, кабы не нужда.

Отсылаю домой, когда вернусь, обсудим, а то, может, и так уладится. Не доходя до старосты, наперерез выходит еще бывшая школьница, быстроглазая, черно-

глазая, бывшая ученица моя, Ольгушка, теперь старушка. Та же беда — описали телку.

Иду к старосте. Староста, сильный, с седеющей бородой и умным лицом мужик, выходит ко мне на улицу. Я расспрашиваю, какие подати собираются и почему так вдруг строго. Староста рассказывает мне, что приказано строго-настрого очистить к Новому году всю недоимку.

— Разве велено, — говорю, — отбирать самовары, скотину?

— А то как же? — говорит староста, пожимая сильными плечами. — Нельзя же, не платят. Вот хоть бы Абакумов. — Он называет мне того достаточного крестьянина, у которого описали корову за какой-то продовольственный капитал. — Сын на бирже ездит, три лошади. Как ему не платить? А все ужимается.

— Ну, этот, положим, — говорю. — Ну, а бедных-то как же? — И называю ему стариков, у которых взяли самовар.

— Эти точно, что бедные, и взять не с чего. Да ведь там не разбирают.

Называю бабу, у которой взяли овцу. И эту староста жалеет, но как будто оправдывается тем, что не может не исполнять приказания.

Я спрашиваю: давно ли он старостой и сколько получает.

— Да что получаю, — говорит он, отвечая не на высказанный мною, а на невысказанный мой же, угадываемый им, вопрос, зачем он участвует в таком деле. — И то хочу отказаться. Тридцать рублей наше жалованье, а греха не оберешься.

— И что же, и отберут и самовары, и овец, и кур? — спрашиваю я.

— А то как же? Обязаны отобрать. А волостное уже торги назначит.

— И продадут?

— Да, натянут как-нибудь...

Иду к той бабе, которая приходила об описанной у нее овце. Крошечная избенка, в сенях та самая единственная овца, которая должна идти на пополнение государственного бюджета. По бабьему обычаю,

хозяйка, нервная, измученная и нуждой и трудами женщины, увидав меня, с волнением начинает быстро говорить:

— Вот и живу: последнюю овцу берут, а я сама чуть жива с этими. — Указывает на хоры и печку. — Идите сюда, чего! Не бойтесь. Вот и кормись тут с ними, с голопузыми.

Голопузые — действительно голопузые, в оборванных рубашонках и без порток, — слезают с печи и окружают мать...

Еду в тот же день в волость, чтобы узнать подробности об этом для меня новом приеме взыскания податей.

Старшины нет. Он сейчас придет. В волости несколько человек стоят за решеткой, также дожидаются старшины.

Расспрашиваю ожидающихся. Кто, зачем? Двое за паспортами. Идут в заработки. Принесли деньги за паспорта. Один приехал за копией с решения волостного суда, отказавшего ему, просителю, в том, что усадьба, на которой он жил и работал двадцать три года, похоронив принявших его стариков дядю и тетку, не была бы отнята от него внучкой того дяди. Внучка эта, будучи прямой наследницей дяди, пользуясь законом 9 ноября, продает в собственность и землю и усадьбу, на которой жил проситель. И ему отказано, но он не хочет верить, чтобы были такие права, и хочет просить высший суд, он сам не знает какой. Я разъясняю ему, что права эти есть, и это вызывает доходящее до недоумения и недоверия неодобрение всех присутствующих.

Едва кончился разговор с этим крестьянином, как обращается ко мне за разъяснениями по его делу высокий, с суровым, строгим выражением лица крестьянин. Дело его в том, что он вместе с односельцами копают руду железную на своих пашнях, копали спокон века.

— Нынче вышло распоряжение. Не велят копать. На своей земле не велят копать. Какие же это права? Мы только этим кормимся. Второй месяц хлопочем и

нигде концов не найдем. И ума не приложим, разоряют, да и все.

Я ничего не могу сказать этому человеку утешительного и обращаюсь к пришедшему старшине с моими вопросами о тех решительных мерах, которые прилагаются у нас для взыскания недоимок. Спрашиваю и о том: по каким да по каким статьям собираются подати. Старшина сообщает мне, что всех видов податей, по которым собираются теперь недоимки с крестьян, семь: 1) казенные, 2) земские, 3) страховые, 4) продовольственные долги, 5) продовольственного капитала взамен засыпи, 6) мирские волостные, 7) сельские.

Старшина говорит мне то же, что и староста, что причина особенной строгости взыскания — предписание высшего начальства. Старшина признает, что трудно собирать с бедных, но уже не с таким сочувствием, как староста, относится к беднякам и не позволяет уж себе осуждать начальство и, главное, почти не сомневается в необходимости своей должности и безгрешности своего участия в этих делах.

— Ведь нельзя же и потачки давать...

Вскоре после этого мне случилось говорить об этом же с земским начальником. У земского начальника этого уже очень мало было сочувствия к трудному положению бедняков, которых он почти не видал, и так же мало сомнений в нравственной законности своей деятельности. Хотя в разговоре со мной он и соглашался, что в сущности покойнее бы было и вовсе не служить, он все-таки считал себя полезным деятелем, потому что другие на его месте были бы хуже. А раз живя в деревне, почему же не воспользоваться хоть небольшим жалованьем земского начальника.

Суждения же губернатора о собирании податей, необходимых для удовлетворения нужд людей, занятых благоустройством народа, были совершенно свободны от каких бы то ни было соображений о самоварах, телках, овцах, холстах, отбираемых от деревенской бедноты, не было уже ни малейшего сомнения о пользе своей деятельности.

Министры же, и те, которые занимаются торговлей водкой, и те, которые заняты обучением людей убий-

ству, и те, которые заняты присуждениями к изгнаниям, тюрьмам, каторгам, вешанию людей, все министры и их помощники, — эти уже вполне уверены, что и самовары, и овцы, и холсты, и телки, отбираемые от нищих, находят самое свое лучшее помещение в приготовлении водки, отравляющей народ, в изготовлении орудий убийства, в устройстве тюрем, арестантских рот и т. п. и, между прочим, и в раздаче жалований им и их помощникам для устройства гостиных и костюмов их жен и для необходимых расходов по путешествиям и увеселениям, предпринимаемым ими для отдохновения от тяжести несомых ими трудов ради блага этого грубого и неблагодарного народа.

ХОДЫНКА

— Не понимаю этого упрямства. Зачем тебе не спать и идти «в народ», когда ты можешь спокойно ехать завтра с тетей Верой прямо в павильон. И все увидишь. Я ведь говорил тебе, что Бер мне обещал провести тебя. Да ты, как фрейлина, и имеешь право.

Так говорил известный всему высшему свету под прозвищем «Пижон» князь Павел Голицын своей двадцатитрехлетней дочери Александре, по признанному за ней прозвищу «Рина». Разговор этот происходил вечером 17 мая 1896 года, в Москве, накануне народного праздника коронации. Дело было в том, что Рина, красивая, сильная девушка, с характерным голицынским профилем, горбатым носом хищной птицы, уже пережила период увлечений светскими балами и была, или по крайней мере считала себя, передовой женщиной, и была народницей. Она была единственная дочь и любимица отца и делала, что хотела. Теперь ей взбрела мысль, как говорил отец, идти на народное гулянье с своим кузенком, не в полдень с двором, а вместе с народом, с дворником и помощником кучера, которые шли из их дома и собирались выходить рано утром.

— Да мне, папа, хочется не смотреть на народ, а быть с ним. Мне хочется видеть его отношение к молодому царю. Неужели нельзя хоть раз...

— Ну, делай как хочешь, я знаю твое упрямство.

— Не сердись, милый папа. Я тебе обещаю, что буду благоразумна, и Алек будет неотступно со мной.

Как ни странной и дикой казалась эта затея отцу, он не мог не согласиться.

— Разумеется, возьми, — отвечал он на ее вопрос, можно ли взять коляску. — Доедешь до Ходынки и пришьешь назад.

— Ну, так так.

Она подошла к нему. Он, по обычаю, перекрестил ее: она поцеловала его большую белую руку. И они разошлись.

В этот же вечер в квартире, сдававшейся известной Марьей Яковлевной рабочим с папиросной фабрики, шли также разговоры о завтрашнем гулянье. В квартире Емельяна Ягоднова сидели зашедшие к нему товарищи и сговаривались, когда выходить.

— В пору уж и не ложиться, а то, того гляди, проспийшь, — говорил Яша, веселый малый, живший за перегородкой.

— Отчего не поспать, — отвечал Емельян. — С зарей выйдем. Так и ребята сказывали.

— Ну, спать так спать. Только уж ты, Семеныч, разбуди, коли что.

Семеныч Емельян обещал и сам достал из стола шелковые нитки, подвинул к себе лампу и занялся пришивкой оторванной пуговицы к летнему пальто. Окончив дело, приготовил лучшую одежду, выложив на лавку, вычистил сапоги, потом помолился, прочтя несколько молитв: «отче», «богородицу», значения которых он не понимал да и никогда не интересовался, и, сняв сапоги и портки, лег на примятый тюфячок скрипучей кровати.

«Отчего же? — думал он. — Бывает же людям счастье. Може, и точно попадется выигрышный билет. (Среди народа был слух, что, кроме подарков, будут раздавать еще и выигрышные билеты.) Уж что там десять тысяч. Хушь бы пятьсот рублей. То-то бы наделал делов: старикам бы послал, жену бы с места снял. А то какая жизнь врозь. Часы бы настоящие купил. Шубу бы себе и ей сделал. А то бьешься, бьешься — и все из нужды не выбьешься». И вот стало ему представляться, как он с женой идет по Александровскому саду, а тот самый

городовой, что летось его забрал за то, что он пьяный ругался, что этот городской уж не городской, а генерал, и генерал этот ему смеется и зовет в трактир орган слушать. И орган играет, и играет точно как часы бьют. И Семеныч просыпается и слышит, что часы шипят и бьют, и хозяйка, Марья Яковлевна, за дверью кашляет, а в окне уже не так темно, как было вчера.

«Как бы не проспаться».

Емельян встает, идет босыми ногами за перегородку, будит Яшу, одевается, маслит голову, причесывается, глядит в разбитое зеркальце.

«Ничего, хорошо. За то и девки любят. Да не хочу баловаться...»

Идет к хозяйке. Как вчера уговорено, берет в мешочек пирога, два яйца, ветчины, полбутылки водки, и, чуть занимается заря, они с Яшей выходят со двора и идут к Петровскому парку. Они не одни. И впереди идут, и сзади догоняют, и со всех сторон выходят и сходятся и мужчины, и женщины, и дети, все веселые и нарядные, на одну и ту же дорогу.

И вот дошли до Ходынского поля. А тут уж народ по всему полю чернеет. И из разных мест дым идет. Заря была холодная, и люди раздобываются сучьев, поленьев и раздувают костры.

Сошелся Емельян с товарищами, тоже костер развели, сели, достали закуску, вино. А тут и солнце взошло, чистое, ясное. И весело стало. Играют песни, болтают, шутят, смеются, всему радуются, радости ожидают. Выпил Емельян с товарищами, закурил, и еще веселей стало.

Все были нарядны, но и среди нарядных рабочих и их жен заметны были богачи и купцы с женами и детьми, которые попадались промеж народа. Так заметна была Рина Голицына, когда она, радостная, сияющая от мысли, что она добилась своего и с народом, среди народа, празднует восшествие на престол обожаемого народом царя, ходила с братом Алеком между кострами.

— Проздравляю, барышня хорошая, — крикнул ей молодой фабричный, поднося ко рту стаканчик. — Не побрезгуй нашей хлеба-соли.

— Спасибо.

— Кушайте сами, — подсказал Алек, щеголяя своим знанием народных обычаев, и они прошли дальше.

По привычке всегда занимать первые места, они, пройдя по полю между народом, где становилось уж тесно (народу было так много, что, несмотря на ясное утро, над полем стоял густой туман от дыханий народа), они пошли прямо к павильону. Но полицейские не пустили их.

— И прекрасно. Пожалуйста, пойдем опять туда, — сказала Рина, и они опять вернулись к толпе.

— Вре, — ствечал Емельян, сидя с товарищами вокруг разложенной на бумаге закуски, на рассказ подошедшего знакомого фабричного о том, что выдают. — Вре.

— Я тебе рассказываю. Не по закону, а выдают. Я сам видел. Несет и узелок и стакан.

— Известно, шельмы артельщики. Им что. Кому хотят, тому дают.

— Да это что же. Разве это можно противу закону?

— Вот те можно.

— Да идем, ребята. Чего смотреть на них.

Все встали. Емельян убрал свою бутылочку с оставшейся водкой и пошел вперед вместе с товарищами.

Не прошел он двадцати шагов, как народ стеснил так, что идти стало трудно.

— Чего лезешь?

— А ты чего лезешь?

— Что ж, ты один?

— Да буде.

— Батюшки, задавили, — послышался женский голос. Детский крик слышался с другой стороны.

— Ну тебя к матери...

— Да ты что? Али тебе одному нужно?

— Всю разберут. Ну, дай доберусь до них. Черти, дьяволы!

Это кричал Емельян и, напруживая здоровые, широкие плечи и растопыривая локти, раздвигал, как мог, и рвался вперед, хорошенько не зная зачем, — потому только, что все рвались и что ему казалось, что

прорваться вперед непременно нужно. Сзади его, с обоих боков были люди, и все жали его, а впереди люди не двигались и не пускали вперед. И все что-то кричали, кричали, стонали, охали. Емельян молчал и, стиснув здоровые зубы и нахмутив брови, не унывал, не ослабевал и толкал передних, и хоть медленно, но двигался. Вдруг все всколыхнулось и после ровного движения шарахнулось вперед и в правую сторону. Емельян взглянул туда и увидел, как пролетело что-то одно, другое, третье и упало в толпу. Он не понял, что это такое, но близко около него чей-то голос закричал:

— Черти проклятые — в народ хвырять стали.

И там, куда летели мешочки с подарками, слышны были крики, хохот, плач и стоны.

Емельяна кто-то больно толкнул под бок. Он стал еще мрачнее и сердитее. Но не успел он опомниться от этой боли, как кто-то наступил ему на ногу. Пальто, его новое пальто, зацепилось за что-то и разорвалось. В сердце ему вступила злоба, и он из всех сил стал напирать на передовых, толкая их перед собой. Но тут вдруг случилось что-то такое, чего он не мог понять. То он ничего не видал перед собой, кроме спин людских, а тут вдруг все, что было впереди, открылось ему. Он увидел палатки, те палатки, из которых должны были раздавать гостинцы. Он обрадовался, но радость его была только одну минуту, потому что тотчас же он понял, что открылось ему то, что было впереди, только потому, что они все подошли к валу и все передние, кто на ногах, кто котом, свалились в него, и сам он валится туда же, на людей, валится сам на людей, а на него валятся другие, задние. Тут в первый раз на него нашел страх. Он упал. Женщина в ковровом платке навалилась на него. Он стряхнул ее с себя, хотел вернуться, но сзади давили и не было сил. Он подался вперед, но ноги его ступали по мягкому — по людям. Его хватили за ноги и кричали. Он ничего не видел, не слышал и продирался вперед, ступая по людям.

— Братцы, часы возьмите, золотые! Братцы, выручьте! — кричал человек подле него.

«Где до часов теперь», — подумал Емельян и стал выбираться на другую сторону вала. В душе его было

два чувства, и оба мучительные: одно — страх за себя, за свою жизнь, другое — злоба против всех этих ошалелых людей, которые давили его. А между тем та, с начала поставленная себе цель: дойти до палаток и получить мешок с гостинцами и в нем выигрышный билет, с самого начала поставленная им себе, влекла его.

Палатки уже были в виду, видны были артельщики, слышны были крики тех, которые успели дойти до палаток, слышен был и треск дощатых проходов, в которых спиралась передняя толпа. Емельян понатужился, и ему оставалось уж не больше двадцати шагов, когда он вдруг услышал под ногами, скорее промежду ног, детский крик и плач. Емельян взглянул под ноги: мальчик, простоволосый, в разорванной рубашонке, лежал навзничь и, не переставая голая, хватал его за ноги. Емельяну вдруг что-то вступило в сердце. Страх за себя прошел. Прошла и злоба к людям. Ему стало жалко мальчика. Он нагнулся, подхватил его под живот, но задние так наперли на него, что он чуть не упал, выпустил из рук мальчика, но тотчас же, напрягши все силы, опять подхватил его и вскинул себе на плечо. Напиравшие менее стали напирать, и Емельян понес мальчика.

— Давай его сюда, — крикнул шедший вплоть с Емельяном кучер и взял мальчика и поднял его выше толпы.

— Беги по народу.

И Емельян, оглядываясь, видел, как мальчик, то ныряя в народе, то поднимаясь над ним, по плечам и головам людей уходил все дальше и дальше.

Емельян продолжал двигаться. Нельзя было не двигаться, но теперь его уже не занимали подарки, ни то, чтобы дойти до палаток. Он думал об мальчишке, и о том, куда делся Яша, и о тех задавленных людях, которых он видел, когда проходил по валу. Добравшись до палатки, он получил мешочек и стакан, но это уже не радовало его. Порадовало его в первую минуту то, что здесь кончалась давка. Можно было дышать и двигаться. Но тут же, сейчас и эта радость прошла от того, что он увидал здесь. А увидал он женщину в полосатом разорванном платье, с растрепанными русыми

волосами и в ботинках с пуговками. Она лежала навзничь; ноги в ботинках прямо торчали кверху. Одна рука лежала на траве, другая была, с сложенными пальцами, ниже грудей. Лицо было не бледное, а с синевой белое, какое бывает только у мертвых. Эта женщина была первая задавлена насмерть и была выкинута сюда, за ограду, перед царским павильоном.

В то время когда Емельян увидел ее, над ней стояли два городских, и полицейский что-то приказывал. И тут же подъехали казаки, и начальник что-то приказал им, и они пустились на Емельяна и других людей, стоявших здесь, и погнали их назад в толпу. Емельян опять попал в толпу, опять давка, и давка еще худшая, чем прежде. Опять крики, стоны женщин, детей, опять одни люди топчут других, и не могут не топтать. Но у Емельяна уж не было теперь ни страха за себя, ни злобы к тем, кто давил его, было одно желание — уйти, избавиться, разобраться в том, что поднялось в душе, закурить и выпить. Ему страшно хотелось закурить и выпить. И он добился своего: вышел на простор и закурил и выпил.

Но не то было с Алеком и с Риной. Не ожидая ничего, они шли между сидящим кружками народом, разговаривая с женщинами, детьми, как вдруг народ весь ринулся к палаткам, когда прошел слух, что артельщики не по закону раздают гостинцы. Не успела Рина оглянуться, как она уже была оттерта от Алека и толпа понесла ее куда-то. Ужас охватил ее. Она старалась молчать, но не могла, и вскрикивала, прося пощады. Но пощады не было, ее давили все больше и больше, платье обрывали, шляпа слетела. Она не могла утверждать, но ей казалось, что с нее сорвали часы с цепочкой. Она была сильная девушка и могла бы еще держаться, но душевное состояние ее ужаса было мучительно, она не могла дышать. Оборванная, измятая, она кое-как держалась; но в тот час, когда казаки бросились на толпу, чтобы разогнать ее, она, Рина, отчаялась, и, как только отчаялась, ослабела, и с ней сделалось дурно. Она упала и ничего больше не помнила.

Когда она опомнилась, она лежала навзничь на траве. Какой-то человек, вроде мастерового, с бородкой, в разорванном пальто, сидел на корточках перед нею и брызгал ей в лицо водою. Когда она открыла глаза, человек этот перекрестился и выплюнул воду. Это был Емельян.

— Где я? Кто вы?

— На Ходынке. А я кто? Человек я. Тоже помяли и меня. Да наш брат всего вытерпит, — сказал Емельян.

— А это что? — Рина указала на деньги медные у себя на животе.

— А это, значит, так думал народ, что померла, так на похоронки. А я пригляделся: думаю — нет, жива. Стал отливать.

Рина оглянулась на себя и увидела, что она вся растерзанная и часть груди ее голая. Ей стало стыдно. Человек понял и закрыл ее.

— Ничего, барышня, жива будешь.

Подошел еще народ, городской. Рина приподнялась и села, и объявила, чья она дочь и где живет. А Емельян пошел за извозчиком.

Народу уж собралось много, когда Емельян приехал на извозчике. Рина встала, ее хотели подсаживать, но она сама села. Ей только было стыдно за свою растерзанность.

— Ну, а братец-то где? — спрашивала одна из подошедших женщин у Риной.

— Не знаю. Не знаю, — с отчаянием проговорила Рина. (Приехав домой, Рина узнала, что Алек, когда началась давка, успел выбраться из толпы и вернулся домой без всякого повреждения.)

— Да вот он спас меня, — говорила Рина. — Если бы не он, не знаю, что бы было. Как вас зовут? — обратилась она к Емельяну.

— Меня-то? Что меня звать.

— Княжна ведь она, — подсказала ему одна из женщин, — бога-а-а-тая.

— Поедьте со мной к отцу. Он вас отблагодарит.

И вдруг у Емельяна на душе что-то поднялось такое сильное, что не променял бы на двухсоттысячный выигрыш.

— Чего еще. Нет, барышня, ступайте себе. Чего еще благодарить.

— Да нет же, я не буду спокойна.

— Прощай, барышня, с богом. Только пальто мою не увези.

И он улыбнулся такой белозубой, радостной улыбкой, которую Рина вспоминала как утешение в самые тяжелые минуты своей жизни.

И такое же еще большее радостное чувство, выносящее его из этой жизни, испытывал Емельян, когда вспоминал Ходынку и эту барышню и последний разговор с нею.

[НЕЧАЯННО]

Он вернулся в шестом часу утра и прошел по привычке в уборную, но, вместо того чтобы раздеваться, сел — упал в кресло, уронив руки на колени, и сидел так неподвижно минут пять, или десять, или час, — он не помнил.

— Семерка червей. — Бита! — И он увидел его ужасную, непоколебимую морду, но все-таки просвечивающую самодовольством.

— Ах, черт! — громко проговорил он.

За дверью зашевелилось. И, в ночном чепце и ночной с прошивкой сорочке, в зеленых бархатных туфлях, вышла его жена, красивая энергическая брюнетка с блестящими глазами.

— Что с тобой? — сказала она просто, но, взглянув на его лицо, вскрикнула то же самое. — *Что с тобой?* Миша! Что с тобой?

— Со мной то, что я пропал.

— Играл?

— Да.

— Ну и что?

— Что? — с каким-то злорадством повторил он. — То, что я погиб! — и он вскрикнул, удерживая слезы.

— Сколько раз я просила, умоляла.

Ей жалко было его, но жалче было себя — и за то, что будет нужда, и за то, что она не спала всю ночь, мучаясь и дожидаясь его. «Уж пять часов», — подумала она, взглянув на часы, лежавшие на столике. — Ах, мучитель. Сколько?

Он взмахнул обеими руками мимо ушей.

— Всё! Не всё, но больше всего: все свое, все казенное. Бейте меня. Делайте со мной, что хотите. Я погиб. — И он закрыл лицо руками. — Ничего больше не знаю!

— Миша! Миша, послушай. Пожалей меня, я ведь тоже человек, я не спала всю ночь. Тебя ждала, мучилась, и вот награда. Скажи по крайней мере — что? сколько?

— Столько, что не могу, не может никто заплатить. Все шестнадцать тысяч. Все кончено. Убежать, но как?

Он взглянул на нее, и, чего никак не ожидал, она привлекала его к себе. «Как она хороша», — подумал он и взял ее за руку. Она оттолкнула его.

— Миша, да говори же толком, как же ты это мог?

— Надеюсь отыграться. — Он достал портсигар и жадно стал курить. — Да, разумеется. Я мерзавец, я не стою тебя. Брось меня. Прости в последний раз, и я уйду, исчезну. Катя. Я не мог, не мог. Я был как во сне, нечаянно. — Он поморщился. — Но что же делать. Все равно погиб. Но ты прости. — Он опять хотел обнять ее, но она сердито отстранилась.

— Ах, эти жалкие мужчины. Храбрытся, пока все хорошо, а как плохо — так отчаяние и никуда не годятся.

Она села на другую сторону туалетного столика.

— Расскажи порядком.

И он рассказал ей. Рассказал, как он вез деньги в банк и встретил Некрасова. Он предложил ему захватить к себе и играть. И они играли, и он проиграл все и теперь решил покончить с собой. Он говорил, что решил покончить с собой, но она видела, что он ничего не решил, а был в отчаянии и готов был на все. Она выслушала его и, когда он кончил:

— Все это глупо, гадко: нечаянно проиграть деньги нельзя. Это какое-то кретинство.

— Ругай, что хочешь делай со мной.

— Да я не ругать хочу, а хочу спасти тебя, как всегда спасала, как ты ни гадок и жалок мне.

— Бей, бей. Недолго уже...

— Так вот, слушай. По-моему, как ни мерзко, безжалостно мучать меня... Я больна — нынче еще принимала... и вдруг этот сюрприз. И эта беспомощность.

Ты говоришь, что делать? Делать очень просто что. Сейчас же, — теперь шесть часов, — поезжай к Фриму и расскажи ему.

— Разве Фрим пожалеет? Ему нельзя рассказать.

— Как, однако, ты глуп. Неужели я буду советовать тебе рассказать директору банка, что ты доверенные тебе деньги проиграл в... Расскажи ему, что ты ехал на Николаевский вокзал... Нет. Сейчас поезжай в полицию. Нет не сейчас, а утром в десять часов. Ты шел по Нечаевскому переулку, на тебя набросились двое. Один с бородой, другой почти мальчик, с браунингом, и отняли деньги. И тотчас же к Фриму. То же самое.

— Да, но ведь... — Он опять закурил папиросу. — Ведь они могут узнать от Некрасова.

— Я пойду к Некрасову. И скажу ему. Я сделаю.

Миша начал успокаиваться и в восемь часов утра заснул как мертвый. В десять она разбудила его.

Это происходило рано поутру в верхнем этаже. В нижнем же этаже, в семействе Островских, в шесть часов вечера происходило следующее.

Только что кончили обедать. И молодая мать, княгиня Островская, подозвала лакея, обнесшего уже всех пирожным, апельсинным желе, спросила чистую тарелку и, положив на нее порцию желе, обратилась к своим детям, — их было двое: старший — мальчик семи лет, Вока; девочка — четырех с половиной, Танечка. Оба были очень красивые дети: Вока — серьезный, здоровый, степенный мальчик, с прелестной улыбкой, выставившей разрозненные, меняющиеся зубы, и черноглазая, быстрая, энергичная Танечка, болтливая, забавная хохотунья, всегда веселая и со всеми ласковая.

— Дети, кто снесет няне пирожное?

— Я, — проговорил Вока.

— Я, я, я, я, я, я, — прокричала Танечка и уж сорвалась со стула.

— Нет, кто первый сказал. Вока. Бери, — сказал отец, всегда баловавший Танечку и потому всегда бывший рад случаю выказать свою беспристрастность. — А ты, Танечка, уступи брату, — сказал он любимице.

— Воке уступить я всегда рада. Вока, бери, иди. Для Воки мне ничего не жалко.

Обыкновенно дети благодарили за обед. И родители пили кофе и дожидались Воки. Но его что-то долго не было.

— Танечка, сбегай в детскую, посмотри, отчего Вока долго не идет.

Танечка соскочила со стула, зацепила ложку, уронила, подняла, положила на край стола, она опять упала, опять подняла и с хохотом, семеня своими обтянутыми чулками сытыми ножками, полетела в коридор и в детскую, позади которой была нянина комната. Она было пробежала детскую, но вдруг позади себя услышала всхлипывание. Она оглянулась. Вока стоял подле своей кровати и, глядя на игрушечную лошадь, держал в руке тарелку и горько плакал. На тарелке ничего не было.

— Вока, что ты? Вока, а пирожное?

— Я-я-я нечаянно съел дорогой. Я не пойду... никуда... не пойду. Я, Таня... я, право, нечаянно... я все съел... сначала немного, а потом все съел.

— Ну, что же делать?

— Я нечаянно...

Танечка задумалась. Вока заливался плакал. Вдруг Танечка вся просияла.

— Вока, вот что. Ты не плачь, а походи к няне и скажи ей, что ты нечаянно, и попроси прощенья, а завтра мы ей свое отдадим. Она добрая.

Рыдания Воки прекратились, он вытирал слезы и ладонями и противной стороной ручек.

— А как же я скажу? — проговорил он дрожащим голосом.

— Ну, пойдём вместе.

И они пошли и вернулись счастливые и веселые. И счастливые и веселые были и няня и родители, когда няня, смеясь и умиляясь, рассказала им всю историю.

БЛАГОДАРНАЯ ПОЧВА

Из дневника

Опять живу у моего друга Черткова в Московской губернии. Гошу по той же причине, по которой мы съезжались с ним на границе Орловской и я год тому назад приезжал в Московскую. Причина та, что черта оседлости для Черткова — весь земной шар, кроме Тульской губернии. Вот я и выезжаю на разные концы этой губернии, чтобы видеться с ним.

Выхожу в восьмом часу на обычную прогулку. Жаркий день. Сначала иду по жесткой глинистой дороге мимо акации, готовящейся уже трещать и выбрасывать свои семена; потом мимо начинающей желтеть ржи с своими чудными, все еще свежими васильками; выхожу в черное, почти все уж запаханное паровое поле; направо пашет старик в бахилках сохой и на плохой худой лошади, и слышу сердитое старинное: «Вылѣзь!» — с особенным ударением на втором слоге. И изредка: «У! Дьявол!» И опять: «Вылѣзь... Дьявол». Хотел поговорить с ним, но, когда я проходил мимо его борозды, он был на противоположном конце полосы. Иду дальше. Впереди другой пахарь. С этим, должно быть, сойдуся, когда он будет подходить к дороге. «Коли сойдуся, то и поговорю с ним, если придется», — думаю я. И как раз встречаемся с ним у дороги. Этот пашет плугом на крупной рыжей лошади; молодой, красиво сложенный малый, одет хорошо, в сапогах, ласково отвечает на мой привет: «Бог на помощь»,

Плуг плохо берет накатанную дорогу, он переезжает ее и останавливается.

— Что же, лучше сохи?

— Как же, много легче.

— А давно завел?

— Недавно, да вот украли было.

— Как же, нашли?

— Нашли, своей же деревни.

— Что же, и в суд подали?

— А то как же?

— Зачем же подавать, коли плуг нашелся?

— Да ведь вор.

— Что ж, что вор, посидит в остроге — хуже воровать научится.

Серьезно и внимательно смотрит на меня, очевидно не отвечая ни согласием, ни отрицанием на новую для него мысль.

Свежее, здоровое, умное лицо с чуть пробивающимися светлыми волосами на бороде и верхней губе, с умными серыми глазами. Он заворотил лошадь, чтобы идти назад, но оставил плуг, очевидно желая отдохнуть и непрочь поговорить. Я взялся за ручки плуга и тронул потную сытую рослую кобылу. Кобыла влегла в хомут, и я сделал несколько шагов. Но я не удержал плуг, он выскочил, и я остановил лошадь.

— Нет, вы не можете.

— Только тебе борозду испортил.

— Это ничего, справлю.

Он осадил лошадь, чтобы взять пропущенное мною, но не стал пахать.

— На солнце жарко, пойдем в кустах посидим, — пригласил он, указывая на лесок вплоть у конца полосы.

Мы перешли в тень молодых березок. Он сел на землю, я остановился против него.

— Из какой деревни?

— Из Ботвиньина.

— Далече?

— Вон маячит на горке. — И он показал мне.

— Что же так далеко от дома пашешь?

— Да это не моя, здешнего мужичка, я нанялся.

— Как нанялся, на лето?

— Не, посеять нанялся — вспахать, передвоить, все как должно.

— Что же, у него земли много?

— Да мер двадцать высеваает.

— Вот как, а лошадь это твоя? Хорошая лошадь.

— Да кобыла ничего, — говорит он с спокойной гордостью.

Кобыла действительно такая по ладам, росту и сытости, каких редко видишь у крестьян.

— Верно живешь в людях, извозом занимаешься?

— Не, дома, один и хозяин.

— Такой молодой?

— Да я с семи лет без отца остался, брат в Москве живет, на фабрике. Сначала сестра помогала, тоже на фабрике жила, а с четырнадцати лет как есть один, во все дела, и работал, и наживал, — сказал он с спокойным сознанием своего достоинства.

— Женат?

— Нет.

— Так кто же у тебя по домашности?

— А матушка?

— И корова есть?

— Коров две.

— Вот как! Сколько же тебе лет? — спросил я.

— Восемнадцать, — отвечал он, чуть улыбаясь и понимая, что меня занимало то, что он, такой молодой, так мог устроиться. И это, очевидно, было ему приятно.

— Какой еще молодой, — сказал я. — Что же, и в солдаты придется?

— Как же, лобовой, — сказал он с тем спокойным выражением, с которым говорят про старость, про смерть, вообще про то, о чем рассуждать нечего, потому что оно неотвратимо.

Разговор наш, как и всегда в наше время разговоры с крестьянами, коснулся земли, и он, описывая свою жизнь, сказал, что земли мало, что если бы не работал где пеший, где на лошади, то и кормиться бы нечем. Но рассказывает он все это с веселым, радостным и гордым самодовольством. Повторил еще раз, что остался

один хозяином с четырнадцати лет и все один заработал.

— Ну, а вино пьешь?

Очевидно, ему неприятно было сказать, что пьет, но он не хочет сказать неправду.

— Пью, — сказал он тихо, пожимая плечами.

— А грамоте знаешь?

— Хорошо знаю.

— Что же, не читал книг о вине?

— Нет, не читал.

— Что же, а лучше бы не пить совсем.

— Известно, добра от него мало.

— Так и бросить бы.

Он молчит, и видно, что понимает и думает.

— Ведь можно, — говорю я, — а как хорошо бы.

Вот я третёва дни ездил в Ивино, только подъезжаю к одному двору, а хозяин здоровывается со мною и называет меня по имени-отчеству. Выходит, что двенадцать лет тому назад мы виделись с ним. Это Кузин; знаешь?

— Как же. Сергей Тимофеич.

И я рассказываю ему, как с этим Кузиным двенадцать лет тому назад мы устроили общество трезвости, и с тех пор он, Кузин, хотя и пил прежде, перестал пить совсем.

— И вот теперь говорил Кузин мне, что только радуется тому, что отстал от этой пакости, — сказал я. — И живет, видно, очень исправно. И дом и все заведение. А не брось он пить, может, и совсем не то бы было.

— Да, это точно.

— Так вот и тебе бы так. Такой ты малый хороший, к чему тебе вино пить, коли сам говоришь, что от него никакой пользы нет. Брось и ты, и как хорошо будет.

Он молчит и во все глаза смотрит на меня. Я собираюсь уходить и подаю ему руку.

— Право, брось, вот с этого раза. Вот бы хорошо было.

Он сильной рукой сжимает мою руку и, очевидно, в этом рукопожатии видит вызов на обещание.

— Ну что же, можно, — совершенно неожиданно, как-то весело и решительно говорит он.

— Неужели обещаешь? — говорю я с удивлением.

— А то что ж? Обещаю, — говорит он, кивая головой и чуть улыбаясь.

И по его спокойному звуку голоса, серьезному, внимательному лицу видно, что это не шутка и что он точно обещает и точно хочет исполнить то, что обещает.

От старости ли, от болезни, или от того и другого вместе, я стал слаб на слезы; на слезы умиления — радости. Простые слова этого милого, твердого, сильного человека, такого одинокого и такого, очевидно, готового на все доброе, так тронули меня, что я отошел от него, от волнения не в силах выговорить слова.

Когда я оправился, отойдя несколько шагов, я повернулся к нему и сказал (я перед этим спросил, как его зовут):

— Так смотри же, Александр: не давши слова — крепись, а давши слово — держись.

— Да это уж как есть, верно будет.

Редко приходится испытывать более радостное чувство, которое я испытывал, отходя от него.

Я забыл сказать, что, разговаривая с ним, я предложил дать ему листков против пьянства и книжечек. Тех листков против пьянства, из которых один был приклеен в соседней деревне хозяином к наружной стене и был сорван и уничтожен урядником. Он поблагодарил и сказал, что зайдет в обед. В обед он не зашел, и — грешный человек — мне пришло в голову, что весь разговор наш не был для него так важен, как мне показалось, и что ему и не нужно книг, и что вообще я приписал ему то, чего в нем не было. Но вечером он пришел, весь потный от работы и перехода. Проработав до вечера, он доехал домой, отпряг плуг, убрал лошадь и за четыре версты, бодрый, веселый, пришел ко мне за книгами. Я с гостями сидел на великолепной террасе перед разбитыми клумбами с урнами среди цветных горок. Вообще среди той роскошной обстановки, за

которую всегда стыдно перед людьми рабочего народа, когда вступаешь с ними в человеческие отношения.

Я вышел к нему и первым делом повторил вопрос: не раздумал ли? верно ли будет держать обещание? Опять с той же доброй улыбкой он сказал:

— А то как же, я и матушке сказал. Она рада, благодарит вас.

За ухом у него я увидел бумажку.

— А куришь?

— Курю, — сказал он, очевидно ожидая, что я буду уговаривать его и это бросить. Но я не стал. Он помолчал и по какой-то странной связи мыслей, — связь эта, я думаю, была в том, что, видя во мне сочувствие к своей жизни, он хотел сообщить мне то важное событие, которое ожидало его осенью, — он сказал:

— А я вам не сказывал: меня уже сосватали. — И он улыбнулся, вопросительно глядя мне в глаза. — Осенью.

— Вот как! Хорошее дело. Где берете?

Он сказал.

— С приданым?

— Нет, какое приданое. Девушка хорошая.

И мне пришло в голову сделать ему тот вопрос, который всегда занимает меня, когда имеешь дело с хорошими молодыми людьми нашего времени.

— А что, — спросил я, — уж ты прости меня, что я тебя спрашиваю, но, пожалуйста, скажи правду: или не отвечай, или всю правду скажи.

Он устал на меня спокойный, внимательный взгляд.

— Отчего ж не сказать.

— Имел ты грех с женщиной?

Ни минуты не колеблясь, он просто отвечал:

— Помилуй бог, не было этого.

— Вот и хорошо, очень хорошо, — сказал я. — Радуюсь за тебя.

Говорить больше было сейчас нечего.

— Ну так вот, я сейчас вынесу тебе книжки, и помогай тебе бог.

И мы простились.

Да, какая чудная для посева земля, какая восприимчивая. И какой ужасный грех бросать в нее семена лжи, насилия, пьянства, разврата. Да, какая чудная земля не переставая парует, дожидаясь семени, и зарастает сорными травами. Мы же, имеющие возможность отдать этому народу хоть что-нибудь из того, что мы не переставая берем от него, — что мы даем ему? Аэропланы, дредноуты, тридцатипятиэтажные дома, граммофоны, кинематографы и все те ненужные глупости, которые мы называем наукой и искусством. И главное — пример пустой, безнравственной, преступной жизни. Да еще хорошо, если бы мы за то, что берем от него, давали бы ему только одни ненужные, глупые и дурные примеры. А то вместо уплаты хоть части своего неоплатного долга перед ним мы засеиваем эту алчущую истинного знания землю одними «терниями и волчцами», запутываем этих милых, открытых на все доброе, чистых, как дети, людей коварными, умышленными обманами.

Да, «горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит».

*Мещерское, 21-го июня 1910 года, —
Ясная Поляна, 9-го июля 1910 года.*

НЕЗАКОНЧЕННОЕ

*

НАБРОСКИ

ПОСМЕРТНЫЕ ЗАПИСКИ СТАРЦА ФЕДОРА КУЗМИЧА,

УМЕРШЕГО 20 ЯНВАРЯ 1864 ГОДА В СИБИРИ, БЛИЗ ТОМСКА
НА ЗАЙМКЕ КУПЦА ХРОМОВА ¹

Еще при жизни старца Федора Кузмича, появившегося в Сибири в 1836 году и прожившего в разных местах двадцать семь лет, ходили про него странные слухи о том, что это скрывающий свое имя и звание, что это не кто иной, как император Александр Первый; после же смерти его слухи еще более распространились и усилились. И тому, что это был действительно Александр Первый, верили не только в народе, но и в высших кругах и даже в царской семье в царствование Александра Третьего. Верил этому и историк царствования Александра Первого, ученый Шильдер.

Поводом к этим слухам было, во-первых, то, что Александр умер совершенно неожиданно, не болев перед этим никакой серьезной болезнью, во-вторых, то, что умер он вдали от всех, в довольно глухом месте, Таганроге, в-третьих, то, что, когда он был положен в гроб, те, кто видели его, говорили, что он так изменился, что нельзя было узнать его и что поэтому его закрыли и никому не показывали, в-четвертых, то, что Александр неоднократно говорил, писал (и особенно часто в последнее время), что он желает только одного: избавиться от своего положения и уйти от мира, в-пятых, — обстоятельство мало известное, — то, что при

¹ Квадратными скобками обозначен редакторский текст.

протоколе описания тела Александра было сказано, что спина его и ягодицы были багрово-сизо-красные, что никак не могло быть на изнеженном теле императора.

Что же касается до того, что именно Кузмича считали скрывшимся Александром, то поводом к этому было, во-первых, то, что старец был ростом, сложением и паружностью так похож на императора, что люди (камер-лакеи, признавшие Кузмича Александром), выдавшие Александра и его портреты, находили между ними поразительное сходство, и один и тот же возраст, и та же характерная сутуловатость; во-вторых, то, что Кузмич, выдававший себя за непомнящего родства бродягу, знал иностранные языки и всеми приемами своими величавой ласковости обличал человека, привыкшего к самому высокому положению; в-третьих, то, что старец никогда никому не открыл своего имени и звания, а между тем невольно прорывающимися выражениями выдавал себя за человека, когда-то стоявшего выше всех других людей; и в-четвертых, то, что он перед смертью уничтожил какие-то бумаги, из которых остался один листок с шифрованными странными знаками и инициалами А. и П.; в-пятых, то, что, несмотря на всю набожность, старец никогда не говел. Когда же посетивший его архиерей уговаривал его исполнить долг христианина, старец сказал: «Если бы я на исповеди не сказал про себя правды, небо удивилось бы; если же бы я сказал, кто я, удивилась бы земля».

Все догадки и сомнения эти перестали быть сомнениями и стали достоверностью вследствие найденных записок Кузмича. Записки эти следующие. Начинаются они так:

I

Спаси бог бесценного друга Ивана Григорьевича¹ за это восхитительное убежище. Не стою я его доброты и милости божией. Я здесь спокоен. Народа ходит меньше, и я один с своими преступными воспоминаниями и

¹ Иван Григорьевич Латышев — это крестьянин села Красно-реченского, с которым Федор Кузмич познакомился и сошелся в 39-м году и который после разных перемен места жительства

с богом. Постараюсь воспользоваться уединением, чтобы подробно описать свою жизнь. Она может быть поучительна людям.

Я родился и прожил сорок семь лет своей жизни среди самых ужасных соблазнов и не только не устоял против них, но упивался ими, соблазнялся и соблазнял других, грешил и заставлял грешить. Но бог оглянулся на меня. И вся мерзость моей жизни, которую я старался оправдать перед собой и сваливать на других, наконец открылась мне во всем своем ужасе, и бог помог мне избавиться не от зла — я еще полон его, хотя и борюсь с ним, — но от участия в нем. Какие душевные муки я пережил и что совершилось в моей душе, когда я понял всю свою греховность и необходимость искупления (не веры в искупление, а настоящего искупления грехов своими страданиями), я расскажу в своем месте. Теперь же опишу только самые действия мои, как я успел уйти из своего положения, оставив вместо своего трупа труп замученного мною до смерти солдата, и приступлю к описанию своей жизни с самого начала.

Бегство мое совершилось так. В Таганроге я жил в том же безумии, в каком жил все эти последние двадцать четыре года. Я, величайший преступник, убийца отца, убийца сотен тысяч людей на войнах, которых я был причиной, гнусный развратник, злодей, верил тому, что мне про меня говорили, считал себя спасителем Европы, благодетелем человечества, исключительным совершенством, un heureux hasard¹, как я сказал это madame Staël². Я считал себя таким, но бог не совсем оставил меня, и недремлющий голос совести не переставая грыз меня. Все мне было нехорошо, все были виноваты. Один я был хорош, и никто не понимал этого. Я обращался к богу, молился то православному богу с Фоти-ем, то католическому, то протестантскому с Парротом, то иллюминатскому с Крюденер, но и к богу я обращался

построил для Кузмича в стороне от дороги, в горе, над обрывом, в лесу келью. В этой келье и начал Кузмич свои записки. (Прим. Л. Н. Толстого.)

¹ счастливой случайностью (франц.).

² госпоже Сталь (франц.).

только перед людьми, чтоб они любовались мною. Я презирал всех людей, а эти-то презренные люди, их мнение только и было для меня важно, только ради его я жил и действовал. Одному мне было ужасно. Еще ужаснее с нею, с женою. Ограниченная, лживая, капризная, злая, чахоточная и вся притворство, она хуже всего отравляла мою жизнь. Nous étions censés¹ прожить нашу новую lune de miel², а это был ад в приличных формах, притворный и ужасный.

Один раз мне особенно было гадко, я получил накануне письмо от Аракчеева об убийстве его любовницы. Он описывал мне свое отчаянное горе. И удивительное дело: его постоянная тонкая лесть, не только лесть, но настоящая собачья преданность, начавшаяся еще при отце, когда мы вместе с ним, тайно от бабушки, присягали ему, эта собачья преданность его делала то, что я если любил в последнее время кого из мужчин, то любил его. Хотя и неприлично употреблять это слово «любил», относя его к этому извергу. Связывало меня с ним еще и то, что он не только не участвовал в убийстве отца, как многие другие, которые именно за то, что они были участниками моего преступления, мне были ненавистны. Он не только не участвовал, но был предан моему отцу и предан мне. Впрочем, про это после.

Я спал дурно. Странно сказать, убийство красавицы, злой Настасьи (она была удивительно чувственно красива), вызвало во мне похоть. И я не спал всю ночь. То, что через комнату лежит чахоточная, постылая жена, не нужная мне, злило и еще больше мучало меня. Мучали и воспоминания о Мари (Нарышкиной), бросившей меня для ничтожного дипломата. Видно, и мне и отцу суждено было ревновать к Гагариным. Но я опять увлекаюсь воспоминаниями. Я не спал всю ночь. Стало рассветать. Я поднял гардину, надел свой белый халат и кликнул камердинера. Все еще спали. Я надел сюртук, штатскую шинель и фуражку и вышел мимо часовых на улицу.

¹ Мы предполагали (франц.).

² медовый месяц (франц.).

Солнце только что поднималось над морем, был свежий осенний день. На воздухе мне сейчас же стало лучше. Мрачные мысли исчезли, и я пошел к игравшему местами на солнце морю. Не доходя угла с зеленым домом, я услышал с площади барабан и флейту. Я прислушался и понял, что на площади происходила экзекуция: прогоняли сквозь строй. Я, столько раз разрешавший это наказание, никогда не видал этого зрелища. И странное дело (это, очевидно, было дьявольское влияние), мысли об убитой чувственной красавице Настасье и об рассекаемых шпицрутенами телах солдат сливались в одно раздражающее чувство. Я вспомнил о прогнанных сквозь строй семеновцах и о военнопоселенцах, сотни которых были загнаны насмерть, и мне вдруг пришла странная мысль посмотреть на это зрелище. Так как я был в штатском, я мог это сделать.

Чем ближе я шел, тем явственнее слышалась барабанная дробь и флейта. Я не мог ясно рассмотреть без лорнета своими близорукими глазами, но видел уже ряды солдат и движущуюся между ними высокую, с белой спиной фигуру. Когда же я стал в толпе людей, стоявшей позади рядов и смотревшей на зрелище, я достал лорнет и мог рассмотреть все, что делалось. Высокий человек с привязанными к штыку обнаженными руками и с голой, кое-где алевшей уже от крови, расчеченной белой сутуловатой спиной шел по улице сквозь строй солдат с палками. Человек этот был я, был мой двойник. Тот же рост, та же сутуловатая спина, та же лысая голова, те же баки, без усов, те же скулы, тот же рот и те же голубые глаза, но рот не улыбающийся, а раскрывающийся и искривляющийся от вскрикиваний при ударах, и глаза не умильные, ласкающие, а страшно выпяченные и то закрывающиеся, то открывающиеся.

Когда я взгляделся в лицо этого человека, я узнал его. Это был Струменский, солдат, левофланговый унтер-офицер 3-й роты Семеновского полка, в свое время известный всем гвардейцам по своему сходству со мною. Его шутя называли Александром II.

Я знал, что он был вместе с бунтовавшими семеновцами переведен в гарнизон, и понял, что он, вероятно,

здесь в гарнизоне сделал что-нибудь, вероятно бежал, был пойман и вот наказывался. Как я потом узнал, так это и было.

Я стоял как заколдованный, глядя на то, как шагал этот несчастный и как его били, и чувствовал, что что-то во мне делается. Но вдруг я заметил, что стоявшие со мной люди, зрители, смотрят на меня, — одни сторонятся, другие приближаются. Очевидно, меня узнали. Увидав это, я повернулся и быстро пошел домой. Барабан все бил, флейта играла; стало быть, казнь все продолжалась. Главное чувство мое было то, что мне надо было сочувствовать тому, что делалось над этим двойником моим. Если не сочувствовать, то признавать, что делается то, что должно, — и я чувствовал, что я не мог. А между тем я чувствовал, что если я не признаю, что это так и должно быть, что это хорошо, то я должен признать, что вся моя жизнь, все мои дела — все дурно, и мне надо сделать то, что я давно хотел сделать: все бросить, уйти, исчезнуть.

Чувство это охватило меня, я боролся с ним, я то признавал, что это так и должно быть, что это печальная необходимость, то признавал, что мне надо было быть на месте этого несчастного. Но, странное дело, мне не жалко было его, и я, вместо того чтобы остановить казнь, только боялся, что меня узнают, и ушел домой.

Скоро перестало быть слышно барабаны, и, вернувшись домой, я как будто освободился от охватившего меня там чувства, выпил свой чай и принял доклад от Волконского. Потом обычный завтрак, обычные, привычные — тяжелые, фальшивые отношения с женой, потом Дибич и доклад, подтверждавший сведения о тайном обществе. В свое время, описывая всю историю своей жизни, опишу, если богу будет угодно, все подробно. Теперь же скажу только, что и это я внешним образом принял спокойно. Но это продолжалось только до конца обеда. После обеда я ушел в кабинет, лег на диван и тотчас же заснул.

Едва ли я проспал пять минут, как толчок во всем теле разбудил меня, и я услышал барабанную дробь, флейту, звуки ударов, вскрикивания Струменского и

увидал его или себя, — я сам не знал, он ли был я, или я был я, — увидел его страдающее лицо и безнадежные подергивания и хмурые лица солдат и офицеров. Затмение это продолжалось недолго: я вскочил, застегнул сюртук, надел шляпу и шпагу и вышел, сказав, что пойду гулять.

Я знал, где был военный госпиталь, и прямо пошел туда. Как всегда, все засуетились. Запыхавшись прибежал главный доктор и начальник штаба. Я сказал, что хочу пройти по палатам. Во второй палате я увидел плешивую голову Струменского. Он лежал ничком, положив голову на руки, и жалобно стонал. «Был наказан за побег», — доложили мне.

Я сказал: «А!», сделал свой обычный жест того, что слышу и одобряю, и прошел мимо.

На другой день я послал спросить, что Струменский. Мне сказали, что его причастили и он умирает.

Это был день именин брата Михаила. Был парад и служба. Я сказал, что нездоров после крымской поездки, и не пошел к обедне. Ко мне опять пришел Дибич и докладывал опять о заговоре во 2-й армии, напоминая то, что говорил мне об этом граф Витт еще до крымской поездки, и донесение унтер-офицера Шервуда.

Тут только, слушая доклад Дибича, приписывавшего такую огромную важность этим замыслам заговора, я вдруг почувствовал все значение и всю силу того переворота, который произошел во мне. Они делают заговор, чтобы изменить образ правления, ввести конституцию, — то самое, что я хотел сделать двадцать лет тому назад. Я делал и разделявал конституции в Европе, и что и кому от этого стало лучше? И главное, кто я, чтобы делать это? Главное было то, что вся внешняя жизнь, всякое устройство внешних дел, всякое участие в них — а уж я ли не участвовал в них и не перестраивал жизнь народов Европы — было не важно, не нужно и не касалось меня. Я вдруг понял, что все это не мое дело. Что мое дело — я, моя душа. И все мои прежние желания отречения от престола, тогда с рисовкой, с желанием удивить, опечалить людей, показать им свое величие души, вернулись теперь, но вернулись с новой силой и с полной искренностью, уже не для

людей, а только для себя, для души. Как будто весь этот пройденный мною в светском смысле блестящий круг жизни был пройден только для того, чтобы вернуться к тому юношескому, вызванному раскаянием, желанию уйти от всего, но вернуться без тщеславия, без мысли о славе людской, а для себя, для бога. Тогда это были неясные желания, теперь это была невозможность продолжать ту же жизнь.

Но как? Не так, чтобы удивить людей, чтобы меня хвалили, а, напротив, надо было уйти так, чтобы никто не знал и чтобы пострадать. И эта мысль так обрадовала, так восхитила меня, что я стал думать о средствах приведения ее в исполнение, все силы своего ума, своей, свойственной мне, хитрости употребил на то, чтобы привести ее в исполнение.

И удивительное дело, исполнение моего намерения оказалось гораздо более легким, чем я ожидал. Намерение мое было такое: притвориться больным, умирающим и, подговорив и подкупив доктора, положить на мое место умирающего Струменского и самому уйти, бежать, скрыв от всех свое имя.

И все делалось, как бы нарочно, для того, чтобы мое намерение удалось. 9-го я, как нарочно, заболел лихорадкой. Я проболел около недели, во время которой я все больше и больше укреплялся в своем намерении и обдумывал его. 16-го я встал и чувствовал себя здоровым.

В этот день я, по обыкновению, сел бриться и, задумавшись, сильно обрезаюсь около подбородка. Пошло много крови, мне сделалось дурно, и я упал. Прибежали, подняли меня. Я тотчас же понял, что это может мне пригодиться для исполнения моего намерения, и, хотя чувствовал себя хорошо, притворился, что я очень слаб, слег в постель и велел позвать себе помощника Виллие. Виллие не пошел бы на обман, этого же молодого человека я надеялся подкупить. Я открыл ему свое намерение и план исполнения и предложил ему восемьдесят тысяч, если он сделает все то, что я от него требовал. План мой был такой: Струменский, как я узнал, в это утро был при смерти и должен был кончиться к ночи. Я ложился в постель и, притворившись раздра-

женным на всех, не допускал к себе никого, кроме подкупленного врача. В эту же ночь врач должен был привезти в ванне тело Струменского и положить его на мое место и объявить о моей неожиданной смерти. И удивительное дело, все было исполнено так, как мы предполагали. И 17 ноября я был свободен.

Тело Струменского в закрытом гробу похоронили с величайшими почестями. Брат Николай вступил на престол, сослав в каторгу заговорщиков. Я видел потом в Сибири некоторых из них, я же пережил ничтожные в сравнении с моими преступлениями страдания и незаслуженные мною величайшие радости, о которых расскажу в своем месте.

Теперь же, стоя по пояс в гробу, семидесятидвухлетним стариком, понявшим тщету прежней жизни и значительность той жизни, которой я жил и живу бродягой, постараюсь рассказать повесть моей ужасной жизни.

МОЯ ЖИЗНЬ

12 декабря 1849.

Сибирская тайга, близ Красноречинска.

Сегодня день моего рождения, мне семьдесят два года. Семьдесят два года тому назад я родился в Петербурге, в Зимнем дворце, в покоях моей матери императрицы — тогда великой княгини Марьи Федоровны.

Спал я сегодня ночью довольно хорошо. После вчерашнего нездоровья мне стало несколько легче. Главное, прекратилось сонное духовное состояние, возобновилась возможность всей душой обращаться с богом. Вчера ночью в темноте молился. Ясно сознал свое положение в мире: я — вся моя жизнь — есть нечто нужное тому, кто меня послал. И я могу делать это нужное ему и могу не делать. Делая нужное ему, я содействую благу своему и всего мира. Не делая этого, лишаясь своего блага — не всего блага, а того, которое могло быть моим, но не лишая мир того блага, которое предназначено ему (миру). То, что я должен бы был сделать, сделают другие. И его воля будет исполнена. В этом свобода моей воли. Но если он знает, что будет, если все

определено им, то нет свободы? Не знаю. Тут предел мысли и начало молитвы, простой, детской и старческой молитвы: «Отче, не моя воля да будет, но твоя. Помогни мне. Прииди и вселися в ны». Просто: «Господи, прости и помилуй; да, господи, прости и помилуй, прости и помилуй. Словами не могу сказать, а сердце ты знаешь, ты сам в нем».

И я заснул хорошо. Просыпался, как всегда, по старческой слабости, раз пять и видел сон о том, что купаюсь в море и плаваю и удивляюсь, как меня вода держит высоко, — так, что я совсем не погружаюсь в нее; и вода зеленоватая, красивая; и какие-то люди мешают мне, и женщины на берегу, а я нагой, и нельзя выйти. Смысл сновидения тот, что мешает мне еще крепость моего тела, но выход близок.

Встал до рассвета, высек огня и долго не мог зажечь серничка. Надел свой лосиный халат и вышел на улицу. Из-за осыпанных снегом лиственниц и сосен краснела красно-оранжевая заря. Внес вчера наколонные дрова и затопил, и стал еще колоть. Рассвело. Поел размоченных сухарей; печь истопилась, закрыл трубу и сел писать.

Родился я ровно семьдесят два года тому назад, 12 декабря 1777 года, в Петербурге, в Зимнем дворце. Имя дано мне было, по желанию бабки, Александра, — в предзнаменование того, как она сама говорила мне, чтобы я был столь же великим человеком, как Александр Македонский, и столь же святым, как Александр Невский. Крестили меня через неделю в большой церкви Зимнего дворца. Несла меня на глазетовой подушке герцогиня курляндская, покрывало поддерживали высшие чины, крестной матерью была императрица, крестным отцом был император австрийский и король прусский. Комната, в которую поместили меня, была так устроена по плану бабушки. Я ничего этого не помню, но знаю по рассказам.

В обширной комнате этой с тремя высокими окнами, посередине ее, среди четырех колонн прикреплен к высокому потолку бархатный балдахин с шелковыми занавесами до полу. Под балдахином поставлена кровать железная, с кожаным тюфячком, подушечкой и легким

английским одеялом. Кругом балдахина балюстрада в два аршина вышины — так, чтобы посетители не могли близко подходить. В комнате никакой мебели, только позади балдахина постель кормилицы. Все подробности моего телесного воспитания были обдуманы бабушкой. Запрещено было меня укачивать, пеленали особенным образом, ноги были без чулок, купали сначала в теплой, потом в холодной воде, одежда была особенная, надевалась сразу, без швов и завязок. Как только я начал ползать, так меня клали на ковер и предоставляли самому себе. Первое время мне рассказывали, что бабушка часто сама садилась на ковер и играла со мной. Я ничего этого не помню, не помню и кормилицу.

Кормилицей моей была жена садовника молодца, Авдотья Петрова из Царского Села. Я не помню ее. Я увидел ее в первый раз, когда мне было восемнадцать лет и она в Царском подошла ко мне в саду и назвала себя. Было это в то мое хорошее время моей первой дружбы с Чарторижским и искреннего отвращения ко всему тому, что делалось при обоих дворах, как несчастного отца, так и ставшей мне ненавистной тогда бабки. Я был еще человеком тогда, и даже не дурным человеком, с добрыми стремлениями. Я шел с Адамом по парку, когда из боковой аллеи вышла хорошо одетая женщина, с необыкновенно добрым, очень белым, приятным, улыбающимся и взволнованным лицом. Она быстро подошла ко мне и, упав на колени, схватила мою руку и стала целовать ее.

— Батюшка, ваше высочество. Вот когда бог привел.

— Кто вы?

— Кормилка ваша, Авдотья, Дуняша, одиннадцать месяцев кормила. Привел бог взглянуть.

Я насилу поднял ее, спросил, где она живет, и обещал зайти к ней. Милый *intérieur*¹ ее чистенького домика; ее милая дочка, совершенная русская красавица, моя молочная сестра, [которая] была невестой берейтора придворного; отец ее, садовник, такой же улыбающийся, как и жена, и куча детей, тоже улыбающихся, — все они точно осветили меня в темноте. «Вот настоящая жизнь,

¹ обстановка (франц.).

настоящее счастье, — думал я. — Так все просто, ясно, никаких интриг, зависти, ссор».

Так вот эта милая Дуняша и кормила меня. Главной няней моей была немка Софья Ивановна Бенкендорф, а няней — англичанка Гесслер. Софья Ивановна Бенкендорф, немка, была толстая, белая, прямоногая женщина, с величественным видом, когда она распоряжалась в детской, и удивительно униженной, низкопоклонной, низкоприседающей при бабушке, которая была на голову ниже ее ростом. Она ко мне относилась особенно раболепно и вместе с тем строго. То она была царицей, в своих широких юбках и [с] своим величественным прямоносым лицом, то вдруг делалась притворяющейся девочкой.

Прасковья Ивановна (Гесслер), англичанка, была длиннолицая, рыжеватая, всегда серьезная англичанка. Но зато, когда она улыбалась, она расслаивалась вся, и нельзя было удержаться от улыбки. Мне нравилась ее аккуратность, ровность, чистота, твердая мягкость. Мне казалось, что она что-то знает такого, чего не знал никто, ни маменька, ни батюшка, даже сама бабушка.

Мать свою я помню сначала как какое-то странное, печальное, сверхъестественное и прелестное видение. Красивая, нарядная, блестящая бриллиантами, шелком, кружевами и обнаженными полными белыми руками, она входила в мою комнату и с каким-то странным, чуждым мне, не относящимся ко мне грустным выражением лица ласкала меня, брала на свои сильные прекрасные руки, подносила к еще более прекрасному лицу, откидывала густые пахучие волосы, и целовала меня и плакала, и раз даже спустила меня с рук и упала в дурноте.

Странное дело: внушено ли мне это было бабушкой, или таково было обхождение со мною матери, или я детским чутьем проник ту дворцовую интригу, которой я был центром, но у меня не было простого чувства, даже никакого чувства любви к матери. Что-то натянутое чувствовалось в ее обращении ко мне. Она как будто что-то выказывала через меня, забывая меня, и я это чувствовал. Так это и было. Бабка отняла меня от родителей, взяла в свое полное распоряжение, для того

чтобы передать мне престол, лишив его ненавидимого ею сына, моего несчастного отца. Я, разумеется, долго ничего не знал этого, но с первых же дней сознания я, не понимая причин, сознавал себя предметом какой-то вражды, соревнования, игрушкой каких-то замыслов и чувствовал холодность и равнодушие к себе, к своей детской душе, не нуждавшейся ни в какой короне, а только в простой любви. И ее-то и не было. Была мать, всегда грустная в моем присутствии. Один раз она, поговорив о чем-то по-немецки с Софьей Ивановной, расплакалась и выбежала почти из комнаты, слышав шаги бабушки. Был отец, который иногда входил в нашу комнату и к которому потом водили меня с братом. Но отец этот, мой несчастный отец, еще больше и решительнее, чем мать, при виде меня выражал свое неудовольствие, сдержанный гнев даже.

Помню, как раз нас с братом Константином привели на их половину. Это было перед отъездом его в путешествие за границу в 1781 году. Он вдруг отстранил меня рукой и с страшными глазами вскочил с кресла и, задышавшись, заговорил что-то обо мне и бабушке. Я не понял что, но помню слова:

— *Après 62 tout est possible...*¹

Я испугался, заплакал. Матушка взяла меня на руки и стала целовать. И потом поднесла ему. Он быстро благословил меня и, стуча своими высокими каблуками, почти выбежал из комнаты. Уже долго потом я понял значение этого взрыва. Они с матушкой ехали путешествовать под именем *Comte* и *Comtesse du Nord*². Бабушка хотела этого. И он боялся, чтобы в его отсутствие он бы не был объявлен лишенным права на престол и я признан наследником...

Боже мой, боже мой! И он дорожил тем, что погубило телесно и духовно и его и меня, и я, несчастный, дорожил тем же.

Кто-то стучится, произнося молитву: «Во имя отца и сына». Я сказал: «Аминь». Уберу писание, пойду отпру. И если бог велит, буду продолжать завтра.

¹ После 62 года все возможно... (франц.)

² граф и графиня Северные (франц.).

Спал мало и видел нехорошие сны: какая-то женщина, неприятная, слабая, жметя ко мне, и я не ее боюсь, не греха, а боюсь, что увидит жена. И будут опять упреки. Семьдесят два года, и я все еще не свободен... Наяву можно себя обманывать, но сновидение дает верную оценку той степени, до которой ты достиг. Видел еще — и это опять подтверждение той низкой степени нравственности, на которой я стою, — что кто-то принес мне здесь во мху конфеты, какие-то необыкновенные конфеты, и мы разобрали их из моха и роздали. Но после раздачи остались еще конфеты, и я выбираю их для себя, а тут мальчик вроде сына турецкого султана, черноглазый, неприятный, тянется к конфетам, берет их в руки, и я отталкиваю его и между тем знаю, что ребенку гораздо свойственнее есть конфеты, чем мне, и все-таки не даю ему и чувствую к нему недоброе чувство, и в то же время знаю, что это дурно.

И странное дело, наяву со мной нынче случилось это самое. Пришла Марья Мартемьяновна. Вчера стукался от нее посол с запросом, может ли она побывать. Я сказал, что можно. Мне тяжелы эти посещения, но я знаю, что ее огорчил бы отказ. И вот нынче она приехала. Полозья издалека слышно было, как визжали по снегу. И она, войдя в своей шубе и платках, внесла кульки с гостинцами и такой холод, что я оделся в халат. Она привезла оладей, масла постного и яблок. Она приехала спросить о дочери. Сватается богатый вдовец. Отдавать ли? Очень мне тяжело это их представление о моей прозорливости. Все, что я говорю против, они приписывают моему смирению. Я сказал, что всегда говорю, что целомудрие лучше брака, но, по слову Павла, лучше жениться, чем разжигаться. С ней вместе приехал ее зять Никанор Иванович, тот самый, который звал меня поселиться в его доме и потом не переставая преследовал меня своими посещениями.

Никанор Иванович — это великое для меня искушение. Не могу преодолеть антипатии, отвращения к нему. «Ей, господи, даруй мне зрети прегрешения моя и не осуждать брата моего», А я вижу все его согрешения,

угадываю их с пронизательностью злобы, вижу все его слабости и не могу победить антипатии к нему, к брату моему, к носителю, так же как и я, божественного начала.

Что значат такие чувства? Я в моей долгой жизни не раз испытывал их. Но самые сильные мои две антипатии это были Лудовик XVIII, с его животом, горбатым носом, противными белыми руками, с его самоуверенностью, наглостью, тупостью (вот я сейчас уже начинаю ругать его), и другая антипатия — это Никанор Иванович, который вчера два часа мучал меня. Все мне, от звука его голоса до волос и ногтей, вызывало во мне отвращение. И я, чтоб объяснить свою мрачность Марье Мартемьяновне, солгал, сказав, что мне нездоровится. После них стал на молитву и после молитвы успокоился. Благодарю тебя, господи, за то, что одно, единственное одно, что нужно мне, в моей власти. Вспомнил, что Никанор Иванович был младенцем и будет умирать, тоже вспомнил и о Лудовике XVIII, зная, что он уже умер, и пожалел, что Никанора Ивановича уже не было, чтобы я мог выразить ему мое доброе к нему чувство.

Марья Мартемьяновна привезла много свечей, и я могу писать вечером. Вышел на двор. С левой стороны потухли яркие звезды в удивительном северном сиянии. Как хорошо, как хорошо! Итак, продолжаю.

Отец с матерью уехали в заграничное путешествие, и мы с братом Константином, родившимся два года после меня, перешли на все время отсутствия родителей в полное распоряжение бабки. Брата назвали Константином в ознаменование того, что он должен был быть греческим императором в Константинополе.

Дети всех любят, особенно тех, которые любят и ласкают их. Бабка ласкала, хвалила меня, и я любил ее, несмотря на отталкивающий меня дурной запах, который, несмотря на духи, всегда стоял около нее; особенно когда она меня брала на колени. И еще неприятны мне были ее руки, чистые, желтоватые, сморщенные, какие-то склизкие, глянцевиные, с пальцами, загибающимися внутрь, и далеко, неестественно оттянутыми, обнаженными

ногтями. Глаза у нее были мутные, усталые, почти мертвые, что вместе с улыбающимся беззубым ртом производило тяжелое, но не отталкивающее впечатление. Я приписывал это выражение глаз (о котором вспоминаю теперь с омерзением) ее трудам о своих народах, как мне внушили это, и я жалел ее за это томное выражение глаз. Видел я раза два Потемкина. Этот кривой, косо́й, огромный, черный, потный, грязный человек был ужасен. Особенно же ужасен он мне был тем, что он один не боялся бабки и говорил своим трескучим голосом громко при ней и смело, хотя и называл меня высокочеством, ласкал и тормозил меня.

Из тех, кого я видел у нее в это мое первое время детства, был еще Ланской. Он всегда был с ней, и все замечали его, все ухаживали за ним. Главное, сама императрица беспрестанно оглядывалась на него. Я не понимал, разумеется, тогда, что такое был Ланской, и он очень нравился мне. Нравилась мне его букли, нравились обтянутые в лосины красивые ляжки и икры, нравилась его веселая, счастливая, беззаботная улыбка и бриллианты, которые повсюду блестели на нем.

Время это было очень веселое. Нас возили в Царское. Мы катались на лодках, копались в саду, гуляли, катались на лошадях. Константин, толстенький, рыженький, un petit Vaschus¹, как его называла бабушка, веселил всех своими шутками, смелостью и выдумками. Он всех передразнивал, и Софью Ивановну и даже саму бабушку.

Важным событием за это время была смерть Софьи Ивановны Бенкендорф. Случилось это вечером в Царском, при бабушке. Софья Ивановна только что привела нас после обеда и что-то говорила, улыбаясь, как вдруг лицо ее стало серьезно, она зашаталась, прислонилась к двери, скользнула по ней и тяжело упала. Сбежались люди, нас увели. Но на другой день мы узнали, что она умерла. Я долго плакал и скучал и не мог опомниться. Все думали, что я плакал об Софье Ивановне, а я плакал не о ней, а о том, что люди умирают, что есть смерть. Я не мог понять этого, не мог поверить тому,

¹ маленький Вах (франц.).

чтобы это была участь всех людей. Помню, что тогда в моей детской пятилетней душе восстали во всем своем значении вопросы о том, что такое смерть, что такое жизнь, кончающаяся смертью. Те главные вопросы, которые стоят перед всеми людьми и на которые мудрые ищут и не находят ответы и легкомысленные стараются отстранить, забыть. Я сделал, как это свойственно ребенку, и особенно в том мире, в котором жил: я отстранил от себя эту мысль, забыл про смерть, жил так, как будто ее нет, и вот дожил до того, что она стала страшна мне.

Другое важное событие в связи с смертью Софьи Ивановны был переход наш в мужские руки и назначение к нам в воспитатели Николая Ивановича Салтыкова. Не того Салтыкова, который, по всем вероятностям, был нашим дедом, а Николая Ивановича, служившего при дворе отца, маленького человечка с огромной головой, глупым лицом и всегдашней гримасой, которую удивительно представлял маленький брат Костя. Переход этот в мужские руки был для меня горем разлучения с милой Прасковьей Ивановной, прежней няней.

Людам, не имевшим несчастья родиться в царской семье, я думаю, трудно представить себе всю ту извращенность взгляда на людей и на свои отношения к ним, которую испытывали мы, испытывал я. Вместо того естественного ребенку чувства зависимости от взрослых и старших, вместо благодарности за все блага, которыми пользуешься, нам внушалась уверенность в том, что мы особенные существа, которые должны быть не только удовлетворяемы всеми возможными для людей благами, но которые одним своим словом, улыбкой не только расплачиваются за все блага, но награждают и делают людей счастливыми. Правда, от нас требовали учтвого отношения к людям, но я детским чутьем понимал, что это только видимость и что это делается не для них, не для тех, с кем мы должны быть учтивы, а для себя, для того, чтобы еще значительнее было свое величие.

Какой-то торжественный день, и мы едем по Невскому в огромном, высоком ландо: мы, два брата, и Николай Иванович Салтыков. Мы сидим на первом месте. Два напудренных лакея в красных ливреях стоят сзади.

Весенний яркий день. На мне расстегнутый мундир, белый жилетик и по нем голубая андреевская лента, так же одет и Костя; на головах шляпы с перьями, которые мы то и дело снимаем и кланяемся. Народ везде останавливается, кланяется, некоторые бегут за нами. «*Op vous salue,* — повторяет Николай Иванович. — *A droite*»¹. Проезжаем мимо гауптвахты, и выбегает караул.

Этих я всегда вижу. Любовь к солдатам, к военным экзерцициям у меня была с детства. Нам внушали — особенно бабушка, та самая, которая менее всех верила в это, — что все люди равны и что мы должны помнить это. Но я знал, что те, кто говорят так, не верят в это.

Помню, раз Саша Голицын, игравший со мной в бары, толкнул меня и сделал больно.

— Как ты смеешь!

— Я нечаянно. Что за важность!

Я чувствовал, как кровь прилила мне к сердцу от оскорбления и злобы. Я пожаловался Николаю Ивановичу, и мне не было стыдно, когда Голицын просил у меня прощения.

На нынче довольно. Свеча догорает. И надо еще нащепать лучины. А топор туп и наточить нечем, да и не умею.

16 декабря.

Три дня не писал. Был нездоров. Читал Евангелие, но не мог вызвать в себе того понимания его, того общения с богом, которое испытывал прежде. Прежде много раз думал, что человек не может не желать. Я всегда желал и желаю. Желал прежде победы над Наполеоном, желал умиротворения Европы, желал освобождения себя от короны, и все желания мои или исполнялись и, когда исполнялись, переставали влечь меня к себе, или делались неисполнимы, и я переставал желать. Но пока эти исполнялись или становились неисполнимыми прежние желания, зарождались новые, и так шло и идет до конца. Теперь я желал зимы, она настала, желал уединения, почти достиг этого, теперь желаю описать свою жизнь

¹ Вас приветствуют. Направо (франц.).

и сделать это наилучшим образом, так, чтобы принести пользу людям. И если исполнится и если не исполнится, явятся новые желания. Вся жизнь в этом.

И мне пришло в голову, что если вся жизнь в зарождении желаний и радость жизни в исполнении их, то нет ли такого желания, которое свойственно бы было человеку, всякому человеку, всегда, и всегда исполнялось бы или, скорее, приближалось бы к исполнению? И мне ясно стало, что это было бы так для человека, который желал бы смерти. Вся жизнь его была бы приближением к исполнению этого желания; и желание это наверное исполнилось бы.

Сначала это мне показалось странным. Но, вдумавшись, я вдруг увидал, что это так и есть, что в этом одном, в приближении к смерти, разумное желание человека. Желание не в смерти, не в самой смерти, а в том движении жизни, которое ведет к смерти. Движение же это есть освобождение от страстей и соблазнов того духовного начала, которое живет в каждом человеке. Я чувствую это теперь, освободившись от большей части того, что скрывало от меня сущность моей души, ее единство с богом, скрывало от меня бога. Я пришел к этому бессознательно. Но если бы я поставил своим высшим благом (а это не только возможно, но так и должно быть), считал бы своим высшим благом освобождение от страстей, приближение к богу, то все, что придвигало бы меня к смерти: старость, болезни, было бы исполнением моего единого и главного желания. Это так, и это я чувствую, когда я здоров. Но когда я, как вчера и третьего дня, болею желудком, я не могу вызвать этого чувства и, хотя и не противлюсь смерти, не могу желать приближаться к ней. Да, такое состояние есть состояние сна духовного. Надо спокойно ждать.

Продолжаю вчерашнее. То, что я пишу про свое детство, я пишу больше по рассказам, и часто то, что мне про меня рассказывали, перемешивается с тем, что я испытал, так что я не знаю иногда, что я пережил и что слышал от людей.

Жизнь моя, вся, от рождения моего и до самой теperешней старости, напоминает мне местность, всю покрытую густым туманом, или даже после сражения под

Дрездене, когда все скрыто, ничего не видно, и вдруг тут и там открываются островки, *des éclaircies*¹, в которых видишь ни с чем не соединенных людей, предметы, со всех сторон окруженные непроницаемой завесой. Таковы мои детские воспоминания. Эти *éclaircies* в детстве только редко, редко открываются среди бесконечного моря тумана или дыма, потом чаще и чаще, но даже и теперь у меня есть времена, не оставляющие ничего в воспоминании. В детстве же их чрезвычайно мало, и чем дальше назад, тем меньше.

Я говорил об этих просветах первого времени: смерти Бенкендорфши, прощанье с родителями, передразнивание Кости, но и еще несколько воспоминаний того времени теперь, когда я думаю о прошедшем, открываются передо мной. Так, например, я совершенно не помню, когда появился Костя, когда мы стали жить вместе, а между тем живо помню, как мы раз, когда мне было не более семи, а Косте пяти лет, мы после всенощной накануне рождества пошли спать и, воспользовавшись тем, что все вышли из нашей комнаты, соединились в одной кровати. Костя в одной рубашке перелез ко мне и начал какую-то веселую игру, состоящую в том, чтобы шлепать друг друга по голому телу. И хохотали до боли живота и были очень счастливы, когда вдруг вошел в своем расшитом кафтане с орденами Николай Иванович с своей огромной напудренной головой и, выпучив глаза, бросился на нас и с каким-то ужасом, которого я никак не мог объяснить себе, разогнал нас и гневно обещал наказать нас и пожаловаться бабушке.

Другое памятное мне воспоминание, уже несколько позже — мне было около девяти лет, — это происшедшее у бабушки почти при нас столкновение Алексея Григорьевича Орлова с Потемкиным. Было это незадолго до поездки бабушки в Крым и нашего первого путешествия в Москву. Как обыкновенно, Николай Иванович приводит нас к бабушке. Большая с лепным и расписным потолком комната полна народом. Бабушка уже причесанная. Волосы ее зачесаны кверху надо лбом и как-то особенно искусно заложены на темени. Она сидит

¹ просветы (франц.).

в белом пудроманте перед золотым туалетом. Горничные ее стоят над нею и убирают ее голову. Она, улыбаясь, смотрит на нас, продолжая говорить с большим, высоким, широким генералом с андреевской лентой и страшно развороченной щекой ото рта до уха. Это Орлов, Le balafre¹. Я тут в первый раз видел его. Около бабушки андерсоны, левретки. Моя любимица Мими вскакивает с подола бабушки и вскакивает на меня лапами и лижет в лицо. Мы подходим к бабушке и целуем ее белую пухлую руку. Рука переворачивается, и загнутые пальцы ловят меня за лицо и ласкают. Несмотря на духи, я чувствую неприятный бабушкин запах. Но она продолжает глядеть на Balafre и говорит с ним.

— Какоф маладец, — говорит она, указывая на меня. — Вы ишо не витали его, граф? — говорит.

— Молодцы оба, — говорит граф, целуя руку мою и Костину.

— Карашо, карашо, — говорит она горничной, надевающей ей на голову чепец. Горничная эта — Марья Степановна, набеленная, нарумяненная, добродушная женщина, которая всегда ласкает меня.

— Où est ma tabatière?²

Ланской подходит, подает открытую табакерку. Бабушка нюхает и, улыбаясь, глядит на подходящую шутиху Матрену Даниловну.

¹ Человек со шрамом (франц.).

² Где моя табакерка? (франц.)

ВОСПОМИНАНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Друг мой П[авел] И[ванович] Б[ирюков], взявшийся писать мою биографию для французского издания полного сочинения, просил меня сообщить ему некоторые биографические сведения.

Мне очень хотелось исполнить его желание, и я стал в воображении составлять свою биографию. Сначала я незаметно для себя самым естественным образом стал вспоминать только одно хорошее моей жизни, только как тени на картине присоединяя к этому хорошему мрачные, дурные стороны, поступки моей жизни. Но, вдумываясь более серьезно в события моей жизни, я увидел, что такая биография была бы хотя и не прямая ложь, но ложь, вследствие неверного освещения и выставления хорошего и умолчания или сглаживания всего дурного. Когда я подумал о том, чтобы написать всю истинную правду, не скрывая ничего дурного моей жизни, я ужаснулся перед тем впечатлением, которое должна была бы произвести такая биография.

В это время я заболел. И во время невольной праздности болезни мысль моя все время обращалась к воспоминаниям, и эти воспоминания были ужасны. Я с величайшей силой испытал то, что говорит Пушкин в своем стихотворении:

ВОСПОМИНАНИЕ

Когда для смертного умолкнет шумный день
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда, —
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток:
И, с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу, и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

В последней строке я только изменил бы так, вместо: строк *печальных*... поставил бы: строк *постыдных* не смываю.

Под этим впечатлением я написал у себя в дневнике следующее:

«6 янв. 1903 г.

Я теперь испытываю муки ада: вспоминаю всю мерзость своей прежней жизни, и воспоминания эти не оставляют меня и отравляют жизнь. Обыкновенно жалеют о том, что личность не удерживает воспоминания после смерти. Какое счастье, что этого нет. Какое бы было мучение, если бы я в этой жизни помнил все дурное, мучительное для совести, что я совершил в предшествующей жизни. А если помнить хорошее, то надо помнить и все дурное. Какое счастье, что воспоминание исчезает со смертью и остается одно сознание, — сознание, которое представляет как бы общий вывод из хорошего и дурного, как бы сложное уравнение, сведенное к самому простому его выражению: $x =$ положительной или отрицательной, большой или малой величине. Да, великое счастье — уничтожение воспоминания, с ним нельзя бы жить радостно. Теперь же, с уничтожением воспоминания, мы вступаем в жизнь с чистой, белой страницей, на которой можно писать вновь хорошее и дурное».

Правда, что не вся моя жизнь была так ужасно дурна, — таким был только один 20-летний период ее; правда и то, что и в этот период жизнь моя не была сплошным злом, каким она представлялась мне во время болезни, и что и в этот период во мне пробуждались порывы к добру, хотя и недолго продолжавшиеся и скоро заглушаемые ничем не сдерживаемыми страстями. Но все-таки эта моя работа мысли, особенно во время болезни, ясно показала мне, что моя биография, как пишут обыкновенно биографии, с умолчанием о всей гадости и преступности моей жизни, была бы ложь, и что если писать биографию, то надо писать всю настоящую правду. Только такая биография, как ни стыдно мне будет писать ее, может иметь настоящий и плодотворный интерес для читателей. Вспоминая так свою жизнь, то есть рассматривая ее с точки зрения добра и зла, которые я делал, я увидел, что моя жизнь распадается на четыре периода: 1) тот чудный, в особенности в сравнении с последующим, невинный, радостный, поэтический период детства до 14 лет; потом второй, ужасный 20-летний период грубой распушенности, служения честолюбию, тщеславию и, главное, — похоти; потом третий, 18-летний период от женитьбы до моего духовного рождения, который, с мирской точки зрения, можно бы назвать нравственным, так как в эти 18 лет я жил правильной, честной семейной жизнью, не предаваясь никаким осуждаемым общественным мнением порокам, но все интересы которого ограничивались эгоистическими заботами о семье, об увеличении состояния, о приобретении литературного успеха и всякого рода удовольствиями.

И, наконец, четвертый, 20-летний период, в котором я живу теперь и в котором надеюсь умереть и с точки зрения которого я вижу все значение прошедшей жизни и которого я ни в чем не желал бы изменить, кроме как в тех привычках зла, которые усвоены мною в прошедшие периоды.

Такую историю жизни всех этих четырех периодов, совсем, совсем правдивую, я хотел бы написать, если бог даст мне силы и жизни. Я думаю, что такая написанная мною биография, хотя бы и с большими недостатками, будет полезнее для людей, чем вся та худо-

жественная болтовня, которой наполнены мои 12 томов сочинений и которым люди нашего времени приписывают незаслуженное ими значение.

Теперь я и хочу сделать это. Расскажу сначала первый радостный период детства, который особенно сильно манит меня; потом, как мне ни стыдно это будет, расскажу, не утаив ничего, и ужасные 20 лет следующего периода. Потом и третий период, который менее всех может быть интересен, и, наконец, последний период моего пробуждения к истине, давшего мне высшее благо жизни и радостное спокойствие в виду приближающейся смерти.

Для того, чтобы не повторяться в описании детства, я перечел мое писание под этим заглавием и пожалел о том, что написал это: так это нехорошо, литературно, неискренно написано. Оно и не могло быть иначе: во-первых, потому, что замысел мой был описать историю не свою, а моих приятелей детства, и оттого вышло нескладное смешение событий их и моего детства, а во-вторых, потому, что во время писания этого я был далеко не самостоятелен в формах выражения, а находился под влиянием сильно подействовавших на меня тогда двух писателей Stern'a (его «Sentimental journey») и Töpfer'a («Bibliothèque de mon oncle») ¹.

В особенности же не понравились мне теперь последние две части: отрочество и юность, в которых, кроме нескладного смешения правды с выдумкой, есть и неискренность: желание выставить как хорошее и важное то, что я не считал тогда хорошим и важным, — мое демократическое направление. Надеюсь, что то, что я напишу теперь, будет лучше, главное — полезнее другим людям.

I

Родился я и провел первое детство в деревне Ясной Поляне. Матери своей я совершенно не помню. Мне было 1½ года, когда она скончалась. По странной случайности не осталось ни одного ее портрета, так что как

¹ Стерна («Сентиментальное путешествие») и Тёпфера («Библиотека моего дяди») (англ. и франц.).

реальное физическое существо я не могу себе представить ее. Я отчасти рад этому, потому что в представлении моем о ней есть только ее духовный облик, и все, что я знаю о ней, все прекрасно, и я думаю — не оттого только, что все, говорившие мне про мою мать, старались говорить о ней только хорошее, но потому, что действительно в ней было очень много этого хорошего.

Впрочем, не только моя мать, но и все окружавшие мое детство лица — от отца до кучеров — представляются мне исключительно хорошими людьми. Вероятно, мое чистое детское любовное чувство, как яркий луч, открывало мне в людях (они всегда есть) лучшие их свойства, и то, что все люди эти казались мне исключительно хорошими, было гораздо больше правды, чем то, когда я видел одни их недостатки. Мать моя была нехороша собой и очень хорошо образована для своего времени. Она знала, кроме русского, — которым она, противно принятой тогда русской безграмотности, писала правильно, — четыре языка: французский, немецкий, английский и итальянский, — и должна была быть чутка к художеству, она хорошо играла на фортепьяно, и сверстницы ее рассказывали мне, что она была большая мастерица рассказывать завлекательные сказки, выдумывая их по мере рассказа. Самое же дорогое качество ее было то, что она, по рассказам прислуги, была хотя и вспыльчива, но сдержанна. «Вся покраснеет, даже заплачет, — рассказывала мне ее горничная, — но никогда не скажет грубого слова». Она и не знала их.

У меня осталось несколько писем ее к моему отцу и другим теткам и дневник поведения Николеньки (старшего брата), которому было 6 лет, когда она умерла, и который, я думаю, был более всех похож на нее. У них обоих было очень мне милое свойство характера, которое я предполагаю по письмам матери, но которое я знал у брата — равнодушие к суждениям людей и скромность, доходящая до того, что они старались скрыть те умственные, образовательные и нравственные преимущества, которые они имели перед другими людьми. Они как будто стыдились этих преимуществ.

В брате, про которого Тургенев очень верно сказал, что у него не было тех недостатков, которые нужны

для того, чтобы быть большим писателем, — я хорошо знал это.

Помню раз, как очень глупый и нехороший человек, адъютант губернатора, охотившийся с ним вместе, при мне подсмеивался над ним, и как брат, глядя на меня, добродушно улыбался, очевидно находя в этом большое удовольствие.

Ту же черту я замечаю в письмах матери. Она, очевидно, духовно была выше отца и его семьи, за исключением нешто Тат. Алекс. Ергольской, с которой я прожил половину своей жизни и которая была замечательная по нравственным качествам женщина.

Кроме того, у обоих была еще другая черта, обуславливающая, я думаю, и их равнодушие к суждению людей, — это то, что они никогда, именно никогда никого, — это я уже верно знаю про брата, с которым прожил половину жизни, — никогда никого не осуждали. Наиболее резкое выражение отрицательного отношения к человеку выражалось у брата тонким, добродушным юмором и такую же улыбкой. То же самое я вижу по письмам моей матери и слышал от тех, которые знали ее.

В житиях Дмитрия Ростовского есть одно, которое меня всегда очень трогало, — это коротенькое житие одного монаха, имевшего, заведомо всей братии, много недостатков и, несмотря на то, явившегося в свидении старцу среди святых в самом лучшем месте рая. Удивленный старец спросил: чем заслужил этот невоздержанный во многом монах такую награду? Ему отвечали: «Он никогда не осудил никого».

Если бы были такие награды, я думаю, что мой брат и моя мать получили бы их.

Еще третья черта, выделявшая мать из ее среды, была правдивость и простота ее тона в письмах. В то время особенно были распространены в письмах выражения преувеличенных чувств: несравненная, обожаемая, радость моей жизни, неоцененная и т. д. — были самые распространенные эпитеты между близкими, и чем напыщеннее, тем были неискреннее.

Эта черта, хотя и не в сильной степени, видна в письмах отца. Он пишет: «*Ma bien douce amie, je ne pense*

qu'au bonheur d'être auprès de toi...»¹ и т. п. Едва ли это было вполне искренно. Она же пишет в обращении всегда одинаковое: «mon bon ami»², и в одном из писем прямо говорит: «Le temps me paraît long sans toi, quoiqu'à dire vrai, nous ne jouissons pas beaucoup de ta société quand tu es ici»³, и всегда подписывается одинаково: «ta dévouée Marie»⁴.

Детство свое мать прожила частью в Москве, частью в деревне с умным, гордым и даровитым человеком, моим дедом Волконским.

II

Про деда я знаю то, что, достигнув высоких чинов генерал-аншефа при Екатерине, он вдруг потерял свое положение вследствие отказа жениться на племяннице и любовнице Потемкина Вареньке Энгельгардт. На предложение Потемкина он отвечал: «С чего он взял, чтобы я женился на его б....».

За этот ответ он не только остановился в своей служебной карьере, но был назначен воеводой в Архангельск, где пробыл, кажется, до воцарения Павла, когда вышел в отставку и, женившись на княжне Екатерине Дмитриевне Трубецкой, поселился в полученном от своего отца Сергея Федоровича имении Ясной Поляне.

Княгиня Екатерина Дмитриевна рано умерла, оставив моему деду единственную дочь Марью. С этой-то сильно любимой дочерью и ее компаньонкой-французенкой и прожил мой дед до своей смерти около 1816 года.

Дед мой считался очень строгим хозяином, но я никогда не слышал рассказов о его жестокостях и наказаниях, столь обычных в то время. Я думаю, что они были, но восторженное уважение к важности и разум-

¹ Мой нежнейший друг, я только и думаю, что о счастье быть около тебя (франц.).

² мой добрый друг (франц.).

³ Время для меня тянется долго без тебя, хотя, сказать по правде, мы мало наслаждаемся твоим обществом, когда ты здесь (франц.).

⁴ преданная тебе Мария (франц.).

ности было так велико в дворовых и крестьянах его времени, которых я часто расспрашивал про него, что хотя я и слышал осуждения моего отца, я слышал только похвалы уму, хозяйственности и заботе о крестьянах и, в особенности, огромной дворне моего деда. Он построил прекрасные помещения для дворовых и заботился о том, чтобы они были всегда не только сыты, но и хорошо одеты и веселились бы. По праздникам он устраивал для них увеселения, качели, хороводы. Еще более он заботился, как всякий умный помещик того времени, о благосостоянии крестьян, и они благоденствовали, тем более что высокое положение деда, внушая уважение становым, исправникам и заседателям, избавляло их от притеснения начальства.

Вероятно, у него было очень тонкое эстетическое чувство. Все его постройки не только прочны и удобны, но чрезвычайно изящны. Таков же разбитый им парк перед домом. Вероятно, он также очень любил музыку, потому что только для себя и для матери держал свой хороший небольшой оркестр. Я еще застал огромный, в три обхвата вяз, росший в клину липовой аллеи и вокруг которого были сделаны скамьи и пюпитры для музыкантов. По утрам он гулял в аллее, слушая музыку. Охоты он терпеть не мог, а любил цветы и оранжерейные растения.

Странная судьба и самым странным образом свела его с той самой Варенькой Энгельгардт, за отказ от которой он пострадал во время своей службы. Варенька эта вышла за князя Сергея Федоровича Голицына, получившего вследствие этого всякого рода чины, ордена и награды. С этим-то Сергеем Федоровичем и его семьей, следовательно и с Варварой Васильевной, сблизился мой дед до такой степени, что мать моя была с детства обручена одному из десяти сыновей Голицына и что оба старые князя разменялись портретными галереями (разумеется, копиями, написанными крепостными живописцами). Все эти портреты Голицыных и теперь в нашем доме, с князем Сергеем Федоровичем в андреевской ленте и рыжей толстой Варварой Васильевной — кавалерственной дамой. Однако сближению этому не

суждено было совершиться: жених моей матери, Лев Голицын, умер от горячки перед свадьбой, имя которого мне, 4-му сыну, дано в память этого Льва. Мне говорили, что маменька очень любила меня и называла: *mon petit Benjamin*¹.

Думаю, что любовь к умершему жениху, именно вследствие того, что она кончилась смертью, была той поэтической любовью, которую девушки испытывают только один раз. Брак ее с моим отцом был устроен родными ее и моего отца. Она была богатая, уже не первой молодости, сирота, отец же был веселый, блестящий молодой человек, с именем и связями, но с очень расстроенным (до такой степени расстроенным, что отец даже отказался от наследства) моим дедом Толстым состоянием. Думаю, что мать любила моего отца, но больше как мужа и, главное, отца своих детей, но не была влюблена в него. Настоящие же ее любви, как я понимаю, были три или, может быть, четыре: любовь к умершему жениху, потом страстная дружба с компаньонкой-француженкой *m-elle Hénissienne*, про которую я слышал от тетушек и которая кончилась, как кажется, разочарованием. *M-elle Hénissienne* эта вышла замуж за двоюродного брата матери, князя Михаила Волхонского, деда теперешнего писателя Волхонского. Вот что пишет моя мать про свою дружбу с этой *m-elle Hénissienne*. Пишет она про свою дружбу по случаю дружбы двух девиц, живших у нее в доме: «*Je m'arrange très bien avec toutes les deux: je fais de la musique, je ris et je folâtre avec l'une et je parle sentiment, ou je médis du monde frivole avec l'autre, je suis aimée à la folie par toutes les deux, je suis la confidente de chacune, je les concilie, quand elles sont brouillées, car il n'y eut jamais d'amitié plus querelleuse et plus drôle à voir que la leur: ce sont des bouderies, des pleurs, des réconciliations, des injures, et puis des transports d'amitié exaltée et romanesque. Enfin j'y vois comme dans un miroir l'amitié qui a animé et troublé ma vie pendant quelques années. Je les regarde avec un sentiment indéfinissable, quelquefois j'envie leurs illusions, que je n'ai plus, mais dont je connais la douceur; disant le franchement, le bonheur solide*

¹ мой маленький Вениамин (франц.).

et réel de l'âge mûr vaut-il les charmantes illusions de la jeunesse, où tout est embelli par la toute puissance de l'imagination? Et quelquefois je souris de leur enfantillage»¹.

Третье сильное, едва ли не самое страстное чувство было ее любовь к старшему брату Коко, журнал поведения которого она вела по-русски, в котором она записывала его проступки и читала ему. Из этого журнала видно страстное желание сделать все возможное для наилучшего воспитания Коко и вместе с тем очень неясное представление о том, что нужно для этого. Так, например, она выговаривает ему за то, что он слишком чувствителен и плачет при виде страданий животных. Мужчине, по ее понятиям, надо быть твердым. Другой недостаток, который она старается исправлять в нем, — это то, что он «задумывается» и вместо bonsoir² или bonjour³ говорит бабушке: «Je vous remercie»⁴.

Четвертое сильное чувство, которое, может быть, было, как мне говорили тетушки, и которое я так желал, чтобы было, была любовь ко мне, заменившая любовь к Коко, во время моего рождения уже отлепившегося от матери и поступившего в мужские руки.

Ей необходимо было любить не себя, и одна любовь сменялась другой. Таков был духовный облик моей матери в моем представлении.

Она представлялась мне таким высоким, чистым, духовным существом, что часто в средний период моей

¹ Мне хорошо с обеими, я занимаюсь музыкой, смеюсь и дую с одной, говорю о чувствах, пересуживаю легкомысленный свет с другой, любима до безумия обеими, пользуюсь доверием каждой, я их мирю, когда они ссорятся, так как не было дружбы более бранчливой и более смешной на вид, чем их дружба. Постоянные неудовольствия, плач, утешения, брань и затем порывы дружбы, восторженной и чувствительной. Так я вижу, как бы в зеркале, дружбу, которая одушевляла и смущала меня в продолжение нескольких лет. Я смотрю на них с невыразимым чувством, иногда завидую их иллюзиям, которых у меня уже нет, но сладость которых я знаю. Говоря откровенно, прочное и действительное счастье зрелого возраста, стоит ли оно очаровательных иллюзий юности, когда все бывает украшено всемогуществом воображения? А иногда я усмехаюсь их ребячеству (франц.).

² добрый вечер (франц.).

³ здравствуйте (франц.).

⁴ Благодарю вас (франц.).

жизни, во время борьбы с одолевавшими меня искушениями, я молился ее душе, прося ее помочь мне, и эта молитва всегда помогала мне.

Жизнь моей матери в семье отца, как я могу заключить по письмам и рассказам, была очень счастливая и хорошая. Семья отца состояла из бабушки-старушки, его матери, ее дочери, моей тетки, графини Александры Ильиничны Остен-Сакен, и ее воспитанницы Пашеньки; другой тетушки, как мы называли ее, хотя она была нам очень дальней родственницей, Татьяны Александровны Ергольской, воспитывавшейся в доме дедушки и прожившей всю жизнь в доме моего отца; учителя Федора Ивановича Ресселя, описанного мною довольно верно в «Детстве».

Детей нас было пятеро: Николай, Сергей, Дмитрий, я — меньшой, и меньшая сестра Машенька, вследствие родов которой и умерла моя мать. Замужняя очень короткая жизнь моей матери, — кажется, не больше 9 лет, — была счастливая и хорошая. Жизнь эта была очень полна и украшена любовью всех к ней и ее ко всем, жившим с нею. Судя по письмам, я вижу, что жила она тогда очень уединенно. Никто почти, кроме близких соседей Огаревых и родственников, случайно проезжавших по большой дороге и заезжавших к нам, не посещал Ясной Поляны. Жизнь матери проходила в занятиях с детьми, в вечерних чтениях вслух романов для бабушки и серьезных чтениях, как «Эмиль» Руссо, для себя и рассуждениях о читанном, в игре на фортепиано, в преподавании итальянского одной из теток, в прогулках и домашнем хозяйстве. Во всех семьях бывают периоды, когда болезни и смерти еще отсутствуют и члены семьи живут спокойно, беззаботно, без напоминания о конце. Такой период, как мне думается, пережила мать в семье мужа до своей смерти. Никто не умирал, никто серьезно не болел, расстроенные дела отца поправлялись. Все были здоровы, веселы, дружны. Отец веселил всех своими рассказами и шутками. Я не застал этого времени. Когда я стал помнить себя, уже смерть матери наложила свою печать на жизнь нашей семьи.

Все это я описываю по рассказам и письмам. Теперь же начинаю о том, что я пережил и помню.

Не буду говорить о смутных младенческих, неясных воспоминаниях, в которых не можешь еще отличить действительности от сновидений. Начну с того, что я ясно помню, с того места и тех лиц, которые окружали меня с первых лет. Первое место среди этих лиц занимает, хотя и не по влиянию на меня, но по моему чувству к нему, разумеется, мой отец.

Отец мой с молодых лет оставался единственным сыном своих родителей. Младший брат его Илинька был ушиблен в детстве, стал горбатым и умер в детстве. В 12-ом году отцу было 17 лет, и он, несмотря на нежелание и страх и отговоры родителей, поступил в военную службу. В то время кн. Ник. Ив. Горчаков, близкий родственник моей бабушки кн. Горчаковой, был военным министром, а другой брат, Андрей Иванович, был генералом, командовавшим чем-то в действующей армии, и отца зачислили к нему адъютантом. Он проделал походы 13—14 годов и в 14 году где-то в Германии, будучи послан курьером, был французами взят в плен, от которого освободился только в 15 году, когда наши войска вошли в Париж. Отец в 20 лет уже был невинным юношей, а еще до поступления на военную службу, стало быть, лет 16-ти, был соединен родителями, как думали тогда, для его здоровья, с дворовой девушкой. От этой связи был сын Мишенька, которого определили в почтальоны и который при жизни отца жил хорошо, но потом сбился с пути и часто уже к нам, взрослым братьям, обращался за помощью. Помню то странное чувство недоумения, которое я испытывал, когда этот впавший в нищенство брат мой, счень похожий (более всех нас) на отца, просил нас о помощи и был благодарен за 10, 15 рублей, которые давали ему.

После кампании отец, разочаровавшийся в военной службе — это видно по письмам, — вышел в отставку и приехал в Казань, где, совсем уже разорившийся, мой

дед был губернатором. В Казани же была выдана сестра отца, Пелагея Ильинична, за Юшкова. Дед скоро умер в Казани же, и отец остался с наследством, которое не стоило всех долгов, и с старой, привыкшей к роскоши матерью, сестрой и кузиной на руках. В это время ему устроили женитьбу на моей матери, и он переехал в Ясную Поляну, где, прожив 9 лет с матерью, овдовел и где уже на моей памяти жил с нами.

Отец был среднего роста, хорошо сложенный, живой сангвиник, с приятным лицом и с всегда грустными глазами.

Жизнь его проходила в занятиях хозяйством, в котором он, кажется, не был большой знаток, но в котором он имел для того времени большое качество: он был не только не жесток, но скорее добр и слаб. Так что и за его время я никогда не слышал о телесных наказаниях. Вероятно, эти наказания производились. В то время трудно было себе представить управление без употребления этих наказаний, но они, вероятно, были так редки и отец так мало принимал в них участия, что нам, детям, никогда не удавалось слышать про это. Уже только после смерти отца я в первый раз узнал, что такие наказания совершались у нас. Мы, дети, с учителем возвращались с прогулки и подле гумна встретили толстого управляющего Андрея Ильина и шедшего за ним, с поразившим нас печальным видом, помощника кучера, кривого Кузьму, человека женатого и уже немолодого. Кто-то из нас спросил Андрея Ильина, куда он идет, и он спокойно отвечал, что идет на гумно, где надо Кузьму наказать. Не могу описать ужасного чувства, которое произвели на меня эти слова и вид доброго и унылого Кузьмы. Вечером я рассказал это тетушке Татьяне Александровне, воспитывавшей нас и ненавидевшей телесное наказание, никогда не допускавшей его для нас, а также и для крепостных там, где она могла иметь влияние. Она очень возмутилась тем, что я рассказал ей, и с упреком сказала: «Как же вы не остановили его?» Ее слова еще больше огорчили меня. Я никак не думал, чтобы мы могли вмешиваться в такое дело, а между тем оказывалось, что мы могли. Но уже было поздно, и ужасное дело уже было совершено.

Возвращаюсь к тому, что я знал про отца и как представляю себе его жизнь. Занятие его составляло хозяйство и, главное, процессы, которых тогда было очень много у всех и, кажется, особенно много у отца, которому надо было распутывать дела деда. Процессы эти заставляли отца часто уезжать из дома. Кроме того, уезжал он часто и для охоты — и для ружейной и для псовой. Главными товарищами его по охоте были его приятель, старый холостяк и богач Киреевский, Языков, Глебов, Исленьев. Отец разделял общее тогда свойство помещиков — пристрастие к некоторым любимцам из дворовых. Такими любимцами его были два брата камердинеры Петруша и Матюша, оба красивые, ловкие ребята и лихие охотники. Дома отец, кроме занятия хозяйством и нами, детьми, еще много читал. Он собирал библиотеку, состоящую, по тому времени, в французских классиках, исторических и естественно-исторических сочинениях — Бюфон, Кювье. Тетушки говорили мне, что отец поставил себе за правило не покупать новых книг, пока не прочтет прежних. Но, хотя он и много читал, трудно верить, чтобы он одолел все эти *Histoires des croisades et des rares*¹, которые он приобретал в библиотеку. Сколько я могу судить, он не имел склонности к наукам, но был на уровне образования людей своего времени. Как большая часть людей первого Александровского времени и походов 13, 14, 15 годов, он был не то что теперь называется либералом, а просто по чувству собственного достоинства не считал для себя возможным служить ни при конце царствования Александра I, ни при Николае. В одном письме из Москвы к матери он пишет в своем шуточном тоне про Юшкова Осипа Ивановича, брата своего зятя: «Осип Иванович воображает, потому что шталмейстер. Но я ни крошечки не боюсь его. У меня есть свой шталмейстер». Он не только не служил нигде во времена Николая, но даже все друзья его были такие же люди свободные, не служащие и немного фрондирующие правительству. За все мое детство и даже юность наше семейство не имело близких сношений ни с одним чиновником. Разумеется,

¹ Истории крестовых походов и пап (франц.).

я ничего не понимал этого в детстве, но я понимал то, что отец никогда ни перед кем не унижался, не изменял своего бойкого, веселого и часто насмешливого тона. И это чувство собственного достоинства, которое я видел в нем, увеличивало мою любовь, мое восхищение перед ним.

Помню его в его кабинете, куда мы приходили к нему прощаться, а иногда просто поиграть, где он с трубкой сидел на кожаном диване и ласкал нас и иногда, к великой радости нашей, пускал к себе за спину на кожаный диван и продолжал или читать или разговаривать с стоящим у притолки двери приказчиком или с С. И. Языковым, моим крестным отцом, часто гостившим у нас. Помню, как он приходил к нам вниз и рисовал нам картинки, которые казались нам верхом совершенства. Помню, как он раз заставил меня прочесть ему любившиеся мне и выученные мною наизусть стихи Пушкина: «К морю»: «Прощай свободная стихия...» и «Наполеон»: «Чудесный жребий совершился: угас великий человек...» и т. д.... Его поразило, очевидно, тот пафос, с которым я произносил эти стихи, и он, прослушав меня, как-то значительно переглянулся с бывшим тут Языковым. Я понял, что он что-то хорошее видит в этом моем чтении, и был очень счастлив этим. Помню его веселые шутки и рассказы за обедом и ужином, как и бабушка, и тетюшка, и мы, дети, смеялись, слушая его. Помню еще его поездки в город и тот удивительно красивый вид, который он имел, когда одевался в сертук и узкие панталоны. Но более всего я помню его в связи с псовой охотой. Помню его выезды на охоту. Мне всегда потом казалось, что Пушкин списал с них свой выезд на охоту мужа в Графе Нулине. Помню, как мы с ним ходили гулять и как увязавшиеся за нами молодые борзые, разрезвившись по нескошенному лугу, на котором высокая трава подстегивала их и щекотала под брюхом, летали кругом с загнутыми на бок хвостами, и как он любовался ими. Помню, как для охотничьего праздника, 1-го сентября, мы все выехали в линейке к отъемному лесу, в котором была посажена лисица, и как гончие гоняли ее и где-то — мы не видели — борзые поймали ее. Помню особенно ясно садку волка. Это было

около самого дома. Мы все пешком вышли смотреть. На телеге вывезли соструенного, большого, с связанными ногами, серого волка. Он лежал смиренно и только косился на подходивших к нему. Приехав на место за садом, волка вынули, прижали вилами к земле и развязали ноги. Он стал рваться и дергаться и злобно грыз струнку. Наконец развязали на затылке и струнку, и кто-то крикнул: «Пушай». Вилы подняли, волк поднялся, постоял секунд десять. Но на него крикнули и пустили собак. Волк, собаки, конные, верховые полетели вниз по полю. И волк ушел. Помню, отец что-то выговаривал и сердито махал рукой, возвращаясь домой.

Самые же приятные мои воспоминания о нем — это его сиденье с бабушкой на диване и помогание ей раскладывать пасьянса. Отец со всеми бывал учтив и ласков, но с бабушкой он был всегда как-то особенно ласково подобострастен. Сидит, бывало, бабушка, с своим длинным подбородком в чепце с рюшем и бантом, на диване и раскладывает карты, понюхивая изредка из золотой табакерки. Рядом с диваном сидит на кресле тульская оружейница Петровна в своей куртушке с патронами и прядет и стучает клубком изредка об стену, где она уже сделала клубком выемку. Петровна эта — торговка, почему-то полюбила бабушке, и она гостит часто у нас и всегда сидит рядом с бабушкой в гостиной на диване. На креслах сидят тетушки, и одна из них читает вслух. На одном из кресел, продавив в нем себе ямку, лежит чернопегая хортая Милка, любимая резвая собака отца, с прекрасными черными глазами. Мы приходим прощаться, а иногда сидим тут же. Прощаемся, всегда целуясь с бабушкой и тетушками, целуясь рука в руку. Помню, раз в середине пасьянса и чтения отец останавливает читающую тетушку, указывает в зеркало и шепчет что-то.

Мы все смотрим туда же.

Это официант Тихон, зная, что отец в гостиной, идет к нему в кабинет брать его табак из большой складывающейся розанчиком кожаной табачницы. Отец видит его в зеркало и смеется на его на цыпочках осторожно шагающую фигуру.

Тетушки смеются. Бабушка долго не понимает, а когда понимает — радостно улыбается. Я восхищаюсь добротой отца и, прощаясь с ним, с особенной нежностью целую его белую жилистую руку.

Я очень любил отца, но не знал еще, как сильна была эта моя любовь к нему, до тех пор, пока он не умер.

Но об этом после. Теперь о следующих членах нашей семьи, среди которых прошло мое детство.

IV

Бабушка Пелагея Николаевна была дочь скопившего себе большое состояние слепого князя Ник. Иван. Горчакова. Сколько я могу составить себе понятие об ее характере, она была недалекая, малообразованная — она, как все тогда, знала по-французски лучше, чем по-русски (и этим ограничивалось ее образование), и очень избалованная — сначала отцом, потом мужем, а потом, при мне уже, сыном — женщина. Кроме того, как дочь старшего в роде, она пользовалась большим уважением всех Горчаковых: бывшего военного министра Николая Ивановича и Андрея Ивановича и сыновей вольнодумца Дмитрия Петровича — Петра, Сергея и Михаила Севастопольского. Дед мой Илья Андреевич, ее муж, был тоже, как я его понимаю, человек ограниченный, очень мягкий, веселый и не только щедрый, но бестолково мотоватый, а главное — доверчивый. В имении его Белевского уезда, Полянах, — не Ясной Поляне, но Полянах, — шло долго не перестающее пиршество, театры, балы, обеды, катанья, которые, в особенности при склонности деда играть по большой в ломбер и вист, не умея играть, и при готовности давать всем, кто просил, и взаймы, и без отдачи, а главное, затеваемыми аферами, откупам, — кончилось тем, что большое имение его жены все было так запутано в долгах, что жить было нечем, и дед должен был выхлопотать и взять, что ему было легко при его связях, место губернатора в Казани. Дед, как мне рассказывали, не брал взяток, кроме как с откупщика, что было тогда

общепринятым обычаем, и сердился, когда их предлагали ему, но бабушка, как мне рассказывали, тайно от мужа брала приношения. В Казани бабушка выдала меньшую дочь Пелагею за Юшкова, старшая, Александра, еще в Петербурге была выдана за графа Сакена. После смерти мужа в Казани и женитьбы отца моя бабушка поселилась с моим отцом в Ясной Поляне, и тут я застал ее уже старухой и хорошо помню ее.

Отца бабушка страстно любила и нас, внуков, забавляясь нами, любила тетушек, но, мне кажется, не совсем любила мою мать, считая ее недостойной моего отца и ревнуя его к ней. С людьми, прислугой она не могла быть требовательна, потому что все знали, что она первое лицо в доме, и старались угождать ей, но с своей горничной Гашей она отдавалась своим капризам и мучила ее, называя: «вы, моя милая» и требуя от нее того, чего она не спрашивала, и всячески мучая ее. И странное дело, Гаша, Агафья Михайловна, которую я знал хорошо, заразилась манерой капризничать бабушки и с своей девочкой, и с своей кошкой, и вообще с существами, с которыми могла быть требовательна, была так же капризна, как бабушка с нею.

Самые ранние воспоминания мои о бабушке, до нашей поездки в Москву и жизни там, сводятся к трем сильным, связанным с нею, впечатлениям. Первое — это то, как бабушка умывалась и каким-то особенным мылом пускала на руках удивительные пузыри, которые, мне казалось, только она одна могла делать. Нас нарочно приводили к ней, — вероятно, наше удивление и восхищение перед ее мыльными пузырями забавляло ее, — чтобы видеть, как она умывалась. Помню: белая кофточка, юбка, белые старческие руки, и огромные, поднимающиеся на них пузыри, и ее довольное, улыбающееся белое лицо. Второе воспоминание — это было то, как ее без лошади на руках вывезли камердинеры отца в желтом кабриолете с рессорами, в котором мы ездили кататься с Федором Ивановичем, в мелкий Заказ для сбора орехов, которых в этом году было особенно много. Помню чашу частого и густого орешника, в глубь которого, раздвигая и ломая ветки, Петруша и

Матюша ввозили желтый кабриолет с бабушкой, и как нагибали ей ветки с гроздьями спелых, иногда высыпавшихся орехов, и как бабушка сама рвала их и клала в мешок, и как мы, где сами гнули ветки, где Федор Иванович удивлял нас своей силой, нагибая нам толстые орешины, а мы обирали со всех сторон и все-таки видели, что еще оставались не замеченные нами орехи, когда Федор Иванович пускал их и кусты, медленно цепляясь, расправлялись. Помню, как жарко было на полянках, как приятно прохладно в тени, как дышалось терпким запахом орехового листа, как щелкали со всех сторон разгрызаемые девушками, которые были с нами, орехи, и как мы, не переставая, жевали свежие, полные, белые ядра. Мы собирали в карманы и подолы и несли в кабриолет, и бабушка принимала и хвалила нас. Как мы пришли домой, что было после, я ничего не помню, помню только, что бабушка, орешник, терпкий запах орехового листа, камердинеры, желтый кабриолет, солнце — соединились в одно радостное впечатление. Мне казалось, что, как мыльные пузыри могли быть только у бабушки, так и лес, и орехи, и солнце, и тень могли быть только при бабушке в желтом кабриолете, которую везут Петруша и Матюша.

Самое же сильное, связанное с бабушкой воспоминание — это ночь, проведенная в спальне бабушки, и Лев Степаныч. Лев Степаныч был слепой сказочник (он был уже стариком, когда я зазнал его), остаток старинного барства, барства деда.

Он был куплен только для того, чтобы рассказывать сказки, которые он, вследствие свойственной слепым необыкновенной памяти, мог слово в слово рассказывать после того, как их раза два прочитывали ему.

Он жил где-то в доме, и целый день его не было видно. Но по вечерам он приходил наверх, в спальню бабушки (спальня эта была в низенькой комнатке, в которую входить надо было по двум ступеням), и садился на низенький подоконник, куда ему приносили ужин с господского стола. Тут он дожидался бабушку, которая без стыда могла делать свой ночной туалет при слепом человеке. В тот день, когда был мой черед ночевать у

бабушки, Лев Степанович с своими белыми глазами, в синем длинном сертуке с буфами на плечах, сидел уже на подоконнике и ужинал. Не помню, как раздевалась бабушка, в этой комнате или в другой, и как меня уложили в постель, помню только ту минуту, когда свечу потушили, осталась одна лампадка перед золочеными иконами, бабушка, та самая удивительная бабушка, которая пускала необычайные мыльные пузыри, вся белая, в белом и покрытая белым, в своем белом чепце, высоко лежала на подушках, и с подоконника слышался ровный, спокойный голос Льва Степаныча: «Продолжать прикажете?» — «Да, продолжайте». — «Любезная сестрица, сказала она, — заговорил Лев Степанович своим тихим, ровным, старческим голосом, — расскажите нам одну из тех прелюбопытнейших сказок, которые вы так хорошо умеете рассказывать». — «Охотно, — отвечала Шехерезада, — рассказала бы я замечательную историю принца Камаральзамана, если повелитель наш выразит на то свое согласие». Получив согласие султана, Шехерезада начала так: «У одного владетельного царя был единственный сын...»

И, очевидно, слово в слово по книге начал Лев Степаныч говорить историю Камаральзамана. Я не слушал, не понимал того, что он говорил, настолько я был поглощен таинственным видом бабушки, ее колеблющейся тенью на стене и видом старика с белыми глазами, которого я не видал теперь, но которого помнил неподвижно сидевшего на подоконнике и медленным голосом говорившего какие-то странные, мне казавшиеся торжественными слова, одиноко звучащие среди полутемноты комнатки, освещенной дрожащим светом лампы.

Должно быть, я тотчас же заснул, потому что дальше ничего не помню, и только утром опять удивлялся и восхищался мыльными пузырями, которые, умываясь, делала на своих руках бабушка. Расскажу после о моих дальнейших впечатлениях о бабушке во время переезда в Москву и жизни там, теперь же расскажу, что знаю и помню о другом важном для моего детства лице — жившей у нас родной тетке моей, Александре Ильиничне графине Остен-Сакен.

Тетушка Александра Ильинична очень рано в Петербурге была выдана за остзейского богатого графа Остен-Сакена. Партия, казалась, очень блестящая, но кончившаяся в смысле супружества очень печально для тетушки, хотя, может быть, последствия этого брака были благотворны для ее души. Тетушка Aline, как ее звали в семье, была, должно быть, очень привлекательна, с своими большими голубыми глазами и кротким выражением белого лица, какою она 16-летней девушкой изображена на очень хорошем портрете.

Скоро после свадьбы Остен-Сакен уехал с молодой женой в свое большое остзейское имение, и там все больше и больше стала проявляться его душевная болезнь, выражавшаяся сначала только очень заметной беспричинной ревностью. На первом же году своей женитьбы, когда тетушка была уже на сносях беременна, болезнь эта так усилилась, что на него стали находить минуты полного сумасшествия, во время которых ему казалось, что враги его, желающие отнять у него его жену, окружают его, и единственное спасение для него состоит в том, чтобы бежать от них. Это было летом. Вставши рано утром, он объявил жене, что единственное средство спасения состоит в том, чтобы бежать, что он велел закладывать коляску и они сейчас едут, чтобы она готовилась.

Действительно, подали коляску, он посадил в нее тетушку и велел ехать как можно скорее. На пути он достал из ящика два пистолета, взвел курок и, дав один тетушке, сказал ей, что, если только враги узнают про его побег, они догонят его, и тогда они погибнут, и единственное, что им остается сделать, это убить друг друга. Испуганная, ошеломленная тетушка взяла пистолет и хотела уговорить мужа, но он не слушал ее и только поворачивался назад, ожидая погони, и гнал кучера. На беду на проселочной дороге, выходящей на большую, показался экипаж, и он вскрикнул, что все погибло, и велел ей стрелять в себя, и сам выстрелил в упор в грудь тетушки. Должно быть, увидав, что он сделал, и то, что напугавший его экипаж проехал в другую сторону, он остановился, вынес раненую, окровавленную

тетушку из экипажа, положил на дорогу и ускакал. На счастье тетки скоро на нее наехали крестьяне, подняли ее и свезли к пастору, который, как умел, перевязал ей рану и послал за доктором. Рана была в правой стороне груди навывлет (тетушка показывала мне оставшийся след) и была не тяжелая. В то время как она, выздоравливая, все еще беременная, лежала у пастора, муж ее, опомнившийся, приезжал к ней и, рассказав пастору историю о том, как она нечаянно была ранена, попросил свидания с ней. Свидание это было ужасно; он, хитрый, как все душевнобольные, притворился раскаивающимся в своем поступке и только озабоченным ее здоровьем. Посидев с ней довольно долго, совершенно разумно обо всем разговаривая, он воспользовался той минутой, когда они остались одни, чтобы попытаться исполнить свое намерение. Как бы заботясь об ее здоровье, он попросил ее показать ему язык, и когда она высунула его, схватился одной рукой за язык, а другой выхватил приготовленную бритву с намерением отрезать его. Произошла борьба, она вырвалась от него, закричала, вбежали люди, остановили и увели его.

С тех пор сумасшествие его совершенно определилось, и он долго жил в каком-то заведении для душевнобольных, не имея никаких сношений с тетушкой. Вскоре после этого тетушку перевезли в родительский дом в Петербург, и там она родила уже мертвого ребенка. Боясь последствий огорчения от смерти ребенка, ей сказали, что ребенок ее жив, и взяли родившуюся в то же время у знакомой прислуги, жены придворного повара, девочку. Эта девочка — Пашенька, которая жила у нас и была уже взрослой девушкой, когда я стал помнить себя. Не знаю, когда была открыта Пашеньке история ее рождения, но, когда я знал ее, она уже знала, что она не была дочь тетушки.

Тетушка Александра Ильинична после случившегося с нею жила у своих родителей, потом у моего отца и потом после смерти отца была нашей опекуной, а когда мне было 12 лет, умерла в Оптиной пустыни.

Тетушка эта была истинно религиозная женщина. Любимые ее занятия были чтения житий святых, беседы с странниками, юродивыми, монахами и монашенками,

из которых некоторые жили всегда в нашем доме, а некоторые только посещали тетушку. В числе почти постоянно живших у нас была монахиня Марья Герасимовна, крестная мать моей сестры, ходившая в молодости странствовать под видом юродивого Иванушки. Крестною матерью сестры Марья Герасимовна была потому, что мать обещала ей взять ее кумой, если она вымолит у бога дочь, которую матери очень хотелось иметь после четырех сыновей. Дочь родилась, и Марья Герасимовна была ее крестной матерью и жила частью в тульском женском монастыре, частью у нас в доме.

Тетушка Александра Ильинична не только была внешне религиозна, соблюдала посты, много молилась, общалась с людьми святой жизни, каков был в ее время старец Леонид в Оптиной пустыни, но сама жила истинно христианской жизнью, стараясь не только избегать всякой роскоши и услуги, но стараясь, сколько возможно, служить другим. Денег у нее никогда не было, потому что она раздавала просящим все, что у нее было.

Горничная Гаша, после смерти бабушки перешедшая к ней, рассказывала мне, как она во время московской жизни, идя к заутрени, старательно на цыпочках проходила мимо спящей горничной и сама делала все то, что по принятому обычаю обычно делалось горничной. В пище, одежде она была так проста и нетребовательна, как только можно себе представить. Как мне ни неприятно это сказать, я с детства помню особенный кислый запах тетушки Александры Ильиничны, вероятно происходивший от неряшества ее туалета. И это была та грациозная, с прекрасными голубыми глазами, поэтическая Aline, любившая читать и списывать французские стихи, игравшая на арфе и всегда имевшая большой успех на самых больших балах.

Помню, как она была всегда одинаково ласкова и добра точно так же со всеми важными мужчинами и дамами, как и с монахинями, странниками и странницами.

Помню, как зять ее Юшков любил шутить над ней и как раз из Казани прислал большой ящик, посылку на ее имя. В ящике оказался другой ящик, в том еще третий и т. д. до маленькой коробочки, в которой в вате лежал фарфоровый монах. Помню, как она добродушно

смеялась, показывая тетушке эту посылку. Помню еще, как за обедом отец рассказывал, как она будто вместе с своей кузиной Молчановой ловила в церкви уважаемого ими священника, чтобы получить от него благословение. Отец рассказывал это в виде травли, как будто бы Молчанова отхватила священника от царских дверей, он бросился в северные. Молчанова дала угонку, пронеслась, и тут-то Аline захватила его. Помню ее милый, добродушный смех и сияющее удовольствием лицо. То религиозное чувство, которое наполняло ее душу, очевидно, было так важно для нее, было до такой степени выше всего остального, что она не могла сердиться, огорчаться чем-нибудь, не могла приписывать мирским делам ту важность, которая им обыкновенно приписывается. Она заботилась о нас, когда была нашей опекуной, но все, что она делала, не поглощало ее души, все было подчинено служению богу, как она понимала это служение.

VI

Третье и самое важное [лицо] в смысле влияния на мою жизнь была тетенька, как мы называли ее, Татьяна Александровна Ергольская. Она была очень дальняя по Горчаковым родственница бабушке. Она и сестра ее Лиза, вышедшая потом за графа Петра Ивановича Толстого, остались маленькими девочками, бедными сиротками от умерших родителей. Было еще несколько братьев, которых родные кое-как пристроили, девочек же решили взять на воспитание знаменитая в своем кругу в Чернском уезде и в свое время властная и важная Тат. Сем. Скуратова и моя бабушка. Свернули билеты, положили под образа, помолившись, вынули, и Лизанька досталась Татьяне Семеновне, а черненькая — бабушке. Таненька, как ее звали у нас, была одних лет с отцом, родилась в 1795 году, воспитывалась совершенно наравне с моими тетками и была всеми нежно любима, как и нельзя было не любить ее за ее твердый, решительный, энергичный и вместе с тем самоотверженный характер. Очень рисует ее характер событие с линейкой, про которое она рассказывала нам, показывая

большой, чуть не в ладонь, след обжога на руке между локтем и кистью. Они детьми читали историю Муция Сцеволы и заспорили о том, что никто из них не решился бы сделать того же. «Я сделаю», — сказала она. «Не сделаешь», — сказал Языков, мой крестный отец, и, что тоже характерно для него, разжег на свечке линейку так, что она обуглилась и вся дымилась. «Вот приложи это к руке», — сказал он. Она вытянула белую руку, — тогда девочки ходили всегда декольте, — и Языков приложил обугленную линейку. Она нахмурилась, но не отдернула руки. Застонала она только тогда, когда линейка с кожей отодралась от руки. Когда же большие увидали ее рану и стали спрашивать, как это сделалось, она сказала, что сама сделала это, хотела испытать то, что испытал Муций Сцевола.

Такая она была во всем решительная и самоотверженная. Должно быть, она была очень привлекательная с своей жесткой черной курчавой, огромной косой и агатово-черными глазами и оживленным, энергическим выражением. В. И. Юшков, муж тетки Пелагеи Ильиничны, большой волокита, часто уже стариком, с тем чувством, с которым говорят влюбленные про прежний предмет любви, вспоминал про нее: «*Toinette, oh, elle était charmante*»¹. Когда я стал помнить ее, ей было уже за сорок, и я никогда не думал о том, красива или некрасива она. Я просто любил ее, любил ее глаза, улыбку, смуглую, широкую, маленькую руку с энергической поперечной жилкой.

Должно быть, она любила отца, и отец любил ее, но она не пошла за него в молодости для того, чтобы он мог жениться на богатой моей матери, впоследствии же она не пошла за него потому, что не хотела портить своих чистых, поэтических отношений с ним и с нами. В ее бумагах, в бисерном портфельчике, лежит следующая, написанная в 1836 году, 6 лет после смерти моей матери, записка:

«16 Août 1836. Nicolas m'a fait aujourd'hui une étrange proposition — celle de l'épouser, de servir de mère à ses

¹ Туанета, о, она была очаровательна (франц.).

enfants et de ne jamais les quitter. J'ai refusé la première proposition, j'ai promis de remplir l'autre — tant que je vivrai»¹.

Так она записала, но никогда ни нам, никому не говорила об этом. После смерти отца она исполнила второе его желание. У нас были две родные тетки и бабушка. Все они имели на нас больше прав, чем Татьяна Александровна, которую мы называли тетушкой только по привычке, так как родство наше было так далеко, что я никогда не мог запомнить его, но она, по праву любви к нам, как Будда с раненым лебедем, заняла в нашем воспитании первое место. И мы чувствовали это. И у меня бывали вспышки восторженно умиленной любви к ней. Помню, как раз на диване в гостиной, мне было лет пять, я завалился за нее, она, лаская, тронула меня рукой. Я ухватил эту руку и стал целовать ее и плакать от умиленной любви к ней.

Она была воспитана барышней богатого дома — говорила и писала по-французски лучше, чем по-русски, прекрасно играла на фортепьяно, но лет 30 не дотрогивалась до фортепьяно. Она стала играть только уже, когда я взрослым учился играть, и иногда, играя в четыре руки, удивляла меня правильностью и изяществом своей игры. К прислуге она была добра, никогда сердито не говорила с ней, не могла переносить мысли о побоях или розгах, но считала, что крепостные — крепостные и обращалась с ними, как барыня. Но, несмотря на то, ее, отличая от других, любили все люди. Когда она скончалась и ее несли по деревне, из всех домов выходили крестьяне и заказывали панихиду. Главная черта ее была любовь, но как бы я ни хотел, чтобы это было иначе — любовь к одному человеку — к моему отцу. Только уже исходя из этого центра, любовь ее разливалась и на всех людей. Чувствовалось, что она и нас любила за него, через него и всех любила, потому

¹ 16 августа 1836. Николай сделал мне сегодня странное предложение — выйти за него замуж, заменить мать его детям и никогда их не покидать. В первом предложении я отказала, второе я обещалась исполнять, пока я буду жива (франц.).

что вся жизнь ее была любовь. Она имела по своей любви к нам наибольшие права на нас, но родные тетки, особенно Пелагея Ильинична, когда она нас увезла в Казань, имела внешние права, и она покорялась им, но любовь ее от этого не ослабевала. Она жила у сестры, гр. Л. А. Толстой, но жила душой с нами и, как только можно было, возвращалась к нам. То, что она последние годы своей жизни, около 20 лет, прожила со мной в Ясной Поляне, было для меня большим счастьем. Но как мы не умеем ценить наше счастье, тем более что истинное счастье всегда негромко, незаметно. Я ценил, но далеко не достаточно. Она любила у себя в комнате в разных посудинках держать сладенькое: винные ягоды, пряники, финики, и любила покупать и угощать этим первого меня. Не могу забыть и без жестокого укора совести вспомнить, как я несколько раз отказывал ей в деньгах на эти лакомства и как она, грустно вздыхая, умолкала. Правда, я был стеснен в деньгах, но теперь не могу вспомнить без ужаса, как я отказывал ей.

Уже когда я был женат и она начала слабеть, она раз, выждав время, когда мы оба с женой были в ее комнате, она, отвернувшись (я видел, что она готова заплакать), сказала: «Вот что, *mes chers amis*¹, комната моя очень хорошая и вам понадобится. А если я умру в ней, — сказала она дрожащим голосом, — вам будет неприятно воспоминание, так вы меня переведите, чтобы я умерла не здесь». Такая она была вся с самых первых времен моего детства, когда еще я не мог понимать ее.

Я сказал, что тетенька Татьяна Александровна имела самое большое влияние на мою жизнь. Влияние это было, во-первых, в том, что еще в детстве она научила меня духовному наслаждению любви. Она не словами учила меня этому, а всем своим существом заражала меня любовью. Я видел, чувствовал, как хорошо ей было любить, и понял счастье любви. Это первое. Второе то, что она научила меня прелести неторопливой, одинокой жизни. Хотя это воспоминание уже не детства, а взрослой жизни, я не могу не вспомнить моей холостой жизни с ней в Ясной Поляне, в особенности осен-

¹ мои дорогие друзья (франц.).

ними и зимними длинными вечерами. И эти вечера остались для меня чудесным воспоминанием.

Комната ее была такая: в левом углу была шифоньерка с бесчисленными вещицами, ценными только для нее, в правом — кивот с иконами и большим, в серебряной ризе, спасителем; посередине диван, на котором она спала, перед ним стол. Направо дверь к ее горничной и другой диван, на котором спала добродушная старушка Наталья Петровна, жившая с ней, не для нее, а потому, что ей негде было жить. Между окном под зеркалом был ее письменный столик с баночками и вазочками, в которых были сладости: пряники, финики, которыми она угощала меня. У окна два кресла, и направо от двери вышитое покойное кресло, на котором она любила, чтобы я сидел, и я часто сидел на этом кресле по вечерам.

Главная прелесть этой жизни была в отсутствии всякой матерьяльной заботы, добрых отношениях ко всем, твердых, несомненно, добрых отношениях к ближайшим лицам, которые никем не могли быть нарушены, и в неторопливости, в несознании убегающего времени. Этим вечерам я обязан лучшими своими мыслями, лучшими движениями души. Сидишь на этом кресле, читаешь, думаешь, изредка слушаешь ее разговоры с Натальей Петровной или с Дунечкой, горничной, всегда добрые, ласковые, перекинешься с ней словом и опять сидишь, читаешь, думаешь. Это чудное кресло стоит и теперь у меня, но оно уж не то.

Тогда можно было сказать: «*Wer darauf sitzt, der ist glücklich, und der glückliche bin ich*»¹. И действительно, я был истинно счастлив, когда сидел на этом кресле. После дурной жизни в Туле, у соседей, с картами, цыганами, охотой, глупым тщеславием, вернешься домой, придешь к ней, по старой привычке поцелуешься с ней рука в руку, я — ее милую, энергическую, она — мою грязную, порочную руку, поздороваешься тоже по старой привычке по-французски, пошутишь с Натальей Петровной и сядешь на покойное кресло. Она знает все, что я делал, жалеет об этом, но никогда не упрекнет, всегда с той же ровной лаской, с любовью. Сажу на

¹ Кто на нем сидит, тот счастлив, и счастливец этот — я (нем.).

кресле, читаю, думаю, прислушиваюсь к разговору ее с Натальей Петровной. То вспоминают старину, то раскладывают пасьянс, то замечают предзнаменования, то шутят о чем-нибудь, и обе старушки смеются, особенно тетенька, детским, милым смехом, который я сейчас слышу. Рассказываю я про то, что жена знакомого изменила мужу, и говорю, что муж, должно быть, рад, что освободился от нее. И вдруг тетенька, сейчас только говорившая с Натальей Петровной о том, что нарост на свече означает гостя, поднимает брови и говорит, как дело, давно решенное в ее душе, что муж не должен этого делать, потому что погубит совсем жену. Потом она рассказывает мне про драму на дворне, про которую рассказывала ей Дунечка, потом перечитывает письмо от сестры Машеньки, которую она любит если не больше, то так же, как меня, и говорит про ее мужа, своего родного племянника, не осуждая, а грустя о том горе, которое он сделал Машеньке. Потом я опять читаю, она перебирает свои вещицы — всё воспоминания. Главные два свойства ее жизни, которые невольно раздражали меня, была, во-первых, ее удивительная всеобщая доброта ко всем без исключения. Я стараюсь вспомнить и не могу ни одного случая, когда бы она рассердилась, сказала резкое слово, упрек, осудила бы, и не могу вспомнить ни одного случая за 30 лет жизни. Она говорила добро про другую тетюшку, родную, которая жестоко огорчила ее, отняв нас у нее, не осуждая и мужа сестры, очень дурно поступавшего с ней. Про прислугу и говорить нечего. Она выросла в понятиях, что есть господа и люди, но пользовалась своим господством только для того, чтобы служить людям. Никогда она не выговаривала мне прямо за мою дурную жизнь, хотя страдала за меня. Брата Сергея, которого она тоже горячо любила, она также не упрекала и тогда, когда он сошелся с цыганкой. Единственный оттенок беспокойства о нем было то, что, когда он долго не приезжал, она говаривала: «Что-то наш Сергеиус?» Только вместо Сережи — Сергеиус. Никогда она не учила тому, как надо жить, словами, никогда не читала нравоучений, вся нравственная работа была переработана в ней внутри, а наружу выходили только ее дела — и не дела —

дел не было, а вся ее жизнь, спокойная, кроткая, покорная и любящая не тревожной, любующейся на себя, а тихой, незаметной любовью.

Она делала внутреннее дело любви, и потому ей не нужно было никуда торопиться. И эти два свойства — любовь и неторопливость — незаметно влекли в близость к ней и давали особенную прелесть в этой близости. От этого, как я не знаю случая, чтобы она обидела кого, я и не знаю никого, кто бы не любил ее. Никогда она не говорила про себя, никогда о религии, о том, как надо верить, о том, как она верит и молится. Она верила во все, но отвергала только один догмат — вечных мучений: «Dieu qui est la bonté même ne peut pas vouloir nos souffrances»¹. Я, кроме как на молебнах и панафидах, никогда не видал, как она молится. Я только по особенной приветливости, с которой она встречала меня, когда я иногда поздно вечером после прощанья на ночь заходил к ней, догадывался, что я прервал ее молитву.

«Заходи, заходи, — скажет она, бывало. — А я только что говорю Наталье Петровне, что Nicolas зайдет еще к нам». Она часто называла меня именем отца, и это мне было особенно приятно, потому что показывало, что представление о мне и отце соединялось в ее любви к обоим. По этим поздним вечерам она бывала уже раздета, в ночной рубашке, с накинутым платком, с цыплячьими ножками в туфлях, и в таком же неглиже Наталья Петровна. «Садись, садись, пасьянс сделаем», — говорила она, видя, что мне не хочется спать или тяжело одиночество. И эти незаконные, поздние сиденья мне особенно мило памятливы. Бывало, скажет что-нибудь смешное Наталья Петровна или я, и она добродушно рассмеется, и тотчас же рассмеется и Наталья Петровна, и обе старушки долго смеются, сами не зная чему, а как дети, только потому, что они всех любят и их все любят и им хорошо.

Не одна любовь ко мне была радостна. Радостна была та атмосфера любви ко всем присутствующим, отсутствующим, живым и умершим людям и даже животным.

¹ Бог, который сама доброта, не может хотеть наших страданий (франц.).

Я еще буду, если придется рассказать мою жизнь, много говорить про нее. Теперь скажу только про отношение народа, яснополянских крестьян к ней, выразившееся во время ее похорон. Когда мы несли ее по деревне, не было одного двора из 60, из которого не выходили бы люди и требовали остановки и панихиды. «Добрая была барыня, никому зла не сделала», — говорили все. И ее любили и сильно любили за это. Лаодзе говорит, что вещи ценны тем, чего в них нет. Также и жизнь: главная цена ее в том, чтобы не было в ней дурного. И в жизни тетеньки Татьяны Александровны не было дурного. Это легко сказать, но трудно сделать. И я знал только одного такого человека.

Умирала она тихо, постепенно засыпая, и умерла, как хотела, не в той комнате, где жила, чтобы не испортить ее для нас. Умирала она, почти никого не узнавая. Меня же узнавала всегда, улыбалась, просиявала, как электрическая лампочка, когда нажмешь кнопку, и иногда шевелила губами, стараясь произнести *Nicolas*, перед смертью уже совсем нераздельно соединив меня с тем, кого она любила всю жизнь.

И ей-то, ей-то я отказывал в той маленькой радости, которую ей доставляли финики, шоколад, и не столько для себя, а чтобы угощать меня же, и возможность дать от себя немножко денег тем, кто просил ее. Этого не могу вспомнить без мучительного укора совести. Милая, милая тетенька, простите меня. *Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait*¹ не в смысле того блага, которого для себя не взял в молодости, а в смысле того блага, которого не дал, и зла, которое сделал тем, которых уже нет.

VII

Немца нашего учителя Фед. Ив. Рёсселя я описал, как умел подробно, в «Детстве» под именем Карла Ивановича. И его история, и его фигуры, и его наивные счеты — все это действительно так было. Про братьев и сестру я расскажу, если удастся, описывая мое детство. Но, кроме

¹ Если бы юность знала, если бы старость могла (франц.).

братьев и сестры, с 5-летнего возраста с нами росла ровесница мне Дунечка Темешова, и мне надо рассказать, кто она была и как попала к нам. В числе наших посетителей, памятных мне в детстве: мужа тетки, Юшкова, странного для детей вида, с черными усами, бакенбардами и в очках (о нем придется много говорить), и моего крестного отца С. И. Языкова, замечательно безобразного, пропахшего курительным табаком, с лишней кожей на большом лице, которую он передергивал в самые странные, беспрестанные гримасы, кроме этих двух и соседей, Огарева и Исленьева, посещал нас еще дальний родственник по Горчаковым, богач-холостяк Темешов, называвший отца братцем и питавший к нему какую-то восторженную любовь. Он жил в сорока верстах от Ясной Поляны, в селе Пирогове, и привез раз оттуда поросят с закорюченными колечками хвостиками, которых на большом подносе раскладывали на столе в официантской. Темешов, Пирогово и поросята соединялись у меня в воображении в одно.

Кроме того, Темешов был нам, детям, памятен еще тем, что он играл в зале на фортепиано какой-то плясовой мотив (он только это и умел играть) и заставлял нас плясать под эту музыку. Когда же мы спрашивали его, какой танец надо танцевать, он говорил, что можно все танцы танцевать под эту музыку. И мы любили пользоваться этим.

Был зимний вечер, чай отпили, и нас скоро уже должны были вести спать, и у меня уже глаза слипались, когда вдруг из официантской в гостиную, где все сидели и горели только две свечи и было полутемно, в открытую большую дверь скорым шагом мягких сапог вошел человек и, выйдя на середину гостиной, хлопнулся на колени. Зажженная трубка на длинном чубуке, которую он держал в руке, ударилась о пол, и искры рассыпались, освещая лицо стоявшего на коленях, — это был Темешов. Что сказал Темешов отцу, упав перед ним на колени, я не помню, да и не слышал, а только потом узнал, что он упал на колени перед отцом потому, что привез с собой свою незаконную дочь Дунечку, про которую уже прежде сговорился с отцом с тем, чтобы отец принял ее на воспитание с своими детьми. С тех

пор у нас появилась с широким, покрытым веснушками лицом девочка, моя ровесница, Дунечка, с своей няней Евпраксеей, высокой, сморщенной старухой, с висячим подбородком, как у индейских петухов, кадычком, в котором был шарик, который она нам давала ощупывать.

Появление в нашем доме Дунечки связывалось с сложной имущественной сделкой между отцом и Темешовым. Сделка эта была вот какая.

Темешов был очень богат, законных детей у него не было. А было только две дочери: Дунечка и Верочка, горбатая девочка, от бывшей крепостной его, отпущенной на волю девушки Марфуши. Наследницами Темешова были его сестры. Он предоставлял им все остальные свои имения, а Пирогово, в котором он жил, он желал передать отцу с тем, чтобы ценность имения, 300 тысяч (про Пирогово всегда говорили, что это было золотое дно, и оно стоило гораздо больше), отец передал двум девочкам. Для того, чтобы устроить это дело, было придумано следующее: Темешов делал запродажную запись, по которой он продавал отцу Пирогово за 300 тысяч, отец же давал векселя трем посторонним лицам — Исленьеву, Языкову и Глебову по сто тысяч каждый: В случае смерти Темешова отец получал имение и, объяснив Глебову, Исленьеву и Языкову, с какой целью даны были на их имя векселя, выплачивал 300 тысяч, которые должны были идти двум девочкам.

Может быть, я ошибаюсь в описании всего плана, но знаю я несомненно то, что имение Пирогово перешло к нам после смерти отца и что были три векселя на имена Исленьева, Глебова и Языкова, что опека выплатила эти векселя и первые два передали по 100 тысяч девочкам, Языков же присвоил себе эти не принадлежавшие ему деньги. Но об этом после.

Дунечка жила у нас и была милая, простая, спокойная, но не умная девочка и большая плакса. Помню, как меня, обученного уже французской грамоте, заставили учить ее буквы. Сначала у нас дело шло хорошо (мне и ей было по 5 лет), но потом, вероятно, она устала и перестала называть правильно ту букву, которую я ей показывал. Я настаивал, Она заплакала. Я тоже. И когда

на наш рев пришли, мы ничего не могли выговорить от отчаянных слез. Другое помню о ней то, что, когда оказалась похищенной одна слива с тарелки и не могли найти виновного, Федор Иванович с серьезным видом, не глядя на нас, сказал: что съел — это ничего, а если косточку проглотил, то может умереть.

Дунечка не вытерпела этого страха и сказала, что косточку она выплюнула. Еще помню ее отчаянные слезы, когда они с братом Митенькой затеяли игру, состоящую в том, чтобы плевать друг другу в рот маленькую медную цепочку, и она так сильно плюнула, а Митенька так широко раскрыл рот, что проглотил цепочку. Она плакала безутешно, пока не приехал доктор и не успокоил всех.

Она была не умная, но хорошая, простая девочка, а главное, до такой степени целомудренная, что между нами, мальчиками, и ею никогда не было никаких дружгих, кроме братских отношений.

VIII

Чем дальше я подвигаюсь в своих воспоминаниях, тем нерешительнее я становлюсь о том, как писать их. Свянно описывать события и свои душевные состояния я не могу, потому что я не помню этой связи и последовательности душевных состояний. Описывая же, как я делал до сих пор, отдельные лица, среди которых проходило мое детство, я не знаю, где остановиться в описании судьбы этих лиц: остановиться там, где кончается мое детство, не хочется, потому что, может быть, не придется уже вернуться к этим лицам, а лица эти интересны, продолжать же описание жизни этих лиц дальше моего детства, будет неясно для читателя, потеряна связь рассказа.

Буду продолжать, как придется. Едва ли успею написать всю свою жизнь, даже наверно не успею, и потому буду писать, как придется, без поправок. Все лучше, чем ничего, для тех, которым может быть интересна моя жизнь, и для меня, переживающего и испытывающего много хорошего в этом переживании.

Итак, продолжаю, как хотел: описывая сначала тех ближайших людей прислуги, которые оставили во мне всю добрую память, а потом сестру и братьев. Когда кончу эти описания, поведу уже рассказ по времени, хотя и несвязно, урывками, о том, что помню из сильнейших своих впечатлений, что прежде, что после. Итак, о прислуге: 1) Прасковья Исаевна, 2) няня Татьяна Филипповна, 3) Анна Ивановна, 4) Евпраксея. Мужчины: 1) Николай Дмитрич, 2) Фока Демидыч, 3) Аким, 4) Тарас, 5) Петр Семеныч [?], 6) Пимен, 7) камердинеры: Володя, 8) Петруша, 9) Матюша, 10) Василий Трубецкой, 11) кучер Николай Филипыч, 12) Тихон.

Прасковью Исаевну я довольно верно описал в «Детстве». Все, что я об ней писал, было действительно. Не знаю, почему это так было устроено — дом был большой, 42 комнаты. Прасковья Исаевна была почтенная особа — экономка, а между тем у нее, в ее маленькой комнатке, стояло наше детское суднышко. Помню, одно из самых приятных впечатлений было после урока или в середине урока сесть в ее комнатке и разговаривать с ней и слушать. Вероятно, она любила видеть нас в эти времена особенной счастливой и умиленной откровенности. «Прасковья Исаевна, а дедушка как воевал? Верхом?» — кряхтя спросишь ее, чтобы только поговорить и послушать.

— Он всячески воевал, и на коне и пеший. Зато генерал-аншеф был, — ответит она и, открывая шкаф, достает смолку, которую она называла очаковским куреньем. По ее словам выходило, что эту смолку дедушка привез из-под Очакова. Зажжет бумажку об лампадку у икон и зажжет смолку, и она дымит приятным запахом.

Кроме той обиды, которую она мне нанесла, побив меня мокрой скатертью, как я описал это в «Детстве» она еще другой раз обидела меня. В числе ее обязанностей было еще и то, чтобы, когда это нужно было, ставить нам клистиры. Раз утром, уже не в женской половине, а внизу, на половине Федора Ивановича, мы только что встали и старшие братья уже оделись, а я замешкался и только что собирался снимать свой халатик и одеваться, как быстрыми старушечьими шагами вошла Прасковья

Исаевна с своими инструментами. Инструменты состояли из трубки, завернутой почему-то в салфетку так, что только желтоватая костяная трубочка виднелась из нее, и из блюдечка с деревянным маслом, в которое обмакивалась костяная трубочка. Увидев меня, Прасковья Исаевна решила, что тот, над кем тетенька велела сделать операцию, был я. В сущности, это был Митенька, но случайно или из хитрости, зная, что ему угрожает операция, которую мы все очень не любили, он поспешно оделся и ушел из спальни. И, несмотря на мои клятвенные уверения, что не мне назначена операция, она исполнила ее надо мной.

Кроме той преданности и честности ее, я особенно любил ее потому, что она с Анной Ивановной казалась мне представительницей таинственной старины жизни дедушки с Очаковым и курением.

Анна Ивановна жила на покое, и раза два она была в доме, и я видел ее. Ей, говорили, что было 100 лет, и она помнила Пугачева. У ней были очень черные глаза и один зуб. Она была той старости, которая страшна детям.

Няня Татьяна Филипповна, маленькая, смуглая, с пухлыми маленькими руками, была молодая няня, помощница старой няни Аннушки, которую я почти не помню именно потому, что я сознавал себя не иначе, как с Аннушкой. И как я себя не смотрел и не помню себя, какой я был, так не помню и Аннушку. Так, вновь прибывшую няню Дунечки, Евпраксею, с ее шариком на шее, я помню прекрасно. Помню, как мы чередовались щупать ее шарик, как я, как нечто новое, понял то, что няня Аннушка не есть всеобщая принадлежность людей. А что вот у Дунечки совсем особенная своя няня из Пирогова.

Няню Татьяну Филипповну я помню потому, что она потом была няней моих племянниц и моего старшего сына. Это было одно из тех трогательных существ из народа, которые так сживаются с семьями своих питомцев, что все свои интересы переносят в них и для своих семейных представляют только возможность выпрашивания и наследования нажитых денег. Всегда у них моты братья, мужья, сыновья. И такие же были, сколько

помню, муж и сын и Татьяны Филипповны. Помню, она тяжело, тихо и кротко умирала в нашем доме на том самом месте, на котором я теперь сижу и пишу эти воспоминания.

Брат ее, Николай Филиппович, был кучер, которого мы не только любили, но к которому, как большей частью господские дети, питали великое уважение. У него были особенно толстые сапоги, пахло от него всегда приятно навозом, и голос у него был ласковый и звучный.

Обрываю начатое описание слуг по порядку. Это показалось мне скучно и не выходит. Буду описывать свою жизнь, вспоминая, сколько могу, назад.

Да, но прежде скажу хоть несколько слов о камердинерах и Тихоне.

В старину у всех бар, особенно у охотников, были любимцы. Такие были у моего отца два брата камердинеры Петруша и Матюша, оба красивые, сильные, ловкие охотники. Оба они были отпущены на волю и получили всякого рода преимущества и подарки от отца. Когда отец мой скоропостижно умер, было подозрение, что эти люди отравили его. Повод к этому подозрению подало то, что у отца были похищены все бывшие с ним деньги и бумаги, и бумаги только — векселя и другие — были подкинута в московский дом через нищую. Не думаю, чтобы это была правда, но было возможно и это. Бывали часто такие случаи, именно то, что крепостные, особенно возвышенные своими господами, вместо рабства вдруг получавшие огромную власть, ошалевали и убивали своих благодетелей. Трудно представить себе весь тот переход от полного рабства не только к свободе, но к огромной власти. Не знаю уж, как и отчего, но знаю, что это бывало, и что Петруша и Матюша были именно такие ошалевшие люди, не могущие удовлетвориться тем, что получили, а естественно хотевшие подниматься все выше и выше. Я этого, разумеется, не понимал, и мне они просто нравились — особенно Петруша, своей ловкостью, силой, мужественной красотой, чистотой одежды и ласковостью к нам, детям, и ко мне особенно. Я всегда просто любовался ими, видел в них особенных людей. Большое уважение к ним

вызывали во мне те фарфоровые и деревянные крашенные куколки людей, собак, кошек, обезьян, которые стояли у них на окнах, в комнатах нижнего этажа, в которых они жили. Проходя мимо них, мы всегда с уважением смотрели на этих кукол. Это казалось мне чем-то особенным и важным. Оба они были холостые, и оба были нелюбимы дворней.

Тихон-официант, тот, который таскал табак и которого мы очень любили, был человек совсем другого склада. Это был маленький, узенький человечек, весь бритый, с длинным, как это часто бывает у актеров-комиков, промежутком между носом и твердо сложенным ртом и подвижным лбом и бровями над веселыми, серыми глазками. Он был у дедушки в оркестре флейтистом. Его обязанности в доме состояли в уборке парадных комнат и в служении за столом. Он был природный актер. Ему, очевидно, самому доставляло удовольствие представлять что попало и делать комические гримасы, которые приводили нас, детей, в восхищение. Все всегда над ним смеялись. И про него ходили между дворней рассказы о том, как он в походе на деревне попал в пехтерь. По утрам он в чулках и куртке с веничком из прудового тростника убирал комнаты, днем сидел в передней и вязал чулки.

(Сюда следуют мои первые воспоминания, напечатанные в 12 томе 10-го изд., стр. 447.)¹

Да, столько впереди интересного, важного, что хотелось бы рассказать, а не могу оторваться от детства, яркого, нежного, поэтического, любовного, таинственного детства. Вступая в жизнь, мы в детстве чувствуем, сознаем всю ее удивительную таинственность, знаем, что жизнь не только то, что дают нам наши чувства, а потом стирается это истинное предчувствие или послечувствие всей глубины жизни. Да, удивительное было время. Вот мы кончили уроки, кончили прогулку и приведены в гостиную, чтобы идти к обеду. Гостиная — диван, большой, круглый, красного дерева стол, под прямым углом к столу по четыре кресла. Напротив дивана балко[нная] дверь и в простенках между ней и

¹ См. т. 10 наст. изд., стр. 535 — «Моя жизнь»,

высокими окнами два зеркала в резных золоченых рамах. Бабушка сидит на левой стороне дивана с [1 неразобр.] и золотой табакеркой в чепце с рюшей. Тетушки Александра Ильинишна, Татьяна Александровна, Пашенька, Маш[енька], дочь с своей крестной матерью Марьей Герасимовной (про которую сейчас расскажу), Федор Иваныч, все собрались, ждут папеньку из кабинета. Вот он выходит бодрым быстрым шагом, с своей сангвинической красной шеей, мягких без каблучков сапог, добрыми красивыми глазами и грациозно мужественными движениями. Иногда он выходит с трубкой в руке, отдает ее лакею. Он выходит и подсаживается к бабушке, целует ее руку и что-нибудь шутя с нами, тетусками или Федором Иванычем.

— Что ж не дают обедать? — крикнет он своим бодрым и ласковым голосом. Из официантской выходит кто-нибудь из его камердинеров охотников: Володя, Матюша, Петруша (про них тоже надо рассказать).

— Сейчас подают.

И действительно, в огромно высокую дверь (темно-красную, подмалеванную, двери такие и остались) входит в синем сертуке с высокими со сборками плечами дворецкий, бывшая вторая скрипка в оркестре дедушки, Фока Демидыч, с своими сходящимися поднятыми бровями и с очевидной гордостью и торжественностью объявляет:

— Кушанье поставлено.

Все поднимаются, отец подает руку бабушке, за ними следуют тетушки, Пашенька, мы с Федором Иванычем и кто-нибудь из живущих и Марья Герасимовна. Я подхожу (я помню это, как всегда помнится почему-то ярко один момент) с левой стороны к отцу, рука его касается моих волос, шеи, я люблю эту белую руку с красной характерной полосой на внешней выступающей части ладони и держу, и не смею, и, наконец, целую; рука пожимает мне щеку, и я умиленно счастлив. Проходим официантскую площадку перед лестницей и входим в большую залу. Почти за каждым стулом стоят лакеи с тарелками, которые они держат в левой руке у левой стороны груди. Если есть гости, то их лакеи всегда стоят за их стульями и служат им. На столе, покры-

том работы своих ткачей грубоватой скатертью, графины с водой, кружки с квасом, ложки серебряные старые, ножи и вилки железные с деревянными ручками, стаканы самые простые, тонкие. Суп разливают в буфете, лакеи разносят к супу пирожки. Но нам не дают почему-то пирожков, и камердинер Петруша, особенно расположенный ко мне, потихоньку подсовывает мне пирожок. Как удивительно вкусен этот пирожок! За обедом, впрочем, все удовольствие, все радостно, все вкусно, все весело. Трудно только сидеть неподвижно, и если не позволяется шевелить верхней частью тела, то замещаешь это тем, что болтаешь усиленно под столом недостающими до полу толстыми ножонками в белых нитяных чулках, сделанными своим глухим Алексеем-сапожником башмаками. Все вкусно, кроме иногда застрявшего во рту куска жилистой говядины, который мнешь, мнешь и, пока большие заняты разговорами, выплунешь в маленькую ладонь и бросишь под стол. Вкусна каша, вкусен картофель печеный, репа, вкусны куры с огурцами и, главное, вкусно пирожное, всякое пирожное, оладьи, молочная лапша, хворостики, творог со сметаной. Весело слушать иногда разговоры старших, когда понимаешь их, и переговариваться с братьями о наших, одним нам интересных, предметах, и особенно весело смотреть на Тихона. Тихон — это бывшая флейта в оркестре дедушки, маленький веселый человечек с удивительным, как нам казалось, талантом комизма. Он стоит, бывало, за бабушкой или за отцом, вдруг, вытянув свои длинные бритые губы, взмахнет тарелкой и сделает комическую выкрутасу. Мы засмеемся. Кто-нибудь из больших оглянется, и Тихон стоит, как статуя, замерев в неподвижной позе с тарелкой у груди. Бывает за обедом и еще удовольствие, когда на меня обращают внимание и выставляют перед публикой мое искусство составлять шарады.

— Ну-ка, Левка-пузырь (меня так звали, я был очень толстый ребенок), отличись новой шарадой! — говорит отец.

И я отличаюсь шарадой в таком роде: мое первое — буква, второе — птица, а все — маленький домик. Это б — утка — будка. Пока я говорю, на меня смотрят и

улыбаются, и я знаю, чувствую, что эти улыбки не значат то, что есть что-нибудь смешного во мне или моих речах, а значит то, что смотрящие на меня любят меня. Я чувствую это, и мне восторженно радостно на душе.

Обед кончается. Отцу подают закуренную трубку, он идет к себе, бабушка в гостиную, мы вниз, и начинается рисованье. Иногда приходит отец, говорит с Федором Ивановичем по-немецки, удивляя нас своим выговором. Он говорит правильно: Sie — зи, ganz — ганц, а мы по-саксонски, как Федор Иванович — си и янц, и с недоверием слушаем выговор отца. Он иногда рисует нам. Потом идем прощаться с бабушкой, тетушками, Николаем Дмитрич, наш дядька, собирает наше платье, перевешивает на руку и желает нам покойной ночи и приятного сна. Иногда мы не спим и переговариваемся до тех пор, пока входит в темноте Федор Иванович, высекает огонь, зажигает серничек синим огнем, потом свечку, ложится на свою постель с высокими подушками, тушит свечку, и я засыпаю.

БРАТЬЯ

Начну с младших. Митенька одним годом старше меня.

Нет еще. Не могу перейти к братьям. Надо упомянуть о буфетчике Василье Трубецком. Это был милый, ласковый человек, очевидно любивший детей и потому любивший нас, особенно Сережу, того самого, у которого он потом и служил и помер. Помню добрую кривую улыбку его бритого лица, которое с морщинами и шеей было близко видно, и тоже особенный запах, когда он брал нас на руки и сажал на поднос (это было одним из больших удовольствий: «И меня! теперь меня!») и носил по буфету, таинственному для нас месту, с каким-то подземным ходом. Одно из сильных воспоминаний, связанных с ним, был его отъезд в Щербачевку, курское именье, полученное отцом в наследство от Перовской. Это было (отъезд Василия Трубецкого) на святках, в то время, как мы, дети, и несколько дворовых в зале играли в «пошел рублик». Про эти святочные увеселения надо тоже рассказать. Святочные увеселения

происходили так: дворовые все, очень много, человек 30, наряжались, приходили в дом и играли в разные игры и плясали под игру на скрипке старика Григорья, который только в эти времена и появлялся в доме. Это было очень весело. Ряженные были, как всегда, медведь с поводырем и козой, турки и турчанки, разбойники, крестьянки — мужчины и мужики — бабы. Помню, как казались мне красивы некоторые ряженные и как хороша была особенно Маша-турчанка. Иногда тетенька наряжала и нас. Был особенно желателен какой-то пояс с камнями и кисейные полотенца, вышитые серебром и золотом, и очень я себе казался хорош с усами, наведенными жженой пробкой. Помню, как, глядя в зеркало на свое с черными усами и бровями лицо, я не мог удержать улыбки удовольствия, а надо было делать величественное лицо турка. Ходили по всем комнатам и угощались разными лакомствами. В одну из святок в моем первом детстве во время святок приехали к нам все Исленьевы ряженные: отец, дед моей жены, три его сына и три дочери. На всех были удивительные для нас костюмы: был туалет, был сапог, картонный паяц и еще что-то. Исленьевы, приехав за 40 верст, переоделись на деревне, и, войдя в залу, Исленьев сел за фортепьяно и пропел сочиненные им стихи на голос, который я и теперь помню. Стихи были такие:

С Новым годом вас поздравить
Мы приехали сюда;
Коль удастся позабавить,
Будем счастливы тогда.

Это было все очень удивительно и, вероятно, хорошо для больших, но для нас, детей, самое лучшее было дворовые.

Такие увеселения происходили первые дни рождества и под Новый год, иногда и после, до крещенья. Но после Нового года уже приходило мало народа, и увеселения шли вяло. Так это было в тот день, когда Василий уезжал в Щербачевку. Помню, в углу почти неосвещенной залы мы сидели кружком на домодельных, под красное дерево, с кожаными подушками деревянных стульях и играли в рублик. Один ходил и должен был

найти рубль, а мы перепускали его из рук в руки, напевая: «пошел рублик, пошел рублик». Помню, одна дворовая особенно приятным и верным голосом выводила все те же слова. Вдруг дверь буфета отворилась, и Василий, как-то особенно застегнутый, без подноса и посуды прошел через край залы в кабинет. Тут только я узнал, что Василий уезжает приказчиком в Щербачевку. Я понимал, что это было повышение, и рад был за Василья, и вместе с тем мне не только жаль было расстаться с ним; знать, что его не будет в буфете, не будет уж он нас носить на подносе, но я даже не понимал, не верил, чтобы могло совершиться такое изменение. Мне стало ужасно таинственно грустно, и напевы: «Пошел рублик», сделались умильно трогательны. Когда же Василий вернулся от тетеньки и с своей милой кривой улыбкой подошел к нам, целуя нас в плечи, я испытал в первый раз ужас и страх перед непостоянством жизни и жалость и любовь к милому Василью.

Когда я после встречал Василья, я видел в нем уже хорошего или дурного приказчика брата, человека, которого я подозревал, и следа уже не было прежнего святого, братского, человеческого чувства.

Теперь, кажется, могу перейти к братьям.

Митенька — годом старше меня. Большие черные, строгие глаза. Почти не помню его маленьким. Знаю только по рассказам, что он в детстве был очень капризен: рассказывали, что на него находили такие капризы, что он сердился и плакал за то, что няня не смотрит на него, потом так же злился и кричал, что няня смотрит на него. Знаю по рассказам, что маменька очень мучилась с ним. Он был ближе мне по возрасту, и мы больше играли с ним, но я не так любил его, как любил Сережу и как любил и уважал Николеньку. Мы жили с ним дружно, не помню, чтобы ссорились. Вероятно, ссорились и даже дрались, но, как это бывает у детей, эти драки не оставляли ни малейшего следа. И я любил его простой, ровной, естественной любовью и потому не замечал ее и не помню ее. Я думаю, даже знаю, потому что испытал это, особенно в детстве, что любовь к людям есть естественное состояние души или, скорее, естественное отношение ко всем людям, и когда

оно такое, его не замечаешь. Оно изменяется только тогда, когда не любишь (не не любишь, а боишься) кого-нибудь (так я боялся нищих, боялся одного Волхонского, который щипал меня; больше, кажется, никого) и когда особенно любишь, как я любил тетеньку Татьяну Александровну, брата Сережу, Николеньку, Василья, няню, главное Пашеньку. Ребенком я ничего особенного, кроме детских веселых глупостей, не помню о нем. Особенности его проявились и памятливы мне уже в Казани, когда мы переехали в 40 году, и ему было 13 лет. До этого в Москве, я помню, что он не влюблялся, как я и Сережа, не любил особенно ни танцев, ни военных зрелищ, о которых расскажу после, и учился хорошо, усердно. Помню, учитель, студент Поплонский, дававший нам уроки, определил по отношению к учению нас, трех братьев, так: Сергей и хочет и может, Дмитрий хочет, но не может (это была неправда), и Лев и не хочет и не может. Я думаю, что это была совершенная правда.

IX

Так что настоящие воспоминания мои о Митеньке начинаются с Казани. В Казани я, подражавший всегда Сереже, начал развращаться (тоже после расскажу). Не только с Казани, но еще прежде я занимался своей наружностью: старался быть светским, *comme il faut*. Ничего этого не было и следа в Митеньке; кажется, он никогда не страдал обычными отроческими пороками. Он всегда был серьезен, вдумчив, чист, решителен, вспыльчив, мужественен и то, что делал, доводил до предела своих сил. Когда с ним случилось, что он проглотил щепочку, он, сколько помню, не особенно беспокоился о последствиях этого, тогда как про себя помню, какой я испытал ужас, когда проглотил косточку французского чернослива, который дала мне тетенька, и как я торжественно, как бы перед смертью, объявил ей об этом несчастье. Помню еще, как мы катались маленькими на салазках с крутой горы мимо закут (как весело было) и какой-то проезжий, вместо того, чтобы ехать по дороге, поехал на своей тройке на эту гору. Кажется, Сережа

с деревенским мальчиком раскатился и, не удержав салазки, попал под лошадей. Ребята выкарабкались без ушибов. Тройка въехала на гору. Мы все были заняты происшествием: как выполз из-под пристяжной, как ко-ренная испугалась и т. п. Митенька же подошел — мальчик лет 9-ти к проезжему и начал бранить его. Я помню, как меня удивило и не понравилось то, что он сказал, что за это, чтобы не смели ездить, где нет дороги, стоит на конюшню отправить. На языке того времени значило высечь.

В Казани начались его особенности. Учился он хорошо, ровно, писал стихи очень легко, помню, прекрасно перевел Шиллера *Der Knabe am Bach*¹, но не предавался этому занятию. Мало общался с нами, всегда был спокоен, серьезен и задумчив. Помню, как он раз расшалился и как девочки пришли в восторг от этого. И мне стало завидно, и я подумал, что это от того, что он всегда серьезен. И я тоже хотел в этом подражать ему. Очень глупая была мысль у опекунши-тетушки дать нам каждому по мальчику с тем, чтобы потом это был наш преданный слуга. Митеньке был дан Ванюша (Ванюша этот и теперь жив). Митенька часто дурно обращался с ним, кажется, даже бил. Я говорю, кажется, потому что не помню этого, а помню только его покаяния за что-то перед Ванюшей и униженные просьбы о прощении.

Так он рос незаметно, мало общаясь с людьми, всегда, кроме как в минуты гнева, тихий, серьезный, с задумчивыми, строгими, большими карими глазами. Он был велик ростом, худ, довольно силен — не очень, с длинными большими руками и сутуловатой спиной. Особенности его начались со времени вступления в университет, он был годом моложе Сергея, но поступил в университет с ним вместе на математический факультет только потому, что старший брат был математиком. Не знаю, как и что навело его так рано на религиозную жизнь, но с первого же года университетской жизни это началось. Религиозные стремления, естественно, направили его на церковную жизнь. И он предался ей, как он все делал, до конца. Он стал есть постное, ходить

¹ Юноша у ручья (нем.).

на все церковные службы и еще строже стал к себе в жизни.

В Митеньке, должно быть, была та драгоценная черта характера, которую я предполагал в матери и которую знал в Николеньке, и которой я был совершенно лишен, — черта совершенного равнодушия к мнению о себе людей. Я всегда, до самого последнего времени, не мог отделаться от заботы о мнении людском, у Митеньки же этого совсем не было. Никогда не помню на его лице той удерживаемой улыбки, которая невольно выступает, когда вас хвалят. Всегда помню его серьезные, спокойные, грустные, иногда недобрые, миндалеобразные, большие карие глаза. С Казани мы только стали обращать на него внимание, и то только потому, что, тогда как мы с Сережей приписывали большое значение *compte à l'fait*, вообще внешности, он же был неряшлив и грязен, и мы осуждали его за это. Он не танцевал и не хотел этому учиться, студентом не ездил в свет, носил один студенческий сюртук с узким галстуком, и смолоду уже у него появился тик — подергиванье головой, как бы освобождаясь от узости галстука. Особенность его первая проявилась во время первого говенья. Он говел не в модной университетской церкви, а в казематской церкви.

Мы жили в доме Горгалова, против острога. В остроге тогда был особенно набожный и строгий священник, который, как нечто непривычное, делал то, что на страстной неделе вычитывал все Евангелия, как это полагалось, и службы от этого продолжались особенно долго. Митенька выстаивал их и свел знакомство с священником. Церковь острожная была так устроена, что отделялась только стеклянной перегородкой с дверью от места, где стояли колодники. Один раз один из колодников что-то хотел передать причетникам: свечу или деньги на свечи, никто из бывших в церкви не захотел взять на себя это поручение, но Митенька тотчас же с своим серьезным лицом взял и передал. Оказалось, что это было запрещено, и ему сделали выговор, но он, считая, что так надобно, продолжал делать то же самое. Мы, главное — Сережа, водили знакомство с аристократическими товарищами и молодыми людьми, Митенька, напротив, из всех товарищей выбрал жалкого, бедного,

сборванного студента Полубояринова (которого наш приятель-шутник называл Полубезобедовым, и мы, жалкие ребята, находили это забавным и смеялись над Митенькой). Он только с Полубояриновым дружил и с ним готовился к экзаменам.

Жили мы тогда на углу Арского поля, в доме Киселевского, наверху. Верх разделялся хорами над залой. В первой части верха, до хор, жил Митенька, в комнате за хорами жил Сережа и я. Мы, и я и Сережа, любили вещицы, убирали свои столики, как у больших, и нам давали и дарили для этого вещицы. Митенька никаких вещей не имел. Одну он взял из отцовских вещей — это минералы. Он распределил их на деления и разложил их под стеклами в ящике. Так как мы, братья, да и тетушка, с некоторым презрением смотрели на Митеньку за его низкие вкусы и знакомства, то этот взгляд усвоили себе и наши легкомысленные приятели. Один из таких, очень недалекий человек, инженер Ес., не столько по нашему выбору наш приятель, но потому, что он лип к нам, один раз, проходя через комнату Митеньки, обратил внимание на минералы и спросил Митеньку. Ес. был несимпатичен, ненатурален. Митенька ответил неохотно. Ес. двинул ящик и потряс их. Митенька сказал: «Оставьте». Ес. не послушался. И что-то подшутил, кажется, назвал его Ноем. Митенька взбесился и своей огромной рукой ударил по лицу Ес. Ес. бросился бежать. Митенька за ним. Когда он прибежал в наши владения, мы заперли двери. Но Митенька объявил нам, что он исколотит его, когда он пойдет назад. Сережа и, кажется, Шувалов пошли усовещать Митеньку, чтобы пропустить Ес. Но он взял половую щетку и объявил, что непременно исколотит его. Не знаю, что бы было, если бы Ес. пошел через его комнату, но он сам просил как-нибудь провести его, и мы провели его, кое-где почти ползком, через пыльный [1 неразобр.] чердак.

Таков был Митенька в свои минуты злобы, но вот каким он был, когда ничто не выводило его из себя. К нашему семейству как-то пристроилась, взята была из жалости, самое странное и жалкое существо, некто Любовь Сергеевна, девушка, не знаю, какую ей дали фамилию. Любовь Сергеевна была плод кровосмешения Про-

тасова (из тех Протасовых, от которых Жуковский). Как она попала к нам, — не знаю. Слышал, что ее жалели, ласкали, хотели пристроить, даже выдать замуж за Федора Ивановича, но все это не удалось. Она жила сначала у нас, — я этого не помню; а потом ее взяла тетенька Пелагея Ильинична в Казань, и она жила у нее. Так что узнал я ее в Казани. Это было жалкое, кроткое, забитое существо. У нее была комнатка, и девочка ей прислуживала. Когда я узнал ее, она была не только жалка, но отвратительна. Не знаю, какая была у нее болезнь, но лицо ее было всё распухшее так, как бывают запухлые лица, искусанные пчелами. Глаза виднелись в узеньких щелках между двумя запухшими, глянцеви-тыми, без бровей подушками. Такие же распухшие, глянцевитые, желтые были щеки, нос, губы, рот. И говорила она с трудом, так как и во рту, вероятно, была та же опухоль. Летом на лицо ее садились мухи, и она не чувствовала их, и это было особенно неприятно видеть. Волоса у нее были еще черные, но редкие, не скрывавшие голый череп. Вл. Ив. Юшков, муж тетеньки, недобрый шутник, не скрывал свое отвращение к ней. От нее всегда дурно пахло. А в комнате ее, где никогда не открывались окна и форточки, был удушливый запах. Вот эта-то Любовь Сергеевна сделалась другом Митеньки. Он стал ходить к ней, слушать ее, говорить с ней, читать ей. И — удивительное дело — мы так были нравственно тупы, что только смеялись над этим, Митенька же был так нравственно высок, так независим от заботы о людском мнении, что никогда ни словом, ни намеком не показал, что он считает хорошим то, что делает. Он только делал. И это был не порыв, а это продолжалось все время, пока мы жили в Казани.

Как мне ясно теперь, что смерть Митеньки не уничижила его, что он был прежде, чем я узнал его, прежде, чем родился, и есть теперь, после того, как умер.

Когда мы делились, мне, по обычаю, отдали именье, в котором жили, Ясную Поляну. Сереже, так как он был охотник до лошадей, а в Пирогове был конный завод, отдали Пирогово, он и желал этого, Митеньке и Николеньке отдали остальные два именья: Николеньке — Никольское, Митеньке — курское именье Щербачевку,

доставшуюся от Перовской. У меня теперь есть записка Митеньки о том, как он смотрел на владение крепостными. Мысли о том, что этого не должно было быть, что надо было их отпустить, среди нашего круга в сороковых годах совсем не было. Владение крепостными по наследству представлялось необходимым условием, и все, что можно было сделать, чтобы это владение не было дурно, это то, чтобы заботиться не только о материальном, но о нравственном состоянии крестьян. И в этом смысле была написана записка Митеньки очень серьезно, наивно и искренно. Он, малый двадцати лет (когда он кончил курс), брал на себя обязанность, считал, что не мог не взять обязанность руководить нравственностью сотен крестьянских семей и руководить угрозами наказаний и наказаниями. Так, как написано у Гоголя в письме к помещику. Я думаю и помнится, что Митенька читал эти письма, что на них указал ему осторожный священник. Так и начал Митенька свои помещичьи обязанности. Но, кроме этих обязанностей помещика к крепостным, в то время была другая обязанность, неисполнение которой казалось немислимо — это служба военная или гражданская. И Митенька, окончив курс, решил служить по гражданской части. Для того же, чтобы решить, какую именно службу избрать, он купил адрес-календарь и, рассмотрев все отрасли гражданской службы, решил, что самая важная отрасль — это законодательство. И, решив это, поехал в Петербург и там поехал к статс-секретарю второго отделения во время его приемов. Воображаю удивление Танеева, когда в числе просителей он остановился перед высоким, сутуловатым, плохо одетым (Митенька всегда одевался только для того, чтобы прикрыть тело), с спокойным и серьезным, [с] прекрасными глазами, лицом и, спросив, что ему надо, получил ответ, что он русский дворянин, кончил курс и, желая быть полезным отечеству, избрал своей деятельностью законодательство.

— Ваша фамилия?

— Граф Толстой.

— Вы нигде не служили?

— Я только кончил курс, и мое желание только в том, чтобы быть полезным.

— Какое же место вы желаете иметь?

— Мне все равно, такое, в котором я мог бы быть полезен.

Серьезность искренняя так поразила Танеева, что он повез Митеньку во второе отделение и там передал его чиновникам. Должно быть, отношение чиновников к нему и, главное, к делу оттолкнуло Митеньку, и он не поступил во второе отделение. Знакомых у Митеньки в Петербурге не было никого, кроме правоведа Дмитрия Александровича Оболенского, который в наше казанское время был там стряпчим.

Митенька пришел к Оболенскому на дачу. Оболенский рассказывал мне, посмеиваясь. Оболенский был очень светский, с тактом, честолюбивый человек. Он рассказывал, как в то время, как у него были гости (вероятно, из высшего света, которого всегда держался Оболенский), Митенька пришел к нему через сад в фуражке, в нанковом пальто. «Я (Оболенский) сначала не узнал его, но когда узнал, постарался *le mettre à son aise*¹, познакомил его с гостями и предложил ему снять пальто, но оказалось, что под пальто ничего не было». Он находил это излишним. Он сел и тотчас же, не стесняясь присутствием гостей, обратился к Оболенскому с тем же вопросом, как и к Танееву: где лучше служить, чтобы принести больше пользы? — Оболенскому, вероятно, с его взглядами на службу, представляющую только средство удовлетворения честолюбия, такой вопрос, вероятно, никогда не представлялся. Но с свойственным ему тактом и внешним добродушием он ответил, указав на различные места, и предложил свои услуги. Митенька, очевидно, остался недоволен и Оболенским и Танеевым и уехал из Петербурга, не поступив там на службу. Он уехал к себе в деревню и в Судже, кажется, поступил в какую-то дворянскую должность и занялся хозяйством, преимущественно крестьянским.

После выхода его да и моего из университета я потерял его из вида. Знаю, что он жил тою же строгой, воздержной жизнью, не зная ни вина, ни табаку, ни, главное, женщин до 25 лет, что было большою редкостью

¹ ободрить его (франц.).

в то время. Знаю, что он сходил с монахами и странниками и очень сблизился с очень оригинальным человеком, жившим у нашего опекуна Воейкова, происхождение которого никто не знал. Звали его отцом Лукой. Он ходил в подряснике, был очень безобразен, маленький ростом, косою, черный, но очень чистоплотный и необычайно сильный. Он жал руку, как клещами, и говорил всегда как-то значительно и загадочно. Жил он у Воейкова подле мельницы, где построил маленький дом и развел необыкновенный цветник. Этого отца Луку Митенька увозил с собой и, как я слышал, водился с стариком старого заказа, скопидомом-помещиком, соседом Самойловым.

Кажется, я был тогда уже на Кавказе, когда с Митенькой случился необыкновенный переворот. Он вдруг стал пить, курить, мотать деньги и ездить к женщинам. Как это с ним случилось, не знаю, я не видал его в это время. Знаю только, что соблазнителем его был очень внешне привлекательный, но глубоко безнравственный человек, меньшей сын Исленьева. Про него расскажу после, если успею. И в этой жизни он был тем же серьезным, религиозным человеком, каким он был во всем. Ту женщину, проститутку Машу, которую он первую узнал, он выкупил и взял к себе. Но вообще эта жизнь продолжалась недолго. Думаю, что не столько дурная, нездоровая жизнь, которую он вел несколько месяцев в Москве, сколько внутренняя борьба, укору совести сгубили сразу его могучий организм. Он заболел чахоткой, уехал в деревню, лечился в городах и слег в Орле, где я в последний раз видел его уже после Севастопольской войны. Он был ужасен. Огромная кисть его руки была прикреплена к двум костям локтевой части, лицо было — одни глаза и те же прекрасные, серьезные, а теперь выпытывающие. Он беспрестанно кашлял и плевал, и не хотел умирать, не хотел верить, что он умирает. Рябая, выкупленная им Маша, повязанная платочком, была при нем и ходила за ним. При мне по его желанию принесли чудотворную икону. Помню выражение его лица, когда он молился на нее.

Я был особенно отвратителен в эту пору. Я приехал в Орел из Петербурга, где я ездил в свет и был весь

полон тщеславия. Мне жалко было Митеньку, но мало. Я повернулся в Орле и уехал, и он [умер] через несколько дней. Право, мне кажется, мне в его смерти было самое тяжелое то, что она помешала мне участвовать в придворном спектакле, который тогда устраивался и куда меня приглашали.

Бросил хронологический способ изложения — думал, что будет лучше, но и этот способ мне не нравится. Не буду так отдельно описывать братьев С[ережу] и Н[иколеньку] и буду писать опять по порядку, как запомню.

ФАНФАРОНОВА ГОРА

Да, Фанфаронова гора. Это одно из самых далеких и милых и важных воспоминаний. Старший брат Николенька был на 6 лет старше меня. Ему было, стало быть, 10—11, когда мне было 4 или 5, именно когда он водил нас на Фанфаронову гору. Мы в первой молодости, не знаю, как это случилось, говорили ему «вы». Он был удивительный мальчик и потом удивительный человек. Тургенев говорил про него очень верно, что [он] не имел только тех недостатков, которые нужны для того, чтобы быть писателем. Он не имел главного нужного для этого недостатка: у него не было тщеславия, ему совершенно неинтересно было, что о нем думают люди. Качества же писателя, которые у него были, было прежде всего тонкое художественное чутье, крайнее чувство меры, добродушный, веселый юмор, необыкновенное, неистощимое воображение и правдивое, высоко нравственное мировоззрение, и все это без малейшего самодовольства. Воображение у него было такое, что он мог рассказывать сказки или истории с привидениями или юмористические истории в духе *m-me Radcliff* без остановки и запинки целыми часами и с такой уверенностью в действительность рассказываемого, что забывалось, что это выдумка.

Когда он не рассказывал и не читал (он читал чрезвычайно много), он рисовал. Рисовал он почти всегда чертей с рогами, закрученными усами, сцепляющихся в

самых разнообразных позах между собою и занятых самыми разнообразными делами. Рисунки эти тоже были полны воображения и юмора.

Так вот он-то, когда нам с братьями было — мне 5, Митеньке 6, Сереже 7 лет, объявил нам, что у него есть тайна, посредством которой, когда она откроется, все люди сделаются счастливыми, не будет ни болезней, никаких неприятностей, никто ни на кого не будет сердиться и все будут любить друг друга, все сделаются муравейными братьями. (Вероятно, это были Моравские братья, о которых он слышал или читал, но на нашем языке это были муравейные братья.) И я помню, что слово «муравейные» особенно нравилось, напоминая муравьев в кочке. Мы даже устроили игру в муравейные братья, которая состояла в том, что садились под стулья, загоразивали их ящиками, завешивали платками и сидели там в темноте, прижимаясь друг к другу. Я, помню, испытывал особенное чувство любви и умиления и очень любил эту игру.

Муравейное братство было открыто нам, но главная тайна о том, как сделать, чтобы все люди не знали никаких несчастий, никогда не ссорились и не сердились, а были бы постоянно счастливы, эта тайна была, как он нам говорил, написана им на зеленой палочке, и палочка эта зарыта у дороги, на краю оврага старого Заказа, в том месте, в котором я, так как надо же где-нибудь зарыть мой труп, просил в память Николеньки закопать меня. Кроме этой палочки, была еще какая-то Фанфаронова гора, на которую, он говорил, что может ввести нас, если только мы исполним все положенные для того условия. Условия были, во-первых, стать в угол и не думать о белом медведе. Помню, как я становился в угол и старался, но никак не мог не думать о белом медведе. Второе условие я не помню, какое-то очень трудное... пройти, не оступившись, по щелке между половицами, и третье легкое: в продолжение года не видеть зайца, все равно, живого, или мертвого, или жареного. Потом надо поклясться никому не открывать этих тайн.

Тот, кто исполнит эти условия и еще другие, более трудные, которые он откроет после, того одно желание, какое бы оно ни было, будет исполнено. Мы должны

были сказать наши желания. Сережа пожелал уметь лепить лошадей и кур из воска, Митенька пожелал уметь рисовать всякие вещи, как живописец, в большом виде. Я же ничего не мог придумать, кроме того, чтобы уметь рисовать в малом виде. Все это, как это бывает у детей, очень скоро забылось, и никто не вошел на Фанфаронову гору, но помню ту таинственную важность, с которой Николенька посвящал нас в эти тайны, и наше уважение и трепет перед теми удивительными вещами, которые нам открывались.

В особенности же оставило во мне сильное впечатление муравейное братство и таинственная зеленая палочка, связывавшаяся с ним и долженствующая осчастливить всех людей. Как теперь я думаю, Николенька, вероятно, прочел или наслушался о масонах, об их стремлении к осчастливлению человечества, о таинственных обрядах приема в их орден, вероятно слышал о Моравских братьях и соединил все это в одно в своем живом воображении и любви к людям, к доброте, придумал все эти истории и сам радовался им и морочил ими нас.

Идеал муравейных братьев, льнущих любовно друг к другу, только не под двумя креслами, завешанными платками, а под всем небесным сводом всех людей мира, остался для меня тот же. И как я тогда верил, что есть та зеленая палочка, на которой написано то, что должно уничтожить все зло в людях и дать им великое благо, так я верю и теперь, что есть эта истина и что будет она открыта людям и даст им то, что она обещает.

БРАТ СЕРЕЖА

Николеньку я уважал, с Митенькой я был товарищем, но Сережей я восхищался и подражал ему, любил его, хотел быть им. Я восхищался его красивой наружностью, его пением, — он всегда пел, — его рисованием, его веселием и, в особенности, как ни странно сказать, его непосредственностью, его эгоизмом. Я всегда себя помнил, себя сознавал, всегда чуял, ошибочно или нет, то, что думают обо мне и чувствуют ко мне другие, и

это портило мне радости жизни. От этого, вероятно, я особенно любил в других противоположное этому — непосредственность, эгоизм. И за это любил особенно Сережу — слово *любил* неверно. Николеньку я любил, а Сережей восхищался, как чем[-то] совсем мне чуждым, непонятым. Это была жизнь человеческая, очень красивая, но совершенно непонятная для меня, таинственная и потому особенно привлекательная. На днях он умер, и в предсмертной болезни и умирая, он был так же непостижим мне и так же дорог, как и в давнишние времена детства. В старости, в последнее время, он больше любил меня, дорожил моей привязанностью, гордился мной, желал быть со мной согласен, но не мог, и оставался таким, каким был: совсем особенным, самым собою, красивым, породистым, гордым и, главное, до такой степени правдивым и искренним человеком, какого я никогда не встречал. Он был, что был, ничего не скрывал и ничем не хотел казаться. С Николенькой мне хотелось быть, говорить, думать; с Сережей мне хотелось только подражать ему. С первого детства началось это подражание. Он завел кур, цыплят своих, и я завел таких же. Едва ли это было не первое мое вникновение в жизнь животных. Помню разной породы цыплят: серенькие, крапчатые, с хохолками, как они бегали на наш зов, как мы кормили их и ненавидели большого голландского, старого, облезлого петуха, который обижал их. Сережа и завел этих цыплят, выпросив их себе; то же сделал и я, подражая ему. Сережа на длинной бумажке рисовал и красками расписывал (мне казалось, удивительно хорошо) подряд разных цветов кур и петушков, и я делал то же, но хуже. (В этом-то я надеялся усовершенствоваться посредством Фанфароновой горы.) Сережа выдумал, когда вставлены были окна, кормить кур через ключевую дыру посредством длинных сосисок из черного и белого хлеба — и я делал то же.

О братьях придется говорить еще много после, если удастся довести воспоминания хотя бы до женитьбы.

Постараюсь вспомнить самые живые и радостные (грустных, тяжелых не было) до переезда в Москву.

В трех верстах от Ясной Поляны есть деревушка Грумант (так названо это место дедом, бывшим воеводой в Архангельске, где есть остров Грумант). Там скотный двор и домик, построенный дедом для приезда летом. Как все, что строил дед, было изящно и не пошло, и твердо, прочно, капитально, такой же был и домик с погребом для молочного скопа. Деревянный, с светлыми окнами и ставнями, большой прочной дверью, деревянным диванчиком и столом с большими ящиками, складывавшимся, как пакет, четырьмя сторонами внутрь и так же раскладывавшимся, поворачиваясь на среднем шкворне, так что отвороты эти ложились на углы и составляли большой, аршина в два квадратных, стол.

Домик стоял за деревушкой [в] четыре или пять дворов, в месте, называемом сад, очень красивом, с видом на вьющуюся по долине в лугах Воронку, с лесами по ту и другую сторону. В саду этом был лесок над оврагом, в котором был холодный и обильный ключ прекрасной воды. Оттуда возили каждый день воду в барский дом; и перед оврагом, как продолжение его, большой, глубокий, холодный проточный пруд с карпией, линями, лещами, окунями и даже стерлядями. Место было прелестное, и не только пить там молоко и сливки с черным хлебом, холодные и густые, как сметана, и присутствовать при ловле рыбы, но просто побывать там, побегать на гору и под гору, к пруду и от пруда было великое наслаждение. Изредка летом, когда была хорошая погода, мы все ездили туда кататься. Тетушки, Пашенька и девочки в линейке, а мы четверо с Федором Ивановичем в желтом дедушкином кабриолете с высокими круглыми рессорами и с желтыми подлокотниками (других и не было тогда).

За обедом идет разговор о погоде и составляется план, как ехать. Два часа. Мы должны ехать в четыре и вернуться к чаю. Все готово, но лошадей медлят посылать закладывать; с запада из-за деревни и Заказа заходит туча. Мы все в волнении. Федор Иванович старается делать строгий, спокойный вид, но мы возбуждаем и его, и он выходит на балкон, на ветер. Седые волосы его на затылке развеваются, в ту же сторону и фалды его фрака, и он значительно выглядывает через

перилы. И мы ждем его решения. «Эта на Сатинка», — говорит он, указывая на самую большую лиловатую тучу. «А это пустой», — говорит он, указывая на другую, идущую с востока.

«Ну, что? *Wie glauben Sie?*»

«*Muss warten*»¹.

Но туча застилает все небо. Мы в горести. Послали было запрягать, теперь посылают Мишу остановить. Накапывает дождик. Мы в унынии и горести. Но вот Сережа выбежал на балкон и кричит: «Расчищается! Федор Иванович, *kommen sie. Blauer Himmell*

— *Wo?*

— *Kommen sie!*»²

Действительно, между расползающимися тучами голубой кусочек то затягивается, то растягивается. Вот еще, еще. Вот блеснуло солнце.

— Тетенька! Разгулялось! Правда, ей-богу, посмотрите. Федор Иванович сказал.

Зовут Федора Ивановича, он нерешительно, но подтверждает. Колебание и на небе, и у тетенок. Тетенька Татьяна Александровна улыбается и говорит: «*Je crois, Alexandrine, en effet, qu'il ne pleuvera plus. Il ne pleuvera pas!*»³ Смотрите».

— Тетенька, голубушка, велите запрягать. Пожалуйста. Тетенька, голубушка! — кричим больше всего Сережа и я, и помогают нам девочки. И вот решено опять закладывать. Сам Тихон делает антраша и бежит на конюшню. И вот мы топчем ножонками на крыльце, ожидая сначала лошадей, потом тетушек. Подъезжает линейка с балдахинном и фартуком. Николай Филипыч правит. Запряжены неручинские гнедые, левая светлогнедая, широкая с [1 неразобр.] и правая темная, костлявая, с крепотцой, как говорил Николай Филипыч. За линейкой большая гнедая в желтом кабриолете.

¹ «Как вы полагаете?»

«Надо подождать» (нем.).

² Подите сюда. Голубое небо!

— Где?

— Подите сюда! (нем.)

³ Я думаю, правда, Александрин, дождя не будет больше. Больше не будет! (франц.)

Тетеньки и девочки усаживаются по-своему. Наши же распределены места раз навсегда определенно. Федор Иванович садится с правой стороны и правит, рядом с ним Сережа и Николенька; кабриолет так глубок, что за ними садимся мы — я и Митенька — спинами врозь, к бокам, ногами вместе. Вся дорога мимо гумна по Заказу: справа старый, слева молодой Заказ — одно наслаждение. Но вот подъезжаем к горе, круто спускающейся к реке и мосту. «Halten sie sich, Kinder»¹, — говорит Федор Иванович, торжественно нахмуриваясь, перехватывает вожжи, и вот мы спускаемся, спускаемся, но в последний момент, шагов тридцать, Федор Иванович пускает лошадь, и мы летим, как нам кажется, с ужасной быстротой. Мы ждем этого момента, и вперед уже замирает сердце. Переезжаем мост, едем вдоль реки, опять мост [?], и поднимаемся на гору, на деревню, и въезжаем в ворота, в сад и к домику. Лошадей привязывают. Они топчут траву и пахнут потом так, как никогда уже после не пахли лошади. Кучера стоят в тени дерев. Свет и тени бегают по их лицам, добрым, веселым, счастливым лицам. Прибегает Матрена-скотница, в затрапезном платье, говорит, что давно ждала нас, и радуется тому, что мы приехали. И я не только верю, но не могу не верить, что все на свете только и делают, что радуются. Радуются Матрена, тетенька, расспрашивая ее с участием об ее дочерях, радуются собаки, окружившие Федора Ивановича Берфу (лягавая шарло), прибежавшую за нами, радуются куры, петухи, крестьянские дети, радуются лошади, телята, рыбы в пруду, птицы в лесу. Матрена и ее дочь приносят большой посоленный кусок черного хлеба, раскрывают удивительный, необыкновенный стол и ставят мягкий сочный творог с отпечатками салфетки, сливки, как сметана, и крынки с свежим цельным молоком.

Мы пьем, едим, бегаем к ключу, пьем там воду, бегаем вокруг пруда, где Федор Иванович пускает удочки, и, побыв полчаса, час на Груманте, возвращаемся таким же путем, такие же счастливые. Помню, один раз только наша радость была нарушена случаем, от которого

¹ Держитесь, дети (нем.).

мы — по крайней [мере] г. и Митенька — горько плакали. Берфа, милая, коричневая, с прекрасными глазами и мягкой курчавой шерстью собака Федора Ивановича, бежала, как всегда, то сзади, то впереди кабриолета. Один раз при выезде из грумантского сада крестьянские собаки бросились за ней. Она бросилась к кабриолету, Федор Иванович не сдержал лошади и переехал ей лапу. Когда мы вернулись домой, и несчастная Берфа добежала на трех ногах, Федор Иванович с Николаем Дмитричем, нашим дядькой, тоже охотником, осмотрели ее и решили, что нога переломлена, собака испорчена и никогда не будет годиться для охоты.

Я слушал, что говорил Федор Иванович с Николаем Дмитричем в маленькой комнатке наверху, и не верил своим ушам, когда услышал слова Федора Ивановича, который каким-то молодецким, решительным тоном сказал: «Не годится. Повесить его. Один конца».

Собака страдает, больна, и ее повесить за это. Я чувствовал, что это дурно, что этого не надо было делать, но тон Федора Иваныча и Николая Дмитрича, одобдившего это решение, был такой решительный, что я так же, как и тогда, когда Кузьму вели сечь, когда Темешов рассказывал, что он отдал в солдаты человека за то, что он в пост ел скоромное, почувствовал, что что-то дурно, но ввиду несомненных решений людей старших и уважаемых не смел верить своему чувству.

Перебирать все мои радостные детские воспоминания не стану и потому, что этому не будет конца, и потому, что мне они дороги и важны, а передавать их так, чтобы они показались важны посторонним, я не сумею.

Расскажу только про одно душевное состояние, которое я испытал несколько раз в первом детстве и которое, я думаю, было важно, важнее многих и многих чувств, испытанных после. Важно оно было потому, что это состояние было первым опытом любви, не любви к кому-нибудь, а любви к любви, любви к богу, чувство, которое я впоследствии только редко испытывал; редко, но все-таки испытывал, благодаря тому, я думаю, что след этот был проложен в первом детстве. Выражалось это чувство вот как: мы, в особенности я с Ми-

тенькой и девочками, садились под стулья как можно теснее друг к другу. Стулья эти завешивали платками, загораживали подушками и говорили, что мы муравейные братья, и при этом испытывали особенную нежность друг к другу. Иногда эта нежность переходила в ласку, гладить друг друга, прижиматься друг к другу. Но это было редко. И мы сами чувствовали, что это не то, и тотчас же останавливались. Быть муравейными братьями, как мы называли это (вероятно, это какие-нибудь рассказы о Моравских братьях, дошедшие до нас через Николенькину Фанфаронову гору), значило только завеситься от всех, отделиться от всех и всего и любить друг друга. Иногда мы под стульями разговаривали о том, что и кого кто любит, что нужно для счастья, как мы будем жить и всех любить.

Началось это, как помнится, от игры в дорогу. Сиделись на стулья, запрягали стулья, устраивали карету или кибитку, и вот сидевшие-то в кибитке переходили из путешественников в муравейные братья. К ним присоединялись и остальные. Очень, очень хорошо это было, и я благодарю бога за то, что мог играть в это. Мы называли это игрой, а между тем все на свете игра, кроме этого.

События в детской деревенской жизни были следующие: поездки отца к Киреевскому и в отъездное поле, рассказы об охотничьих похождениях, к которым мы, дети, прислушивались, как к важным событиям.

Потом — приезды моего крестного Языкова с его гримасами, трубкой, лакеем, стоявшим за его стулом во время обеда. Потом приезды Исленьева с его детьми, одна из которых стала потом моей тещей. Потом приезды Юшкова, который всегда привозил что-нибудь странное: карикатуры, кукол, игрушки.

Одно детское воспоминание о ничтожном событии оставило во мне сильное впечатление, — это, как теперь помню, на нашем детском верху сидел Темешов и разговаривал с Федором Ивановичем. Не помню, почему разговор зашел о соблюдении постов, и Темешов, добродушный Темешов, очень просто сказал: «У меня повар (или лакей, не помню) вздумал есть скоромное

постом. Я отдал его в солдаты». Потому и помню это теперь, что это тогда показалось мне чем-то странным, для меня непонятным.

Еще событие было — Перовское наследство. Памятен обоз с лошадьми и высоко наложенными возами, который приехал из Неруча, когда процесс о наследстве, благодаря Илье Митрофановичу, был выигран.

Илья Митрофанович был пьющий запоем, высокий, с белыми волосами старик, бывший крепостной Перовской, великий знаток, какие бывали в старину, всяких кляуз. Он руководил делом этого наследства, и за это он до своей смерти жил и содержался в Ясной Поляне.

Еще памятные впечатления: приезд Петра Ивановича Толстого, отца Валериана, мужа моей сестры, который входил в гостиную в халате, мы не понимали, почему это, но потом узнали, что это было потому, что он был в последней степени чахотки. Другое — приезд его брата — знаменитого американца Федора Толстого. Помню, он подъехал на почтовых в коляске, вошел к отцу в кабинет и потребовал, чтобы ему принесли его особенный, сухой французский хлеб. Он другого не ел. В это время у брата Сергея сильно болели зубы. Он спросил, что у него, и, узнав, сказал, что он может прекратить боль магнетизмом. Он вошел в кабинет и запер за собой дверь. Через несколько минут вышел оттуда с двумя батистовыми платками. Помню, на них была лиловая кайма узоров, и дал тетушке платки и сказал: этот, когда он наденет, пройдет боль, а этот, чтобы он спал. Платки взяли, надели Сереже, и у нас осталось впечатление, что все совершилось, как он сказал.

Помню его прекрасное лицо, бронзовое, бритое, с густыми белыми бакенбардами до углов рта, и такие же белые курчавые волосы. Много бы хотелось рассказать про этого необыкновенного, преступного и привлекательного, необыкновенного человека.

Третье впечатление — это было посещение какого-то — не знаю — двоюродного брата матери, князя, гусара Волконского. Он хотел приласкать меня и посадил на колени и, как часто это бывает, продолжая разговаривать со старшими, держал меня. Я рвался, но он

только крепче придерживал меня. Это продолжалось минуты две.

Но это чувство пленения, несвободы, насилия до такой степени возмутило меня, что я вдруг начал рваться, плакать и биться,

ПЕРЕЕЗД В МОСКВУ

Это было в 37-м году. Но когда — осенью или зимой — не могу припомнить. В пользу того, что это было зимой, только то, что было 7 экипажей и был возок для бабушки с такими широкими отводами, на которых стояли всю дорогу камердинеры, что в Серпухове возок не вошел в ворота. Это я помню, вероятно, по рассказам. В воспоминаниях же моих осталась поездка на колесах. Может быть, я спутал, и возки эти были при нашем отъезде в Казань. Скорее то, что мы ехали на колесах. Я помню это потому, что осталось у меня впечатление от того, что отец ехал сзади в коляске и нас по переменкам — это была большая радость — брали к нему. Помню, что мне досталось въезжать в Москву в коляске с отцом. Был хороший день, и я помню свое восхищение при виде московских церквей и домов, восхищение, вызванное тем тоном гордости, с которым отец показывал мне Москву. Еще признак, по которому помню, что это было по чернотропу, тот, что на 1-й день нашей езды (мы ехали на сдаточных — два дня; ночь ночевали) к вечеру, когда уже стемнело, мы услышали, что близ дороги показалась лисица, и Петруша, камердинер отца, везший с собой борзого кобеля серого Жирана, пустил его за лисицей и побежал за ней. Мы ничего не видели, но очень волновались и огорчились, узнав, что лисица ушла,

НЕТ В МИРЕ ВИНОВАТЫХ

ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ

1

Порхунов, Иван Федорович, предводитель дворянства большого богатого уезда одной из великорусских губерний, вчера еще на ночь приехал из деревни в уездный город и, выспавшись на своей городской квартире, в одиннадцать часов утра приехал в присутствие. Дел оказалось пропасть: и земское собрание, и по опеке, и воинское присутствие, и санитарный и тюремный комитет, и училищный совет.

Порхунов был потомком старого рода Порхуновых, владевших с древних времен большим селом Никольским-Порхуновым. Воспитывался он в Пажеском корпусе, но не пошел в военную службу, а поступил в университет и кончил там курс по словесному факультету. Потом служил недолго при генерал-губернаторе в Киеве, женился там по любви на девушке, стоявшей ниже его по общественному положению и бедной, баронессе Клодт, вышел в отставку и уехал в деревню, где его на первых же выборах выбрали в предводители, — должность, которую он исполнял третье трехлетие.

Порхунов был человек и умный, и образованный — он много читал и обладал большою памятью и умением

выражать мысли ясно и кратко. Главная же хорошая черта его, вызывавшая почти общую любовь к нему, была его скромность. Мнение его о своих внешних качествах: образование, честность, доброта, правдивость, [было] очень низко именно потому что [он] постоянно старался не переставая как можно больше образовать себя, старался быть как можно честнее, добрее, правдивее. Так что видимый знаменатель своего мнения о себе был очень мал в Иване Федоровиче, и людям, с которыми он входил в сношения, он представлялся именно таким, каким и должен и не может быть иным, — всегда приятный, добрый, честный, правдивый Иван Федорович. Жизнь вел Иван Федорович, по понятиям того круга, в котором он жил, нравственную — не делал неверности жене, не кутил (период кутежей прошел для него очень быстро, во время его жизни в Киеве до женитьбы), с крестьянами своего имения и вообще работниками был только настолько требователен, насколько это было необходимо для того, чтобы могло идти хозяйство. В политических вопросах был просвещенным консерватором, считал, что лучше вносить свою долю просвещенного и либерального влияния в существующий строй, чем желать того, чего нет, всех и все осуждать и самому не участвовать в делах правительства. Он должен был быть выбран в Думу, если бы не появился более привлекательный для избирателей кандидат, бывший профессор, хороший оратор, который и был выбран вместо Ивана Федоровича.

В самом главном для каждого человека — в религиозном вопросе — Иван Федорович был также просвещенным консерватором. Он не позволял себе и тени сомнения в догматах православной церкви, хотя и допускал, с точки зрения науки, исследование, в особенности историческое, о вопросах веры, и был очень начитан в этой области. Но в высшей степени был осторожен по отношению самых догматов. Всякие рассуждения в беседах или в книгах проходил молчанием. В жизни же регулярно и неуклонно исполнял все церковные правила, не говоря уже совершения таинств, но и крестного знамени в определенных случаях и ежедневно утром и вечером молитвы, которой он был научен еще

матерью. Вообще он с особенной осторожностью оберегал тот фундамент, на котором свойственно стоять человеческой жизни, но сам не становился на него, как бы сомневаясь в его твердости. В жизни, в беседах, в разговорах был в высшей степени приятен, умел кстати вспомнить цитату, анекдот. Вообще был остроумен, умел шутить и рассказывать самое смешное с спокойным и серьезным видом. Любил охоту и всякого рода игры, шахматы, карты, и играл хорошо.

2

В середине занятий с секретарем вошел председатель земской управы, крайний реакционер, но с которым Порхунув был, несмотря на различие взглядов, в самых лучших отношениях.

Потом пришел доктор: совершенно противоположных взглядов, демократ, чуть не революционер. С ним Порхунув был в еще лучших отношениях и, добродушно посмеиваясь, спрашивал его иногда о том, скоро ли объявление российской социалистической республики, на что доктор также отвечал шуткой.

— Ну что, Иван Иванович (это был председатель управы), как поигрываете, не попадаетесь, как тот раз, без шести? — обратился он к председателю управы. — Но шутки шутками, а пора начинать. Дела пропасть.

— Да, пора.

— Только у меня к вам обоим, любезные сотрудники, просьба: выскажу вам, а потом и в присутствии. — И на вопрос доктора, о чем просьба, Порхунув рассказал, что бывший у его детей учитель-студент уходит и ему нужен учитель. — Знаю, — к председателю управы, — у вас люди знакомые в этой области, и у вас также, — к доктору. — Так не можете ли мне рекомендовать?

— Да ведь мои знакомые слишком, как сказать... прогрессивны для вас.

— Ну вот. Ведь уживался же с Неустроевым, а уж на что красен.

— А что же ваш Неустроев?

— Уходит. Вы говорите, ваши знакомые слишком красны для моего дома. Уж на что красней Неустроев. А уживался ж я. И даже искренно полюбил его. Славный юноша. Разумеется, как должно по нынешним временам, в голове каша, да и еще сырая, неупревшая, несъедобная, но он по душе хороший малый, и мы с ним дружили.

— Отчего ж он уходит?

— Он мне не говорит правды. Необходимость лгать входит ведь в программу революционеров. Но не в том дело. Приезжал к нему какой-то его друг. Останавливался на деревне у Соловьева и виделся с ним. Очевидно, его партия или фракция, группа (Иван Федорович особенно выставил два п), или как это у вас называется, потребовала его, и он заявил, что не может больше оставаться. А хороший был, добросовестный учитель и, повторяю, малый прекрасный, несмотря на то, что ваш брат революционер и, очевидно, принадлежит к группе, — прибавил Порхунов, улыбаясь и хлопывая по коленке доктора.

Доктор, как и почти все, подчинился ласковой улыбке и сам улыбнулся. «Барич, аристократ, реакционер в душе, а не могу не любить его», — подумал доктор.

— Отчего бы не взять Соловьева? — сказал председатель управы.

Соловьев был сельский учитель в школе имени Ивана Федоровича, человек очень образованный, бывший семинарист и потом студент.

— Соловьева? — улыбаясь, сказал Иван Федорович. — Я бы взял, да Александра Николаевна (жена Порхунова) не допускает и мысли взять его.

— Отчего? Что пьет. Ведь это только редко с ним бывает.

— Пьет — это бы еще ничего. А за ним более важные нарушения высших законов, — сказал Порхунов, делая то спокойное и серьезное лицо, при котором он высказывал свои шутки, — для Александры Николаевны он невозможен, он, страшно сказать, «с ножа ест».

Собеседники засмеялись.

— Есть у меня семинарист, просящий место, да он вам не понравится. Слишком уж он консервативен.

— Вот то и беда — мой слишком либеральный, а Ивана Ивановича слишком отсталый. Впрочем, у меня есть один юноша. Я напишу ему.

— Ну вот. Это дело если не кончено, то начато, пойдем начинать другое. Степан Степаныч, — обратился он к секретарю, — собрались?

— Собрались, пожалуйста.

Началось с воинского присутствия. Один за другим входили молодые парни; были холостые, но большинство были женатые. Задавались обычные вопросы, записывали и, не теряя времени, так как много было работы впереди, выпроваживали одних и призывали других. Были такие, которые не скрывали своего огорчения и насилиу отвечали на вопросы, как бы не понимая их, — так они были подавлены. Были и такие, которые притворялись довольными и веселыми. Были и такие, которые притворялись больными, и были и такие, которые были точно больны. Был и один такой, который, к удивлению присутствующих, попросил позволения сделать, как он сказал, заявление.

— Какое заявление? Что тебе нужно?

Просивший сделать заявление был белокурый курчавый человек с маленькой бородкой, длинным носом и нахмуренным лбом, на котором во время речи постоянно содрогались мускулы над бровями.

— Заявление в том, что я в солдатах, — он поправился, — в войске служить не могу. — И, сказав это, у него задрожали не только мускулы лба и левая бровь, но и щеки, и он побледнел.

— Что ж, ты нездоров? Чем? — сказал Порхунов. — Доктор, пожалуйста...

— Я здоров. А не могу присягать, оружия брать не могу по своей убеждению.

— Какое убеждение?

— А то, что я в бога верую и Христа верую и убийцей быть не могу...

Иван Федорович оглянулся на сотоварищей, помолчал. Лицо его сделалось серьезно.

— Так, — сказал он. — Я вам (он сказал уже «вам», а не «тебе») доказывать не могу и не считаю себя к этому обязанным, можете или не можете вы служить.

Мое дело зачислить вас как принятого. А свои убеждения вы выразите уж своему начальству. Следующий...

Воинское присутствие протянулось до двух часов. Позавтракав, опять взялись за дела: съезд земских начальников, потом тюремное, и так дальше — до пяти часов.

Вечер Иван Федорович провел на своей квартире, сначала подписывая бумаги, а потом за винтом с председателем, доктором и воинским начальником. Поезд шел рано утром. Не выспавшись, он встал рано утром, сел в поезд, вышел на своей станции, где ждала его прекрасная, с бубенчиками, тройка караковых своего полурьсистого завода и старый кучер Федот, друг дома. И к девяти часам утра подъезжал мимо парка к большому двухэтажному дому в Порхунове-Никольском.

3

Семья Егора Кузьмина состояла из отца, уже стареющего и пьющего человека, и меньшего брата, старухи матери и своей молодой жены, на которой его женили, когда ему было только восемнадцать лет. Работать ему приходилось много. Но работа не тяготила его, и он, как и все люди, хотя и бессознательно, но любил земледельческий труд. Он был способный к умственной деятельности человек и в школе был хорошим учеником и пользовался всяким часом досуга, особенно зимой, чтобы читать. Учитель любил его и давал ему книги образовательные, научные, и по естественным наукам, и по астрономии. И когда ему еще было только семнадцать лет, в душе его совершился изменивший все его отношение к окружающему переворот. Ему вдруг открылась совершенно новая для него вера, разрушившая все то, во что он прежде верил, открылся мир здравого смысла. Поражало его не то, что поражает многих людей из народа, когда для них открывается область науки, — величие мира, расстояния, массы звезд, не глубина исследования, остроумных догадок, но поразило, главное, больше всего здравый смысл, признаваемый обязательным для всякого познания. Поразило то, что надо верить не тому, что старики сказывают, даже не

тому, что говорит поп, ни даже тому, что написано в каких бы то ни было книгах, а тому, что говорит разум. Это было открытие, изменившее все его мировоззрение, а потом и всю его жизнь.

Скоро после этого к ним приехавшие на праздник из Москвы жившие там на заводе молодые люди их деревни привезли революционные книги и свободные речи. Книги были: «Солдатский подвиг», «Царь-голод», «Сказка о четырех братьях» и «Пауки и мухи». И книги эти подействовали на него теперь особенно сильно.

Они теоретически объяснили значение того, что он не только видел и понимал, но боками своими чувствовал. У него и отца было два с половиной надела, две с половиной десятины. Хлеба не хватало в средние года, про сено и говорить нечего. Мало того, летом кормить скотину, коров для молока ребятам, было не на чем. Пары были обглоданы до земли, и как только не было дождя, голодная скотина мычала без корма, а у купца и у бабыни-соседки сады, леса, поляны, луга, — приходи за деньги — пятьдесят в день — косить. Им накопишь, они продадут, а твоя скотина ревет без корма, и ребята без молока. Все это было и прежде, но он не видал этого. Теперь же он не только видел, но чувствовал всем существом. Прежде был мир суеверий, скрывавший это. Теперь ничто уже не скрывало для него всю жестокость и безумие такого устройства жизни. Он не верил уже ни во что, а все проверял. Поверяя экономическую жизнь, он увидел не только ужасающие неправды, но еще более ужасную нелепость. То же самое он увидел и в религиозной жизни окружающих. Но ему казалось это не важно, и он продолжал жить, как все, — ходил и в церковь, и говел, и посты соблюдал, и крестился, садясь за стол и выходя, и молился утром и вечером.

4

На зиму Егор поехал в Москву. Товарищи обещали ему место на фабрике. Он поехал, и место вышло, двадцать рублей в месяц, и обещали прибавку. Здесь, в Москве, среди фабричного народа, Егор увидел с такой

же ясностью, как он видел в деревне, всю жестокость и несправедливость положения крестьянина, еще худшее положение фабричного. Люди, женщины, слабые, больные дети по двенадцать часов в сутки, убивая свои жизни, работали какие-нибудь ненужные глупости для богачей: конфеты, духи, бронзы и всякую дрянь; и эти богачи спокойно забирали в свои лопающиеся от избытка сундуки деньги, добываемые этими затратами жизнью человеческих. И так шли поколения за поколениями, и никто не видел, не хотел видеть ни неправды, ни безумия этого. В Москве он еще больше стал ненавидеть людей, творящих неправду, и стал все больше и больше надеяться на возможность уничтожения этой неправды. Но он не дожил в Москве и месяца. Его арестовали в собрании рабочих, судили и присудили на три месяца тюрьмы.

В тюрьме, в общей камере, он сначала сошелся с такими же социал-революционерами, как и он, но потом, чем ближе он узнавал их, тем больше его отталкивало от них их самолюбие, честолюбие, тщеславие, задор. Он еще серьезнее, строже к себе стал думать. И тут случилось то, что в их камеру был посажен крестьянин за поругание святыни, то есть икон, и общение с этим кротким, всегда спокойным и ко всем любовным человеком открыло еще более простое и разумное понимание жизни. Человек этот, Митечка, как его прозвали все уважавшие его сожители, объяснил ему то, что все зло, все грехи мира не оттого, что злые люди людей обижают, отняли землю, труды отбирают, а оттого, что сами люди не по-божьи живут. Живи только по-божьи, и «никто тебе ничего не сделает», что вера вся в Евангелии. В Евангелии. Попы его все перевернули. Надо жить по Евангелию, а не по поповской вере. А по Евангелию жить надо не служить князю мира сего. А только богу.

И Егор стал понимать все больше и больше и, когда вышел из тюрьмы, разошелся с прежними товарищами и стал совсем по-иному жить. На место прежнего его не взяли, и Егор поехал к отцу и жене и стал, как прежде, работать. И все бы было хорошо, да теперь уж Егор не мог по-прежнему исполнять все церковные

обычай, перестал ходить в церковь, не соблюдал посты, даже не крестился. И когда отец и мать укоряли его, старался толковать им, но они не понимали. Отец даже раз, пьяный, побил его. Егор сдержался. Но отпросился опять в Москву и уехал. В Москве долго не было места, и потому не мог посылать денег, а отец сердился и писал ему так:

«вопервых строках моего писма дорогому моему сыну Егору Иванову от матушки вашей Авдотьи Ивановни посылаю я тебе свое родителское благословения которое может служить погроб вашей жизни навеки нирушымай и посылаю я тебе niskой поклон и желаю быт здоровым навсегда благополучним дорогому нашему братцу Егору Ивановичу от сестрицив ваших варвари и Анни и Александри Ивановых посылаем мы тебе по niskому поклону и желаем быт здоровым дорогому моему супругу Егору Иванову от супруги вашей варвари михалловни и здочкою нашей катериной егоровни посылаю я тебе свое супружецкое почтения niskой поклон и желаю я тебе быт здоровым и навьегда благополучним милой мой сын Егор Иваныч пополучению моего писма Абирай свою жену и Ачищай мою квартиру чтобы ей небыло А я сней жить нимогу и она нажаловалас своим родним бивто я не учая что ты деник нишлеш и Атымаю весноряд который мы купили и Атрамили мою сестру навсю диревню смеху наделали А я и ничево и низнаю Я ей слова ниговорила ни проденьги ни проноряд А если ты ее ни возьмеш то я своим судом ее выгоню вон чтобы небыло ей унас вдому наетои нидели Ачистит квартиру а еще повестку принес урядник тебе на ставку иттить».

Получив это письмо, Егор приехал домой и, молча выслушав ругательства отца и жалобы жены, пеший пошел в город на ставку.

5

В тот самый поздний вечер, во время которого Иван Федорович Порхунев не мог удержаться от охватившей его радости о том, что он так искусно передал доктору, бывшему его партнером, семерку бубен с тем,

чтобы он, отыграв свои, передал ему в руку, и большой шлем без козырей был бы выигран, и что все совершилось так, как он предвидел, — в это самое время в большой гостиной его старинного дома в Порхунове-Никольском жена Ивана Федоровича, Александра Николаевна Порхунова, беседовала с уезжавшим от них, прожившим у них десять месяцев учителем, тем самым Неустроевым, о котором Иван Федорович говорил в городе с своими сослуживцами.

Александра Николаевна, несмотря на свои сорок пять лет и шестерых детей, была еще красива той вечерней или осенней красотой сильной женщины перед закатом женской жизни. Большие серые глаза, прямой нос, густые вьющиеся волосы, чувственный рот еще со всеми, чужими или своими, но белыми зубами, белый нежный цвет лица и такие же прекрасные, выхоленные руки с двумя перстнями. Нехорошо было в ней только излишняя полнота и чрезмерно развитая грудь. Одета она была в простое, но модное шелковое платье с белым воротничком. Она сидела на диване и горячо, взволнованно говорила, внимательно и напряженно вглядываясь в глаза молодому человеку, сидевшему против нее.

Он был невысокий, худощавый, правильно сложенный человек, с неразвитыми мускулами и добрым, умным лицом, с узко прорезанными глазами, густыми, коротко обстриженными волосами, резкими черными бровями и такими же усами и бородкой. Невольно бросающейся в глаза чертой его лица был его выдающийся подбородок с ямочкой посередине.

— То, что я говорю, я говорю вам не для себя — как мне ни жалко лишиться вас... для детей, — сказала она и покраснела. — Но я для вас, любя, принимая участие в вас, советую, очень советую — не уезжать. Ну, сделайте это... для меня, — сказала она с тем выражением женщины, верящей в свою силу.

Лицо его всегда было серьезно и строго, и потому улыбка на этом строгом лице, особенно среди черноты волос и загорелого лица выставлявшая яркие белые зубы, была прекрасная, притягивающая и заражающая. Он и сейчас улыбнулся этой улыбкой, не мог удержаться не улыбнуться от удовольствия, которое доставили

ему ее слова, в которых он не мог не видеть того, что в них было нечто большее, чем простое участие, не мог не видеть того, чего он всегда боялся: вызова чувственности, против которой он знал, что не в силах устоять. Но это было совершенно бессознательное чувство. Он не только сам себе, но никому бы не поверил в то, что эта гордая женщина, аристократка, эта хозяйка большого дома, мать детей, может иметь к нему, к врагу аристократов, буржуа, — она знает это, — такое чувство. Он не верил этому, но чувствовал то, во что не верил.

— Не могу, Александра Николаевна. Не могу и не могу, как мне ни дорого ваше доброе чувство ко мне.

— Доброе! Не доброе, а гораздо больше и совсем дру... Ну, да все равно. Только не ездите.

Он опять улыбнулся.

— Хотите, я скажу правду, всю правду, игнорируя всю относительную разницу наших положений. Если бы я любил вас, как любит мужчина женщину, я бы не отдался этой любви ввиду различия наших мировоззрений.

— Да почему вы думаете, что я не всей душой с вами. Я не могу не быть с вами... — Она помолчала. — Прошедшего не воротишь. Но и чувство не удержишь. Послушайте, еще раз прошу вас: не уезжайте. Не уедете? Да? — и она протянула ему руку. Он взял за руку.

— Александра Николаевна, ведь с тех пор, как узнал вас, понимал вас — любил (он с трудом выговорил это слово), любил вас.

Он сам не знал, что он говорил. Он лгал, но все теперь казалось ему позволено для достижения вдруг представившейся и неудержимо манившей цели.

— Да?

— Да и да, всеми силами души, как может любить пролетарий, как я, снизу вверх.

— Не говорите, не говорите.

Они были одни, и случилось то, чего не ожидал ни он, ни она, и что в один час погубило всю ее семнадцатилетнюю замужнюю счастливую и чистую жизнь, и что для него осталось навсегда мучительным воспоминанием.

Было два часа ночи, она все еще не спала и вспоминала то, что было, с ужасом и наслаждением, и сознание ужаса своего положения увеличивало наслаждение воспоминания об его любви.

6

Михаил Неустроев был сын умершего от пьянства ветеринарного фельдшера. Мать его, необразованная женщина, была жива и жила у его брата Степана, магистра государственного права, оставленного при университете.

Сам он был студентом университета уволен вместе с другими товарищами за революционную деятельность.

Как и не могло быть иначе в то время, в которое он жил, Неустроев, особенно после изгнания из университета, как даровитый, нравственный и решительный человек, попал в кружок революционеров. Кружок этот ставил своей задачей изменение существующего правительства разными способами и в том числе и устранение (убийством) самых вредных лиц. В самом начале участия Неустроева провокатор, шпион, выдал членов кружка, захватили некоторых, но самые важные скрылись. Неустроев же и вовсе не был привлечен к суду. Оставшись на свободе, Неустроев решил пожить в деревне среди народа и для этого согласился, по совету Соловьева, принять на время место учителя у Порхуновых. Так он и прожил у них десять месяцев, но три дня тому назад приезжал к Соловьеву, где Неустроев виделся с ним, его товарищ по партии и привез ему от исполнительного комитета требование приехать в Москву для важного дела, в котором он был нужен. Дело это было завладение деньгами казначейства для расходов партии. Нужны были энергические люди, и приглашали Неустроева. Это-то и вызвало его отказ от места и то странное, случившееся с ним в этот вечер неожиданное событие, которое еще больше, чем все другое, поощряло его к немедленному отъезду. Поезд шел только на другой день утром. И он решил зайти к другу своему, сельскому учителю Соловьеву, переночевать у

него, от него послать за своими вещами и, не возвращаясь в дом, уехать.

Так он и сделал.

Соловьев жил в самой школе, в задней комнатке с одним окошком. Неустроев никого, кроме сторожа, не встретил на деревне. Ночь была темная, и сторож строго окликнул его.

— Я, Неустроев.

— Кто я?

— Да с барского двора.

— А, куда же бог несет?

— Да к Петру Федоровичу. Что, он дома?

— А где же ему быть. Спит, я чай.

Неустроев подошел к окну школы и начал стучать. Долго никто не отзывался. Потом вдруг совсем бодрый, энергичный, веселый голос прокричал:

— Кого бог дает? Говори, не то оболью.

И слышно было, как босые ноги подошли по скрипучим доскам к окну.

— А, Миша! Ты чего ж по ночам бродишь? Иди, иди в дверь, отопру.

Соловьев впустил Неустроева, засветил лампочку и, усевшись на промятую лодкой кровать, потирая одну босую ногу о другую, стал расспрашивать Неустроева о том, зачем он пришел и что ему нужно. В комнате, кроме кровати, был стол в красном углу, и в угле иконы, много икон, лампадка, и у стола два стула. Один угол был занят книгами, другой — чемоданом с бельем. Неустроев сел у стола и рассказал Соловьеву, что он простился со всеми и уезжает по тому делу, о котором Соловьев знает. Соловьев слушал, сгибая голову на сторону и кося глазами.

Соловьев был немного постарше Неустроева и совсем другого склада. Он был повыше ростом, немного сутуловат, с длинными руками, которыми он, разговаривая, особенно часто и широко размахивал. Лицо же Соловьева было уж совсем другое, чем лицо Неустроева. Прежде всего останавливали на себе в лице Соловьева большие, почти круглые, лазурно-голубые добрые глаза под нависшим широким лбом. Волос у него было много, и все они курчавились, и на голове и на

бороде; нос скорее широкий, и рот большой. Улыбка, очень частая, открывала гнилые зубы.

— Ну, что ж, — сказал Соловьев, когда Неустроев рассказал все, что хотел. — Ну, что ж, пошлем. Только знаешь что... — начал Соловьев, махая правой рукой, а левой поддерживая сползающее одеяло.

— Знаю, знаю, знаем твои теории, да только очень уж они медлительны.

— Тише едешь...

— И без бога ни до порога? Так ведь это все мы знаем.

— Вот и не знаешь. Не знаешь, потому что бога не знаешь. Не знаешь, что такое бог.

И Соловьев начал излагать свое понимание бога, точно как будто это было не в два ночи, когда его разбудили среди первого сна, и не один на один с человеком, с которым он уже говорил об этом же десятки раз и про которого знал, что он, как он сам выражался, непромокаем для религиозной жидкости. Неустроев слушал и улыбался, а Соловьев говорил и говорил. Он знал, что вызывают Неустроева на какое-нибудь террористическое дело, и, хотя не отказывался быть посредником между ним и его товарищами, считал своим долгом сделать все, что может, для того, чтобы отговорить его.

Неустроев слушал его, иногда улыбался. И когда Соловьев на минуту остановился, сказал:

— Все это хорошо тебе говорить, когда у тебя ожидаемая награда вот от них, — он указал на иконы, — есть, а нашему брату надо только делать, что можешь, пока живешь, и делать не для себя.

Соловьев в это время вертел папиросу.

— Ты говоришь, — горячо заговорил Соловьев, — награда моя там, — он указал на потолок. — Нет, брат, награда моя вот где, — он кулаком ударил себя в грудь. — Тут она, и делать, что я делаю, я делаю не для других, — черт с ними, с другими, — а для бога и для себя, для того себя, который заодно с богом.

И он закурил папиросу и жадно стал затягиваться.

— Ну, эта метафизика мне не по силам. Так я засну.

— Ложись, ложись.

Неустроев, как решил, рано утром послал сторожа за своими вещами и, получив их, нанял телегу и уехал на станцию. Соловьев же спал и не слышал, как он ушел.

Проснувшись же, он, как и всегда, встал перед иконами и прочел все с детства произносимые молитвы: «отче наш», «верую», помянул родителей (они уже умерли), «богородицу» и последнюю «царю небесный», которую он особенно любил: «Приди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, блаже, души наши». Он произнес нынче с особенным чувством, вспоминая свой разговор с Неустроевым.

На душе ему было очень хорошо. Спать уже не хотелось. Было воскресенье, школы не было, и он решил сам снести письма на почту. Почтовая контора была за две версты. Он умылся, посоображал, на сколько времени еще станет ему обмылок, начатый на праздниках. «Если дотянет до пасхи, то все хорошо будет, — думал он, не определяя того, что будет хорошо. Потом надел сапоги большие, потом пиджачок, очень требующий починки, так как правая рука попадала всегда в дыру вместо рукава. «Надо будет вдову Афанасьевну попросить», — подумал он и тотчас же вспомнил о Наталье, дочери Афанасьевны, и за те мысли, которые пришли ему о Наталье, сам на себя укоризненно помотал головой. Чудесный белый снег, прикрывший все, и свежий, холодный воздух еще более радостно возбудил его. На станции он отдал свое одно письмо и получил письмо, очень нерадостное для него. Письмо было от его брата меньшего, несчастного двадцатилетнего малого, не кончившего семинарии (Соловьев был сын дьякона), поступившего в лавку к купцу, уличенного там в краже, поступившего потом в писцы к становому и там сделавшего что-то нечестное. Брат описывал свое бедственное положение, что он по два дня не ест, и просил денег. У Петра Федоровича денег было мало; он получал сорок рублей в месяц и много раздавал и тратил на книги, так что теперь у него было всего семь рублей шестьдесят копеек. Он пересчитал их тут же, — а надо было Афанасьевне за харчи отдать. Нечего делать, решил

трешницу послать, а с Афанасьевной как-нибудь справлюсь. Но грустно было то, что Вася (так звали брата) пропадает, и помочь нельзя. Не послать деньжонок нельзя, а послать — он повадится. Надо отказать не столько для себя, сколько для него, и отказать нельзя.

Так, с этим неразрешенным вопросом, он пошел домой, рассуждая иногда вслух сам с собою. Уж и белый снег не так радовал его. По пути нагнал его мужичок из Никольского, той деревни, в которой учил Соловьев, на санках, и, поздоровавшись, предложил подвезти. Петр Федорович сел, и они разговорились. Мужичок не без умысла предложил подвезти учителя. Мужик ездил к земскому по судебному делу. Его сестру, вдову, старую женщину, в соседнем селе, земский приговорил на три месяца в тюрьму за то, что она просила господ отсрочить оброк, а они не отсрочили, и старшина приехал к вдове, потребовал оброк. Сестра сказала:

— И рада бы отдать, да нечем; повремените, мол, справлюсь, отдам.

Старшина слушать не стал, давай сейчас.

— Да говорю, что нету.

— Нету, корову веди.

— Корову не поведу, у меня ребята, нам без коровы нельзя.

— А я приказываю — веди.

— Не поведу, говорит, сама. Если, говорит, ваша власть, ведите, а я не поведу.

— Так вот [за] эти самые слова земский призвал, приговорил на выsidку, а ей как детей оставить? Так вот ездил просить за сестру. Нельзя, говорит. Состоялся, значит, и крышка. Нельзя ли, Петр Федорович, батюшка, похлопочите как.

Соловьев выслушал, еще ему грустней стало.

— Надо, — говорит, — попытаться на съезд подать. Я напишу.

— Батюшка, отец родной.

Слез в деревне Соловьев с саней, пошел домой к себе. Сторож ему самовар поставил. Только сел чай пить с Федотом и закурил, как пришла баба от соседней. Вся в крови, избил ее муж за то, что холстов ему пропить не дала.

— Усовестил ты его, ради Христа, он, может, тебя послушает. Мне и домой не велел приходить.

Пошел Петр Федорович. Баба за ним, а мужик в дверях стоит. Начал Петр Федорович говорить:

— Нехорошо ты, Пармен, делаешь, разве это можно?

Не дал Пармен ему и слова договорить.

— Ты свое дело помни, ребят учи, а я как знаю, так и учу, кого мне надо.

— Побойся ты бога.

— Бога-то я боюсь, тебя не боюсь. Ступай себе своей дорогой, а то поди, как намесь, набузуйся пьян, тогда и учи самого себя, а не людей. Так-то. Буде толковать. Иди домой, что ль, — крикнул мужик на жену. И оба вошли в избу и захлопнули дверь.

Петр Федорович постоял, покачал головой и пошел не домой, а к Арине, торговавшей вином, взял полбутылки и начал пить и курить и, когда напился и накурился, уж совсем пьяный, пошел к Афанасьевне.

Афанасьевна покачала головой, увидав его.

— Что ж ты сомневаешься, что я пьян? Не сомневайся — пьян; а пьян потому, что слаб, а слаб потому, что нет во мне бога. Нету. А Наталья где?

— Наташа на улицу пошла.

— Ах, Афанасьевна, хороша твоя девушка, я люблю ее, только бы поняла она жизнь настоящую, я бы посватал. Отдашь?

— Ну, будет болтать пустое. Ложись лучше, поспишь до обеда.

— Можно, — и Петр Федорович залез на полати и довольно долго что-то внушал Афанасьевне о праведной жизни, но когда Афанасьевна вышла из избы, он заснул и проспал до обеда.

8

Петр Федорович Соловьев был сын дьякона Костромской губернии большого села Ильинского. Отец отдал его в духовное училище. Из училища он первым учеником поступил в семинарию. И в семинарии все время шел и кончил одним из лучших учеников. Как

всем кончающим курс в семинарии, предстоит выбор: монашество, с возможностью высших церковных должностей, или священство, связанное с обязательной женитьбой. Соловьев, выйдя из семинарии, выбрал первое. В выборе этом руководило им никак не честолюбие, а, напротив, желание жить для души, для бога. Но еще до пострижения мысли его вдруг изменились: изменились преимущественно потому, что не только товарищи его, но и начальство прямо высказывали ему уверенность в том, что он достигнет высших иерархических степеней. Более всего в этом отношении подействовало на него увещание архиерея, узнавшего о том богословском споре, который вел Соловьев с преподавателем о значении вселенской церкви, споре, в котором владыка признавал правым Соловьева. Архиерей, призвав к себе Соловьева, сказал ему следующее:

— Знаю и слышал про тебя все похвальное, и хотя в прении твоём с отцом Макарием истина на твоей стороне, ты не должен был предаваться своей горячности и должен был сдерживать себя, дабы не оскорбить старшего. Помни всегда, что в том положении церковного первенства, к которому ты стремишься и которого, по всем вероятностям, достигнешь, нужна осторожность и мудрая сдержанность. Иди теперь.

И, выслушав эти слова, Соловьев вдруг понял, что в душе его рядом с желанием служить богу и жить для души жило другое, гнусное чувство: желание чести и славы людской. И, поняв это, он вдруг стал сам себе так противен, что решил оставить путь монашеский. Но, оставляя путь монашеский, неизбежное условие вступления на путь священства была женитьба. Отец, еще живший тогда, приготовил ему уже невесту и приход. Но мысль женитьбы только для того, чтобы стать священником, была так неприятна Петру Федоровичу, так казалась ему противна нравственности, что он не мог решиться на этот шаг и отказался, к великому огорчению родителей, и от священнического места.

Оставалось одно — народное учительство. И Соловьев поступил на место народного учителя в село Никольское-Порхуново. Место, доставленное ему полюбившим его учителем, — Соловьев имел всегда счастье быть

любимым очень многими, — было очень выгодно, так как, кроме жалованья по школе, он получал хорошо оплачиваемые уроки детям в доме уездного предводителя Порхунова. Соловьев и поступил в дом Порхуновых и жил там, уча детей, но очень скоро он не понравился Александре Николаевне и за то, что он был грязен, ел с ножа, и, главное, раза два напивался пьян с крестьянами. Александра Николаевна как-то сказала ему, что, живя в порядочном доме, нельзя позволять себе... Она не успела закончить, как он перебил ее:

— Очень благодарю вас, Александра Николаевна, за вашу ко мне снисходительность, что вы так долго терпели меня. Простите. Я не буду больше срамить... нет, нет, просто утруждать вас.

И, прожив еще несколько недель, до тех пор пока не приехал новый учитель, Неустроев, он переехал в школу, к великому сожалению детей, особенно двух маленьких: восьмилетней Тани и десятилетнего тезки Пети.

С тех пор уже более года он жил в деревне и не заходил к Порхуновым, а отвечал дружбой на выказываемую ему дружбу Неустроевым.

Неустроев никак не мог понять и куда-нибудь причислить Соловьева. Он был уж никак не консерватор, не монархист, напротив, но не был и революционер, а между тем по убеждениям был народник и ни в чем не расходился с социалистами. И вместе с тем был как-то странно православный, соблюдал посты, праздники, ходил в церковь, причащался и любил Евангелие и часто помнил его и знал наизусть. В деревне тоже мало уважали его за его чудачество, а главное за то, что он зашибал. Харчился он у Афанасьевны, и между ним и здоровой, круглолицей, веселой Наташкой установились какие-то странные отношения: он любил быть с ней, говорить не столько с ней, — потому что она мало говорила, больше смеялась, — любил говорить ей о доброй жизни, рассказывать ей о святых, а главное, о Христе, учил ее грамоте. Грамота плохо давалась ей; но [она] старалась, желая угодить ему, старалась также и слушать то, что он рассказывал ей, делая вид, что это занимает ее и что она понимает то, что он рассказывает.

То, что он сказал в это воскресенье о том, что он посватался [бы] за ней, он сказал спяна то, что у него было на уме. «Здоровая, простая женщина, будет добрая хозяйка, мать. Может, когда-нибудь заведусь землицей, домом. А главное дело, один не проживешь без греха. А уж этого греха нет хуже», — думал он.

Так он думал и в это воскресенье, обедая у Афанасьевны вместе с Натальей и ласково разговаривая с ней.

9

Иван Федорович Порхунов вернулся на другой день поздним утром. Александра Николаевна заснула только перед утром, и дочь Александра, которую звали Линой, и англичанка-гувернантка с тремя малышами — два у няни — встретили его в передней.

Перецеловав детей и, кроме поцелуя, ласково коснувшись курчавившегося затылка Лины, очень хорошенькой, с открытым, веселым, здоровым лицом шестнадцатилетней девочки, он улыбнулся ей.

— Ну, что мама? — сказал он.

— Она, кажется, очень поздно легла. А то была здорова.

— А что Неустроев? Не остался?

— Нет, нынче Петр Васильевич — это был старый слуга дома — сказал, что совсем уехал и вещи взял.

— Жалко. Хороший был и учитель и человек хороший, даром что революционер. Я все надеялся. Ну, и ты молодец, все такой же забияка, — сказал он сынишке Пете и прошел к себе.

Возвращение домой, в свою семью, к привычной не только вещественной, но и духовной обстановке, всегда было не то что радостно, а было что-то вроде того, что снял узкий мундир, надел халат и туфли, перестал приглядываться, выбирать, а пустил поводья и, спокойно правя, подвигаешь и куда надо. Сильные, как на подбор, дети, хорошие, спокойные отношения с крестьянами, прислужой, привычные часы принятия пищи, отдых, диван, письменный стол, всегда интересное чтение и, главное, та же добрая, с своими недостатками, востор-

женностью, легкомысленностью, несмотря на годы, но хорошая, с золотым сердцем, любимая и любящая жена, друг, больше чем друг, а именно alter ego¹, которое раз-
нообразило его одно свое однообразное его.

Он сам задремал у себя в кабинете, разбудила его жена.

— Ах, прости, я не думала, что ты спишь.

— Что за беда, спасибо, что пришла. Детей я видел. Ты как?

— Да я — я хорошо.

Они поцеловались. Он заметил, что она была как бы взволнована чем-то. Но это часто с ней бывало, и потому он, как и всегда делал, когда замечал, что она взволнована, делал вид, что не замечает этого, и рассказал ей про свою поездку.

— Ну, а что наш Неустроев, уехал?

— Думаю, что уехал. Он...

— Так ты не удержала его?

— Что ж я могла, — сказала она.

«Боже мой, как я отвратительна», — думала она про себя.

«И как я гадок, — думал про себя Иван Федорович, — что позволял себе думать про нее, что она могла увлечься им. Да, очень мы гадкие люди, не жившие чисто в своей молодости».

— Ну, что ж делать. Я напишу Мише. Он найдет нам студента.

— Да, надо будет. Звонок к завтраку. Я пойду. Ты придешь?

— Только просмотрю письма и приду. Ты не можешь себе представить, как хорошо вернуться домой, к тебе, к детям, к дивану своему.

«Неужели я буду иметь силы продолжать жить в этой лжи, в этой... гадости. Сказать нельзя. За что погубить его спокойствие? А молчать тоже нельзя, — думала она, выходя. Но тут же вспомнила его, его восторженно-влюбленное лицо, и почувствовала, что счастье его любви так велико, что можно страдать за него. — Только бы он не погубил себя, остался бы жив.

¹ второе я (лат.).

Это, наверное, какое-нибудь отчаянное дело, и он возьмется за него. И тюрьма, смерть. Ох — не могу думать».

Стыд, раскаяние — ее были так велики, что она не могла бы перенести их, если бы не верила в непреодолимость своей любви, и она невольно преувеличивала свою любовь. Это одно избавляло ее от муки стыда и раскаяния.

Она не то что воображала его человеком таким, подобных которому она никогда не встречала в своей жизни, даже таким, лучше которого не могло быть человека, но она действительно видела в нем все высшие совершенства. А видела она их оттого, что она любила его. Все не только нехорошее, что было в нем, исчезало для нее, а весь он был для нее составлен из тех добрых черт, которые были в нем. И ум, и тонкость понимания, художественное чутье, и доброта, и правдивость, и главное — самоотвержение, то самое самоотвержение, которое и погубит его.

Она вышла к завтраку, и обычные заботы поглотили ее и отвлекли — на время только отвлекли — и от ужаса раскаяния, и от любви к нему, и страха за него.

Но тем-то и страшна жизнь, что телесные поранения, всякие болезни не забываются и заставляют страдать и бороться; поранения же нравственные, духовные сглаживаются для людей, не живущих духовной жизнью, сглаживаются просто обычным течением жизни, мелкими интересами обихода, засыпаются мелким сором обыденной жизни. Так это было для Александры Николаевны.

Прошло три месяца. Жизнь шла обычным обиходом. Одно время усложнилась коклюшем детей. С мужем были прежние, обычные, добрые отношения, с детьми тоже; учитель новый, рекомендованный председателем управы, был смиренный человек; приезжала семья брата мужа; приходилось ездить в город несколько раз и в столицу, где виделась с старыми друзьями. Про «него» ничего не было известно. Она следила внимательно за тем, что делалось в революционном мире. Шли экспроприации, террористические дела. Но про «него» не было слышно. Главное же, невидное, но самое ужасное для нее событие было то, что она теперь без сомнения узнала то, что она готовится быть матерью его ребенка.

В бедном квартале большого университетского города, в доме вдовы Перепелкиной уже второй год жил Матвей Семеныч Николаев, по мирскому званию своему земский статистик, по революционному же положению своему член исполнительного комитета народолюбцев и глава кружка распространения социалистических идей между рабочими. Ему было тридцать два года, и он уже восемь лет, с четвертого курса университета, из которого он вышел, не окончив, весь отдался делу революции и занимал среди революционеров видное положение.

ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

Загорелось ночью от грозы, и спалило половину деревни. Из первых двух дворов ничего почти не успели вытащить. Сгорела и лошадь. Обгорел мужик. Бабы голосили, мужики работали. Евдоким Михашин, молодой малый — нынче осенью на призыв — вместе с отцом вытаскивал с двора обгорелые снасти.

— Чего бельма-то выпучил, берись за переводину-то. Аль оглох? — крикнул на него отец. Евдоким встряхнулся, точно разбудили его, и подался к отцу. Смотрел Евдоким, в то время как отец окликнул его, на подъехавшую к пожарищу коляску на паре рысистых серых. В коляске сидела барыня с девочкой. На козлах гладкий с расчесанной бородой бравый кучер в синей рубахе и плисовой безрукавке.

— Чего не видал? Полюбоваться приехали. Ну берись, что ль?

Евдоким взялся, но он плохо слушал и понимал отца, он весь был полон своими мыслями. Он думал не о пожаре, не об отце, матери, а об совсем другом. В деревне было важное событие — пожар, но у него в душе вчера только произошло такое важное событие, что он не мог даже и приписывать какую-нибудь важность общей беде всей слободы — 9 дворов пожару, так важно было то, что случилось в его душе. А именно вчера после прочтения книжки, которую ему дал дяко-

нов сын, в первый раз понял, что не ему надо подчиняться той жизни, среди которой он жил, а надо сделать жизнь такую, какую требует его разум, что эти бабы с иконами, которые должны потушить пожар, с царицей небесной, с этой барыней на рысаках рядом с вдовой Ульяной, с голодными раздетыми ребятами, с урядником, требующим подати, с гладким попом, собирающим волну, с царем, сидящим там где-то и думушки не думающим об измученном народе, с этими тысячами десятин богачей, с их заводами и фабриками, на которых живут рабами голодные рабочие, что всего этого не должно быть, что все это только от того, что как он прежде и как отец его, и дети, и самые уважаемые, умные мужики запутаны, обмануты, не понимают и не видят правды. Вчера это сделалось с ним, вчера он впервые понял, что он был окружен, как и все деревенские, стеной, даже сводом обмана, невежества, суеверия, и вчера часть этого свода развалилась в его душе, и он увидел весь просторный свет божий. И ему страшно, с одной стороны, стало думать о том, как он мог жить в этом мраке, и как его отец и все деревенские могут жить так. Отвалился один камень из свода, и он увидел весь вольный свет и почувствовал, что камни свода плохо держат и что теперь кто вывалит один из них, стоит только поналечь хорошенько, и все развалится. И вот теперь он был полон этими мыслями, и не слышал отца, и не думал о деле, а только о том, что происходило в его душе.

Сделалось это вчера, но готовилось это долго, давно уже.

ТРЕТЬЯ РЕДАКЦИЯ

1

Какая странная, удивительная моя судьба. Едва ли есть какой бы то ни было забитый, страдающий от насилия и роскоши богачей бедняк, который бы в сотой доле чувствовал, как я чувствую теперь, всю ту несправедливость, жестокость, весь ужас того насилия, издевательства богатых над бедными и всей подавленности,

униженности — бедственности положения всего огромного большинства людей настоящего, трудящегося и делающего жизнь рабочего народа. Чувствовал я это давно, и чувство это с годами росло и росло и дошло в последнее время до высшей степени. Мучительно чувствую теперь все это и, несмотря на то, живу в этой развращенной, преступной среде богатых и не могу, не умею, не имею сил уйти из нее, не могу, не умею изменить свою жизнь так, чтобы каждое удовлетворение потребности тела — еда, сон, одежда, передвижение — не сопровождал сознанием греха и стыда за свое положение.

Было время, когда я пытался изменить это мое, несогласное с требованиями души положение, но сложные условия прошедшего, семья и ее требования не выпускали меня из своих тисков, или, скорее, я не умел и не имел сил от них освободиться. Теперь же, на девятом десятке, ослабевший телесными силами, я уже и не пытаюсь освободиться; и странное дело: по мере ослабления телесных сил, все сильнее и сильнее сознавая всю преступность своего положения, я все более и более страдаю от этого положения.

И вот мне приходит мысль, что положение это мое недаром, что положение это требует от меня того, чтобы я высказал правдиво то, что я испытываю, и этим высказыванием противодействовал бы, может быть, тому, что так сильно мучает меня, открыл бы, может быть, глаза тем, или хотя бы некоторым из тех, которые не видят еще того, что я так ясно вижу, и облегчил бы, может быть, хотя отчасти положение того огромного большинства рабочего народа, которое страдает и телесно и духовно от того положения, в котором его держат обманывающие их и сами обманутые люди. И в самом деле, то положение, в котором я нахожусь, для того чтобы обличить всю ложь и преступность установившихся между людьми отношений, едва ли не самое лучшее и выгодное для того, чтобы сказать об этом положении всю настоящую правду, не затемненную ни желанием оправдать себя, ни завистью бедных и угнетенных против богатых и угнетателей. Я нахожусь именно в этом положении: я не только не желаю оправдываться, но мне нужно усилие, чтобы не преувеличить

обличение преступности властвующих классов, среди которых я живу, общения с которыми стыжусь, положение которых ненавижу всеми силами души и от участия в жизни которых не могу освободиться. Точно так же я не могу впасть в обычную ошибку людей угнетенного и поработанного народа и демократов, его защитников, которые не видят недостатков и ошибок этого народа, а также не хотят видеть те смягчающие вину обстоятельства, сложные условия прошедшего, которые делают почти неизменяемым большинство людей властвующих классов. Без желания оправдания себя и страха перед освобожденным народом, а также без зависти и озлобления народа к своим угнетателям, я нахожусь в самых выгодных условиях для того, чтобы видеть истину и уметь сказать ее. Может быть, для этого я и был поставлен судьбой в это странное положение. Постараюсь, как умею, использовать его. Хоть это хотя отчасти облегчит мое положение.

2

В богатом деревенском доме владельца более тысячи десятин земли гостил двоюродный брат его жены, Александр Иванович Волгин, уважаемый в своем мире холостяк, служащий в московском банке с жалованьем в восемь тысяч. С вечера, устав от игры с домашними по тысячной в винт, Александр Иванович, войдя в спальню, выложил на покрытый салфеточкой столик золотые часы, серебряный портсигар, портфель, большой замшевый кошелек, щеточку и гребенку, потом снял пиджак, жилет, крахмальную рубашку, двое панталон, шелковые носки, английской работы ботинки и, надев ночную рубашку и халат, вынес все это за дверь, а сам лег на чистую, нынче перестеленную пружинную кровать с двумя матрасами, тремя подушками и подшитым простыней одеялом. Часы показывали двенадцать. Александр Иванович закурил папиросу, полежа навзничь минут пять, перебирая впечатления дня, потом задул свечу и повернулся на бок и, хотя и долго ворочался, все-таки заснул около часа.

Проснувшись утром в восемь, он надел туфли, халат, позвонил. Старый, уже тридцать лет служащий в доме, отец семейства, дед шести внуков, лакей Степан поспешно, на согнутых ногах, вошел к нему с вычищенными до блеска вчера снятыми ботинками и всей выбитой и вычищенной парой и сложенной крахмальной рубашкой. Гость поблагодарил, спросил, какова погода, — сторы были задернуты, чтобы солнце не мешало спать хотя бы до одиннадцати, как спали некоторые из хозяев. Александр Иванович взглянул на часы: «Еще не поздно», и начал чиститься, умываться, одеваться. Вода была приготовлена, приготовлены, то есть вымыты и вычищены, вчера запачканные умывальные и чесальные принадлежности: мыло, щеточки для зубов, для ногтей, для волос, для бороды, ножички и пилки для ногтей. Не торопясь умывши лицо, руки, вычистив старательно ногти и оттянув полотенцем кожу на ногтях, потом обмыв губкой белое жирное тело и вымыв ноги, Александр Иванович стал чесаться. Сначала двойной английской щеткой расчесал перед зеркалом курчавую, седеющую по сторонам бороду на обе стороны, потом пробрал редким черепаховым гребнем, потом уже редящие волосы на голове. Потом частым гребнем вычесал голову, выкинул нечистую вату и заделал свежей. Надел нижнее белье, носки, ботинки, штаны, поддерживаемые блестящими помочами, жилет и, не надевая пиджака, чтобы отдохнуть после одеванья, присел на мягкое кресло и, закулив папиросу, задумался о том, куда он направит сегодняшнюю прогулку. «Можно в парк, а можно и в Порточки (такое смешное название лесу). Должно бы в Порточки. Да еще Сем. Н. письмо нужно ответить. Ну, да это после».

Он решительно встал, взял часы, — было уже без пяти девять, — положил в карман жилета, в карман штанов — кошелек с деньгами — то, что оставалось от ста восьмидесяти рублей, которые он взял для дороги и мелких расходов у приятеля во время тех двух недель, которые он намерен был прожить у него. Серебряный портсигар и электрическую машинку для зажигания папирос и два платка положил в пиджак, вышел, оставив, как это само собой разумелось, убирать весь бес-

порядок и всю нечистоту, произведенные им, Степану, пятидесятилетнему лакею, ожидавшему, как это всегда бывало, хороший «гонорар», как он называл это, от Александра Ивановича и до такой степени привыкшему к этому делу, что при исполнении его не чувствовал уже ни малейшего отвращения.

Посмотревшись в зеркало и одобрив свою наружность, Александр Иванович пошел в столовую. Там работами другого лакея, экономки и буфетного мужика, успевшего до зари уже сбегать к себе на деревню, чтобы наладить малому косу, в столовой, на чистой камчатной белой скатерти, уже блестел и кипел серебряный, или серебряного вида, самовар, стоял кофейник, горячее молоко, сливки, масло и всякого рода белый хлеб и печенье. За столом был только студент, учитель второго сына, и этот мальчик, и переписчица статей земского деятеля — хозяина дома и большого сельского хозяина. Он уже с восьми часов ушел по хозяйству.

За кофеем Александр Иванович поговорил с учителем и переписчицей о погоде, о вчерашнем впенте и о Феодорите, о вчерашней его выходке, что он без всякого повода нагрубил отцу. Феодорит был взрослый неудавшийся сын хозяев. Звали его Федором, но кто-то как-то, шутя или нарочно, назвал его Феодорит, и это показалось смешно, и так продолжали называть его и тогда, когда то, что он делал, было уже совсем не смешно. Так это было теперь. Был он в университете, со второго курса бросил, потом пошел в кавалергарды — и тоже бросил, и теперь жил в деревне, ничего не делал, и все осуждал, и всем был недоволен. Феодорит этот еще спал, и спали и все домашние, а именно: сама хозяйка, Анна Михайловна, сестра хозяина, вдова бывшего губернатора, и пишущий пейзажи живописец, живший в доме.

Александр Иванович взял в передней шляпу панама (она стоила двадцать рублей), трость с слоновой кости резным набалдашником (пятьдесят рублей) и пошел из дома. Выйдя через обставленную цветами террасу, мимо партера, в котором в середине была конусообразная клумба, убранная правильными полосами белых, красных,

синих цветов и по бокам которой из цветов же были сделаны вензеля, инициалы имени, отчества и фамилии хозяйки, — мимо этих цветов Александр Иванович вошел в вековые аллеи лип. Аллеи эти чистили крестьянские девушки с лопатами и метлами. Садовник же что-то вымерял, а молодой малый вез что-то на телеге. Пройдя их, Александр Иванович вошел в парк старых деревьев, на расстоянии не менее пятидесяти десятин изрезанный прочищенными дорожками. Покуривая папироску, Александр Иванович прошел по своим любимым дорожкам мимо беседки и вышел в поле. В парке было хорошо, а в поле еще лучше. Направо так красиво красно-белыми пятнами виднелись собирающие картофель женщины, налево луг и жнивье и пасущееся стадо, а впереди, немного вправо, темно-темно-зеленые дубы Порточек. Александр Иванович дышал полной грудью и радовался на свою жизнь вообще и особенно теперь, здесь у сестры, где он так приятно отдыхал от своих трудов в банке.

«Счастливые люди, живут в деревне, — думал он. — Правда, Николай Петрович и здесь, в деревне, не может быть покоен с своими агрономическими затеями и земством, да вольно же ему». И Александр Иванович, покачивая головой, закуривая новую папироску и бодро шагая сильными ногами в твердой, толстой, английской работы обуви, думал о том, как он по зимам трудится в своем банке. «От десяти и до двух, а то и до пяти, иногда и каждый день. Ведь это легко сказать, а потом заседания, а потом частные просьбы. А потом Дума. То ли дело здесь. Я так доволен. Положим, она скучает, — ну, да это ненадолго». И он улыбнулся.

Погуляв в Порточках, он пошел назад напрямик полем, по тому самому пару, который пахали. По пару ходила скотина крестьянская: коровы, телята, овцы, свиньи. Прямой путь к парку шел прямо через стадо. Овцы испугались его, одна за другой кинулись бежать, свиньи тоже; худые, небольшие две коровы уставились на него. Пастушонок-мальчик крикнул на овец и хлопнул кнутом. «Какая отсталость, однако, у нас в сравнении с Европой, — подумал он, вспоминая свои частые

поездки за границу. — Во всей Европе не найдешь ни одной такой коровы». И Александру Ивановичу захотелось спросить, куда ведет та дорога, которая под углом сходилась с той, по которой он шел, и чье это стадо. Он подозвал мальчика.

— Чье это стадо?

Мальчик с удивлением, близким к ужасу, смотрел на шляпу, расчесанную бороду, а главное на золотые очки, и не мог сразу ответить. Когда Александр Иванович повторил вопрос, мальчик опомнился и сказал:

— Наше.

— Да чье наше? — покачивая головой и улыбаясь, сказал Александр Иванович.

Мальчик был в лаптях и онучах, в прорванной на плече, грязной суровой рубашонке и в картузе с оторванным козырьком.

— Чье наше?

— А пироговское.

— А тебе сколько лет?

— Не знаю.

— Грамоте знаешь?

— Нет, не знаю.

— Что ж, разве нет училища?

— Я ходил.

— Что ж, не выучился?

— Нет.

— А дорога эта куда?

Мальчик сказал, и Александр Иванович пошел к дому, размышляя о том, как он подразнит Николая Петровича о том, как все-таки плохо, несмотря на все его хлопоты, стоит дело народного образования.

Подходя к дому, Александр Иванович взглянул на часы и к досаде своей увидел, что был уже двенадцатый час, а он вспомнил, что Николай Петрович едет в город, а он с ним хотел отправить письмо в Москву, а письмо еще не написано. Письмо же было очень нужное — о том, чтобы приятель и сотоварищ его оставил бы за ним картину, Мадонну, продававшуюся с аукциона. Подходя к дому, он увидал, что четверня крупных, сытых, выхоленных, породистых лошадей, запряженных

в блестящей на солнце черным лаком коляске, с кучером в синем кафтане с серебряным поясом, стояли уже у подъезда, изредка побрякивая бубенцами. Перед входной дверью стоял крестьянин, босой, в прорванном кафтане и без шапки. Он поклонился. Александр Иванович спросил, что ему нужно.

— К Николаю Петровичу.

— Об чем?

— По нужде своей, лошаденка пала.

Александр Иванович стал спрашивать. Мужик стал рассказывать о своем положении, сказал, что пятеро детей, и лошаденка одна и была, и заплакал.

— Что же ты?

— Да милости просить.

И стал на колени и прямо стоял и не поднялся, не смотря на уговоры Александра Ивановича.

— Как тебя звать?

— Митрий Судариков, — отвечал мужик, не вставая с колен.

Александр Иванович достал три рубля и дал мужику. Мужик стал кланяться в ноги. Александр Иванович вошел в дом. В передней стоял хозяин, Николай Петрович.

— А письмо? — спросил он, встречая его в передней. — Я сейчас еду.

— Виноват, виноват. Если можно, я сейчас напишу. Совсем из головы вон. Уж так хорошо у вас. Все забудешь. Так хорошо.

— Можно-то можно, но только, пожалуйста, поскорее. Лошади и так ждут с четверть часа. А мухи злые.

— Можно подождать, Арсентий? — обратился Александр Иванович к кучеру.

— Отчего же не подождать? — сказал кучер, а сам думал: «И чего велят закладывать, когда не едут. Спешил с ребятами не знаю как, а теперь корми мух».

— Сейчас, сейчас.

Александр Иванович пошел было к себе, но вернулся и спросил у Николая Петровича про крестьянина, просившего помочь.

— Ты видел его?

— Он пьяница, но правда, что жалкий. Пожалуй-ста, поскорее.

Александр Иванович пошел к себе, достал бювар со всеми письменными принадлежностями и написал письмо, вырезал чек из книжки, надписал на сто восемьдесят рублей и, вложив в конверт, вынес Николаю Петровичу.

— Ну, до свиданья.

До завтрака Александр Иванович занялся газетами. Он читал одни «Русские ведомости», «Речь», иногда «Русское слово», но «Новое время», выписываемое хозяином, не брал в руки.

Переходя спокойно и привычно от политических известий о поступках царей, президентов, министров, решений парламентов, к театрам и научным новостям, и самоубийствам, и холере, и стишкам, Александр Иванович услышал звонок к завтраку. Трудями более чем десяти занятых исключительно только этим людей, считая всех, от прачек, огородников, истопников, поваров, помощников, лакеев, экономок, судомоек, стол был накрыт на восемь серебряных приборов, с графинами, бутылками вод, квасу, вин, минеральных вод, с блестящим хрусталем, скатертью, салфетками; и два лакея не переставая бегали туда-сюда, принося, подавая, убирая закуски, кушанья, холодные и горячие.

Хозяйка не переставая говорила, рассказывая про все то, что она делала, думала, говорила; и все то, что она делала, думала и говорила, все это, как она явно думала, было прекрасно и всегда доставляло величайшее удовольствие всем, кроме самых глупых людей. Александр Иванович чувствовал и знал, что все, что она говорит, глупо, но не мог показать этого и поддерживал разговор. Феодорит мрачно молчал, учитель говорил изредка с вдовой. Иногда наступало молчание, и тогда Феодорит выступал на первый план, и становилось мучительно скучно. Тогда хозяйка требовала какого-нибудь нового, не поданного кушанья, и лакеи летали туда и назад, в кухню и к экономке. Ни есть, ни говорить никому не хотелось. Но все, хотя и через силу, ели и говорили. Так шло все время завтрака.

Крестьянина, который приходил просить на падшую лошадь, звали Митрий Судариков. Накануне того дня, когда он приходил к барину, он весь день прохлопотал сдохлым меринком. Первое дело ходил к Санину, драчу, в Андреевку. Драча Семена не было дома. Пока дождался, уговорился в цене за шкуру, дело было уже к обеду. Потом выпросил у соседа лошадь свезти мерина на погост: не велят закапывать, где сдох. Андреян не дал лошади, сам картошку возил. Насилу у Степана выпросил. Степан пожалел: подсобил и взвалить на телегу мерина. Отодрал Митрий подковы с передних ног, отдал бабе. Одна половинка только была, другая хорошая. Пока вырыл могилу — заступ тупой был, — и Санин пришел. Ободрал мерина, свалил в яму, засыпали. Уморился Митрий. С горя зашел к Матрене, выпил с Саниним полбутылки, поругался с женой и лег спать в сенях. Спал он не раздеваясь, в портках, покрывшись рваным кафтаном. Жена была в избе с девками. Их было четыре, меньшая у груди, пяти недель.

Проснулся Митрий, по привычке, до зари. И так и ахнул, вспомнив про вчерашнее, как бился мерин, [в]скакивал, падал, и как нет лошади, осталось только четыре рубля восемь гривен за шкуру. Он поднялся, оправил портки, вышел сначала на двор, а потом вошел в избу. Изба, вся кривая, грязная, черная, уж топилась. Баба одной рукой подкладывала солому в печь, другой держала девку у выставленной из грязной рубахи отвислой груди.

Митрий перекрестился три раза на угол и проговорил не имеющие никакого смысла слова, которые он называл «троицей», «богородицей», «верую» и «отче».

— Что ж, воды нет?

— Пошла девка. Я чай, принесла. Что ж, пойдешь в Угрюую к барину?

— Да, надо идти.

Он закашлялся от дыма и, захватив с лавки тряпку, вышел в сени. Девка только что принесла воду. Митрий достал воды из ведра, забрал в рот и полил руки, еще забрал в рот и лицо обмыл, обтерся тряпкой и паль-

цами разодрал и пригладил волосы на голове и курчавую бороду и вышел в дверь. По улице шла к нему девочка лет десяти, в одной грязной рубашонке.

— Здорово, дядя Митрий. Велели приходить молотить.

— Ладно, приду, — сказал Митрий.

Он понял, что Калушкины, такие же, почитай, бедняки, как и он сам, звали отмолачивать за то, что на прошлой неделе у него работали на наемной конной молотилке.

— Ладно, приду; скажи, в завтрак приду. Надо в Угрюмую сходить.

И Митрий вошел в избу, достал онучи, лапти, обулся и пошел к барину. Получив три рубля от Александра Ивановича и столько же от Николая Петровича, он вернулся домой, отдал деньги бабе и, захватив лопату и грабли, пошел.

У Калушкиных молотилка уже давно равномерно гудела, только изредка заминаясь от застревавшей соломы. Кругом погоняльщика ходили худые лошади, натягивая постромки. Погоняльщик одним и тем же голосом покрикивал на них: «Ну, вы, миленькие! Но-но». Одни бабы развязывали снопы, другие сгребали солому и колос, третьи бабы и мужики собирали большие охапки соломы и подавали их мужику на омет. Работа кипела. На огороде, мимо которого проходил Митрий, босая, в одной рубашонке, девочка руками выкапывала и собирала в плетушку картошку.

— А дед где? — спросил Митрий.

— На гумне дед.

Митрий прошел на гумно и тотчас же вступил в работу. Старик хозяин знал горе Митрия. Он, поздоровавшись с ним, указал, куда становиться — к омету, подавать солому.

Митрий разделся, свернул и положил к сторонке свой прорванный кафтан под плетень, а сам особенно усердно взялся за работу, набирая вилами солому и скидывая ее на омет. Работа без перерыва шла так до обеда. Петухи уж раза три перекликнулись, но им не то что не верили, но не слышали их за работой и переговорами о работе. Но вот с барского гумна за три

версты слышался свисток паровой молотилки. И тут же подошел к гумну хозяин, высокий восьмидесятилетний, еще прямой, старик Масей.

— Что ж, шабашь, — сказал он, подходя к погоняльщику. — Обедать.

Еще живей пошла работа. Вмиг убрали солому того, что было вымолочено, на омет и очистили зерно с мякиной на току от колоса и пошли в избу.

Изба топилась тоже по-черному, но была уж прибрана, и вокруг стола стояли лавки, так что весь народ, помолвившись на иконы, — всех было, без хозяев, девять человек, — [сел]. Похлебка с хлебом, картошка вареная с квасом.

Во время обеда в избу вошел нищий, безрукий, с мешком за плечами и с большим костылем.

— Мир дому сему. Хлеб да соль. Подайте Христа ради.

— Бог подаст, — сказала хозяйка, уже старуха, невестка старикова, — не взыщи.

Старик стоял у двери в чулан.

— Отрежь, Марфа. Нехорошо.

— Я только гадаю, как бы хватило.

— Ох, нехорошо, Марфа. Бог велить пополам делить. Отрежь.

Марфа послушалась. Нищий ушел. Молотильщики встали, помолились, поблагодарили хозяев и пошли отдохнуть.

Митрий не ложился, а сбегал к лавочнику купить табаку. Страсть курить хотелось. И покуда покалякал с деменским мужиком, расспросил о ценах на скот. Не миновать было продавать корову. И когда вернулся, уж люди становились опять на работу. Так шла работа до вечера.

И вот среди этих забитых, обманутых, ограбленных и ограбляемых, развращаемых, медленно убиваемых недостаточной пищей и сверхсильной работой, среди них на каждом шагу своей праздной, мерзкой жизни, прямо непосредственно пользуясь сверхсильным, унижительным трудом этих рабов, не говорю уж о трудах тех миллионов рабов фабричных, унижительными трудами

которых: самоварами, серебром, экипажами, машинами и пр. пр., которыми они пользуются, — среди них живут спокойно люди, считающие себя одни христианами, другие — настолько просвещенными, что им не нужно уже христианство или какая бы то ни было другая религия, — настолько выше ее они считают себя. И живут среди этих ужасов, видя и не видя их, спокойно доживающих свой век, часто добрые по сердцу старики, старухи, молодые люди, матери, дети — несчастные, развращаемые, приготовляемые к нравственной слепоте дети.

Вот старик, владетель тысяч десятин, холостяк, всю жизнь проживший в праздности, обжорстве и блуде, который, читая статьи «Нового времени», удивляется на неразумность правительства, допускающего евреев в университеты. Вот гость его, бывший губернатор, с оставленным окладом сенатор, который читает с одобрением сведения о собрании юристов, признавших необходимость смертной казни. Вот противник их Н. П., читающий «Русские ведомости», удивляющийся на слепоту правительства, допускающего Союз русского народа и.....

Вот милая, добрая мать девочки, читающая ей историю собаки Фукса, пожалевшего кроликов. И вот эта милая девочка, которая видит на гулянье босых, голодных, грызущих зеленую падаль — яблоки, и привыкающая видеть в этих детях не себя, а что-то вроде обстановки, пейзажа.

Отчего это?

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящий том включены художественные произведения Толстого, написанные им в последние годы жизни (1903—1910), — после романа «Воскресение».

Художник П. Ф. Вимпфен вспоминает о встрече с Толстым как раз в то время, когда только что вышел этот роман (1899). Разговор естественно зашел о новых замыслах, и Вимпфен услышал удивившие его слова: «Надо изменить все, все до основания, в самом корне. Больше писать не придется ни о Нехлюдове, ни о Корчагиных. Если уж говорить и писать... — он сделал паузу и посмотрел вперед себя, как будто глядел в глубь необъятного пространства, в беспредельную даль. — А ведь, пожалуй, не доберутся до того, о чем я хотел бы написать в последний раз, — произнес Толстой» («Литературное наследство», т. 69, кн. 2, М. 1961, стр. 18). Когда работа над «Воскресением» приближалась к концу, Толстой записал в дневнике, что следующие его художественные вещи будут «совсем другие. И писать их будет и легче и труднее» (Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений в 90 томах, т. 53, стр. 169)¹.

Эти новые замыслы Толстого возникали и осуществлялись в предреволюционные и революционные годы, оставившие глубокий след в его творчестве. Правда, революции он «явно не понял», «явно отстранился» от нее, но как великий художник хотя бы некоторые из существенных сторон ее «он должен был отразить в своих произведениях»²,

¹ В дальнейшем все ссылки на это издание даются с указанием лишь тома и страницы.

² В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, изд. 5, т. 17, стр. 206.

«Больше писать не придется ни о Нехлюдове, ни о Корчагинных...» — Нравственные просветления Нехлюдовых действительно отступают в творчестве Толстого на второй план. В центре многих его произведений — жизнь и духовные искания Светлогубов, Меженецких, Мигурских, Кудряшей, — представителей разных этапов и форм освободительного движения: польского восстания 1830—1831 годов, народнического движения, первых рабочих кружков. Обличение и сатира, поднимаясь все выше по ступеням общественной лестницы (в «Воскресений» это судьи — губернаторы — сенаторы), доходят до «полюсов властного абсолютизма», проникают в «психологию деспотизма»: созревают планы произведений о Павле, Екатерине II, Елизавете, Александре I и Николае I. В этот же поздний период творчества Толстым был создан не только новый по сравнению с предыдущим периодом, но и совсем особенный образ «Репья» — Хаджи-Мурата, реалистически конкретный и символический одновременно.

Первоначально Толстой задумал изобразить в «Хаджи-Мурате» фигуру «дикаря» с его своеобразной дикарской, но цельней культурой, попавшего в общество, пропитанное искусственной цивилизацией (ЦГАЛИ, Воспоминания А. М. Хирьякова, ф. 508, оп. II, ед. хр. 105). Затем внимание писателя сосредоточилось на изображении тех сторон жизни Хаджи-Мурата, которые были связаны с мюридизмом, религиозным движением на Кавказе, проповедовавшим священную войну с «неверными». Но чем дальше Толстой углублялся в работу, тем явственнее проступала ограниченность и однолинейность художественной трактовки образа Хаджи-Мурата лишь в приверженности его к хазавату. Толстой отказался от нее. В 1898 году он писал в дневнике: «Есть такая игрушка английская peershow — под стеклышком искажается то одно, то другое. Вот так-то показать надо человека Хаджи-Мурата» (т. 53, стр. 188), то есть не только как «дикаря» и не только как «фанатика», а во всей сложности и противоречивости.

Постепенно главы о самом Хаджи-Мурате дополнялись сценами и главами, включающими широкий круг действующих лиц. В повесть вошли два противоположных, чуждых друг другу мира: мир «богатых и властвующих» и мир простых людей. В одном — Хаджи-Мурат сталкивается с лицемерием, вероломством и хитростью; в другом — он находит теплое дружеское отношение (солдат Авдеев, Марья Дмитриевна, простая

трудова́я семья́ чеченца Садо). «А какие эти, братец ты мой, гололобые ребята хорошие... — право, совсем как российские», — говорил Авдеев дежурившим с ним в секрете солдатам о людях Хаджи-Мурата.

Трагическая судьба главного героя развертывалась на большом социальном фоне, и гибель его уже не казалась простой случайностью. Большое значение Толстой придавал работе над главами о Николае I и Шамиле, открывавшими «любопытный параллелизм» двух представителей властного абсолютизма, европейского и азиатского. В этих главах Толстой выразил свое «понимание власти» и еще глубже проник в причины гибели Хаджи-Мурата. Столкновение двух культур, «обман веры», — эти первоначальные темы повести растворились в новой, ставшей основной: в изображении судьбы гордой, независимой личности, оказавшейся во власти двух деспотий. В ее трагическом конце — вызов всему тому, что сковывает, гнетет человека, и утверждение борьбы, энергии и силы жизни.

Одновременно с созреванием новых тем, образов, сюжетов утверждается мысль так писать «художественное», чтобы читатель не только воспринимал написанное, но и «творил» вместе с писателем, сливаясь с ним в поисках (т. 54, стр. 74). «Произведение искусства только тогда истинное произведение искусства, — заключает Толстой, — когда, воспринимая его, человеку кажется — не только кажется, но человек испытывает чувство радости о том, что он произвел такую прекрасную вещь» (т. 57, стр. 132; курсив мой. — Л. К.). Потребовался пересмотр многих прежних художественных решений и приемов. Все чаще и чаще в произведениях Толстого этих лет развернутые описания заменяются несколькими скупыми, чрезвычайно содержательными деталями, — такими, которые будят творческое воображение читателя и заставляют его воспроизводить картину в целом, досказывать то, что сознательно не досказано автором (так написан «Хаджи-Мурат»). Иначе передает теперь Толстой и «диалектику души» — психологический процесс, душевные движения своих героев — не описывая все малейшие переходы и оттенки чувств, но заставляя читателя тем не менее пережить их. Быть может, особенно показателен в этом отношении рассказ «Что я видел во сне», кульминационная сцена встречи отца с любимой прежде дочерью — любимой и теперь, но не прощенной. Мучительный процесс их нового духовного сближения передан сжато и просто. И вопрос здесь не в том, что лучше: сложные внутренние моно-

логи в «Войне и мире» или сдержанность и лаконизм психологического анализа «Хаджи-Мурата», «Алеши Горшка», рассказа «Что я видел во сне» и т. д. — творчество Толстого предстает как постоянное «искание» и усвоение с помощью новых форм нового жизненного содержания, и читатель действительно «сливается» с ним в этих поисках.

Стремление к простоте и лаконизму вовсе не предполагало создания однолинейных, упрощенных типов и характеров, — наоборот, по собственному признанию Толстого, в это время он «в первый раз ясно понял ту силу, какую приобретают типы от смело накладываемых теней» (т. 54, стр. 97), а также от умения понять их в самых различных проявлениях и открывать перед читателем «то одно, то другое» (т. 53, стр. 188). Вот так он прежде всего задумал показать «человека Хаджи-Мурата»: мужа, фанатика, воина, отца, друга, врага и т. п. Хаджи-Мурат — воплощение «поэзии особенной, энергической горской жизни», поэтических черт героев дагестанского фольклора (тавлинской сказки о Соколе, песни о Гамзате и его героической гибели) и в то же время — хитрый, даже несколько честолюбивый политик. Обычно — это «простой человек», улыбающийся «детской улыбкой». Но бывали обстоятельства, при которых этот же человек становился хладнокровно-жестоким, таким, например, как в сцене убийства конвоировавших его солдат (бегство из Нухи). Исключительна и легендарна смелость Хаджи-Мурата. Но был и такой эпизод в его жизни: «На меня нашел страх, и я убежал», — рассказывал Хаджи-Мурат Лорис-Меликову об убийстве Умма-Хана Гамзатом.

«— Вот как? — сказал Лорис-Меликов. — Я думал, что ты никогда ничего не боялся.

— Потом никогда; с тех пор я всегда вспоминал этот стыд, и когда вспоминал, то уже ничего не боялся».

Образ раскрывается во всей его сложности. Исключительное же и необыкновенное в нем предстает не в резком, холодном блеске, а мягче, теплее, ближе к читающему, и вместе с тем еще необыкновеннее (так было с исключительной смелостью Хаджи-Мурата).

Для Толстого и раньше было характерно стремление писать так, чтобы художественное произведение не воспринималось как результат «сочинительства», не отдавало «литературностью», чтобы художественная форма не подчинялась пассивно устоявшимся канонам жанра. Теперь его вообще перестают удовлетворять привычные жанровые деления (роман, повесть, статья

и т. д.). Почти в самом конце жизни Толстой приходит к мысли, что для выражения всего его отношения к социальному злу недостаточны формы «рассуждения, обращения, художественного произведения», необходим синтез публицистически-лирического и эпического начала в произведении, созданном единым порывом, без отступлений от главного к описаниям природы, гостинных и т. д.: «Сейчас много думал о работе. И художественная работа: «Был ясный вечер, пахло...» невозможна для меня. Но работа необходима, потому что обязательна для меня. Мне в руки дан рупор, и я обязан владеть им, пользоваться им. Что-то напрашивается, не знаю, удастся ли. Напрашивается то, чтобы писать *вне всякой формы: не как статьи, рассуждения и не как художественное, а высказывать, выливать, как можешь, то, что сильно чувствуешь*» (т. 57, стр. 9; курсив мой. — Л. К.)¹.

Вероятно, именно в этом направлении идет работа над рассказом «Сон», которой Толстой придавал большое значение, считая, что «форма эта может быть удачная», над началом третьей редакции «Нет в мире виноватых», вступлением к «Павлу Кудряшу» и многими страницами «Не могу молчать». И в них Толстому действительно удастся достигнуть новой силы обличения социального зла. Правда, бóльшую часть подобных замыслов и начинаний Толстой не успел осуществить. О них можно судить лишь по его дневникам и записным книжкам, по коротким и беглым заметкам об итогах и планах работы, о том, что в воображении уже складывается и уясняется «нечто особенное, новое, сложное», которое хотелось бы выразить.

Поздний период творчества Толстого дал своеобразный цикл «картинок» из жизни (очерков): «Три дня в деревне», «Разговор с прохожим», «Песни на деревне», «Проезжий и крестьянин» и другие. Чаще всего это зарисовки конкретных фактов и эпизодов действительности, встреч Толстого с крестьянами. Но они также являются формой художественного обобщения. Сопоста-

¹ Об этом же сообщает А. Б. Гольденвейзер в воспоминаниях, относящихся к 1910 г.: «Лев Николаевич сказал: «Я последнее время не могу читать и писать художественные вещи в старой форме, с описаниями природы. Мне просто стыдно становится. Нужно найти какую-нибудь новую форму. Я обдумывал одну работу, а потом спросил себя: что же это такое? Ни повесть, ни стихотворение, ни роман. Что же это? Да то самое, что нужно. Если жив буду и силы будут, я непременно постараюсь написать» (А. Б. Гольденвейзер, Вблизи Толстого, т. 2, М. 1923, стр. 151).

влениями, расстановкой ударений, выражением мыслей, чувств, переживаний самого автора индивидуальное, конкретное возводится в степень художественного обобщения. В этом новом жанре факт реальной жизни, событие, свидетелем или участником которого был сам Толстой, используется иначе, чем в других его произведениях, где факт входил в сложную художественную систему и подчинялся ей.

В воспоминаниях Т. Н. Поливановой «Л. Н. Толстой в Никольском у Олсуфьевых» (ЦГАЛИ, ф. 508, оп. I, ед. хр. 266) встречается, например, эпизод, относящийся ко времени работы Толстого над рассказом «Хозяин и работник» и показывающий, как претворялись прежде в его творчестве реальные впечатления: «Это было время обычной прогулки Л. Н., и никто не обратил внимания на его отсутствие. Уехал Лев Николаевич (как потом выяснилось — в лесную сторожку за шесть верст от Никольского), а тут как раз поднялась метель, дорогу стало переметать, погода разбушевалась. Время идет к вечеру, становится темно, а Л. Н. все нет, все думают, что он задержался на прогулке, но начинают беспокоиться (...) 5 часов, его все нет (...). Метель не перестает, на дворе, что называется, зги не видно (...) Уже 6 часов, собираются обедать. Все спрашивают, вернулся ли Лев Николаевич. Нет! Нет!.. И вдруг появляется перезябший Лев Николаевич, весь в снегу, усы и борода в ледушках» — и возбужденно сообщает, как «много совсем необычного» он пережил. Это «совсем необычное» пережитое стало еще одной поэтической находкой для создававшегося в ту пору рассказа, для его будто осязаемой и зримой картины метели. (В 8-й главе рассказа «Хозяин и работник» Василий Андреевич, застигнутый метелью, пытается найти дорогу в лес, к лесной сторожке; кругом — бесконечная, разбушевавшаяся снежная стихия, и только одна и та же черневшая во мгле, обманчиво манящая и пугавшая межа черносельника попадалась на пути...).

Таких примеров можно было бы привести немало. Но и в «Хозяине и работнике», и во «Власти тьмы», «Живом трупе», «Воскресении», и даже в автобиографической трилогии «Детство. Отрочество. Юность» непосредственно виденное и пережитое писателем не объясняет всего художественного замысла, художественных образов, созданных творческим воображением. Напротив, в очерках-«картинках», появившихся уже в последние годы, Толстой будто «не сочиняет», а «только рассказывает» о том зна-

чительном и интересном, что ему довелось наблюдать в жизни (А. Б. Гольденвейзер, Вблизи Толстого, М. 1959, стр. 181).

Переход от «Хаджи-Мурата» к маленьким очеркам, от страных внутренних монологов, развернутых экскурсов в психологию к отдельным скупым психологическим деталям, от больших толстовских периодов к сжатым лаконическим описаниям — такие изменения в позднем творчестве Толстого вызвали немало недоуменных вопросов и у современников, и в последующей критике: что это — старческое «усыхание» таланта? падение творческих сил? подавление художника проповедником? ошибка или новое слово художника? М. С. Сухотин¹ в своем дневнике 1901—1910 годов, — где много места отведено размышлениям о произведениях Толстого, об их воздействии на современного читателя, — не раз приходит к мысли, что творчество Толстого 900-х годов далеко от золотой поры расцвета. Написанная еще в восьмидесятых годах и только в 1909 году обнаруженная С. А. Толстой в рукописях повесть «Дьявол» приводит М. С. Сухотина в восторг старой, «хорошей» манерой письма, которую он противопоставляет поздней толстовской манере, характерной для таких, например, произведений, как «Сон» («Литературное наследство», т. 69, кн. 2, М. 1961, стр. 215, 216).

«Дьявол» и «Сон», «Смерть Ивана Ильича» и «Алеша Горшок», «Анна Каренина» и «Хаджи-Мурат» — такие сопоставления действительно показывают, что толстовская творческая манера изменилась. Но причина этого очевидного изменения, конечно, не в угасании творческих сил Толстого. Острота мысли, мощь художественного гения Толстого, при всех кричащих противоречиях толстовского мирозерцания, не только не слабеют, но в ряде случаев возрастают. Ведь в начале 900-х годов было создано одно из гениальнейших произведений русской литературы — «Хаджи-Мурат», написаны рассказы «После бала», «За что?» и другие, возникло столько замыслов, что одно их перечисление могло бы занять многие страницы. Среди них «Крестьянский роман», «Художественная работа трех поколений» («Три века»), «Иеромонах Илиодор» (Толстой писал, что эта «затейная вещь может быть страшной силы»), замыслы произведений о жизни богатых классов как «неперестающем воровстве, грабеже», о суде и тюрьмах, о пошлости жизни и в то же время — о «живом духовно человеке» и т. д. Перечень художественных замыс-

¹ Муж старшей дочери Толстого — Татьяны Львовны. — Л. К.

лов есть даже в записях, сделанных Толстым за несколько дней до смерти — так велика была в нем сила жизни и творчества.

В своеобразии произведений Толстого начала 900-х годов отразились его поиски новых точек соприкосновения с читателем, окончательное решение писать только для «grand monde — народа» (т. 57, стр. 89, 191—192), писать «правдивее», так, чтобы крестьянину не показалось прочитанное вымыслом, пустой забавой. Но сказалось в них также и ложное чувство недоверия писателя к своим ранее написанным художественным произведениям, отношение к художественной фантазии, творческому воображению, как «красивому обману».

Дело в том, что в творчестве Толстого, особенно в этот поздний период, то сливались, то перебивали и заглушали друг друга два голоса — художника и проповедника отвлеченных религиозно-нравственных идей. В дневнике этих лет он сам пишет о своем «разделении» на Льва Толстого и духовное Я, живущее богом. Чтобы быть художником слова, надо знать жизнь во всех ее проявлениях, уметь в воображении жить жизнью людей, стоящих на самых разных «ступенях», высоко подниматься душой, низко падать, испытывать все «промежуточные ступени» (т. 57, стр. 181). Так думал Толстой-художник. Напротив, с точки зрения его отвлеченного «духовного Я» взлеты и падения, горести и радости — всего лишь видимость. Жизнь только кажется то тем, то другим, «то горем, то болезнью, то трудностью, то радостью». Действительно же в ней, как писал Толстой, «лишь центральное, среднее состояние» — истинная жизнь с любовью к ближнему и врагу своему, всепрощением, непротивлением злу, к которой приближаются Светлогуб («Божеское и человеческое»), старец Кузмич («Посмертные записки старца Федора Кузмича») и многие герои «Фальшивого купона». Мироощущение «духовного Я» (Толстого-проповедника) естественно сталкивалось с мироощущением художника, выдвигая вместо многообразия жизни нечто «центральное», «среднее», формулы истинной жизни и воскресения. В художественном творчестве это особенно сказалось на таких произведениях, как «Фальшивый купон», «Алеша Горшок», «Корней Васильев», «Посмертные записки старца Федора Кузмича», «Ассирийский царь Асархадон» и т. д.

«Фальшивый купон» был задуман как художественное воплощение толстовской идеи нейтрализации зла непротивлением,

«Алеша Горшок» и «Корней Васильев» — как поэтизация кротости и всепрощения, «Посмертные записки старца Федора Кузмича» — как яркий пример духовного воскресения, освобождения от страстей. И в этих рассказах Толстой достигает поэтической выразительности и драматизма. Однако поиски «новой формы, очень *sobre*»¹, как определил ее Толстой, работая над «Фальшивым купоном», — часто обращались в таких повестях и рассказах нарочитой упрощенностью или схематизмом характеров, сюжета, композиции. Особенно чувствуется это в «Фальшивом купоне». Первая часть «Фальшивого купона» — изображение нарастания зла, которое распространяется вширь кругами, «упругими шарами». Во второй части круги снова сходятся, добро постепенно поглощает зло и торжествует в нравственных просветлениях Пелагеюшкина, Махина, Василия и т. д. Причем обусловлены эти нравственные просветления не логикой характеров и обстоятельств, а предвзятой идеей писателя: непротивление поглощает зло (кротость Марии Семеновны обращает Пелагеюшкина к новой жизни). Поэтому-то они малоубедительны.

В произведениях этого ряда (например, «Посмертные записки старца Федора Кузмича») сложился и особый метод художественной переработки исторического материала, противоположный методу «Хаджи-Мурата». «Когда я пишу историческое, я люблю быть до малейших подробностей верным действительности», — писал Толстой И. И. Корганову в связи с работой над «Хаджи-Муратом» (т. 73, стр. 353). Конечно, «Хаджи-Мурат» — не историческое исследование, а художественное произведение, и изображенные в нем Шамиль, Воронцов, Николай I — не просто исторические портреты, а художественные образы, созданные творческим воображением писателя. Но это не снимает вопроса об их историзме. Чтобы быть верным действительности, «окунуться с головой в эпоху», подобрать ключ к изображаемым в «Хаджи-Мурате» событиям, Толстой перечитал и пересмотрел большое количество материалов, печатных и рукописных (документы архивов Петербурга и Тифлиса). Его интересовало все: «психология деспотизма», крепостное право при Николае I, распоряжения царя о ведении Кавказской войны, подробности его «обыденной жизни, то, что называется *la petite histoire* (исто-

¹ умеренной (франц.) — Толстой имел в виду умеренность и простоту описаний, психологического анализа, сюжета, композиции и т. д. — Л. К.

рия интимной жизни)», географические и этнографические сведения о Кавказе, фольклор горцев и т. д. Часто из многих и различных источников удавалось извлечь какие-нибудь две-три черты, которые, как говорил Толстой, «читатель, пожалуй, и не заметит, а между тем они очень важны» (Сборник воспоминаний о Л. Н. Толстом. Изд. Златоцвет, М. 1911, стр. 98).

Действительно, до «малейших подробностей» быть точным в художественном использовании исторического материала стремился Толстой, работая над «Хаджи-Муратом». Современники рассказывают такой любопытный эпизод. Как-то ночью, во время тяжелой болезни Толстого, дежурившие около больного заметили, что он шепчет какие-то слова. Думали, что он бредит. Можно было разобрать только: «граф, князь...» Тогда Лев Николаевич обратился к находившемуся возле него Буланже: «Если вам не скучно, достаньте, пожалуйста, вон там на полке книгу. Посмотрите, в котором году Воронцов был сделан князем? Надо будет переделать: везде в «Хаджи-Мурате» я называю Воронцова князем». Пока наводилась справка, Лев Николаевич заснул. Через час он проснулся, и вопросом его было: «Ну, что? В котором году Воронцова сделали князем?» — «В августе 45-го года». — «В таком случае — верно. Переделывать не надо» («Русское слово», 1902, 15 декабря, № 345; «Русская мысль», 1913, кн. VI, стр. 80).

Иначе складывался замысел «Посмертных записок старца Федора Кузмича». Версия, будто император Александр I не умер в 1825 году, а бежал в Сибирь и жил там в лесу в уединенной келье под именем старца Федора Кузмича, — казалась Толстому не соответствующей исторической действительности. В Кузмиче он видел «самозванца, нарочно напускавшего на себя таинственность и говорившего загадочными фразами» («Литературное наследство», т. 69, кн. 2, М. 1961, стр. 148). Но легенда о чудесном превращении оставалась для Толстого «во всей своей красоте и истинности», как поэтическое воплощение идеи нравственного воскресения. Это-то и побудило Толстого к осуществлению своего замысла. «Мне представляется, что так могло бы быть», — говорил он (там же, стр. 164). Поэтому «Посмертные записки» нередко напоминают дневник самого писателя. Вот одно из таких мест: «И мне пришло в голову, что если вся жизнь в зарождении желаний, то нет ли такого желания, которое свойственно бы было человеку, всякому человеку, всегда, и всегда исполнялось бы или, скорее, приближалось бы к исполнению? И мне

ясно стало, что это было бы так для человека, который желал бы смерти. Вся жизнь его была бы приближением к исполнению этого желания...» Подобные размышления старца Федора Кузмича совпадают с размышлениями самого Толстого (о жизни и смерти, о телесном и духовном, о приближении к богу и освобождении от страстей), и служат они изображению не того, что действительно было, а того, что «могло бы быть», что хотелось бы видеть Толстому. В этом случае историческое неправдоподобие и всего замысла произведения, и многих его подробностей не смущало писателя. Ему важна была сама идея духовного просветления, которой и подчинен был художественный образ. Иной раз Толстому казалось в последние годы, что вообще нужно писать только статьи, трактаты, прямо и непосредственно излагающие нравственно-религиозные идеи, что художественные произведения — пустяки, искусство — суеверие, дающее возможность жить праздно, со спокойной совестью. Поэтому и над «Хаджи-Муратом» он работал часто «тайком от самого себя», писал то с желанием, то «с неохотой и стыдом» (т. 54, стр. 134). И все-таки интерес к художественному в Толстом оказывался сильнее всего того, что противостояло ему. В своем религиозно-нравственном учении он сам находил много «условного, произвольного, неясного» (т. 55, стр. 262). Не удовлетворяли его и произведения, задуманные как иллюстрации к этому учению («На каждый день», «Алеша Горшок» и т. д.), не нравились искусственностью и надуманностью, «однообразием», «педантизмом» и «догматизмом». Толстой признавался себе, что, должно быть, надоел всем своими непрерывающимися писаниями все об одном и том же, вроде Graft Hiller'a (автора «Сверххристианского катехизиса». — Л. К.) и что надо молчать и жить, а если писать, то «только художественное», к которому его часто тянет. «Недоволен «Кругом чтения»¹. Хочу писать жизнь. Это одно, то, что пережито, несомненно» (т. 57, стр. 120—121, 202, т. 56, стр. 201).

Жизнь, пережитое, несомненное преодолевали догматизм толстовства. Суровый проповедник, созерцательное «духовное Я» уступали место «Льву Толстому» с его необыкновенной возбуди-

¹ «Круг чтения» Толстой задумывал составить таким образом, чтобы в каждом дне была «мысль религиозная, метафизическая, определяющая положение человека в мире» (т. 55, стр. 259). Поэтому вместе с художественными произведениями там были собраны созвучные толстовскому учению высказывания разных авторов «об истине, жизни и поведении», о грехах и соблазнах.

мостью к радости, восторгу, негодованию и с «тайным трагизмом» сознания того, что проповедуемое учение бессильно перед существующим злом.

Таким пережитым, несомненным было прежде всего то постоянное мучительное чувство, переходившее в «почти физическое страдание» («точно сквозь строй прогнали»), которое испытывал Толстой при виде неправды и безнравственности безумной роскоши среди нужды, нищеты и насилия. Это и определило основную тему его произведений, их композицию, систему художественных образов и приемов, проникнутых социальными контрастами («После бала», «Ягоды», «Божеское и человеческое» и др.). На контрастах построен и весь «Хаджи-Мурат». Нелегкие будни солдатской жизни, рассказ Петрухи Авдеева о своей тоске по дому, о родных, для которых он теперь, «как отрезанный ломоть» («солдатство было как смерть»), сменяются праздным весельем в одном из лучших домов крепости — князя Воронцова-младшего. Крестьянская изба Авдеевых, напряженный трудовой день, начавшийся задолго до рассвета, горе старухи матери, оплакивающей смерть своего меньшого, а в следующей главе — тифлисский дворец князя Воронцова, парадный обед, самодовольство, тщеславие и волны лесты, затопляющие все. За сценой с Николаем I следует картина чеченского аула, разоренного и выжженного по его жестокой и безумной высочайшей воле. Благодаря таким контрастным сопоставлениям, простая «кавказская история» об одном из наибов Шамиля вылилась в большое художественное обобщение, осуждение деспотизма, поддерживающего социальное неравенство и разжигающего национальную рознь. Толстой подчеркивает жестокую бессмысленность гибели и русского солдата Авдеева, и чеченского мальчика, сына Садо, и поляка Бжезовского, и, наконец, самого Хаджи-Мурата. В этой связи борьба Хаджи-Мурата за жизнь, та энергия, с какой он отстаивает себя, представляются особенно значительными и прекрасными.

Контрастные сцены, главы, картины в произведениях Толстого обнажали безнравственность и жестокость, искусственность и мнимость жизни «богатых и властвующих». Рассказ «Ягоды» состоит из двух таких контрастных картин. В одной из них — жизнь томящихся от безделья обитателей «великолепной дачи, с башней, верандой, балкончиком, галереями», вернее, подобие жизни; в другой — жизнь деревенских баб, мужиков, босоногих здоровых ребятишек. У первых, «как и водится у порядочных людей»,

все неестественно (к примеру — беседа обитателей усадьбы с приехавшим гостем об искусстве: им всем никакого дела не было до предмета разговора, но они все-таки говорили, говорили то, что сами слышали «больше, чем сто раз», и говорили «так похоже»...). В жизни крестьян, наоборот, — простота и естественность, труд и неизменный его спутник — природа. Поэтому так детально и любовно описывает Толстой и медовый клевер лугов, и леса с оврагами и отвершками, на свежей зелени которых пестрыми пятнами рассыпались бабы и ребятишки; и капли росы, «о которые вымокли девчонки по самый пояс», собирая ягоды; и даже пыльную проселочную дорогу со следами босых ног, «одних побольше, других поменьше», «с четко отпечатанными пальчиками». Все это противопоставлено «искусственной природе», которой окружали себя господа, всему искусственному их образу жизни и той цивилизации, которая им служила.

Природа и цивилизация. Их сопоставление и противопоставление, частые у Толстого, давали повод современникам сравнивать его с Руссо. Но сам Толстой видел существенное отличие в своем решении этой уже не новой проблемы, о чем писал в 1905 году: «Я много обязан Руссо и люблю его, но есть большая разница. Разница та, что Руссо отрицает всякую цивилизацию, я же отрицаю лжехристианскую. То, что называют цивилизацией, есть рост человечества. Рост необходим, нельзя про него говорить, хорошо ли это или дурно. Это есть, — в нем жизнь. Как рост дерева. Но сук, или силы жизни, растущие в суку, неправы, вредны, если они поглощают всю силу роста. Это с нашей лжецивилизацией» (т. 55, стр. 145).

Когда Толстой рассуждает на эту тему в дневнике, часто упрощенно, прямолинейно, — она кажется традиционной, с традиционным решением в духе Руссо — поэтизация природы и отрицание цивилизации вообще: «Разрушаем миллионы цветков, чтобы воздвигать дворцы, театры с электрическим освещением, а один цвет репья дороже тысяч дворцов» (т. 54, стр. 32). Но когда эта же мысль получала развитие в статье и особенно воплощалась в художественном произведении, то она уже не была отрицанием всякой цивилизации, а лишь той, что основана на угнетении человека: замечательный символический образ Репья — и дворцы Воронцова, Николая I в «Хаджи-Мурате».

Побуждаемый «мучительным чувством бедности», Толстой вновь и вновь обращался к изображению социальных контрастов, обличая самодержавие («Хаджи-Мурат»); военный деспот

тизм, воспитание в солдате любви к царю и отечеству по принципу «трех забей, одного выучи» («После бала»); верноподданнический либерализм, барство («Ягоды») и т. д. Контрастные сцены и образы есть почти в каждом его произведении, однако они не создают впечатления однообразия или повторения. Повторение лишь в одном — в отрицании всех «старых форм существования». Толстой понимал, что их, эти старые формы, нельзя исправить ни конституциями, ни всеобщей подачей голосов, как «нельзя исправить стены дома, в котором садится фундамент». Тем более бессильна всякая благотворительность, которая всегда подобна, по словам писателя, глупой затее иссушить сочные луга водосточными канавами, а потом поливать их в тех местах, где они представлялись бы особенно сухими; настало время, — образно писал Толстой, — не скидывать понемногу тяжесть с вoза, а опрокинуть его (т. 55, стр. 62). Так тема социальных противоречий и контрастов смыкалась в его творчестве позднего периода с темой революции, — иногда в пределах одного произведения, иногда в параллельных замыслах.

Отношение Толстого к революции сложно и противоречиво. «Как французы были призваны в 1790 году к тому, чтобы обновить мир, — писал он накануне революции, — так к тому же призваны русские в 1905» (т. 55, стр. 151). И результаты этой русской революции должны быть «более значительные и благотворные» для человечества, чем результаты Великой французской революции (т. 76, стр. 5). Но представлял себе эту революцию Толстой по-своему, как осуществление «закона непротivления»: разрушить существующий порядок она должна не насилем, а пассивно, неповиновением правительству, которое Толстой именовал «шайкой разбойников». На вопрос, что же для этого делать, Толстой отвечал: «Что же делать? Одно и одно: самому каждому все силы положить на то, чтоб жить по-божьи и умолять их, убийц, грабителей, жить по-божьи. Они будут бить, грабить. А я, с поднятыми по их приказанию кверху руками, буду умолять их перестать жить дурно. «Они не послушают, будут делать все то же». Что же делать? Мне-то больше нечего делать» (т. 56, стр. 53 — диалог из дневника Толстого).

Главную ошибку всех революционеров Толстой видел в том, что они хотят бороться извне, тогда как перестроиться мир должен «изнутри», внутренней, духовной работой, которая состоит в том, чтоб жить «не для тела», а для настоящего себя, того, которое не родилось и не умирает, а только переходит в

ные формы существования. Особенно близки к пониманию этой истины «старики, готовые туда» и «дети, свежие оттуда». Таков смысл противопоставления Светлогуба народникам и более позднему поколению революционеров в рассказе «Божеское и человеческое», введения образа старика-раскольника и мальчика, провозжающего взглядом Светлогуба, когда его везут к месту казни. В рассказе «Сила детства», воспроизводящем один небольшой эпизод «войны народа против власти», плач ребенка останавливает взбунтовавшихся людей, примиряет их с врагом, человеком, которого они за минуту до того ненавидели и готовились убить. Перед шестилетним мальчиком толпа расступалась, как перед силой. «Сила детства» открывала ту же истину, которую призван был нести людям Светлогуб: терпеть зло, любить врагов, тогда и революция не нужна, — путь к добру «внутри вас».

Отношение Толстого к революции было определено его патриархальной крестьянской идеологией, верой в христианские добродетели и «особое положение» русского мужика, живущего общиной. Но жизнь, революция 1905 года утверждали иное. В статье 1906 года «Что же делать?», — в небольшой сценке, близкой по своему характеру к деревенским очеркам и дополняющей их, с грустным чувством воспроизводит Толстой встречу и разговор с крестьянином, который никак не хотел согласиться с проповедью непротравления. А в дневнике описание другой подобной встречи Толстой заканчивает выводом: «...нужен я им только в той мере, в которой они видят во мне революционное» (т. 58, стр. 32). Чем больше революционная действительность вытесняла патриархальную идеологию, тем с большей настойчивостью Толстой отстаивал ее. Но вместе с тем совершался в нем другой сложный внутренний процесс, процесс мучительных сомнений в силе и действенности своего учения и поисков, «ожидания чего-то нового». Часто Толстой (по свидетельству М. С. Сухотина) не хотел и слышать о тех событиях, которые разрушали его представления о возможных путях преобразования общества, сердился, когда ему рассказывали о волнениях среди крестьян. А между тем, «конфузясь», желая скрыть это, читал газеты, с жадностью прислушиваясь к рассказам о совершающемся. И мысль о несоответствии его учения действительности, пусть очень смутно и неоформленно, возникала в его сознании: «Готов на страдания, на унижения, только бы знать сам с собой, что делаю то, что должно. Какое легкое или страшно трудное слово: «Что должно» (т. 57,

стр. 9). Примечательна в этом отношении и запись от 4 ноября 1905 года в дневнике М. С. Сухотина. На замечание Сухотина, что представления о «христианской особенности русского народа» расходятся с действительностью, Толстой ответил: «А вы разве думаете, что я этим не мучаюсь? Конечно, мне очень мучительно, и я понимаю, что вы говорите, и думаю, что ваши замечания, пожалуй, и справедливы» («Литературное наследство», т. 69, кн. 2, М. 1961, стр. 181—182). Толстой не признавал революционных методов борьбы с правительством, которое он так ненавидел, отрицал революционное насилие. Вместе с тем в его отношении и к событиям 1905 года и вообще к революционному пути борьбы намечалось нечто совсем иное, даже противоположное. «Ах, как хорошо, как все хорошо, — записывает Сухотин слова Толстого, — все это страдание, эта кровь, все это ведь роды, мучительные роды...» Интересны выводы, которые Сухотин делает из этого разговора: «...Л. Н. видит дальше меня. И видит, что после всех этих ужасов наступит такое хорошее, великое, сильное, которое заставит забыть эти мучительные роды, которыми мы только еще начинаем мучиться. Я поймал где-то на ходу Л. Н. и высказал ему эту мысль, которая ему, кажется, очень понравилась» (там же, стр. 185—186). Все эти настроения и противоречивые взгляды Толстого нашли отражение в его художественном творчестве: «Божеское и человеческое», «Кто убийцы? Павел Кудряш», «Сила детства», «Нет в мире виноватых», «За что?», «Бродячие люди» и, конечно, в центральном произведении последнего десятилетия жизни Толстого — «Хаджи-Мурате».

Толстой писал «Хаджи-Мурата» в атмосфере ожидания революции. И это сказалось во всем строе произведения: в интонациях пролога, в силе обличения социальных контрастов, в сатирическом смехе над самовластным деспотом Николаем I, которому мерещится тень революции даже в нервном припадке студента («Я выведу этот революционный дух, вырву с корнем», — размышлял он, написав свою резолюцию о наказании студента шпицрутенами), сказалось и в образе самого Хаджи-Мурата. Самое прекрасное в нем — его борьба за жизнь. Образ искалеченного, но несдающегося Репья дан в начале повести как ключ ко всему произведению, — и смысл его обратен смыслу толстовского учения о непротвлении.

Естественные ассоциации с революционными эпохами прошлого, а также убеждение в том, что все революции были осу-

ществом «единого, всемирного закона», обращали художественные интересы Толстого к освободительному движению начала XIX века. Толстой пишет рассказ «За что?» об участниках польского восстания 1830—1831 годов и возобновляет работу над романом «Декабристы». Он изучает исторические документы и определяет основной круг проблем предполагаемого романа: «военная выправка при Николае», «крепостное право и отношение к человеку как к вещи, к животному», ужас положения, при котором «люди с низшей духовной силой могут влиять, руководить даже высшей». И рассказ «За что?», и замыслы романа о декабристах проникнуты сочувствием к освободительному движению, к «лучшим людям из дворянства» и отвращением к тупой самоуверенной личности, Николаю I, мнившему, что «жизнь его была великим благом для человечества и особенно для русских людей, на развращение и одурение которых были бессознательно направлены все его силы».

Роман «Декабристы» так и не был написан Толстым. Остались незавершенными и другие произведения о революции и революционерах (например, рассказ «Павел Кудряш», в котором Толстой предполагал дать историю простого рабочего парня, пришедшего к революционной деятельности, к «союзу рабочих»). Одна из причин, по-видимому, в том, что в самом замысле их было много противоречивого, несовместимого.

Работая над «Павлом Кудряшом» и над его вариантом «Нет в мире виноватых», писатель испытывал «мучительное чувство стыда, ужаса, негодования, доходящего до ненависти к злодеям, называющим себя правителями». И в то же время у него было стремление «высказать, облегчить себя, никого не осуждая», так как люди, которые заточают, приговаривают и казнят, не знают, что дурно то, что они делают: «они так или иначе доходят до неведения» этого. С этими особенностями замысла были связаны поиски соответствующего художественного воплощения, желание писать так, как пишут музыку, чтобы сменялись в произведении «то умлаение, то веселость, то страсть, то тревога, то любовь-нежность, то любовь духовная, то торжественность, то грусть и многое другое», но одного не было бы — «ничего недоброго: злобы, осуждения, насмешки и т. п.» (т. 56, стр. 142).

Толстым было создано несколько вариантов повести «Нет в мире виноватых», но соединить несоединимое (две противоположные стороны замысла) не удавалось. В дневнике этой поры встречаются записи: «Начал было писать «Невиноватых», но не пошло»

(т. 56, стр. 169). «Пытался продолжать «Павлушу». Не пошло» (т. 57, стр. 6). Толстой, видимо, сам почувствовал противоречивость замысла и уточнил его: «Живо представил себе повесть или драму, в которой нет злых, дурных, все добрые для себя и все невиноватые. Как бы было хорошо и как ярко выступила из-за этой доброты, невинности людей недоброта и виновность устройства жизни» (т. 57, стр. 61). Иначе говоря, изображать всех добрыми, невиноватыми — не для того, чтобы не осуждать, а для того, чтобы подчеркнуть недоброту «устройства жизни», так как именно в этом устройстве, а не в нравственных качествах отдельных лиц, все зло. Трудно сказать, как дальше развился бы этот замысел, тем более что смысл художественного образа и произведения в целом всегда глубже и значительнее определения Толстым идеи этого произведения и предмета изображения. «Божеское и человеческое», например, было задумано как произведение об отношении к смерти. Но обратимся к самой повести. Сцена в доме генерал-губернатора, человека с холодным взглядом и «безвыразительным» лицом, прекращавшего занятия государственными делами всякий раз, как только чувствовал, что у него есть сердце «под сюртуком с ватой на груди» и большим белым крестом; следующая сцена, потрясающая резким контрастом (в небольшом номере гостиницы — обезумевшая от горя мать юноши-революционера, которому генерал-губернатор только что подписал смертный приговор); изображение казни, осуждающее правителей-«вешателей»; спор народника Меженецкого с революционерами следующего поколения и т. д. — все это значительно шире первоначального замысла писателя. Или рассказ «Нечаянно». Идея сборника диалогов «Детская мудрость», для которого был написан этот рассказ, несомненно связана со всем толстовским учением, в том числе и с рассуждениями его об «истинной духовной жизни» «без участия ума и соблазнов», к которой ближе всего дети. Но художественное ее воплощение в рассказе «Нечаянно» совсем преобразило ее. И маленький рассказ покоряет читающего очарованием милой поры детства, изображенной с непосредственностью гениального художника, противопоставлением детской бесхитростной доверчивости и чистоты — лжи и обману.

Борьба со злом, — говорил Толстой, — невозможна без разъяснения «суеверия необходимости власти», так как «люди не будут готовы» ни к каким социальным переустройствам, пока не выяснят своего отношения к царю и его помощникам. Свое

собственное отношение Толстой высказывал резко и непримиримо: безнравственность и жестокость людей властвующих не случайна, она обусловлена самой сущностью деспотической власти. Эта мысль во многом определила круг исторических тем и замыслов Толстого в поздний период творчества: намерение писать о Павле, Елизавете, смерти Екатерины II, Александре I, Николае I, работа над образом Николая I в «Хаджи-Мурате» и в романе о декабристах.

Из всех этих замыслов полностью осуществлен один — образ Николая I в «Хаджи-Мурате», созданный средствами сатиры, притом своеобразной сатиры. В ней нет гротеска, с сатирическим персонажем Толстого не приключаются такие фантастические истории, как, например, с щедринскими градоначальниками, отличавшимися то «особливым устройством в голове» в виде органичка, то страстью к сочинению законов о «добропорядочном пирогах печении». Ближе Толстому традиции негротескной гоголевской сатиры. Но и здесь есть существенные различия. В любой сцене «Мертвых душ» или повестей Гоголя герои его сами разоблачают себя откровенно комическими действиями, речами, внешностью. В действиях, позах, речах сатирических персонажей Толстого преобладает внутренний скрытый комизм, и ключ к нему — в психологии. Психологический анализ становится у Толстого одним из основных средств раскрытия комического противоречия в изображаемом: претензий на величие и значительность при внутреннем убожестве.

В образе Николая I у Толстого не мало откровенно, зримо комического (портрет, сцены в маскараде, встреча с учеником училища правоведения). Но значительно больше таких эпизодов и сцен, в которых без проникновения в психологию персонажа комическое осталось бы незамеченным. Еще в «Воскресении» Толстой широко пользуется этим приемом изображения. Внешне степенно и строго возвышаются над столом, покрытым зеленым сукном, фигуры судей. Но стоит автору подсказать, о чем каждый из них в этот момент думает, и претендующее на внушительность становится до смешного мелким и ничтожным. То же самое и в «Хаджи-Мурате», — например, в сцене, когда Николай I «вернулся в свою комнату», «лег на узкую, жесткую постель», «покрылся своим плащом» и предался размышлениям о собственном величии и о том, что эта узкая, жесткая постель и плащ так же знамениты, как шляпа Наполеона.

Гоголь открывает в изображаемом массу комических подроб-

ностей. Его Коробочка смешна не только сама по себе, но и во всем, что ее окружает (разноголосый хор псов, шипящие часы, которым «приходила охота бить», петух, болтавший что-то на своем странном языке — вероятно, «желаю здравствовать», — на что Чичиков «сказал ему дурака» и т. д.). У Толстого же — сосредоточенность на основном комическом противоречии. И это определяет особенности его «смеха», особенности комизма его сатирических персонажей.

Характер смеха во многом зависит и от того, как автор рассказывает о комическом. Смех читателя вызывает не только то, о чем рассказывается, но и самая манера рассказа. Иногда в рассказчики автор берет комическое лицо (Щедрин) или же сам разыгрывает роль простачка и с наивным простодушием без меры расхваливает своего героя, да вдруг как будто неожиданно проговаривается (Гоголь). Для Толстого же не характерна собственно комическая манера повествования. Поэтому его сатира кажется сурово сдержанной, будто цель автора состояла в том, чтобы объяснить комическое противоречие в изображаемом со строгой логичностью и последовательностью чередования причин и следствий.

В последние годы жизни у Толстого не раз возникало желание писать автобиографическое произведение: «описать себя по всей правде», со всеми слабостями и хорошим, «рассказать свою душу всю». И он начал работу над таким произведением, остановившись на форме воспоминаний, — в «способности воспоминаний» ему открывалась основа и разума, и всей духовной жизни: «Весь я, каким я сознаю себя теперь, есмь произведение моих воспоминаний» (т. 55, стр. 197). К тому же форма воспоминаний давала возможность заглянуть в глубь прошедших лет и «выделить доброе, истинное от дурного, ложного». С особенным чувством написаны строки о детстве и матери, которая была для писателя «высшим представлением о чистой любви, но не холодной божеской, а земной, теплой, материнской» (т. 55, стр. 374).

Приступая к воспоминаниям, Толстой больше всего опасался неискренности, связанной с трудностью избежать «Харибды самовосхваления (посредством умолчания всего дурного)» и «Сциаллы цинической откровенности». Но обе эти опасности вряд ли угрожали воспоминаниям при необыкновенной требовательности писателя к себе и его беспощадном самоанализе. В значительно большей степени работе над воспоминаниями противодействовала толстовская религиозно-нравственная философия, поиски

определения истинной жизни, для которой будто бы необходимо отрешиться от воспоминаний, сознательно гасить интерес к прошедшему, жить только настоящим, «безвременным настоящим» — «жизнь, события, твоя старость, смерть бегут мимо тебя, а ты стоишь» (т. 57, стр. 43, 194).

Отвлекала от «Воспоминаний» и сама жизнь. Начиная с 1905 года бурные проявления общественной жизни мешали спокойно отдаваться воспоминаниям прошлого, побуждая Толстого и в художественных произведениях, и в статьях отзываться на современные события.

Воспоминания так и остались незаконченными. В конце 1906 года упоминания о них в дневнике писателя обрываются. Но потребность раскрыть «свою душу всю» осталась. Она оказалась появлением образа автора в последних замыслах и произведениях Толстого (начало «Павла Кудряша» и повести «Нет в мире виноватых», «Сон», «Три дня в деревне», «Разговор с прохожим»), ею объясняется и все большее обращение писателя к дневникам. Дневниковые записи отражали непосредственные впечатления дня и размышления над философскими, социальными, эстетическими проблемами, «учение жизни» и сомнения в его истинности, оценки собственных произведений и мысли о значении их («последствиях») для будущих времен и поколений: «...знаю так, знаю вернее смерти, что последствия эти будут. Будут не в том смысле, что сложится такой или иной мною предвидимый и желаемый строй жизни, а будут в том, что уничтожится то безумие и зло, в котором живут теперь люди христианского мира. Это будет, я вернее смерти знаю, что это верно, неизбежно будет» (т. 56, стр. 119).

Прошли годы. И представления Толстого о том или ином «предвидимом» им устройстве жизни, его философское учение, патриархальная идеология отошли в прошлое. Но созданные им картины жизни, исполненные любви к человеку и ненависти к социальному «безумию и злу», — принадлежат настоящему и будущему.

«После бала». Рассказ «После бала» Толстой писал для составлявшегося Шолом-Алейхемом сборника в пользу пострадавших от кишиневского погрома евреев.

В письме Шолом-Алейхему 6 мая 1903 года Толстой сообщал, что рад содействовать сборнику, постарается написать

что-нибудь «соответствующее обстоятельствам» и между прочим отмечал: «К сожалению, то, что я имею сказать, а именно, что виновник не только кишиневских ужасов, но всего того разлада, который поселяется в некоторой малой части — и не народной — русского населения — одно правительство. К сожалению, этого-то я не могу сказать в русском легальном издании» (т. 74, стр. 118—119).

Над рассказом «После бала» Толстой работал в августе 1903 года. Его первоначальные названия: «Дочь и отец», «А вы говорите». 9 августа 1903 года Толстой записал в дневнике: «Написал в один день «Дочь и отец». Не дурно» (т. 54, стр. 189). Но дальше, примерно до 20 августа, шли исправления, переделки. В сборник рассказ не был отослан. Впервые он появился в «Посмертных художественных произведениях Льва Николаевича Толстого» (под редакцией В. Черткова), т. 1, М. 1911.

«Ассирийский царь Асархадон». Сказку «Ассирийский царь Асархадон» вместе с двумя другими — «Три вопроса» и «Труд, смерть и болезнь» — Толстой писал, так же как и рассказ «После бала», для литературного сборника, который составлял Шолом-Алейхем. Но в отличие от рассказа, эти сказки не удовлетворяли Толстого. 9 августа 1903 года он писал В. Г. Черткову: «Сказки плохи. Но надо было освободиться от них» (т. 88, стр. 302). Ту же оценку Толстой дал им и по окончании работы: «Только нынче кончил сказки... Недоволен» (т. 54, стр. 189).

Все три сказки впервые были напечатаны (в переводе на еврейский язык) в сборнике: «Гилф». Литературный сборник, Варшава, изд-во «Тушия», 1903. На русском языке «Ассирийский царь Асархадон» появился в издательстве «Посредник», М. 1903. «Мысль сказки «Царь Асархадон», — писал Толстой Шолом-Алейхему, — принадлежит не мне, а взята мною из сказки неизвестного автора, напечатанной в немецком журнале «Theosophischer Wegweiser», в 5-м № 1903 года под заглавием «Das bist du» (т. 74, стр. 167).

«Хаджи-Мурат». Повесть «Хаджи-Мурат» Толстой начал писать в 1896 году. Первоначальную редакцию — небольшой набросок из 4-х сцен под названием «Репей» — отделяют от окончательного текста десять редакций с многочисленными вариантами. Несколько раз менялась композиция повести, выбрасыва-

лись целые эпизоды и сцены, вводились новые, расширялся состав действующих лиц, изменялся замысел.

Расширение замысла, введение новых глав сочеталось со стремлением к сжатости, лаконизму в изложении, к сокращению уже написанного текста. Толстой пробовал писать в автобиографической форме, как рассказ от первого лица («Воспоминания старого военного»). Но впоследствии эта форма отпала, по-видимому, потому, что она сковывала замысел писателя. Широкие обличительные контрасты (от дворцов Николая I, Воронцова, Шамиля до крестьянской избы Авдеевых и сакли Садо) не укладывались в рассказ свидетеля, недоступен ему был и внутренний мир главного героя — Хаджи-Мурата.

Работа Толстого над повестью шла неравномерно. Периоды подъема и увлечения замыслом сменялись охлаждением (бывали моменты, когда «Хаджи-Мурат» казался Толстому «самой неинтересной» вещью). Но потом он снова весь уходил в работу над «кавказской историей», откладывая и забывая на время свои религиозно-метафизические писания. Именно о таком периоде Сухотин писал в дневнике 27 октября 1903 года: «Горячо и много пишет. Как-то меньше его интересуют религиозные вопросы. Все больше и больше захватывают его заброшенные им на время интересы художественные» («Литературное наследство», т. 69, кн. 2, М. 1961, стр. 175).

К январю 1905 года относится последний отрывок с рассказом о жизни Хаджи-Мурата, продиктованный Толстым Софье Андреевне. После этого Толстой не возвращался к работе над повестью. Впервые в печати она появилась в «Посмертных художественных произведениях Л. Н. Толстого», том III, М. 1912, — с большими цензурными пропусками: была сильно сокращена глава о Николае I, почти целиком выпущена глава XVII о разоренном ауле. Полностью без цензурных пропусков текст «Хаджи-Мурата» был напечатан Чертковым в том же 1912 году в третьем томе берлинского издания «Посмертных художественных произведений Л. Н. Толстого».

О том, на каком материале создавалась повесть, Толстой пишет в прологе к «Хаджи-Мурату»: «...мне вспомнилась одна давнишняя кавказская история, часть которой я видел, часть слышал от очевидцев, а часть вообразил себе». К этому следует добавить, что работа над «Хаджи-Муратом» все время сопровождалась изучением огромного количества исторических документов, печатных и архивных источников: Толстой читал записки

историка кавказских войн А. Л. Зиссермана «Двадцать пять лет на Кавказе» (Спб. 1879, ч. I и II) и «Хаджи-Мурат. Письма о нем кн. М. С. Воронцова и рассказы кавказцев. 1851—1852» («Русская старина», 1881, № 3); А. П. Андреева «По дебрям Дагестана» («Исторический вестник», 1899, № 10); Е. А. Вердеревского «Плен у Шамиля» (Спб. 1856); «Сборник сведений о кавказских горцах» (вып. I—X, Тифлис. 1869—1881); исторические материалы к эпохам Александра I и Николая I («Русская старина», 1883, № 12) и многие другие материалы (см. т. 35, стр. 631—633 — список источников).

Большинство персонажей «Хаджи-Мурата», не говоря уже о самом Хаджи-Мурате, Николае I, Воронцове, Шамиле, — действительно существовавшие лица: генералы русской армии (В. М. Козловский, 1796—1873; П. П. Меллер-Закомельский, 1806—1869; Н. П. Слепцов, 1815—1851), окружение Николая I (военный министр А. И. Чернышев, 1786—1857; генерал-губернатор Западного края, затем министр внутренних дел Д. Г. Бибиков, 1792—1870; министр двора П. М. Волконский и т. д.), окружение Шамиля (наставник Шамиля Джемал-Эдин, Зайдет, Аминет), лица, присутствовавшие на обеде князя Воронцова (генерал-штаб-доктор кавказского наместничества Э. С. Андреевский; грузинская княжна Манана Орбелиани; графиня В. Г. Шуазэль, жена адъютанта М. С. Воронцова) и т. д.

Стр. 29. ...к русскому начальнику, к Воронцову, князю. — Воронцов Семен Михайлович (1823—1882) — сын наместника Кавказа М. С. Воронцова, флигель-адъютант, командир Куринского егерского полка.

Стр. 36. ...ротный командир Полторацкий... — Полторацкий Владимир Алексеевич (1828—1889) — подпоручик. Его «Воспоминания», опубликованные в «Историческом вестнике» (1893 и 1895 гг., тт. LI—LIV, LIX—LXI), Толстой использовал, работая над «Хаджи-Муратом».

Стр. 62. Воронцов Михаил Семенович (1782—1856) — с 1844 по 1856 год наместник Кавказа, пользовавшийся неограниченной властью. Ранее был губернатором Новороссии. Пушкин заклеил его в ряде эпиграмм, из которых самая известная:

Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда,
Что будет полным, наконец.

В работе над образом Воронцова Толстой использовал его переписку с А. П. Ермоловым («Русский архив», 1890, кн. I, № 2, 3, 4), «Биографию генерал-фельдмаршала князя Михаила Семеновича Воронцова» (Спб. 1858), составленную М. П. Щербининым, и книгу В. В. Огаркова «Воронцовы» (Спб. 1892).

Стр. 66. *Мюрат* Иоахим (1771—1815) — маршал Наполеона.

Стр. 68. *Клюки-фон-Клюгенау* Франц Карлович (1791—1851) — генерал-лейтенант, командовал войсками в Северном Дагестане. Среди материалов, прочитанных Толстым при работе над «Хаджи-Муратом», есть и записки Кюгенау («Русская старина», 1876, № 6), а также его переписка с Хаджи-Муратом (документы «Военно-исторического отдела штаба Кавказского округа»).

Стр. 71. *Лорис-Меликов* Михаил Тариелович (1825—1888) — адъютант М. С. Воронцова, впоследствии крупный русский государственный деятель, министр внутренних дел. В гл. XI и XIII Толстой использует, художественно переработав, действительно записанный Лорис-Меликовым рассказ Хаджи-Мурата о его жизни («Русская старина», 1881, № 3).

Стр. 73. *Кази-Мулла* (1794—1832) — первый имам Чечни и Дагестана, объявивший казават (священную войну мусульман против «неверных»). В 1832 году был окружен в Гимрах войсками под командованием барона Розена и убит. После него имамом стал Гамзат-Бек (1789—1834), пытавшийся покорить Аварию, прервать ее сношения с русскими и поднять на священную войну. В августе 1834 года он осадил Хунзах, заманил к себе сыновей ханши Паху-Бике и велел убить их. Но вскоре сам был убит сторонниками аварского ханского дома. Третьим имамом был Шамиль (1798—1871).

Стр. 77. *Мансур* Хасс Мохамед — мусульманский проповедник на Кавказе.

Стр. 85. ...*Воронцов писал следующее военному министру Чернышеву.* — Толстой приводит в переводе с французского подлинное письмо М. С. Воронцова.

Стр. 90. ...*Захара Чернышева...* — Чернышев Захар Григорьевич (1797—1862), граф, декабрист, член Северного тайного общества. В событиях 14 декабря 1825 года непосредственно не участвовал. Был приговорен к четырем годам каторги и затем к ссылке на поселение. Многие современники были уверены, что этот суровый судебный приговор явился результатом интриги

А. И. Чернышева, ближайшего помощника Николая I по ликвидации заговора декабристов. А. И. Чернышев, однофамилец осужденного в каторжные работы Захара Чернышева, пытался завладеть его наследством. Декабрист И. Д. Якушкин писал в воспоминаниях: «Граф Чернышев, отданный под суд, содержась в крепости и ни разу не быв призван в комитет, даже не получив ни одного письменного запроса, был приговорен в каторжную работу. Он со временем должен был получить в наследство довольно значительный майорат, установленный в их роде. Граф Чернышев был единственный сын, и после лишения его всех прав и состояния мужская линия прекратилась в их семействе, и генерал Чернышев, так усердно действовавший в комитете, воспользовался таким обстоятельством, предъявил свои требования на получение майората» («Записки, статьи, письма И. Д. Якушкина». АН СССР, М. 1951, стр. 110—111).

Стр. 96. ...*план Ермолова*... — Ермолов Алексей Петрович (1777—1861) — генерал, с 1817 по 1827 год главноуправляющий в Грузии, «проконсул Кавказа»; был в оппозиции к режиму Александра I. Недовольный «медлительностью» Ермолова в войне с Персией, его планом затяжных военных действий, Николай I фактически отстранил его от командования.

Стр. 124. *Барятинский Александр Иванович (1814—1879)*, князь, генерал, один из главных деятелей кавказской войны; с 1856 года — наместник Кавказа. Служа на Кавказе, Л. Толстой неоднократно встречался с ним и изобразил его в рассказе «Набег». Кроме личных воспоминаний, некоторые сведения были почерпнуты Толстым из записок А. Л. Зиссермана: «Фельдмаршал князь А. И. Барятинский» (М. 1889—1891, т. I—III) и «История 80-го пехотного Кабардинского генерал-фельдмаршала князя Барятинского полка» (Спб. 1881, т. I—III).

Стр. 144. *Карганов Иосиф Иванович* — уездный воинский начальник г. Нухи. В его доме перед побегом жил Хаджи-Мурат. Известно письмо Толстого к его вдове А. А. Каргановой с просьбой сообщить все, что она помнит о Хаджи-Мурате, о его бегстве и трагическом конце. Толстого интересовало все до малейших подробностей: говорил ли Хаджи-Мурат хоть немного по-русски, чьи были лошади, на которых он хотел бежать, заметно ли он хромал, какие были мюриды, бежавшие с Хаджи-Муратом и т. д. (см. т. 74, стр. 10). Толстой воспользовался воспоминаниями А. А. Каргановой и ее сына, присланными в Ясную Поляну.

«Фальшивый купон». Предположительно, работа над «Фальшивым купоном» была начата еще в конце 1880-х годов и продолжалась с перерывами до февраля 1904 года. «Непротивление злу, — записано в дневнике писателя 12 июня 1898 года в связи с работой над «Купоном», — не только потому важно, что человеку должно для себя, для достижения совершенства любви, поступать так, но еще и потому, что только одно непротивление прекращает зло, поглощая его в себе, нейтрализует его, не позволяет ему идти дальше, как оно неизбежно идет, как передача движения упругими шарами, если только нет той силы, которая поглощает его. Деятельное христианство не в том, чтобы делать, творить христианство, а в том, чтобы поглощать зло. Рассказ «Купон» очень хочется дописать» (т. 53, стр. 197).

Судя по дневниковой записи от 14 ноября 1897 года, Толстой воспринимал некоторые стороны замысла «Фальшивого купона» как своеобразное дополнение к «Хаджи-Мурату»: «Думал в pendant к «Хаджи-Мурату» написать другого русского разбойника Григория Николаева, чтоб он видел всю незаконность жизни богатых, жил бы яблочным сторожем в богатей усадьбе с lawn-tennis'ом» (т. 53, стр. 161).

Впервые «Фальшивый купон» был напечатан в «Посмертных художественных произведениях Л. Н. Толстого», т. I, М. 1911. В этом издании были сделаны некоторые цензурные пропуски в тех местах, где речь шла о царе, «начальстве» и церкви. Полностью текст рассказа был опубликован в первом томе «Посмертных художественных произведений Л. Н. Толстого» в издании «Свободного слова», Берлин, 1911.

«Алеша Горшок». Рассказ был написан в конце февраля 1905 года. Судя по единственной записи в дневнике, Толстому он не понравился: «Писал Алешу, совсем плохо. Бросил» (т. 55, стр. 125).

Впервые «Алеша Горшок» был напечатан в «Посмертных художественных произведениях Л. Н. Толстого», т. 1, М. 1911.

«Корней Васильев». Рассказ был написан Толстым для «Круга чтения» в 1905 году. Историю «ушедшего странствовать от жены», ставшую основой рассказа, Толстой слышал еще в 1879 году от сказителя В. П. Щеголенка. С тех пор у него не раз являлось желание обработать этот сюжет «как дол-

жно». В феврале 1905 года Толстой приступил к писанию, в мае после многих переделок «Корней Васильев» был закончен. Но исправления продолжались и в корректуре. Впервые рассказ был напечатан в изданном «Посредником» «Круге чтения», т. I, М. 1906.

«Ягоды». Судя по записи в дневнике Толстого, рассказ был написан им в два дня — 10 и 11 июня 1905 года: «Написал в два дня рассказ «Ягоды». Не дурно» (т. 55, стр. 146). Впервые он был напечатан в «Круге чтения», т. I, М. 1906.

«За что?» Сюжет рассказа «За что?» (первоначальное название его — «Непоправимо») возник у Толстого в процессе чтения книги С. В. Максимова «Сибирь и каторга»: там в разделе о политических ссыльных повествуется о трагической судьбе ссыльного поляка Мигурского и его жены Альбины. В записках Д. П. Маковицкого, хранящихся в Музее Л. Н. Толстого, передан разговор Толстого с С. А. Стахович об этой книге (запись от 1 февраля 1906 г.): «Читали вы Максимова знаменитую книгу «Сибирь и каторга»?... Историческое описание ссылки и каторги до нового времени. Прочтите. Какие люди ужасы делают! Животные не могут этого делать, что правительство делает». Новый сюжет увлек Толстого не только потому, что его разработка представляет несомненный интерес для писателя, но и потому, что Толстой откровенно сочувствовал польскому национально-освободительному движению: «Во мне в детстве развивали ненависть к полякам, — воспроизводит слова Толстого Н. Н. Гусев в книге «Два года с Л. Н. Толстым» (М. 1928, стр. 185). — И теперь я отношусь к ним с особенной нежностью, оплачиваю за прежнюю ненависть».

Для работы над рассказом Толстому нужны были книги по истории польского восстания 1830—1831 годов. С этой просьбой через Д. П. Маковицкого он обратился к Бодуэну де Куртенэ, профессору Петербургского университета, и В. В. Стасову. Когда книги были получены, Толстой погрузился в чтение их, особенно стараясь уяснить «польскую точку зрения» на восстание 1831 года. «Надо прочесть много книг, — говорил он, — чтобы написать пять строк, разбросанных по всему рассказу» (Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки, Запись 16 марта 1906 г.).

Работа над рассказом протекала в январе — апреле 1906 года.

Впервые он был опубликован в «Круге чтения», том II, М. 1906. Толстому хотелось, чтобы рассказ вышел и в польских изданиях, о чем он писал польскому журналисту А. Врублевскому 3 июля 1908 года. «Я давно уже предоставил всем право перепечатки и переводов всех моих сочинений с 1881 года. Помещение же моих писаний в вашем и вообще в польских изданиях мне особенно приятно. Может быть, некоторые из моих писаний, как рассказ «За что?», письмо к Сенкевичу, а также только что законченная мной статья «Закон насилия и закон любви», посвященная, между прочим, вопросу об угнетении мелких народностей, могли бы представлять интерес для польской публики. Все они к вашим услугам» (т. 78, стр. 174). В 1907 году рассказ «За что?» был издан в Варшаве — «*Za co?*». *Opowiadanie z czasów powstania polskiego w r. 1830/1. Warszawa, 1907.*

Стр. 249. *...времен второго раздела Польши.* — Второй раздел Польши (Речи Посполитой) между Пруссией и Россией произошел в 1793 году и вызвал в стране подъем национально-освободительного движения. В марте 1794 года оно вылилось в восстание, во главе которого встал Т. Костюшко. Однако восстание вскоре было подавлено.

Открытие сейма в Варшаве Александром I... Священный Союз... — 27 ноября 1815 года Александр I подписал конституцию Королевства Польского, провозгласившую формальное равенство всего населения перед законом, свободу печати и вероисповедания. По этой конституции Королевство Польское имело двухпалатный сейм и свое собственное правительство во главе с наместником — генералом Зайончеком. Фактическим наместником-диктатором стал великий князь Константин Павлович, которому конституция представлялась «кодексом анархии». В ноябре же 1815 года Александр I вместе с прусским королем и австрийским императором подписал договор об организации «Священного Союза», возглавившего международную реакцию.

Стр. 252. *...известие о парижской революции... бегстве Константина Павловича...* — Июльская революция 1830 года во Франции и сентябрьская революция 1830 года в Бельгии послужили толчком к вооруженному восстанию в Польше (1830—1831). 17 ноября 1830 года восставшие напали на дворец (бельведер) Константина, и он бежал из Польши.

«Божеское и человеческое». Как часто бывало у Толстого, замысел рассказа и начало работы над ним отделены большим отрезком времени. Еще в 1897 году в дневнике писателя есть упоминание о сюжете «Казнь в Одессе». Однако к писанию рассказа на этот сюжет Толстой приступил лишь в 1903 году. Его привлек облик революционера-народника Лизогуба, обвиненного в подготовке покушения на Александра II и вместе с Чубаровым и Давиденко повешенного 8 августа 1879 года в Одессе. Лизогуб стал прототипом основного героя рассказа — Светлогуба. Сведения о нем Толстой нашел в его биографиях: одна из них написана Степняком-Кравчинским (напечатана в книге «Подпольная Россия»), вторая, видимо, кем-то из друзей Лизогуба. В облике другого персонажа рассказа — Меженецкого, — есть некоторые черты известного революционера Германа Лопатина, о котором Толстой рассказывал Горькому при встрече в Гаспре в 1901 году. М. С. Сухотин, присутствовавший при этой беседе, так передает рассказ Толстого: «Теперь он (Г. Лопатин) сидит в Шлиссельбурге. Раньше его сажали и выпускали. Он рассказывал Л. Н., как он приспособил свое воображение к тому, чтобы выносить одиночное заключение. Он мысленно переносил себя, куда ему вздумается. Например, он идет по такой-то улице, смотрит на магазины, на людей, входит в такой-то дом, подымается по лестнице, входит к приятелю, говорит то-то, ему отвечают и т. д. и т. д. Время проходит незаметно, и при этом он управляет воображением, а не воображение им, что бывает со многими заключенными, доходящими до галлюцинаций» («Литературное наследство», т. 69, кн. 2, М. 1961, стр. 156). При чтении этих строк вспоминается одна из сцен «Божеского и человеческого» — Меженецкий в одиночном заключении (гл. X).

В 1902 году П. А. Буланже прислал Толстому рассказ о революционере-народовольце Тригони. В этом году после 20 лет заключения в Шлиссельбурге Тригони высылали на Сахалин; некоторым из его почитателей удалось повидаться с ним и записать с его слов небольшой рассказ, дополняя его собственными впечатлениями: «Сам Тригони выглядит страшно измученным, видно, что тюрьма иссушила его до последней степени. Зато бодрость духа чисто юношеская. Несмотря на глубокую седину, на изможденное тело, от всей фигуры и от каждого движения веет молодостью и жизнью. Живые глаза так и горят от сообщения ему тех или других новостей из современной жизни. Сразу заме-

чается, что непоколебимая вера в успех того дела, за которое он отдал жизнь, ни на минуту не покинет его до самой смерти» («Литературное наследство», т. 69, кн. 2, М. 1961, стр. 171; ср.: «Меженецкий отбыл одиночное заключение в Петропавловской крепости и пересылался на каторгу. Он много перенес за эти семь лет, но направление его мыслей не изменилось, и энергия не ослабела» — «Божеское и человеческое» — гл. IX).

Несомненно, этот рассказ о Тригони дал Толстому материал для осуществления его художественного замысла, так же как и рассказ шлиссельбуржца И. П. Ювачева (Миролюбова), побывавшего у Толстого в Ясной Поляне в ноябре 1905 года.

Однако Светлогуб и Меженецкий — это художественные образы, не повторяющие своих прототипов, многим отличающиеся от них.

Над рассказом Толстой работал много и с увлечением. 23 февраля 1904 года он записал в дневнике: «Хочется написать продолжение «Божеского и человеческого», и мне очень нравится» (т. 55, стр. 14). Но чем ближе к завершению подходила работа, тем больше недостатков обнаруживал Толстой, и брался снова за переделку.

В процессе писания возникло и потом отпало другое название повести — «Еще три смерти» (смерть Лизогуба, Меженецкого и старика раскольника), — перекликающееся с названием рассказа 1857—1859 годов «Три смерти».

В конце ноября 1905 года в повести были сделаны Толстым последние исправления. Впервые она была напечатана во втором томе «Круга чтения», вышедшем в 1906 году в издательстве «Посредник».

Стр. 304. *...террор и все убийства... самого Александра II...* — Речь идет о террористической деятельности «Земли и воли» и «Народной воли» в 70—80-х годах. В 1878 году С. М. Степняк-Кравчинский убил шефа жандармов Н. В. Мезенцева. В 1879 году народовольцами был убит харьковский губернатор Д. Н. Крапоткин, а 1 марта 1881 года — Александр II.

Стр. 309. *...Халтурин, Кибальчич, Перовская...* — С. Н. Халтурин — один из руководителей «Северного Союза русских рабочих» (1878—1879), сблизившийся в 1879 году с «Народной волей». В 1880 году им был произведен взрыв в Зимнем дворце. Н. И. Кибальчич, С. Л. Перовская и другие видные деятели

организации «Народная воля» принимали участие в подготовке покушения на Александра II. Они были казнены 3 апреля 1881 года.

«Что я видел во сне...» Рассказ написан в ноябре 1906 года. Видимо, в основу его замысла легло событие из жизни Сергея Николаевича Толстого, брата писателя, и его дочери. Это предположение возникает при чтении некоторых записей в дневнике Толстого; оно подтверждается и воспоминаниями Х. Н. Абрикосова — «Двенадцать лет около Толстого» («Летописи Государственного литературного музея. Л. Н. Толстой», т. II, кн. 12, М. 1948). Но Толстого занимали не подробности изображения этого частного случая, а возникавшие в связи с ним общие психологические проблемы. Впервые рассказ был напечатан в «Посмертных художественных произведениях Л. Н. Толстого», т. I, М. 1911.

«Бедные люди». Рассказ «Бедные люди» — переложение стихотворения В. Гюго «Les pauvres gens». В 1904 году в издании «Посредник» вышел принадлежавший Л. И. Веселитской (В. Микулич) прозаический перевод этого стихотворения Гюго. В 1905 году Толстой внес в него ряд исправлений и включил в «Круг чтения» (т. I, М. 1906), а в 1908 году снова переработал для второго издания «Круга чтения». Он считал это стихотворение «образцом высшего, вытекающего из любви к богу и ближнему, религиозного искусства» (т. 30, стр. 160) и потому в прозаическом его переложении стремился быть ближе к подлиннику: «Это такая классическая вещь, что портить ее грех», — писал Толстой И. И. Горбунову-Посадову 4 марта 1905 года (т. 75, стр. 229).

«Сила детства». 19 апреля 1908 года Толстой прочитал этот рассказ в фонограф, переложив и художественно переработав стихотворение В. Гюго «La guerre civile» («Гражданская война»).

Рассказ был перепечатан на машинке, и Толстой продолжил работу над ним (апрель — май 1908 г.). Впервые напечатан он был во 2-м издании «Круга чтения», т. 3, М. 1912.

«Волк». Эту сказку Толстой сочинил для своих внуков, детей Михаила Львовича, гостивших в Ясной Поляне. Она была

продиктована Толстым в фонограф около 19 июля 1908 года. Впервые напечатана в журнале «Маяк» (изд. «Посредник»), М. 1909, № I.

«Разговор с прохожим». Поводом к написанию очерка послужила встреча Толстого с «калуцким мужичком» близ Крекшина, где Толстой гостил у Чертковых в сентябре 1909 года. В дневнике Толстого есть запись: «Рано вышел. На душе очень хорошо. Все умиляло. Встреча с калуцким мужичком. Записал отдельно. Кажется, трогательно только для меня» (т. 57, стр. 135). 21 сентября работа над очерком была завершена. Впервые напечатан он был в «Юбилейном сборнике Литературного фонда», СПб. 1910.

«Проезжий и крестьянин». В основе очерка «Проезжий и крестьянин» — так же как и очерка «Разговор с прохожим» — действительные эпизоды, встречи и беседы Толстого с крестьянами. Несмотря на небольшие размеры очерка, Толстой немало работал над ним, изменяя построение и состав действующих лиц. Первая запись разговора была сделана Толстым 11 сентября 1909 года в Крекшине у Чертковых. Последнее исправление было внесено 22 октября.

При жизни Толстого очерк не появился в печати. Первая его публикация — в 1917 году в газете «Утро России», № 116 от 10 мая.

«Песни на деревне». Над очерком «Песни на деревне» (первоначальное название «Рекруты») Толстой работал 5—8 ноября 1909 года. В нем он передал свои впечатления от проводов 22 октября 1909 года яснополянских рекрутов. Завершив работу над очерком, Толстой передал его в «Юбилейный сборник Литературного фонда», СПб. 1910, где он и был впервые напечатан.

«Три дня в деревне». «Три дня в деревне» состоит из четырех очерков: 1) «Первый день. Бродячие люди», 2) «Второй день. Живущие и умирающие». 3) «Третий день. Подати», — как заключение Толстой присоединил к ним очерк «Сон». Сначала Толстой работал над одной «картинкой» из жизни — «Бродячие люди», которая была начата 14 ноября 1909 года. Но уже к 1 декабря оформился замысел описания «Трех дней в

деревне». В его основе — непосредственные впечатления Толстого от деревни, от встреч с крестьянами, в чем особенно убеждают сопоставления первоначальных набросков очерков с дневниковыми записями. В дневнике Толстого есть такие строки: «Ездил с Душаном в Кральцово. Застал в избушке на печи хозяина старика в агонии» (29 ноября 1909 г.); «Ходил утром к Курносенковой, заходил и к Шинтякову. Положение голопузых у Курносенковой ужасно. Очень хочется написать «Три дня в деревне» (1 декабря); «Ходил по деревне. У Морозова — 8 сирот, больная старуха» (6 декабря) и т. д. Все эти записи перекликаются с соответствующими местами очерков, в которых первоначально даже оставлены были без изменения имена знакомых Толстому крестьян. Но в процессе многочисленных переработок очерки приобретали все большую и большую степень обобщения. Менялись и названия их: «Нищенство и народ», «Бродяги», «Надо что-нибудь сделать», — и окончательно — «Бродячие люди»; «Беднота», «Народная беднота», окончательно — «Живущие и умирающие».

К 14 января 1910 года работа над циклом «Три дня в деревне» была в основном завершена. Толстой писал в этот день Черткову: «Работы свои, кажется, очень неудачные, я кончил — рад, что развязался с ними. Вы виновны в том, что они в более или менее художественной форме. Все это вместе должно составить одно целое. И как это ни плохо каждое отдельно, вместе это может быть полезно» (т. 89, стр. 168).

Чертков посоветовал Толстому напечатать «Три дня в деревне» в «Вестнике Европы», наименее стесненном цензурой. Толстой согласился, и очерки появились в сентябрьской книжке журнала.

Из цензурных соображений были сделаны два небольших пропуска в третьем очерке «Подати», а вместо очерка «Сон» было дано сжатое изложение основных его мыслей. Когда в сентябре того же года два московских издательства перепечатали очерки из «Вестника Европы» отдельными брошюрами, Московский комитет по делам печати принял решение наложить на них арест, а Московская судебная палата постановила «уничтожить» их «во всем количестве издания», так как в очерках «заключаются суждения, возбуждающие классовую вражду и вызывающие враждебное отношение к правительству» (т. 38, стр. 474),

Стр. 355. *Генри Джордж* (1839—1897) — американский экономист, автор работ «Прогресс и бедность», «Что такое единый налог и почему мы его добиваемся?» и др. Г. Джордж полагал, что высокий налог на частную земельную собственность может разрешить земельный вопрос, положить конец обнищанию масс в буржуазном обществе. Толстой принимал экономические идеи Генри Джорджа и проповедовал введение единого земельного налога в России.

«Ходынка». О теме рассказа «Ходынка» Толстой говорил: «...она мне очень интересна. Психология этого события (катастрофа на Ходынском поле 18 мая 1896 года в день коронации Николая II) такая сложная. Обезумевшая толпа, дети, спасающиеся по головам и по плечам; купец Морозов, выкрикивающий, что он заплатит восемнадцать тысяч за его спасение. И почему именно восемнадцать тысяч? А главное, эта смена: сначала у всех веселое, праздничное настроение, а потом — эта трагедия, эти раздавленные тела... Ужасно!» (В. Булгаков, Л. Н. Толстой в последний год его жизни, М. 1960, стр. 104).

Упоминание об этой катастрофе есть в дневнике Толстого 1896 г.: «Страшное событие в Москве, гибель 3000» (т. 53, стр. 96). Но замысел художественного произведения с откликом на «страшное событие в Москве» в то время еще не оформился.

В 1909 году в периодике стали появляться статьи о Ходынке. В. Ф. Краснов прислал Толстому рукопись под названием: «Ходынка. Рассказ не до смерти растоптанного», к которому писатель отнесся с большим вниманием. В ответных письмах Толстой обстоятельно изложил свои критические замечания, и когда рассказ был переработан Красновым, опубликовал его в журнале «Русское богатство» (1910, № 8). Все это вновь пробудило в Толстом интерес к теме. Он читает статьи о Ходынке, слушает рассказы очевидцев (слуги в доме Толстых И. В. Сидорова и знакомой Толстого Е. В. Молоствовой), делает в записной книжке набросок плана: «1) Крики. 2) Оборванцы на палатках кричат: не ходите. 3) Поднимают детей по головам. 4) Около вала на обе стороны раздавленные. 5) В Петровском парке палаточники. 6) Народ бежит. 7) Казаки бьют. 8) Артельщица раздавленная. 9) Полиция тоже. 10) Бросали гостинцы в народ» (т. 58, стр. 179),

Рассказ был написан за один день 25 февраля 1910 года. Но Толстому он не понравился надуманностью взаимоотношений двух центральных персонажей: княжны и мастерового. «Стыдно лгать, — отзывался он о рассказе. — Крестьянин, если прочтет, спросит: «Это точно так все было?» (А. Б. Гольденвейзер, Вблизи Толстого, М. 1923, т. II, стр. 7). Толстой даже не дал рассказ переписывать и больше не возвращался к работе над ним. Впервые он был напечатан в «Посмертных художественных произведениях Л. Н. Толстого», т. III, М. 1912.

[«Нечаянно»]. В дневнике секретаря Толстого В. Булгакова имеется запись (20 июня 1910 г.): «С утра Лев Николаевич очень веселый и оживленный. Усиленно пишет. Александра Львовна вошла на цыпочках, положила для поправок на стол вновь переписанное письмо славянскому съезду. Он — ни звука. Пишет сам на листках бумаги. Потом приходит к ней на балкон, вручает рукопись — оказывается, написал рассказ под названием «Нечаянно» (В. Булгаков, Л. Н. Толстой в последний год его жизни, М. 1960, стр. 266). Вечером того же дня Толстой читал свой новый рассказ вслух. «Но он был еще так захвачен тем чувством, которое побудило его написать эту вещь, — вспоминал Чертков, — что от волнения и слез не мог продолжать чтение и передал рукопись Булгакову», который и дочитал ее («Речь», № 87 от 30 марта 1911 года).

Название рассказа условно: оно было дано позднее — не Толстым. Толстой предполагал писать его для серии диалогов «Детская мудрость». «В Детскую мудрость, — записывает он в дневнике 5 июня 1910 года, — как нечаянно пирожное съел и не знал, что делать, и как научила покаяться» (т. 58, стр. 61).

В печати рассказ появился уже после смерти писателя — в упомянутом выше номере газеты «Речь».

«Благодарная почва». В очерке «Благодарная почва» Толстой рассказал о действительном эпизоде — своей встрече и беседе с молодым крестьянином. Об этом он писал в дневнике: «Продиктовал свою встречу с Александром, как он сразу обещал не пить» (т. 58, стр. 68). Очерк был продиктован Толстым А. Л. Толстой 21 июня 1910 года в Мещерском у Чертковых. Затем Толстой дважды обращался к тексту этой стенографической записи и вносил в нее исправления. Под заглавием «Из дневника» очерк появился 14 июля 1910 года в газете «Речь»,

«Русские ведомости», «Утро России». 15 июля Толстой написал заключение к нему. Оно появилось 27 июля в газетах («Речь», № 203; «Русские ведомости», № 171) вместе с сопроводительным письмом В. Г. Черткова. Под заглавием «Благодарная почва (Из дневника)» рассказ вышел отдельной книгой в том же 1910 году в изд. «Посредника».

«Посмертные записки старца Федора Кузмича...» Мысль писать повесть о Федоре Кузмиче — Александре I возникла у Толстого еще в 1890 году. В последующие годы этот замысел неоднократно упоминался в дневниках Толстого среди тем и сюжетов, интересовавших его. Непосредственно работе над повестью (ноябрь — декабрь 1905 г.) предшествовало чтение исторических материалов об Александре I. Сохранился составленный Толстым конспект сочинений историка Н. К. Шильдера об Александре I. Некоторые эпизоды из царствования Александра I рассказывал Толстому в апреле 1904 года А. Ф. Кони, который слышал их от того же Шильдера (эпизоды эти не были включены в книгу Шильдером из опасения, что она не будет из-за них напечатана).

«Посмертные записки старца Федора Кузмича» остались незаконченными. «...как его ни пленяла эта благодарная для романиста тема, — свидетельствует М. С. Сухотин, наблюдавший за процессом работы Толстого над «Записками», — ему пришлось от нее отказаться вследствие ее исторической неправдоподобности» («Литературное наследство», т. 69, кн. 2, М. 1961, стр. 164). Впервые это произведение было напечатано в изданных «Свободным словом» «Посмертных художественных произведениях Толстого», т. 3, Берлин, 1912. Когда в феврале 1912 года оно было опубликовано с рядом купюр в журнале «Русское богатство», номер журнала был задержан цензурой, а редактор В. Г. Короленко предан суду. Впервые полностью в России «Посмертные записки старца Федора Кузмича» опубликованы в 1918 году в Москве.

Стр. 395. ...как я сказал это *madame Staël*. — Источником сведений о беседах Александра I с m-me де Сталь (*Staël*, 1766—1817, французская писательница, находившаяся в оппозиции к диктатуре Наполеона) послужила Толстому книга Н. К. Шильдера «Император Александр I, его жизнь и царствование».

В этой книге, которую Толстой читал и конспектировал в период работы над «Записками старца Федора Кузмича», приведены отрывки из мемуаров m-me де Сталь, в том числе и те слова Александра I о «счастливой случайности», которые Толстой использовал в повести: «Государь, — сказала я ему, — ваш характер является конституцией для вашей империи, а ваша совесть служит гарантией этого». — «Если бы это и было так, — ответил он, — я был бы не чем иным, как счастливой случайностью» (т. III, 1905, изд. II, СПб. стр. 96). См. также *Memoires de madame de Staël (Dix années d'exil)*, Paris, 1861, p. 442; Paris, 1904, p. 337.

Стр. 395. ...то православному богу с Фотием... то протестантскому с Парротом, то иллюминатскому с Крюденер... — Дружба Александра I с Парротом (1767—1852), профессором Дерптского университета, относится к началу его царствования (1802—1814). Паррот пытался играть роль советчика Александра I и в политике, и в «сердечных вопросах». Охлаждение к Парроту совпадает со временем знакомства Александра I с баронессой Крюденер (Варвара-Юлия, 1764—1824), примкнувшей к иллюминатству (разновидность масонства), вступившей на путь «мистического пиетизма». Ее социальные проповеди о том, что не должно быть ни богатых, ни бедных, ибо всякая собственность «считается воровством у бога», «что скоро наступит царство бедных» и т. д. — вызвали на нее гонение в Европе. В 1818 году она приехала в Россию. Расхождение Крюденер с Александром I в греческом вопросе, ее попытка оправдать греческое восстание привели к разрыву их отношений. К этому времени (начало 20-х гг.) усилилось влияние на Александра архимандрита Фотия (1792—1838), обличителя модного в то время мистического направления в русской церкви, масонов и иллюминатов.

Исторические сведения об отношении Александра I к Парроту, Крюденер, Фотию Толстой также почерпнул из книги Шильдера «Император Александр I, его жизнь и царствование».

Стр. 398. ...доклад от Волконского... Дибич... — П. М. Волконский (1776—1852) и И. И. Дибич (1785—1831) сопровождали Александра I в его поездке в Таганрог. Волконский был начальником главного штаба до 1823 года. Затем исполнение его должности было поручено Дибичу. Как начальник главного штаба Дибич еще до восстания располагал сведениями о членах тайных обществ декабристов, многие из которых находились во

2-й армии, о чем он докладывал Александру I. После смерти Александра I Дибичем был составлен рапорт на имя Николая I о готовящемся заговоре.

Стр. 403. *...время моей первой дружбы с Чарторижским...* — Начало дружбы Александра I с Адамом Чарторижским (1770—1861), высланным в качестве заложника ко двору Екатерины II после подавления восстания Костюшки, относится к 1795—1796 годам. Как пишет Шильдер, они мечтали тогда о либеральных преобразованиях, о том, чтобы обуздать деспотизм.

«Воспоминания». В 1902 году биограф Толстого П. И. Бирюков обратился к нему с просьбой сообщить некоторые факты своей биографии. Это пробудило в Толстом желание написать воспоминания, рассказать о себе «по всей правде», отразив и «хорошие» и «дурные» периоды жизни, «из каждого возраста написать сцены, события, душевные состояния самые характерные» (т. 55, стр. 175). 14 декабря 1902 года он составил конспект воспоминаний, а в январе 1903 года начал писать их. В памяти возникали яркие, живые картины прошлого: «Чем старше я становлюсь, — читаем в дневнике Толстого, — тем воспоминания мои становятся живее» (т. 55, стр. 145).

Но работа над воспоминаниями шла неравномерно. В дневнике этого времени наряду с записями, свидетельствующими о несомненном интересе писателя к замыслу («За это время больше всего был занят своими воспоминаниями»; «Очень стал живо вспоминать» — т. 54, стр. 154; т. 55, стр. 103) — есть и противоположные им («...хотел продолжать воспоминания, но не мог, не берет»; «Немного написал воспоминания, но, к сожалению, не продолжал. Нет охоты» — т. 54, стр. 177, 200).

«Воспоминания» остались незаконченными. В конце 1906 года работа над ними обрывается. В этом же году они были опубликованы П. И. Бирюковым в I-м томе «Биографии Л. Н. Толстого» (изд. «Посредник») отдельными частями в составе соответствующих им по содержанию и времени глав.

«Нет в мире виноватых». Писать «Нет в мире виноватых» Толстой начал в 1908 году. Произведение осталось незаконченным. Были созданы три редакции начала рассказа, совершенно отличные друг от друга. Основная цель этого замысла, — как представлял ее себе Толстой, — «заглянуть в душу людскую», и за осуществление его писатель принялся с большим

интересом. 10 мая 1910 года Толстой пометил в дневнике, что у него сложилось «ясное представление о том, как должно образоваться сочинение: «Нет в мире виноватых». Однако работа над рассказом часто прерывалась. «...сейчас не могу писать. Нет спокойствия», — говорил писатель В. Ф. Булгакову, имея в виду обстоятельства, приведшие его к уходу из Ясной Поляны (В. Ф. Булгаков, Л. Н. Толстой в последний год его жизни, М. 1960, стр. 359).

Первая и третья редакции рассказа были опубликованы в «Посмертных художественных произведениях Л. Н. Толстого», т. 2, М. 1911, с цензурными пропусками. В издании «Свободного слова» они вышли без цензурных сокращений («Посмертные художественные произведения Л. Н. Толстого», т. II, Берлин, 1912). Вторая редакция была опубликована впервые в 1935 году в газете «Вечерняя Москва» (№ 241 от 19 октября).

СЛОВАРЬ ГОРСКИХ СЛОВ

А д а т (арабск.) — обычай, освященный давностью,

А й я (ногайск.) — да.

А м а н а т (арабск.) — заложник.

Б а р (кумыкск.) — есть.

Б а р а н ч у к (кумыкск.) — ребенок.

Б у [о] л у р (кумыкск.) — будет.

Г у р д а (чеченск.) — «шашки и кинжалы, дороже всего ценные на Кавказе, называются по мастеру Гурда» (Прим. Л. Н. Толстого к «Казакам»).

И м а м (арабск.) — мусульманский владыка, соединяющий в своем лице высшую духовную и светскую власть.

И о к (кумыкск.) — нет.

К о ш к и л ь д ы или **х о ш г е л ь д ы** (кумыкск.) — «Здравия желаем, мир вам» (Прим. Л. Н. Толстого к «Казакам»).

К у м г а н (кумыкск.) — высокий медный кувшин с носиком и крышкой.

К у н а к (турецк.) — друг, товарищ.

К у р б а н - Б а й р а м (арабск.) — главный мусульманский праздник.

К у р п е й (кумыкск.) — верх папахи.

М у т а л и м (арабск.) — воспитанник духовной школы.

М у э д з и н (арабск.) — служитель мечети, выкрикивающий с высоты минарета призывы к молитве,

М ю р и д (*арабск.*) — послушник, «искатель истины». «Слово мюрид имеет много значений, но в том смысле, в котором употреблено здесь, значит что-то среднее между адъютантом и телохранителем» (*Прим. Л. Н. Толстого к «Набегу»*).

М ю р ш и д (*арабск.*) — религиозный наставник мюрида.

Н а и б (*арабск.*) — «наибамы называют людей, которым вверена от Шамиля какая-нибудь часть управления» (*Прим. Л. Н. Толстого к «Набегу»*).

Н а м а з (*персидск.*) — повседневная молитва мусульман, совершаемая пять раз в сутки.

Н о г о в и ц ы — часть обуви, состоящая из голенищ без голровок.

Н у к е р (*персидск.*) — служитель, телохранитель.

П е ш к е ш (*персидск.*) — подарок.

П и л ь г и ш и (*чеченск.*) — пельмени или клецки с начинкой.

С а р д а р ь (*персидск.*) — главнейший правитель, командующий войсками, у горцев — царский наместник Кавказа.

С а у б у л (*кумыкск.*) — будь здоров.

Т а р и к а т (*арабск.*) — религиозное мусульманское учение о подвижнической жизни.

Т у л у м б а с ы (*персидск.*) — музыкальный ударный инструмент.

У л а н - я к ш и (*кумыкск.*) — молодец парень.

Х а д ж и (*арабск.*) — звание мусульманина, совершившего паломничество в Мекку и Медину для поклонения священному камню и гробу Магомета; **м у р а т** — дорогой.

Х о з ы р и (*арабск.* — готовые к стрельбе) — футлярчики для патронов по обем сторонам груди.

Ч и х и р ь (*кумыкск.*) — молодое вино.

Ш а р и а т (*арабск.*) — мусульманское законодательство, основанное на коране и других священных мусульманских книгах,

Ш е й х (*арабск.*) — духовный наставник,

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

1. Л. Н. Толстой. Фотография. 1906.
2. «После бала». Рисунок Б. Кустодиева. 1925.
3. «Хаджи-Мурат». Рисунок Е. Лансере. 1913.
4. «Хаджи-Мурат». Рисунок Е. Лансере. 1913.
5. «Хаджи-Мурат». Рисунок Е. Лансере. 1913.
6. «Хаджи-Мурат». Рисунок Е. Лансере. 1912—1914,

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

После бала	7
Ассирийский царь Асархадон	18
Хаджи-Мурат	23
Фальшивый купон	149
Алеша Горшок	213
Корней Васильев	219
Ягоды	237
За что?	249
Божеское и человеческое	275
Что я видел во сне...	313
Бедные люди	327
Сила детства	330
Волк	333
Разговор с прохожим	334
Проезжий и крестьянин	336
Песни на деревне	344
Три дня в деревне	349
Ходынка	370
[Нечаянно]	379
Благодарная почва	383

НЕЗАКОНЧЕННОЕ. НАБРОСКИ

Посмертные записки старца Федора Кузмича...	393
Воспоминания	414
Нет в мире виноватых	476
Примечания	515
Словарь горских слов	555
Список иллюстраций	557

*Лев Николаевич
Голстой*
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ 14

Редактор К. Не щ и м е н к о
Художественный редактор И. Ж и х а р е в
Технический редактор Ж. П р и м а к
Корректоры Р. П у н г а и А. Ю р ь е в а

*

Сдано в набор 16/VIII 1963 г. Подписано в
печать 22/XI 1963 г. Бумага 84×108¹/₃₂.
17,5 печ. л. = 28,7 усл. печ. л. 27,31 уч.-изд.
л.+6 вклеек = 27,61 л. Тираж 291500 Зак. 551.

Цена 1 р. 10 к.

Издательство

«Художественная литература»
Москва, Б-66. Ново-Басманная, 19

*

Ленинградская типография № 1 «Печатный
Двор» имени А. М. Горького «Главполиграф-
прома» Государственного комитета Совета Мини-
стров СССР по печати, Гатчинская, 26.

